ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[2] 2005

ПЕРВЫЙ РОМАН МОЛОДОЙ ПОЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ДОРОТЫ МАСЛОВСКОЙ «ПОЛЬСКО-РУССКАЯ ВОЙНА ПОД БЕЛО-КРАСНЫМ ФЛАГОМ» В РУБРИКЕ «ДЕБЮТ» / СТИХИ ФЛЁР ЭДКОК / ПОВЕСТЬ НАТАЛИИ ГИНЗБУРГ «ДОРОГА В ГОРОД» / ЭССЕ ВОЛЬФГАНГА ЛАНГЕ «'ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ' УЭЛЬБЕКА И МЕНИППОВА САТИРА» / НАТАЛЬЯ МАВЛЕВИЧ И ЮЛИАНА ЯХНИНА В РУБРИКЕ «ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА»

Основан в 1891 году

[2]
2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Флёр Эдкок *Стихи.* Перевод с английского и вступление Максима Калинина

Дебют

8 Дорота Масловская *Польско-русская война под бело-красным флагом.* Роман. Перевод с польского и вступление Ирины Лаппо

Из классики XX века

145 Наталия Гинзбург *Дорога в город.* Повесть. Перевод с итальянского А. Маркиной. Послесловие Татьяны Бек

Документальная проза

183 Абель Поссе *Страсти по Эвите.* [Продолжение.] Перевод с испанского Н. Беленькой

Статьи, эссе

237 Вольфганг Ланге *"Элементарные частицы" Уэльбека и мениппова сатира.* Перевод с немецкого Е. Драйтовой

Трибуна переводчика

256 Наталья Мавлевич *Памяти Юлианы Яхниной.*

263 Юлиана Яхнина *О некоторых вопросах стилизации в связи с переводом романа Э. Юнсона "Прибой и берега"*

Carte blanche

273 Леонид Гиршович *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке*

Письма из-за рубежа

277 Павел Лемберский *Зимние заметки об осеннем марафоне*

Курьер "ИЛ"

283

Авторы номера

286

© "Иностранная литература", 2005

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года —
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Флёр Эдкок

Стихи

Перевод с английского и вступление Максима Калинина

Флёр Эдкок, самая известная на сегодняшний день поэтесса Новой Зеландии, родилась в 1934 году в небольшом городке Паракуре, на берегу Тихого океана. В начале Второй мировой войны семья Эдкок переехала в Англию, где отец и мать принимали участие в тыловых работах, а Флёр с младшей сестренкой жили на ферме в Лейчестере. Именно в Англии, в возрасте пяти лет, поэтесса написала свое первое стихотворение, переименовав ради рифмы своего плюшевого щенка из Боба в Теда. По окончании войны Эдкоки перебираются обратно в Новую Зеландию, где Флёр получает степень магистра гуманитарных наук в университете Виктория и побеждает на Фестивале поэзии в Веллингтоне (1961 г.). Но в 1963-м она в силу личных обстоятельств уже навсегда связывает свою судьбу с Англией, где сначала работает библиотекарем, а потом становится свободным художником — пишет стихи и одновременно занимается переводом средневековой латинской поэзии и составлением поэтических антологий.

В 1996 году Флёр Эдкок удостаивают звания кавалера ордена Британской Империи за служение литературе. О ее высоком положении в мире поэзии свидетельствует еще один довольно курьезный случай, связанный с вручением литературных наград. Когда в 1998 году после смерти Теда Хьюза зашла речь о назначении нового поэта-лауреата, премьер-министр Тони Блэр заявил, что согласно правилам приема ни национальность претендента на эту почетную должность, ни страна его проживания для жюри не имеют никакого значения. Главное, чтобы будущий придворный стихотворец писал на языке Шекспира, а откуда он — из Ирландии, Гонконга или Австралии — значения не имеет. В результате шорт-лист номинантов напоминал список участников чемпионата Бри-

© Fleur Adcock, 1979, 1983
© Oxford University Press, 1971, 1974
© Максим Калинин. Перевод, вступление, 2005
Редакция благодарит Флёр Эдкок, любезно предоставившую нам право на безвозмездную публикацию своих стихов.

танского Содружества наций по стихосложению, где каждый автор представлял свою страну (хотя в конце концов все равно победил коренной англичанин Эндрю Моушен, а другой его земляк — Тони Харрисон — от участия в соискании титула отказался). Вот этот список: Северная Ирландия — Шеймас Хини, Вест-Индия — Дерек Уолкотт (живет в США), Ямайка — Бенжамин Зефания, Австралия — Лес Мюррей, Шотландия — Кэрол Энн Даффи, а от Новой Зеландии — Флёр Эдкок.

Приверженная отточенной технике письма, Эдкок отнюдь не сторонница каких-либо экспериментов со словообразованием, строфикой и синтаксисом и никогда не старается понравиться читателю. Поэзию Эдкок отличает выверенность определений, доступность изложения и точность образов. Словом, то, что называется "благородное искусство просто и правильно писать стихи"[1]. Хотя сама Флёр Эдкок утверждает, что "искусство — это то, что хочется вставить в рамку", ее сдержанный, с прохладцей голос порой приобретает удивительную нежность и усиливает доверие и восприимчивость к прочитанному. Вот что писал о ней на страницах журнала "Обсервер" известный поэт Питер Портер: "Причина успеха ее стихов — глубокая укорененность в теплом мире любви и бесстрастность стиля, присущая классике. Кажется, что ее стихи отдыхают на странице, лежа в грациозных позах. Пускай их содержание бывает мрачным, они никогда не оставляют чувства подавленности и скуки".

Обычно причина такой отрешенности, закрытости автора кроется в перенесенном испытании судьбы, когда, измученный, он пытается быть неуязвимым в своем творчестве, в самом дорогом для себя проявлении души, когда любая рана может оказаться смертельной. Возможно, таким испытанием для Флёр Эдкок стала разлука с родной Новой Зеландией, которую она переносит мучительно, но стойко. При работе над антологией "Современная поэзия Новой Зеландии" поэтесса не включила себя в состав ее участников, заявив в предисловии, что новозеландский поэт — это тот, кто волею судьбы оказался в этой стране (необязательно родился) и остался там. Эдкок часто называют поэтом-изгнанником, настолько остро отзывается в ней "даль, прирожденная, как боль". Эти слова — из стихотворения Марины Цветаевой "Родина", которое Флёр Эдкок перевела. Ее работа вместе с переводами ведущих англоязычных поэтесс Кэрол Энн Даффи, Энн Стивенсон, Джо Шепкотт и других была опубликована в 1993 году в журнале "Поэтри ревью" и была приурочена к столетию великого русского поэта. Публикация называлась "Тринадцать способов увидеть Цветаеву" — явная перекличка с названием знаменитого стихотворения Уоллеса Стивенса "Тринадцать способов увидеть черного дрозда", стихотворения о взаимоотношениях человека и природы, о тринадцати углах зрения, под которыми человек видит птицу, или о тринадцати образах человека в кругозоре птичьего зрачка. Стихотворение Уоллеса состоит из тринадцати стансов, и в переводе цветаевской "Родины" приняли участие тринадцать поэтесс.

Часто, когда заходит речь о женской поэзии, невольно перефразируешь известное изречение Александра Блока о ранней Ахматовой в вопрос: кого видит перед собою женщина-поэт — мужчину или Бога? В случае Флёр Эдкок можно сказать — полубога. Некоего Мауи — знаменитого персонажа маорийского фольклора, отважного нарушителя табу и воли богов, который похитил для людей огонь, убивал великанов и людоедов и в то же время носил прозвище Тысяча Проделок; которому ничего не стоило выудить из океанской пучины остров и превратить — из-за минутной прихоти — мужа сестры в собаку.

1. Н. Гумилёв. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. – М.: Терра, 1991. (*Прим. перев.*)

На глубине

Предки мои,
Спящие по берегам,
Просачиваются в реку,
И вода становится бурой.
Купаясь в такой воде,
Я ближе к ним, чем когда
Босая бреду
Прозрачным мелководьем,
Распугивая мальков.

Сюрприз на полуострове

В тот вечер, вернувшись с прогулки,
Я увидела собачью шкуру,
Прибитую гвоздями к стене
Моего дома. Жертва была
Свежей — кровь по краям. Это
Была не моя собака.
У меня ее нет вообще.
И я не люблю их (кто-то
Явно об этом не знал).
Шкура была светло-серой,
Без головы, но с хвостом.
Вися на стене врастяжку,
Она напоминала собой
Карту полуострова
На школьной доске. Город
Был отмечен дыркой
От пробившей стену пули.
Войдя в дом, я приложила к дырке глаз
И увидела силуэты деревьев
На фоне луны. Я всю ночь
Просидела у запертой двери
И чашка за чашкой пила
Кофе. Если собака
Охраняет дом, — рассуждала я, —
То пускай ее шкура
Послужит мне амулетом.
Ни в эту, ни в другие
Три ночи никто не пришел.
На четвертый день наступила
Пора уезжать, а шкура
Оставалась висеть — сухая
И задубевшая. Мухи
Исчезли вместе со зловоньем.

А что, если, — подумала я, —
Это дар, а не угроза.
И, спокойно выдернув гвозди,
Взяла шкуру с собой.

Игра

Они бросают
Друг другу мяч.
Она — на картине
В позолоченной раме
В центре стены,
А он стоит
На полу перед ней,
Бросил — поймал,
Бросил — поймал.
Она в белом платье,
В черных чулках и ботинках,
В соломенной шляпке
С ярким цветком.
Судя по гримаске,
Она смеется,
Но смеха не слышно.
У нее за спиной
Сад, залитый солнцем.
Напрашиваются
Ручьи и птицы,
Но нет ни тех, ни других.
Раз или два
Он что-то крикнул,
Но она
(совсем еще девочка)
Не ответила.
И они продолжали играть,
Не думая,
А что будет, если кто-то
Вдруг не поймает мяч?

Сбившись с пути

Наша весна-непоседа
Исчезла в цветущей воде
Плотоядного лета.
Листопад прошел между нами.
Ноги сами уносили меня
Подальше от мест, где мы были вдвоем.

Скрываясь от тебя в лесу,
Я забрела в чащу, где с деревьев
Свисали сотни гусениц на длинных
Волоконцах, как застывший дождь.
И моя кожа покрылась слизью.

А ты за мили отсюда
Взбираешься ввысь, опустив глаза,
В поисках гнезда жаворонка.

Случай

Ты распластался на белом песке,
Под головой — камень, на губах — улыбка.
Тронул мою руку и прошептал:
"Приляг". И час, а может быть, два
Мы загорали, курили, болтали
Ни о чем, а ползучее море
Всхлипывало в скалах, итожа день.
Я сама не заметила, как
Уснула, словно провалилась
В яму. О, яма всем ямам!
Сначала — я летела за Алисой
Вниз по кроличьей норе,
Затем — спускалась дорогой Орфея
В Аид по винтовой лестнице,
Выщербленной страхом и сомненьем.
Споткнувшись, я проснулась:
Я лежала по грудь в воде,
А ты сидел на сером песке,
Глядя, как на меня
Наползают волны,
И, покуривая, ждал,
Когда прилив завладеет мной.

За 50 лет своего существования "Иностранная литература" открыла многих крупных зарубежных писателей. В новой рубрике ДЕБЮТ будут представлены *первые* книги авторов, только что — и громко — заявивших о себе. Мы намерены знакомить читателей с появляющимися в море зарубежной литературы ранее неизвестными именами, у которых — по нашему мнению — есть основания прочно закрепиться в ареале мировой словесности, стать знаковыми для культуры XXI века. И не ограничимся лишь публикацией многообещающих новинок, а будем к ним возвращаться: обсуждать, рецензировать, а, возможно, и интервьюировать их авторов.

Нынешняя публикация — двойной дебют. Впервые на страницах журнала не только автор — полька Дорота Масловская, — но и переводчик книги — молодой литературовед Ирина Лаппо.

Дорота Масловская

Польско-русская война под бело-красным флагом

Роман

Перевод с польского и вступление Ирины Лаппо

Появившийся в 2002 году на книжных прилавках Польши роман Дороты Масловской произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Успех его — феномен не только литературный, но и социальный. Автор — восемнадцатилетняя девушка

© by Dorota Masłowska, 2002
© Ирина Лаппо. Перевод, вступление, 2005
Роман будет опубликован в издательстве "Иностранка".

из хорошей семьи, отличница с вызывающей огненно-рыжей челкой, закрывающей один глаз, — перевоплощается в молодого парня, бездельника и наркомана, чтобы посмотреть на мир его глазами и рассказать об увиденном его устами. Получается мрачный, но верный социологический портрет определенной и, увы, весьма многочисленной категории молодежи. С легкой руки гуру современной польской литературы Ежи Пильха, объявившего, что книга Масловской ознаменовала рождение нового литературного поколения, начался настоящий бум. "Войну..." хвалят и ругают, анализируют, переводят (на французский, итальянский, голландский, теперь вот на русский), переиздают (книга разошлась стотысячным тиражом, что, по польским масштабам, просто неслыханно); автора жалеют (такая молодая — и такой успех, он ее сломает, испортит и т. д.) и регулярно берут интервью, в которых расспрашивают решительно обо всем: от насущных проблем современности до войны в Ираке и прочем. В 2003 году Масловская была номинирована на престижную литературную премию "Ника", а серьезный еженедельник "Политика" присвоил ей титул "Человек года в области литературы".

Сюжет романа складывается из отдельных, иногда тяготеющих к "трагизму", иногда просто забавных в своей абсурдности историй, связующим звеном которых является образ главного героя-повествователя и прежде всего его язык. В одном из интервью Масловская сказала: "Мир является мне как язык, и именно через язык я его воссоздаю". Разговорный, колоритный, убогий и богатый одновременно, какой-то "очень настоящий" — сегодня он, в той или иной степени, в обиходе самых разных молодежных компаний — и местами необыкновенно смешной.

Русскому читателю книга Масловской должна быть интересна по крайней мере по двум причинам. Во-первых, потому что представляет образ немалой части современной молодежи, которая — независимо от национальной принадлежности и культуры — ходит на одни и те же дискотеки, употребляет одни и те же наркотики, одинаково одевается и мечтает о красивой любви, о блестящей карьере, о новейшей модели мобильника... Это портрет поколения, не нуждающегося в высоких ценностях, живущего в мире, где главное — личные потребности и способы их удовлетворения. Среда обитания такой молодежи — пустота. Но пустота, по мнению автора, "переполненная", пустота, в которую постоянно что-то добавляют, которую постоянно "полируют". Больше вещей, больше информации, более совершенная связь. Пустота пресыщения.

Вторая причина — "польско-русская": события разворачиваются на фоне распространенных в Польше антирусских фобий. Масловская, убедительно показав, что для ее героя, Сильного, и ему подобных "антирусский" значит "пропольский", одновременно обнажила несостоятельность такой идеологии, которая функционирует как бы по инерции; на самом деле это аллегория польского национального самосознания.

Во Франции Дороту Масловскую назвали "польской Франсуазой Саган", в Германии "Войну..." сравнивали с романом "На игле" Уэлша, а в Польше недавно переведенную книгу Ирины Денежкиной рекламировали как повесть "русской Масловской". Ассоциации с Саган и Денежкиной просты, понятны и обидны: пол — женский, возраст — юный, остальное — несущественно... Однако если задуматься и поискать в литературе аналогии, то подобный портрет поколения можно найти разве что у Сэлинджера; если же посмотреть с точки зрения даже не языка, а созданного Масловской идиолекта, своеобразного авторского микрокосма, в голову приходят скорее уж "Москва—Петушки" Венедикта Ерофеева, а может, даже Андрей Платонов. А Саган и Денежкина, тут, право, ни при чем...

Эта молоденькая девушка проявила такую неслыханную писательскую зрелость и такое мастерское владение польским языком, такое умение распарывать, перелицовывать, размалывать слова и создавать из словесной трухи особый язык, порой чудовищный и рискованный, но всегда исполненный поэтического своеобразия, что перспективы ее дальнейшего развития представляются неизмеримыми.

Ежи Пильх

В литературном портрете меняющейся субкультуры современного польского города, который рисует Масловская, поэзия сочетается с грязью, ностальгия – с бунтом.

Издательство "Кипенхойер унд Вич"

Невыносимая легкость глобализации, которая ложится на плечи юных героев Масловской непосильным грузом... Для самой Дороты они – потерянное поколение, расцветшее пластмассовыми цветами.

Газета "Эспрессо"

ТУТ она мне и говорит, что у нее для меня две новости: одна — хорошая, другая — плохая. А сама через стойку перегнулась. Какую, значит, я хочу сначала. Я говорю, хорошую. А она, что вроде в городе польско-русская война под бело-красным флагом. Я говорю, откуда ей знать, а она, что слышала. Я говорю, ну, тогда плохую. А она вынимает помаду и говорит, что Магда сказала, что между нами все кончено. И мигнула Бармену, чтоб подошел в случае чего. Вот так я узнал, что она меня бросила. Магда то есть. Хотя у нас все было хорошо, вместе мы провели много приятных минут, я со своей стороны говорил ей много хороших слов в ее адрес, ну и она соответственно. Однозначно. Бармен говорит, чтоб я на нее забил. Легко сказать. Когда я узнал, что вот оно как, хотя на самом деле уже никак, так ведь она это не собственной персоной мне лично в глаза сказала, а как раз ровно наоборот, она мне, видите ли, через Арлету передает. Я считаю, что тут она показала свое чистой воды хамство, можно даже сказать, примитивность. И я не буду это скрывать, хотя она и была моей девчонкой, с которой у меня было много всего хорошего, хотя и много всего плохого тоже. Но не обязательно же было говорить вот так, через подружку, так, что я узнаю последний. Все всё знают с самого начала, всем другим она сама сказала. Сказала, что это из-за моего характера, мол, я завожусь с полоборота, и пусть они меня к этому факту подготовят. Они боятся, что я какой-нибудь номер отмочу, потому что в принципе это правда, такой у меня характер. Она сказала, чтоб я вышел воздухом подышать на свежий воздух. И дала мне эти свои говняные сигареты. А я в основном чувствую одну только

грусть, больше, чем любое другое чувство. И еще обиду на Магду, что она ничего мне не сказала чисто в глаза. Ни словечка.

Она перегнулась через стойку, как продавщица через прилавок. Будто собирается мне впарить какой-нибудь поддельный товар, какую-нибудь соевую шоколадку. Арлета. Ржавую воду в пивном бокале. Краситель для яиц. В смысле, пасхальных. Конфеты, которые она продаст, будут пустые внутри. Одни фантики. Да она к чему ни притронется этими своими ногтями, которые у нее на каждом пальце растут, — все окажется фуфлом или даже вообще подделкой. Потому что она сама фуфло, внутри у нее пусто. Курит эту гадость. Купленную у русских. Просроченную, паленую. Вместо никотина какой-то мусор, сено какое-то. Бумага, опилки, училкам такое и не снилось. И никакой полиции не снилось. Хорошо бы Арлету посадили. Никто и не слышал про такой драг, вот она и выпендривается, глазки строит. Понты кидает. Этим своим телефоном, этими своими разными звонками в мобиле.

Я сижу и смотрю на ее волосы. Арлета вся в коже, а рядом волосы Магды, длинные, светлые. Как стена, как ветви. И я пялюсь на ее волосы, пялюсь как в стену, потому что они не для меня. Они для других, для Бармена, для Киселя, для всех этих пацанов, что входят и выходят. Для всех, а значит, не для меня. Другие будут запускать в них руки.

Приходит Каспер, садится, спрашивает, в чем дело. Штаны у него коротковаты. А ботинки, как черное зеркало, в котором я вижу себя, неоновые буквы над баром, игровые автоматы, всякие-разные вещи вокруг. Прямо у мыска его ботинка я вижу волосы Магды. Они как непробиваемая стена отгораживают ее от меня, как забор, как каменная стена. За этой стеной — новые любови, ее влажные поцелуи. Каспер подогрелся по полной программе, ботинок так и ходит ходуном. Из-за этого картина слегка размазана. Он приехал на собственной тачке, жует ментоловую жвачку и спрашивает, есть ли у меня бумажные платки. Я теряю Магду в толпе.

Я говорю, что нет. Хотя, может, и надо бы их иметь. У Каспера есть колеса, у него целая машина колес, багажник его "гольфа" забит драгами. Он оглядывается по сторонам, как будто вокруг притаилась армия русских. Как будто они сейчас сюда войдут и запихают в его трясущуюся пасть все свои русские сигареты. Он вынимает красный L&M, спрашивает, чего я сижу лицом к стене. Я говорю, а что, если сяду передом, это что-то меняет, да? Может, Магда будет тогда опять со мной, только сяду передом, а она бегом прибежит и — плюх мне на колени, я лицом зарываюсь в ее волосы, она кладет мою руку себе между ног, ее поцелуи, ее любовь. Нет, говорю. Хотя со всем своим удовольствием сказал бы да. Но говорю нет. Нет, нет и нет. Не согласен я. Даже если она захочет сюда прийти, я все равно скажу: не подходи, не дотрагивайся до меня, от тебя воняет. Воняет мужиками, которые тебя лапают, когда ты не смотришь и притворяешься, что не замечаешь, что тебя лапают. Воняет сигаретами, которые ты у них берешь, когда они тебя угощают. Вонючим ментоловым L&Mом. Купленным у русских по дешевке. Воняет дринками, этой гадостью, что они тебе приносят в стакане, где, как рыбы, как морские бляди, плавают бактерии из ихних ртов. И если она вдруг захочет, чтоб я ее такую теперь поимел, не дождется. Я ей ни слова не скажу. Приносит она мне дринк, а я: нет. Сначала отклей жвачку, которую

ты прилепила к донышку, потому что она из пасти одного из этих грязных козлов, из ихнего рта эта жвачка, хотя ты и думаешь, что я ничего не знаю. Потом иди умойся, а уж тогда можешь сесть мне на колени, когда будешь чистая от этих левых сигарет, от этих левых колес, которыми ты удобряешь свои коктейли. Но сначала сбрось эти шмотки, эти перья, потому что не для меня ты их на себя напялила.

Конечно, я еще обижен. Отворачиваюсь, не хочу с ней разговаривать. Говорю, что, если она будет такая, я разнесу к чертям весь бар, всю посуду об пол, и пусть она тогда ходит по стеклу, пусть сломает на фиг каблуки, разобьет локти, порвет свое модное платье из одних шнурков. Она просит, чтоб я к ней вернулся. Она будет хорошая как никогда, даже еще лучше, еще вернее. Я говорю: сколько раз тебе повторять, тебе что, два раза объяснять надо: я больше не хочу с тобой быть никогда больше, и одно из двух: или ты сейчас же с меня слазишь, или я сделаю это сам. Она говорит, что меня любила. Я говорю, что тоже ее любил, что она мне всегда нравилась, хотя сначала встречалась с Лёликом, и тогда его тачка нравилась ей больше, тогда у него все было лучше, чем у меня: шузы — лучше, штаны — лучше, деньги — лучше. Я просто убить его хотел, потому что он не умел обращаться с ней по-человечески, можно даже сказать, плохо с ней обращался. А потом, хотя она была уже со мной, я все равно по-человечески с ней обращался, как с человеком и как с девушкой. Всегда был за нее. Хотя и не всегда у нас все было хорошо, я уже говорил, потому как она вечно норовила слямзить какую-нибудь тряпку в магазине, отрежет, значит, в примерочной ценник и тютю. Сережки, сумочки, тени там всякие. Все это в пакет, а потом в сумку. Короче, не было между нами взаимопонимания, мне даже пришлось один раз за нее отдуваться, хотя в принципе ей в основном везло, что потом позитивно отражалось на ее настроении. И еще у нее был один недостаток — она была моложе меня, что сильно напрягало моих родителей. А в остальном все пучком, она мне часто говорила, что не кого-то там любит, а лично меня и чувство ее ко мне, а не ко всем подряд.

Приходит Левый, говорит, что все знает и что Магда хуже вокзальных шалав, хуже этих ободранных шмар, которые тусуются на Варшаве Центральной. С фиолетовыми мордами, грязные. Что она хуже даже русских прошмандовок. Я все понимаю, но это уже перебор. Чтобы кто-то типа Левого говорил мне такое. И я встаю. Не будет мудила с компьютерным тиком мне тут рассказывать про мою жизнь и про мои чувства, указывать, что мне делать, а чего нет, решать, какая Магда — хорошая или плохая, потому что всю правду про Магду даже в могиле никто не докажет. Будет он мне тут решать, есть у нее совесть или нет, когда сам чисто из мести сбил Арлету на машине. Да на такое западло никто кроме него не способен, хотя все знают, что за фрукт эта Арлета. Поэтому я не торопясь встаю, смотрю в его дергающийся глаз, пристально так смотрю, с близкого расстояния, чтоб он понял, что почем. Он молчит и пялится изо всех сил в свое пиво. Говорит, что в последнее время в городе идет польско-русская война под бело-красным флагом. Думает, что сменил тему. Тема все та же, Левый. Я знаю, война не война, а ты ее имел еще до Лёлика, я знаю, все вы ее имели еще до меня и опять будете иметь, потому как с сегодняшнего дня она ваша, с сегодняшнего дня она пьяна и открыта круглосуточно, у нее в глазах горят лампочки по

80 ватт каждая, во рту светится язык, а между ног — ночная неоновая реклама, идите и берите ее, все по очереди. Ты, Левый, в первых рядах, я ведь тебя знаю как облупленного, тебе надо все самое свеженькое, потому как тебе по жизни положено все лучшее, самые сливки, чаек с лимоном, бифштекс с кровью, компьютер — самый навороченный, клавиатура — самая крутая и золотой мобильник на золотой цепочке, вот и бери Магду, потому что она — самая лучшая, потому что у нее золотое сердце. У нее золотое сердце, она положит тебе руку на голову и скажет, чего хочет. У нее золотое сердце, она получит все, чего захочет, но так, что даже когда ты платишь, то чувствуешь себя, как будто просишь у нее в долг. Чувствуешь себя, блин, как последний должник в ломбарде. У нее золотое сердце, она нежная и романтическая, например любит животных и часто говорит, что хотела бы завести разных животных, потому что ей нравится рассматривать хомячков в аквариумах. Может, потом ей даже ребеночка захочется, только чтоб сразу был пятилетний, чтобы родился в возрасте пяти лет и уже больше не рос. И имя чтоб было соответствующее. Клаудиа, Максик, Алекс. Маленький ребеночек, пятилетний, а ей чтоб всегда было семнадцать, и тогда она в этом своем платье из одних шнурков на высоких каблуках будет водить его за ручку по улице. Будет носить его в своей сумочке вместе с помадой. Будет ходить с ним на дискотеки. Туда придут разные газеты и будут фотографировать ее волосы, чтоб видно было, какие они сверкающие и блестящие, а ребенок рядом некрасивый, потому что от тебя, Левый, он сразу родится со сломанным носом и компьютерным тиком, с самого рождения урод, с самого рождения ублюдок, потому что от тебя, а значит, ублюдок по наследству. Потому что ты не можешь с Магдой по-хорошему, не можешь сделать ее счастливой. Отдать всего себя. Вместо того чтобы показать ей весь мир, покажешь только эти свои компьютерные игры, кровь, страдания и боль. А она не для этого создана, она создана для тонкого обращения.

Потому что она такая. Приходит Арлета, просит огня и заявляет, типа зачем я устраиваю, как говорит Магда, цирк. Ах, вот оно, значит, как. Внимание, внимание, на сцену выходят слоны, они прошлись по мне и растоптали мое сердце, а за ними дрессированные блохи. А вот дрессированные собачки, але-гоп! — потому что я сам как дрессированная собака, которая за свою любовь и верность ничего не получает взамен, в лучшем случае плевок в морду лица и — ни тебе спасибо, ни пошел вон. Вот и вся благодарность. Для вас я всего лишь дрессированная собачонка, которая только и умеет, что наяривать по кругу в автомобильчике с откидным верхом. Нет у меня огня. Потому как я весь изнутри выгорел до самого тла. И теперь хочу умереть. В последнюю минуту, когда буду умирать, я хочу увидеть Магду. Как она наклоняется надо мной и говорит: не умирай. Не умирай, это я во всем виновата, теперь я буду с тобой и больше ни с кем, только не умирай, дело-то не в этом, а дело в том, чтобы классно оторваться, это просто шутка такая была, прикол, а по правде у меня до тебя никого не было, никого другого или даже вообще никого, я просто пошутила, чтобы тебя позлить, дурачок, теперь все будет хорошо, у нас будет ребенок, Клаудиа, Эрик, Николь, ты ведь знаешь, ты же сам хотел ребеночка, мы будем возить его в коляске, увидишь, как будет, только обещай, что не умрешь, а то мне надо в туалет, потому что Арле-

та клеит там одного типа, он говорит, что он директор и всех знает, вроде даже тебя знает, говорит: Сильный, как же, знаю, а я молчу, тишина, я ему не сказала, что ты мой парень, потому что все было по-другому, но теперь я ему скажу, как оно на самом деле, пусть знает всю правду.

Раз так, я оставлю это на потом, на крайний случай, потому что Арлета говорит, что Магда теперь куда-то вышла. Говорит, что не знает куда. Говорит, что не знает с кем. Я ей говорю, или ты мне друг, или такая же сучка, как Магда. Она говорит, что друг. Я спрашиваю, в чем тогда дело, блин. Она тогда говорит, что Магда ушла с Иреком. Что Магда пошла с Иреком прошвырнуться по городу, посмотреть на машины, что они хотят стать друзьями, ну да, просто друзьями. Значит, с Иреком. Значит, ребенок все-таки будет уродом. Еще хуже, чем от Левого. Генетически ненормальный. Генетически извращенный с самого рождения. Генетически абсурдный. Генетически ублюдочный. С самого начала с генетически врожденным кармашком в деснах для краденых вещей, с врожденной грязью под ногтями. Когда-нибудь я буду ехать в поезде, и какой-нибудь ребенок попросит дать ему на хлеб, а я посмотрю ему в лицо и увижу глаза Магды, заикание Ирека и свои слегка оттопыренные уши в одном лице, потому что от меня тоже должно в ней что-то остаться, какие-нибудь гены. Шрам на лбу тоже от меня, я в детстве хряпнулся мордой об стол, сломанный нос еще от кого-нибудь, тихий ужас, самый уродливый ребенок на свете. Тогда я спрошу его, где твоя мать. Если скажет, что нету, что умерла, тогда порядок, дам ему немного денег. А если скажет про папу, все, кончен бал, лучше пусть мне больше на глаза не попадается, потому что так будет лучше для него самого.

Входит Магда, но одна, без Ирека. Выглядит так, будто что-то случилось. Будто вся она рассыпалась на запчасти: волосы в одну сторону, сумочка в другую, платье налево, сережки направо. Колготки все в грязи — налево. Лицо — направо, из глаз текут черные слезы. Будто она воевала на польско-русской войне, будто, маршируя через парк, по ней прошлась вся польско-русская армия. И тут мои чувства к ней и вся социально-экономическая ситуация в стране вдруг оживляются. Вот она вся, вот такая она всегда. Пьяная, мятая. Обдолбанная, потасканная. Страшная как никогда. По подбородку текут черные слезы, потому что сердце у нее тоже черное, как уголь. И лоно у нее черное, порванное, и через все лоно поехала стрелка. Из этого лона она родит ребенка, черного, как негр. Анжелу со сгнившим лицом и с хвостом. С таким ребенком она далеко не уйдет. Ее даже не пустят в автобус, не говоря уже о такси, и белого молока ей не продадут. Она будет лежать на черной земле, на дачных участках. Будет там жить в парниках. Ее будут глодать дождевые черви и всякие другие червяки. Она будет кормить своего ребенка черным молоком из черной груди. Будет кормить его землей с огорода. Но все равно рано или поздно он помрет.

Приходит Арлета. Я говорю, передай Магде, что я желаю ей скорой смерти. Арлета надувает пузырь из жвачки. Потом накручивает эту жвачку на палец и засовывает назад в рот. Как будто в жизни ничем другим не занималась, только пускала жвачные пузыри и накручивала их на пальцы. Такая у нее работа, она за это получает приличные бабки и на

них покупает себе все эти шмотки, все эти русские сигареты. Ей бы со всем этим своим переносным борделем выступать в "Смехопанораме". Арлета говорит, типун мне на язык, чтоб я не говорил то, что сказал, потому что это может исполниться. Говорит, у нее уже пару раз исполнилось. Например, в школе она один раз сказала "чтоб ты сдохла" учительнице по труду, и та потом вроде бы попала в роддом на сохранение. Или еще случай был: она сказала однокласснице на физре "чтоб ты ногу сломала", и та сломала себе мизинец на руке. Она говорит, что никогда не курит L&M, потому что они вредные и от них можно легко подхватить рак. И вроде как судьба притаилась и ждет, не скажет ли кто чего плохого в недобрый час. Если что-нибудь скажешь, а час как раз недобрый, как ни крути потом, а все исполнится, приговор обжалованию не подлежит. Это вроде бы связано с религией, с паранормальной жизнью, такая вот, значит, особенность паранормальной жизни.

Но то, что Арлета может мне сообщить на данную тему, мне, извиняюсь за выражение, по фигу. Где была Магда с Иреком, вот что меня у тебя интересует, говорю я Арлете. Нашлась тут защитница сраная. Обе вы нарожаете кучу внебрачных детей, вас ни в одно приличное заведение не пустят, даже захудалое. Говори, что он ей сделал, этот ворюга. Он украл ее чистое сердце, всю ее утонченность, все волосы, он порвал ей все колготки, довел до слез. В душу плюнул. И я его за это придушу, но это потом. Сейчас мне надо знать, Арлета.

Тогда из кармана ее джинсов раздается соответствующий звук, и Арлете приходит эсэмэска. Приятно, мол, было со мной пообщаться, если б я еще не был таким хамом, говорит она мне и куда-то быстро уходит. Тут приходит Бармен и говорит, что там какая-то хрень. Я ему, что за хрень. А он мне, что типа Магда всегда была истеричкой, но теперь она типа переборщила. Я спрашиваю, это типа он о чем. И чувствую, что меня это все уже задолбало, потому что я не люблю, когда что-то идет не в тему.

Ну, он мне на это, что случилась какая-то история с Магдой. История не история, а Бармен все же порядочная скотина, вместо того чтобы Магда сама мне все рассказала, так нет же — он вместо нее рассказывает.

Тогда я иду к туалетам, потому что туда меня зовет Арлета, она явно уже обдолбалась, курит сразу две ментоловые сигареты, причем обе L&M, обе держит в одном уголке рта, а другой рукой поддерживает Магду. Я вроде как вздрючен, поскольку знаю, что Магда меня обидела, ранила в самое сердце. Спрашиваю, что случилось. Она мне говорит, что судорога. Я ей на это прямо отвечаю, что, может, от амфы, перебрала и все такое. Арлета говорит, что раз так, она оставит нас вдвоем, и закрывает за собой дверь. Я, значит, стою. У Магды в ноге сделалась судорога, и она сидит на унитазе. Левой рукой держится за ногу, а сама плачет, можно даже сказать, рыдает навзрыд. Я даже не знаю теперь, красивая она или все же уродина, не могу решить однозначно. Вообще-то она, конечно, хорошенькая, но в данный момент, если судить по внешности, она не в лучшей форме: вся в черных подтеках от слез, по этим подтекам, как по водосточным трубам, течет тушь, колготки перекрученные, а в них дырки до самой кожи, лицо какое-то рыхлое, по цвету напоминает, не хочу обижать Магду, но это правда, красную пожарную машину.

Ну, я и думаю, люблю я ее еще или нет, раз она вот так довольно громко стонет и даже не смотрит мне в глаза и ничего при этом не говорит. И это меня добивает до ручки.

— Что я такого сделал, Магда? — говорю я ей и запираю дверь. — Что я сделал не так, если что, мы же можем все начать сначала. Ты же всегда была довольная, когда я тебя любил, и вообще, с какой стати ты меня вдруг не хочешь, это что, каприз такой или я тебе надоел? Помнишь, как суки у тебя данные списали на остановке, хотя ты была там с Машталём, это с ним тебя застукали, не со мной, хотя ты и знала, что на нем висит дело за барыжничество. Кто тебе потом, пока ты была на практике, каждый день проверял почтовый ящик, чтоб родители не получили повестку в полицию? Папа Карло тебе ящик проверял? Может, Машталь хоть разок проверил?

Разве я не обращался с тобой по-хорошему, скажи? Цветочки, конфетки, романтические прогулки при луне и тому подобная хрень.

Теперь ты не знаешь, что сказать. Стонешь, и я тебе признáюсь, что просто смех берет, потому что ты теперь ноль, ты как ребенок, просто смешная. Вылупилась на эти коричневые плитки, которые не раз видели нас и нашу близость, когда ты была со мной так близко, как только девушка или женщина может быть с мужчиной. Эти плитки еще помнят наши объятия, что бы там теперь между нами ни было, но это — однозначно.

У тебя красивое имя, Магда, как и твое лицо. У тебя красивые руки, и пальцы на руках, и ногти на пальцах, разве мы не можем опять быть вместе? Если хочешь, я заберу тебя отсюда, куда только захочешь. Я могу даже отвезти тебя в больницу, если в этом есть нужда или внутренняя необходимость. Ты спрашиваешь, я бухой, что ли, или как, так вот, да, я пил, но это никого не колышет, пил или не пил. Если мы едем, то я торможу тачку, и мы едем, я отвезу тебя куда захочешь, пускай даже десять тысяч русских проверяют нас на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Тут она мне говорит, чтоб кончал нести пургу. Говорит, что это, наверное, судорога ноги, что она сделала тест и, наверное, это беременность, хотя окончательной уверенности вообще-то нет. Говорит, что поэтому она испугалась и хотела со мной порвать, потому что боялась моей реакции, вспышки гнева. Скажи, когда я на тебя сердился дольше, чем один день? Если у тебя будет ребенок, а может, это даже будет мой ребенок, то всегда можно пойти к врачу и проверить со стопроцентной уверенностью. А теперь пошли. Я беру Магду под руку, а она вопит как недорезанная, просто орет во всю глотку, хотя еще минуту назад была тихонькая и смирненькая, как младенчик спросонья. Тут же прибегает Арлетка с жвачным пузырем во рту и хочет все знать, о чем базар, что с той судорогой и не нужна ли Магде ее помощь, вода, панадол. Я говорю Арлете, чтоб отвалила, а заодно и Бармену, который пялится, как будто не в курсе. Остальные тоже вылупились на нас как бараны, Левый, Каспер, Кисель с какой-то девицей, которую я даже не знаю, наверное, новая, хотя и ничего из себя, играет музыка, чистый бордель на колесиках. Арлета присылает мне эсэмэс, что, возможно, скорее всего, это из-за нехватки перманганата или даже вообще калия в крови по причине нездорового образа питания. Я ей пишу, чтоб отвалила, хотел написать еще, но у меня села батарейка в телефоне, и все, что я успеваю, это

только: *отвали арле.* Я бы еще написал, чтоб она подавилась своим недобрым глазом и своими пророчествами, потому что, скорее всего, это, блин, из-за нее, из-за ее параненормального трёпа, из-за того, что она сглазила географичку, Магду свела такая болючая судорога.

Короче, мы выходим, я сажаю Магду в первую попавшуюся тачку, после чего сажусь туда сам, она говорит, что в больницу, а он, что случилось. Я, естественно, его спрашиваю, это что, интервью для газеты или такси, и пусть выбирает: или он будет нас исповедовать насчет грехов, или он едет, а нет — я выхожу, и Магда со мной, бабки мимо носа, плюс камень в переднее стекло, ну и само собой — в городе ему лучше не показываться. Таксила с минуту молчит, а потом давай нести пургу, что типа пошел базар, будто мы под бело-красным флагом воюем с кацапами. Я говорю, что факт, хотя мы лично на эту тему не такие уж радикалы. Магда говорит, что она типа против русских. Тут меня понесло, и я говорю: а откуда ты знаешь, что ты как раз против? Играет радио, передают разные песни и новости. Она мне говорит, что это ее собственные мысли. А я ей, что она задвинулась и строит из себя мыслительницу, нашлась тут мыслительница, да откуда она знает, что это ее собственные, а не чьи-то другие, вообще чужие мысли? Она ма́лость перетрухнула. Я говорю, чтоб оставила меня в покое и пускай она меня лучше не злит. Она стонет, потому что у нее болит судорога.

Потом она демонстративно ковыляет сама и говорит, чтоб до нее не дотрагиваться. Хромает. Говорит, что я чмо и отморозок, что любое мое прикосновение убьет нашего ребенка и ее саму. Если я до нее дотронусь, она сразу же растрескается вдоль и поперек, и наш ребенок погибнет. Мои нервы практически на пределе. В приемной больницы нас встречает то ли ординатор, то ли ортопед, я уже и сам не знаю, поскольку боюсь, что ей сделают анализ крови и кроме нехватки калия обнаружатся все ее шахеры-махеры с драгами, все ее эксперименты с химией, потому что она обдолбанная как свинья, и у нее возьмут и отнимут этого ребенка. Однако главное — ее нога, потому что невооруженным глазом видно, что судорога преогромная и уже пошли метастазы. Ортопед сказал, чтобы я вышел на время обследования, что меня типа взбесило, как бы там ни было, это моя, мать твою за ногу, женщина или не моя? Я смотрю ему прямо в глаза, прямо в этот его красноватый белок, чтоб он знал, в чем фишка, и не пытался подъезжать к ней со своими ортопедическими штучками. Магда умоляет меня взглядом, чтобы я успокоился, ну и я вроде как успокаиваюсь. Скорее всего, это просто нехватка калия в мышце, которая у нее потому и болит. Ну, значит, жду я, спокойный такой, уравновешенный, хотя душа так и чешется, чтобы разнести эту больницу вдребезги, отплатить им за все. За этого ортопедрилу и других извращенцев, которые тут просиживают штаны, за то, что все они тут такие накрахмаленные, чистенькие, в руках трубки, молоточки, потому что, если речь идет об убеждениях, то я придерживаюсь левых взглядов.

В основном я вообще-то против налогов, и мой лозунг — государство без налогов, где мои родители не будут себе кишки рвать из-за ради того, чтобы у всех этих белохалатных князьков была своя хата и номер телефона, тогда как на самом деле все наоборот. О чем я уже вообще-то говорил, что экономическая ситуация в стране категорически отрицательная, правительство в полной альтернативе, в общем — слабая власть. Но мы отвлеклись от основной темы, суть которой в том, что Магда как раз

вышла из кабинета. По-прежнему хромая. Но причесанная. Черт его знает, кто ее там чесал. Я в это вникать не намерен, потому как и без того сегодняшний вечер — сплошной облом. Она говорит, чтобы я отвез ее на море. Я спрашиваю, как она собирается ехать на море с этой хренью в ноге. Она говорит, что нормально, блин, как люди ездят. Потом, поскольку в больничном коридоре нет ни единой живой души, она тут же слямзила какие-то костыли для хождения. Я ей говорю, что не время ехать на море, типа уже поздно. А она мне, что самое время и что она хочет туда поехать только и исключительно со мной, по всей видимости потому, что чувство, которое она в себе чувствует, оно именно ко мне. Я говорю, что у нее тараканы в башке, но в общем-то здорово смягчаюсь от мысли, что она меня любит и вот так открыто, без фальши об этом говорит.

Она говорит, что у нее такое предчувствие, одним словом, такой внутренний импульс, что она скоро умрет, что ее время истекло. Этот ребенок внутри ее убивает, она говорит, что у него преждевременно развилась зубная система и он кусает ее изнутри, уже насквозь прогрыз желудок и взялся за печень. Говорит, что всё, ей труба, эта судорога в ноге — результат, следствие и знак того, что ребенок дергает ее изнутри за ниточки. Он добивает ее изнутри, в том числе психически, просто добивает, полное уничтожение и распад. Я ей сочувствую, потому что я тоже, наверное, в какой-то мере делал этого ребенка, и мне вдруг становится очень жаль эту девчонку, жаль, что все так получилось и что этот ребенок в ней завелся. Я вижу, как сильно она страдает, даже если не обращать на костыли, которые по идее должны ей помогать, но только ухудшают ее мучения, потому что она одета в туфли на каблуках, которые мешают ей нормально двигаться. Короче, одним словом, мы едем на море. Магда очень шустрая по этой части, ей бы на этом бабки делать в такой специальной фирме, которая ездит на море, заказывает билеты, вообще делает все, что отвращает людей от поездок на это пресловутое море. И это несмотря даже на свою хромоту. Вообще-то, говорю, поздно, блин, уже. А она: ну и что с того, что поздно. Я что, совсем дурак или думаю, что мне море закроют, если я опоздаю? Или я боюсь, что мне моря не хватит? Я ей на это отвечаю, что не собираюсь с ней на данную тему базарить. Потому что, если она будет себя вести как последняя хамка, несмотря на то, что мы вместе были в больнице, вместе провели много как приятных, так и тяжелых минут, и если после всего этого она будет себя так вести, то большое спасибо, пусть забирает мой билет и сама тащится все эти километры, в том числе и те, которые, по идее, я бы должен проехать. А лучше — пусть остается там навсегда, потому что там ей и место. Магда говорит, чтоб я душу ей не мотал, потому что ей сейчас нужно как раз другое, и чтоб я определился с последовательностью: или я иду с ней, или перед ней, потому что у нее почти инвалидность и она с такой скоростью идти не может.

Я у нее спрашиваю, у кого она брала этот товар, потому что лицо и внешний вид у нее налились кровью и вообще на вид нездоровые; честно говоря, выглядит она так, будто уже этого ребенка родила, только сразу же потеряла и теперь как раз ищет его на вокзале. Она говорит, что лучше мне не спрашивать, потому что у Варгаса. Я ей говорю, это плохой товар, женатый, нечистый. Она говорит, что супер. Я говорю,

чтоб она меня не заводила, не надо, потому что плохой он, дерьмо, а не товар. Она говорит, какого хрена я ее обижаю. Я говорю, ладушки, если она хочет задвинуться этим Варгасовым говном, то ради бога, блин, дверь открыта, порошок для чистки ванны всегда в ее распоряжении, но если ребенок родится уродом, одна нога длиннее, другая короче, плюс полное генетическое отсутствие волос, то это не моих рук дело. Она мне на это говорит, что лады, раз я настаиваю, давай проверим. Как только подъехал поезд, мы сели, она хоп — достает журнальчик и насыпает мне дорожку от окна и через всю страницу.

Когда я просыпаюсь на море, то, если что и помню с того времени, когда еще что-то соображал, то только одно: что я втягиваю ноздрей порошок через шариковую ручку, а на ней надпись: Здислав Шторм, "Производство песка", ул. 12 Марта, дом такой-то. Помню, как я себе представил этот произведенный с помощью передовых технологий, передовыми методами обработанный, передовыми методами упакованный в мешок, передовыми методами отправленный как в розницу, так и в оптовую продажу песок. Помню эти свои мысли с чисто экономическим уклоном, которые могли бы спасти страну от уничтожения, о чем я, вообще-то, уже упоминал, от уничтожения, на которое обрекают нашу страну гребаные аристократы в пальто и белых халатах, потому что они, если создать им условия, тут же продадут всех нас, граждан своей страны, на Запад, в бордель, в бундесвер на органы, в рабство, короче говоря. Они продадут нашу страну, как первый попавшийся секонд-хенд, как кучу тряпья и изношенных куртяков с лейблом "Минск Мазовецкий", как кучу старых, изодранных, извиняюсь за выражение, ремней. Я так понимаю: единственное наше спасение — это повыгонять их из ихних домов, выгнать их всех из многоэтажек и сделать наше отечество сугубо сельскохозяйственным отечеством, которое будет заниматься производством — пусть даже и на экспорт — обыкновенного польского песка, который можно сбыть даже на мировых рынках Европы. Вот такие у меня, левые по сути, взгляды, согласно которым я считаю, что надо расширить сеть мусоропроводов в панельных домах, чтобы проживающие в многоэтажках крестьяне — потому что, по моему мнению, именно крестьяне должны быть оплотом — могли выбрасывать еще большее количество разнообразных овощей и фруктов, именно в этом фишка, тогда их жизнь станет более механизированной, более удобной, одним словом, вообще резко повысится жизненный уровень.

Проснувшись, я помню все это как сейчас, потому что могу даже повторить свои мысли слово в слово, но, когда я просыпаюсь, Магды уже нет, хотя, возможно, ее еще нет или вообще нет. Я встаю с очень холодной в эту пору ночи земли и отряхиваю с джинсов и куртки песок. Магды нет, это я заметил сразу, что меня просто взбесило, хотя, оценив ситуацию, я вижу, что кошелек, а это ключевой момент, и документы на месте. Я плохо себе представляю, что было, когда мои экономические размышления временно прервались, и что я делал до того, как проснулся. Это хуже, чем, извиняюсь за выражение, полный аут. Вокруг огромное количество песка, что, как я считаю, является самым настоящим антиэкономическим раздолбайством, можно даже сказать, халатностью, и что, не буду скрывать, лично меня доводит до белого каления. До белой

горячки, одним словом, до опасной болезни под заглавием бешенство. Поэтому, когда я иду и вижу, что валяется целлофановый пакет, я без тени колебания насыпаю в него песок. Потом я его закручиваю и прячу на случай отсутствия наличных, на случай рыночной лихорадки, потому что впоследствии это может оказаться весьма ценным фактом, можно даже сказать, вообще плюсом. Потом я нашел еще два пакета побольше, и меня больно укололо прямо в сердце полное отсутствие какой бы то ни было экономии в стране, где пакеты в таком хорошем состоянии валяются прямо на земле, обреченные на погибель и полную бесхозяйственность. Отданные на растерзание люмпен-пролетариату. Поэтому я обещаю себе, что Магда сейчас, скорее всего, вернется, потому что, например, пошла, скажем, поссать, и начинаю насыпать в пакеты песок. Я считаю, что его нужно собрать целиком и полностью, и как можно скорей. Потому что, если он попадет в чужие руки, нам конец. Его до последней унции растащат предатели.

Вот так я размышляю, таким вот образом. Я даже начинаю, что редко со мной случается, записывать разные мысли и расчеты на земле. К сожалению, пишу я очень быстро. Что оказывает влияние на мои буквы и цифры. Они, по сути, неразборчивы. Ну и хрен с ними, где-то поблизости я слышу, хотя вообще-то вокруг тьма-тьмущая, Магду, которая однозначно над чем-то смеется. Я думаю, чего она нашла тут смешного. Не конкретно, а так, вообще, ну чего тут смешного. И вдруг я ее вижу, хотя и не одну, а с кем-то еще. Однозначно, она не одна. Она с мужиками, блин, к тому же с двумя. Это заставляет меня действовать. Реагировать. Потому что, даже если между нами все кончено, свою любовь — как я помню — она отдала мне, и свое тело тоже. Так что я чего-то тут не понимаю, когда она идет таким бодрячком и строит из себя модель. Крутит задницей так, что мама дорогая. На ногу свою уже не хромает. Модель, актриса и одновременно певица в одном флаконе. Перетраханная вдоль и поперек. Живая реклама дырявых колготок, покупайте дырявые колготки, последний писк моды, самые что ни на есть стильные. И не забудьте про костыль под мышкой, и обязательно чтоб был краденый.

— Что, блядь, — говорю я ей, поскольку эта неожиданная ситуация выбила меня из размышлений.

А она говорит этим мужикам: вот это и есть мой психофизиологически недоразвитый брат.

— Ну, чем мы тут занимаемся, а? — это она мне. — Рисуем на песочке, вот умничка. Мне с ребятами еще по делам надо, твои костыли я тебе оставляю, если соберешься домой или еще куда, обопрись на костыль, так удобнее.

Я какое-то время стою с прутиком в руке, один из этих кентов, по виду явно извращенец и тайный пидор, весь в черной коже, свитер под ремень, говорит: знаешь, что, Магда, вы вообще-то не похожи, хотя вроде как ты его сестра. А она говорит: ну. Такова жизнь. Зато у нас одинаковые фамилии. А потом говорит, это уже мне: слышь, Сильный, какая у тебя фамилия?

— Червяковский Анджей, — отвечаю я согласно со своими убеждениями.

А эта дрянь коварно так поддакивает:

— Вот именно! И меня тоже именно так зовут. Червяковская моя фамилия.

Я все еще молчу. Второй чувак подходит поближе, он вроде как более спортивного телосложения, весь в спортивном костюме, и говорит: смотрите, он тут чего-то написал. Тут они все вместе нависли над моей писаниной и стоят, как ни дать ни взять министерство образования и спорта, и пробуют прочитать. Как я уже раньше говорил, буквы получились неразборчивые, не буквы, а скорее абстрактные знаки, можно даже сказать, что в природной флоре и фауне вообще нет таких знаков.

— Ну так он же того, — говорит Магда. — Потому и пишет такой азбукой. Это такая специальная азбука для психов и даунов.

Тут они уже совсем собрались отчаливать. Магда явно хочет вильнуть хвостом и скрыться в синюю даль, отвалить в даль с этими двумя чмырями. Трехчленная комиссия по делам образования и спорта, вонючий педрила занимается образованием и буквами, а Магда с этим, в спортивном костюме, работает по спортивной линии, классно работает, прям вижу.

Я говорю так: поди-ка, шалава, сюда, на минуточку, вот сюда, в сторонку. Поди, не бойся, не врежу пока. Потому что от шока, который испытали мои убеждения и чувства, я стал совсем беспомощный, как ребенок. Совсем бессильный. Вообще-то я по своей природе не такой уж типа и чувствительный, потому что, признаюсь открыто и по-честному, мне нечего скрывать и стыдиться — в моем прошлом, еще совсем недавнем, характер у меня был вообще-то взрывной, реагировал я нервно, что вообще-то даже отражалось на наших отношениях с Магдой. Чуть что — всё, держите меня сто человек. Но тут была кровная обида, нанесенная мне безо всякого участия моей вины. Я вдруг стал ранимым и мягким. Потому что это была уже очередная обида, нанесенная мне как последнему чмо.

Я тогда говорю: ну-ка, поди сюда. Я хочу тебе кое-что сказать. Вижу, она растерялась. Она вся в сомнении и типа даже боится. Знает, в чем фишка, знает, что между нами теперь все будет по-другому, вот и затрясла поджилками, обтягивает платье, смотрит то направо, то налево, то прямо. В разные стороны смотрит, в основном то в одну, то в другую сторону. Ты что, совсем дура, спрашиваю я ее, потому что мои нервы на пределе, мои чувства растоптаны, она просто меня добила, я просто как психически, так и физически живой труп.

Оба мужика смотрят на меня с сочувствием. Оба. Но им уже пора идти. Магда смотрит то на этого, в спортивном костюме, то на того, педика, у него — как я потом узнал — погоняло было Ласточка.

— Гля, как оживился засранец, — сказал он и показал на меня пальцем, а потом вдруг засобирался: ну, пошли отсюда.

Тут я уже завожусь не на шутку. Вот теперь точно пощады не будет, и пусть она себе не воображает, что со мной можно так обращаться, прощай, мол, Сильный, добрая душа, мальчик, поющий в церковном хоре, воплощение мягкости и доброты. Добренький дядя Сильный больше не

будет совершать чужие хорошие поступки за кого-то, пока эта кто-то прохлаждается на практике. Сильный больше не намерен отдуваться перед завмагом за краденые шмотки. Ладно б еще со вкусом, а то ж она их перла без всякого вкуса. Потому что Сильный — он такой, хочешь, порви с ним, пошли его подальше, а потом, если судорога в ноге, раз-два, один звонок, Сильный тут как тут, пол тебе под ногами вылижет, чтоб по чистому ходила. Сильный погибнет за тебя на польско-русской войне, заслоняя тебя от удара знаменем, красно-белым флагом. Хотя все твои подружки будут умирать от желания приложить тебе этим флагом за все твои, мягко говоря, аморальные проступки. Но Сильный заслонит тебя грудью и защитит. Все, дорогуша, тебе хана, теперь, когда я смотрю на тебя, я вижу, что вся моя любовь к тебе была в корне ошибкой. И что за вульгарное оскорбление, которое ты мне только что причинила, ты мне солоно заплатишь.

И тогда я принимаю правильное решение, что не буду больше чувствовать той любви, которая во мне проснулась, когда я в первый раз увидел тебя в машине Лёлика. И тут же из моих рук выпадает прутик, хотя только что, минуту назад, этим прутиком я написал на песке планы нашей будущей жизни, количество наших детей, расходы на квартиру, на химчистку, расходы на свадьбу и похороны, на совместное будущее. Теперь я одним махом вычеркиваю все это из памяти. Теперь я подхожу к тебе близко-близко и одной рукой хватаю тебя за волосы, которые когда-то так любил, хотя теперь уже ничего к ним не чувствую. И накручиваю их на свой кулак. И я спокоен, можно сказать, спокойствием работника мясомолочного комбината по убою домашней птицы.

И говорю, хотя сам дрожу всем телом, но не от страха, нет, от обиды: такое дело, ребята. Это моя девушка. Она просто закинулась по полной, хотя вас это не касается. Я не дефективный и не даун. А теперь я ее забираю. Вы, я вижу, ребята в порядке, привет вам от Сильного, спасибо, что ее сюда привели, эту падаль, эту гниду, которая сейчас мне ответит за все.

В душе я улыбаюсь. Потому что, вижу, мои слова их действительно унизили, даже, можно сказать, удивили. Моя сдержанность, моя сдержанная грусть. Это их совершенно ошарашило, даже, можно сказать, крайне ошеломило. Педик, который типа по образованию, еще пытался что-то вякнуть, да и тот, в спортивном костюме, тоже. Но я просто тащу ее в сторонку за волосы, все культурно, спокойно, без падлы, без понтов. Эти два остались стоять где стояли, Магда захлопнула пасть, как рыба в воде, а я иду спокойно так, сдержанно и тащу ее за собой. Тогда эти два типа задергались, о чем-то там стали перешептываться. Мне это сразу начинает действовать на нервы. Тогда я резко поворачиваюсь и спрашиваю: что, бля, бунт на корабле?

Они тут же хором затыкаются и отвечают в один голос: порядок, Сильный.

Их ответ меня растрогал за живое. Бывает же ведь, что перед лицом чистого хамства, чистой ненависти по отношению к другому человеку, хитрожопости и злобы человек с человеком все-таки могут найти общий язык, проявить солидарность и чувство локтя. Я именно так считаю, и это мои самые сокровенные взгляды и убеждения, но я стараюсь не говорить о них вслух. Хотя мои взгляды в данном вопросе именно так и выглядят: человеку нужно понимание, уважение и чувство локтя, потому что человек не виноват, что он родился таким путем, каким ро-

дился, и в такой, а не в другой форме. Как бы там ни было, а раньше, еще давно, меня не раз посещали сильные чувства религиозного, даже, можно сказать, сакрального характера. И оно во мне живет, оно и по сей день во мне сидит — это чувство по отношению к Фатимской Божьей Матери и даже к самому Господу Богу.

— Ребята! — кричу я, поскольку мы с Магдой отходим все дальше. — Будете у нас в городе, спрашивайте Сильного. У нас идет польско-русская война. Если что, какая буза, мало ли чего, спрашивайте меня, ребята.

Они смотрят нам вслед в полном шоке, однако опять повторяют в последний раз: все путем, Сильный. Хотя мы уже далеко, я догадываюсь по движению их губ.

Короче, разошлись мы с ними типа по-хорошему. А теперь самое время сплясать польку-бабочку с Магдой. Я сажаю ее на ограду пляжа. У нее на лице, на губах рисуется чувство боли, потому что я сравнительно сильно держу ее за крашеные патлы.

Мне в эту конкретную минуту даже трудно сказать, красивая она или, наоборот, желанная. Один глаз основательно размазался. Один шнурок от платья оторвался напрочь, и она пристегнула его булавкой. Внешний вид совсем испортился, потому что она явно перебрала, отчего у нее теперь забойно клацают зубы. Если ей предложить легально разводить амфу у нее на хате, она с удовольствием согласится, еще и спасибо скажет. Еще и поцелует на радостях. В руку, в губы и в обе щечки. Даже если потом ей придется заплатить за это ценой собственной жизни, ценой жизни своих собственных предков, своих соседей и дружков-приятелей.

— Во-первых, — говорю я ей, потому что ее, возможно, от боли, а может быть, и от стыда или из чувства вины всю перекосило, — куда делась твоя хрень в ноге?

Она молчит. Бубнит что-то себе под нос. И говорит: а ты что думал, я до конца жизни буду хромая ходить, с парализованной ногой, да? Ты этого хочешь, да? Ну уж дудки, хочется — перехочется.

Ну, тут уж я ей сказанул, потому что у меня окончательно и бесповоротно лопнули нервы:

— По-моему, Магда, ты сама умственно отсталая. Ты просто больная. У тебя на самом деле не ноги парализованы, а мозги. И чувства.

Но это еще не все, говорю я ей, одно из двух: или у тебя эта нога хромая, или нет. И нет такой возможности в честной и не замаранной политикой жизни, чтобы для меня эта нога была хромая и требовала хирургического вмешательства, а для каких-то хмырей она — нате вам — здоровая и ходячая. Такой возможности нет и быть не может, поняла? Одно из двух, Магда, и это я тебе прямо в глаза скажу, ты лучше возьми и запишись в сейм или в какую другую государственную думу и там можешь сколько угодно плести свою паутину лжи и клеветы, потому что там тебе и место.

Я совершенно спокоен, я холоден и тверд как лед. Она начинает плакать, но выглядит это как-то малоэффектно, я бы даже сказал, нетелевизионно. Я закуриваю, потому что, надо признаться, в последние годы приобрел эту дурную привычку. Но курю я не просто так, а в знак протеста, это моя личная борьба с засильем Запада, с американскими диетологами и американскими пластическими операциями, с амери-

канскими ворюгами, которые втихушку предали нашу страну. Я как-то даже признался Магде в одном таком разговоре, по-дружески, строго между нами, что, когда я поеду в Америку, я буду там курить сигареты прямо на улице, несмотря на то что у них это типа плохой тон, потому как весь Запад повально бросает курить.

Она тем временем говорит типа, можно даже сказать, мечтательно, что меня удивляет: ах, Сильный, как я хочу отсюда уехать. Охмурить какого-нибудь президента фирмы, какого-нибудь директора, всех этих набитых бабками ортопедрил, насшибать побольше бабла и уехать. С каким-нибудь любимым человеком. Может, даже и с тобой. Скорее всего именно с тобой, Сильный, потому что с тобой мне спокойно. Потому что в этой стране у нас нет будущего, нет шансов для развития нашей любви, куда ни глянь, везде насилие, война, пусть даже только польско-русская, ну эта, которая теперь идет в городе, так что нельзя шагу ступить, чтобы не наткнуться на русских.

Вокруг одни шесты, а на них флаги, куда ни глянь, везде бело-красные знамена. А ведь я хочу только твоей любви, но меня в любую минуту могут ударить или даже убить, к примеру. Первый встречный может убить. Человек человеку волк. А друг, бля, предаст.

Стоит очень поздняя, глубокая ночь, море, пляж. Вокруг ни одной живой души, те два хмыря уже давно поджали свои кожаные хвосты и испарились как камфара, будто их никогда и не было. Несмотря на оскорбление, которое она мне причинила, я не могу просто пропустить мимо ушей ее слова. Это выше моих сил. Потому что как бы там ни было, а с ее стороны это было хамство чистой воды, хотя теперь она нежная и романтичная.

Не говори так, Магда, потому что все равно я тебя не слушаю. Я тебя больше не хочу. Ни слушать, ни все остальное. Потому что твои слова полны лжи, отравлены ядом лжи и фальши. Я больше так не могу. Не далее как сегодня ты меня отвергла, если не принимать во внимание условностей временно́го летоисчисления. Потому что по законам времени это случилось типа вчера. Но так или иначе, ты растоптала мое чувство. А потом заявляешь, что все неправда, что у тебя судорога в ноге и ребенок. Что он тебя убивает и все такое. Ты обвиняешь меня, что это мой ребенок. После чего оставляешь подыхать на пляже, а сама связываешься с какими-то козлами. Судорога в ноге у тебя вдруг проходит. Ребенок тоже. Полная мобилизация. Нос по ветру, как рыба, почуявшая свежую кровь. Обо мне ты вслух, как Иуда, сказала, что я умственно дефективный. И не вздумай теперь запираться, это всё твои поступки, и ты их собственноручно совершала. А теперь ты, наоборот, опять говоришь, что меня любишь, но я, Сильный, последний раз тебе повторяю, что между нами все кончено.

Да, вот так я и сказал. Без залёчек, без особой горечи обид, без ботвы о какой-то там любви. Потому что, Магда, это тот тяжелый случай, когда нет никаких шансов на снисхождение. Ее способность не чувствовать и тени эмпатии меня просто пугает. А Магда опять в рев, причем рыдает все громче и все более убедительно. Говорит, что ее еще никогда в жизни никто так не обижал, как я, своей жестокостью, своей сухостью, своей ментально-непробиваемой скорлупой чувств. Можно даже сказать, чешуей, которая меня покрывает. Говорит, что те двое хотели

ее просто убить как собаку, и меня бы тоже убили. Если бы она не сказала им, что я умственно отсталый, они бы меня тоже прикончили. У них были пистолеты, пневматическое ружье, охотничьи ножи и другое оружие. Разное. Они прятали его под курткой, она сама видела, потому что они ей показали. И она притворилась, что я ее брат, у которого в башке винтиков не хватает, потому что хотела удержать меня от неминуемой смерти.

Мое терпение уже трещит по всем швам, я на грани шока и чего-то там еще, чего не могу назвать. Понятное дело: ведь то, что я слышу, это уже перегиб, преувеличение, чистой воды этическое очковтирательство, которое по большому счету просто невыносимо. Магда пользуется минутой молчания, которая воцарилась между нами. Пропихивает базар на тему своей доброты и самопожертвования, стала вдруг ужасно словоохотливая, тарахтит без умолку, как умственно отсталая шлюха, как шизанутая прошмандовка. Я говорю так: слушай, Магда. А она дальше свое. Я тогда спрашиваю у нее в лоб: у тебя судорога в ноге есть или ее уже нет?

А она мне отвечает, хотя и с явным трудом, поскольку от амфы у нее ярко выраженное сотрясение нижней челюсти, которая до потери пульса дрожит на ее лице и мешает говорить: есть или нет, пусть это тебя не волнует, потому что я отсюда сваливаю, я ухожу, понял, забираю свои манатки и линяю, потому как хамство и полное отсутствие у мужчины культуры и хорошего обхождения меня никогда не прикалывали, меня интересуют культура и искусство, мне нужна настоящая любовь до гробовой доски и то чувство, которое возникает между людьми разных полов. И мне насрать на твои лесбиянские заморочки, знаю, ты всегда считал, что у тебя стоит на лесбиянок, так вот, я тебе кое-что скажу, ты просто извращенец, как и все остальные, у тебя только одно на уме, одни извращения, хотя тебе отлично известно, что я не такая, меня это не колышет, меня от этого тошнит. Я даже думаю, что у тебя, скорее всего, просто гомосексуальные склонности, и хотя у меня нет доказательств, потому что в таком деле ничего доказать нельзя, но я тебе это скажу прямо в глаза, потому что это правда. И вот еще что: я тебя ненавижу, потому что ты примитивный и вообще пустой. Тебя не прикалывают картины, журналы и кино, а я всегда это любила, хотя у меня и не было возможности развивать свои интересы, скажу больше, я просто боялась выехать с чем-то таким, потому что ты мог бы ответить мне отрицательно, например, — нет. И вот еще, меня не интересует любовь в той форме, в какой тебе бы хотелось, и именно поэтому темы наших разговоров были такие натянутые и полные недомолвок. Потому что мое мировоззрение в большинстве процентов состоит из освобождения женщин из-под ярма, чтобы покончить с феодализмом на эту тему, в этом вопросе. Мое последнее слово, что хватит, и этот кулак я поднимаю против таких людей, как ты, которым нужно только одно — поклонение волхвов у своих ног. Если и дальше так пойдет, то я до последней капли потеряю собственную личность, свой личный индивидуальный масштаб, манеру поведения, взглядов; мне придется сложить их у твоих ног как верноподданническую дань. Скажу тебе одно, потому что как ни крути, а жизнь рядом с тобой превращается для меня в кошмар. Мои чувства погасли во мне еще вчера, и скажу тебе, что смотрела я тогда на Левого, потому что он лучше тебя, он знает, что нужно девушке, когда я была с

ним, весь мир казался мне преисполнен глубины и страдания, но именно из-за этой экзистенциональной черты в его поведении я чувствовала, что если в жизни что-то важно, так это умственное развитие, чтение и компьютерная грамотность. Что передо мной маячит механизированное, сплошь компьютеризированное будущее, обучение основам ксерокса, основам английского, заграничные поездки. И тут в моей жизни из-за Лёлика появился ты, хотя даже с ним я была счастливее, хотя Лёлик человек сухой и суровый и не позволял мне выражать собственный голос, собственное мнение. Твое присутствие убило во мне все, каждое рождающееся в моих недрах желание. Короче, я вообще не знаю, зачем я с тобой связалась, потому что, честно говоря, наши отношения с самого начала не складывались, сплошные конфликты, паранойя какая-то, и хотя я никому не говорила, но Левый мне еще тогда открыл глаза, он мне все про тебя рассказал, что ты просто мудак, который не имеет малейшего понятия о женщинах, и что, скорее всего, я буду твоим первым сексуальным опытом, если не считать Арлетки, между прочим, моей подруги, хотя ты в этом никогда не признаешься, потому что главная и основная черта твоего характера — лживость. И еще он признался, что никогда бы в жизни не позволил мне встречаться с тобой, потому что еще не было случая, чтоб ты употребил хоть одно из трех волшебных слов, пожалуйста, спасибо, извините, чтобы открыл перед девушкой дверь. Не говоря уже о чисто символической пресловутой перспективе.

— Что ты сказала? — говорю я, потому что из моего нутра исходит вдруг писклявый, я бы даже сказал, женский голос. Это результат чувства гнева, которое вдруг заливает меня, как океан, и в корне перечеркивает все рациональные импульсы, все рациональные реакции организма. И я ловлю себя на мысли, что не хочу, чтобы она отвечала на мой вопрос. Наоборот, я хочу ее убить, и это мое желание — единственный способ выразить мои впечатления от всего вечера.

Магда, хотя это имя я сейчас ненавижу до последней капли, и мое единственное желание — перечеркнуть в нем все буквы вдоль и поперек, чувствует страх за свои слова. Она явно стреманулась и жалеет, что на меня наехала. Видок у нее такой, как будто знает, что сейчас ей зададут жару. Скрючилась вся, скукожилась, башку втянула, ногу поджала.

— Это не я так сказала, — говорит она быстро, закрывая руками свою пустую до последней извилины голову, — это Левый сказал.

— Что Левый, что, блин, на фиг Левый, когда ты это сказала, падла, минуту назад, и я готов на суде присягнуть, что это вылетело прямо из твоей пасти, — говорю я, хотя, принимая во внимание ломку, говорить мне из-за трясущейся нижней челюсти не в дугу.

— Но это же Левый сказал, а не я. Да забей ты. Ты же знаешь Левого. Шизик. Я из-за этого с ним и порвала. Особенно меня достал его тик, ну, который у него в глазу дергается. Как на него ни посмотришь, у него все время глаз моргает. И зубы растут без малейшего смысла, не в ряд, как у всех нормальных людей, а наоборот: в разные стороны. Меня это сильно напрягало, когда мы целовались. Просто труба. Но хуже всего тик, — говорит она.

Что касается Левого, то с ним я еще разберусь, думаю я про себя. Вот только вернусь в город, сразу же и поговорим. Польско-русская война

на этом фоне лажа. Знамена и флаги тут не помогут, мольбы и просьбы, прости меня, Сильный. Ничего ему не поможет в кровавой бойне, которую я ему устрою. Один на один: с одной стороны — я, с другой — Левый. С моей стороны выступает Сильный, пламенный борец против двуличных взглядов на гребаный мир.

Ну все, конец телячьим нежностям, конец милосердию и жалости, которые до сих пор парили мне мозги. Сейчас тут будет настоящая резня с побоищем, слабонервным вход запрещен, детей просим закрыть глаза.

— Давай ногу, — говорю я Магде, потому что сыт по горло ее передовыми взглядами из журналов и газет, из прочитанного в темном углу пособия по освобождению женщин. Из гребаного пособия по левому феминизму. Все. Финиш. Конец доброте и нежности. Она мне говорит: оставь меня в покое, псих недоделанный, что ты собираешься делать. — Давай ногу и заткнись, — говорю я хриплым голосом, и я жесток, как никогда в жизни, даже в самых крутых разборках, даже со своими злейшими врагами, даже при самых паскудных ломках, когда снимался с кокса или анабола, я не был так жесток. — Не эту, ту, с судорогой, ту, где у тебя был смертельный недостаток калия или полихрома. — Тут она начинает извиваться и стонать, говорит: все будет, как ты хочешь, если ты меня отпустишь, я тебе все расскажу. Всю правду об этой ноге. Только пусти меня. Тебе одиночество в голову ударило. Тебе амфа по мозгам дала. У тебя люки запарило, вот и строишь из себя народного героя. Тоже мне Джек Потрошитель нашелся. Долбаный вампир из Мухосранска.

Все, тебе конец, Магда. Мне уже по барабану. То, что ты сейчас говоришь. Не вижу смысла, содержание смысла в твоих словах нулевое, потому что сама ты тоже без смысла, со всей своей литературой и образованием, со своими феминистскими закидонами, со всем этим твоим увлечением художественным искусством, точка, я сыт по горло. Больше ты меня уже не подцепишь, и пыль мне в глаза не пускай, потому что я знаю про тебя все, всю правду про твой псевдодиссидентский базар, про твой параментальный бордель, который ты, извиняюсь за выражение, содержишь вместе с этой дурой Арлетой. Давай ногу, потому что я не ручаюсь за свой гнев. Который и без того велик, а все время растет. Давай ногу. Ты спрашиваешь, если дашь мне ногу, скажу ли я тебе, что собираюсь с ней делать. Ладно, скажу, приготовься. А лучше закрой глаза и заткни уши, потому что в воздухе сейчас повиснет мат. И давай сюда эту ногу, без выкрутасов давай, хватит понты давить, лучше подтяни трусы, чтобы тебе было удобнее, и приготовься к быстрой смерти. Но перед смертью, в последние мгновения своей сраной жизни, посмотри, какое сегодня ночью красивое море, как оно классно шумит то направо, то налево, то вперед, то назад. Потому что потом ты его уже, скорее всего, не увидишь, разве что в аду. Если, конечно, твоя милая Арлетка пришлет на адрес твоего котла открытку с моря с самыми лучшими пожеланиями приятно отдохнуть, потому что она отлично проводит время и познакомилась с симпотным сорокалетним бездетным бизнесменом. Оглянись назад и посмотри, сколько ты всего еще могла бы сделать, пойми, что ты теряешь. Ты спрашиваешь, что я хочу сделать с твоей ногой, просишь не делать тебе больно. А я скажу тебе одно: ты лучше заткнись и, если у тебя еще остался товар, возьми заправься, а если нет, то

это не мои проблемы, можешь шибануться песочком, потому что сейчас тебе, когда я это сделаю, будет офигенно больно. Потому что, не знаю, в курсе ты или нет, но я тебя убью. То есть, вернее, я имею в виду, что я тебе отрежу твою модную ногу в колготке, что в твоем случае равняется смерти. Я уверен. Даже если ты не умрешь от послеродовой горячки, от так называемого кровотечения, все равно тебе конец. Ты не сможешь трахаться, а от этого твоя чудесная трахалка увянет, что для тебя смерти подобно. Костыли я тебе, конечно, оставлю. В трех метрах отсюда. А сам отойду в сторонку и буду смотреть, как ты ползешь и корчишься в предсмертных муках, извиваясь и хватая ртом воздух, как выброшенные на берег водоросли.

Так я ей, этой идиотке Магде, и сказал. А она в смех. Хрюкает от смеха, говорит, чтобы я отвязался, потому что она боится щекотки, а кроме того, у нее предменструальные боли, поэтому она вся на нервах и ее легко вывести из себя. Потом она вдруг трезвеет и говорит: Сильный, ты ведь это не взаправду, а? Чего ты этой финкой, ножиком этим машешь, а? Совсем сдурел, что ли? То, что ты шизанутый, мне всегда в тебе нравилось. Но этот ножик для чистки картошки ты лучше от меня забери, спрячь куда-нибудь подальше, потому что я не переношу вида крови, даже своей собственной. Небось у мамаши эту хрень из буфета спер? Порезать меня хочешь? Ты что, извращенец? Хочешь устроить тут соревнования по мясоубою на живом человеке? Ты вообще в порядке или нет, в конце концов, ты мне друг или какой-то сраный педик? Если хочешь так развлекаться, потому что у тебя от этого стоит, то займись самообслуживанием или иди на польско-русскую войну и режь кацапов, потому что я знаю, что ты против русских, хотя и не хочешь в этом признаться. Что и требовалось доказать, потому что ты весь насквозь фальшивый, ты просто фальшивомонетчик настоящих чувств, ты никогда не признаешься в своих чувствах, не выскажешь своих взглядов, а мне и без того известно, что они типа ультралевые, что, не так?

Тут, хотя меня оскорбили, я смотрю на нее и вижу, что она красивая, не отрицаю. И это обязывает меня к разным жестам по отношению к ней. Вообще она такая красивая, такая хрупкая, что, когда я смотрю в ее сторону, я начинаю сожалеть обо всех словах и выражениях, которые были тут произнесены и сказаны. Мне вдруг стало жалко ее, потому что у нее, наверное, было трудное детство или даже еще хуже. Не везло ей по жизни, с самого начала отверженная, обманутая правительством и государством, лишенная возможности перспектив. Когда я смотрю на нее, мне приходит в голову мысль, что, может, ее трагедия в том, что она родилась не в том месте и не в то время. Я представляю, что в другом месте, в другой стране она могла бы стать, например, королевой при дворе. И никто бы не просек, что это простая девчонка, никто — ни король, ни даже гофмейстер. И если бы не было между нами так хреново, всех этих напрягов, всей этой паранойи, претензий по поводу и без повода, обид друг на дружку, все было бы по-другому. Я бы взял ее, поставил на скамейку. Снял бы с нее колготы и натянул обратно, чтобы они не были такие перекрученные и рваные, задрал бы ей платье и одернул по-новому, чтоб сидело нормально, как у людей, а если бы у меня были бумажные платки, о чем мне уже вообще-то Левый напоминал, потому что бумажные платки — та вещь, которая, как предмет личной гигиены, должна быть даже у самого крутого мачо, мало ли когда пригодится, я

вытер бы ей лицо, стер эту мазню, которая живописным пейзажем раскинулась вокруг ее глаз. Эту яркую помаду в окрестностях рта, как недоеденный десерт.

Вот что я хотел бы сделать. Однако она тем временем надулась, будто сама как минимум царица этой скамейки, а я распоследний бомж, нелегал без паспорта и визы, вообще без ничего.

— Неплохой сегодня денек, — начинаю я издалека тоном типа даже дружелюбным.

А она на это: ой, у меня, кажется, начинается ломка, меня тошнит, и я сейчас блевану тебе прямо на штаны, если ты сейчас же не насыпешь мне хоть крошечную дорожку. У меня такое неотразимое впечатление, что я уже, наверное, мертвая или почти неживая. Одно дуновение ветра, один-единственный порыв с его стороны — и все. Прости, но сейчас я ранима, как героини сериалов. Ты знаешь, когда в хозяйстве отрубают курице башку, она еще бежит через весь двор без головы, метров пятнадцать. Я именно так себя чувствую: как бегущая через весь двор на последнем издыхании курица с отрубленной головой. Но я знаю, что сейчас я несомненно умру. Если бы ты, Сильный, хотя бы раз в жизни мог мне помочь, меня понять.

Все, что было, все остатки, которые я нахожу в ее сумочке, потому что Магда уже однозначно отдает концы, я насыпаю ей на рекламный проспект супермаркета "Хит". Который я нашел неподалеку рядом. Утро уже. Я говорю, чтоб она не умирала, что наша любовь, как бы ее ни гноить, ни уничтожать, она всегда жива. Тем временем Магда идет с головой, откинутой по отношению ко всему телу назад, и только поддакивает для разнообразия. Ее лицо заострилось, стало типа какое-то анемичное. Как будто внутри, под кожей, чернозем вместо мяса. Я в шоке. Мы идем на вокзал, хотя могли бы взять тачку. Но типа нельзя, потому что со стороны Магды может быть рвота, ее, наверное, будет тошнить землей, потому что именно так в эту минуту она и выглядит. Кроме того, я думаю, что приятно пройтись ранним утром для здоровья. Плюс это может оказать положительное влияние на Магду и ее симптомы, а значит, изменить создавшееся положение в нашу пользу. По дороге мы заходим на бензоколонку, где я покупаю Магде "Лизу", чтобы она почитала какой-нибудь женский журнал для девочек-подростков. Хотя вообще-то я типа решительно против. Магда говорит, что это хороший знак, что я мягкий, романтичный и добрый, как никто другой до меня. В подарок к журналу присобачили джинсовую сумочку из какого-то материала. Гляжу, Магда это дело сразу же просекла, что в ее состоянии прогресс, потому как сразу видно, что она вдруг стала радостная и счастливая, хотя вообще-то выглядит ужасно. С жаром, с воодушевлением высыпает свои вещи из старой сумочки прямо на тротуар. В основном жвачки и всякие женские прибамбасы, а именно: дезодоранты, помады, мундштуки и разные штуковины для улучшения красоты. Я начинаю выходить из себя, потому что хотя и утро, но такое поведение в общественном месте это уже западло, я даже говорю, чтобы она не устраивала тут срач посреди города. Она говорит, что ей пополам, все равно никто не видит, она может здесь даже пописать, если ей вдруг захочется. Потом выкидывает на фиг свою сумочку, а в новую собирает все назад, на тротуаре остаются только пустые пакетики от амфы и мусор от

жувки. А также ручка с надписью "Здислав Шторм" и успокаивающие растительные таблетки, которые я узнаю как облупленные. Потому что от них воняет куриным пометом.

— Э, ручку ты оставь, может еще пригодиться, — говорю я. А она мне, что в последнее время худеет и сбросила уже с плеч десять килограммов, а ручку она выкинула окончательно и бесповоротно, потому что с ней у нее связаны плохие воспоминания насчет Варгаса, который ей эту ручку подарил.

Я задумываюсь, откуда у нее эта бесповоротность, этот дар принимать окончательные решения. Потом, ясный перец, билеты-говнеты, очередь, мы еще за углом вокзала пописали, выкурили по ментоловой сигарете L&M, потому что других не было. Я ей говорю, что женщины исключительно обижены природой, потому что, когда она писает, то выглядит как отлетающий летательный аппарат. Магда говорит, что хули мне до этого и чтоб я лучше занялся собой, как сам писаю. Она както вяло читает свою "Лизу" и говорит, уеду, уеду отсюда куда-нибудь, например в другую страну. Я говорю, куда, к примеру. Она говорит, да хоть бы в теплые края. Между делом она то и дело бегает в угол вагона, потому что кроме нас нету почти никаких пассажиров, а как бы там ни было, блевать ее тянет со страшной силой, не говоря уже о других деталях. Потом она возвращается и спокойно продолжает читать. Говорит, что поедет в те края, где есть все эти тряпки, эта косметика, эти огуречные кремы из всего, чего душе угодно, потому что только там она сможет нормально жить, если я хочу быть с ней, маски для кожи глаз, всякие кремы, соль для купания. Я говорю, что да, хочу, хотя мое понимание вещей в этом вопросе совершенно другое, я бы сказал, более патриотическое и с левым уклоном. Ну, и я разъясняю Магде, какое всамделишное положение дел у нас в стране. Рассказываю ей, как ежедневно и повсеместно правящая, имущая раса эксплуатирует трудовую, неимущую расу. Доказываю, что это рабство. Что Запад прогнил и воняет, портит окружающую среду, загрязняет ее разными противоестественными химикатами типа ПВХ и ДСП. Что господствуют там жидоубийцы и кровопийцы рабочего класса, которые себя и своих внебрачных детей содержат на доходы от угнетения трудящихся, что они процветают благодаря тому, что втюхивают людям фирменное говно в фирменной бумажке, которое продает фирма "Макдоналдс".

— Врешь, — говорит Магда с очень озабоченным выражением лица, в котором не осталось ни кровинки. Она как ребенок, на глазах у которого разоблачили обман, что Дед Мороз не настоящий, кстати — еще один вонючий западный обычай, который мы как дураки в полный рост заимствуем в виде Санты-Клауса. — Это не говно, потому что я это ела.

Да, я тоже ел, но, не хочу тебя огорчать, это именно человеческое говно. Впрочем, не исключено, что коровье или даже собачье, или же говно домашних и цирковых животных. Я ей это так образно объясняю, чтобы она наконец поняла. Говно сначала обработали, химически продистиллировали и изменили его состав на другой по составу и вкусу. Это всего лишь вопрос специальной подготовки, западные технологии, производственные процессы и процедуры, презентабельность. Одно говно идет в основном на эти их булки, другое больше подходит для мяса, из третьего делают лук, из четвертого — из говна самого низкого качества — кетчуп и горчицу.

Магда отказывается верить, говорит: откуда ты знаешь, блин, ты чего мне мозги паришь?

А я ей на это, потому что вещественных доказательств у меня нет, а я не хотел бы ее в этом вопросе подвести, говорю, что из разных справочников по делам левого движения, анархии и свободы.

Она вылупилась на меня и говорит: говно не говно, а есть можно, потому что вкусно.

А я ей на это: вот тут я согласен, и мы вместе пялимся в окно, мечтая о разных пищевых и съедобных продуктах, потому что давно уже ничего не ́итали, ни обеда, ни ужина, если не считать дринки и амфу. Потом мы молча тащимся ко мне на хату, потому что в настоящее время она внутри как раз свободна и пуста. Все кончено, наша любовь погибла, мы оба за эту полную любви и разных событий ночь уже сильно устали. Магда подходит к зеркалу, подтягивает колготки, натягивает кожу лица и с претензией в голосе спрашивает: почему ты мне не сказал?! Почему ты мне ничего не сказал?

— То есть в каком смысле? — отвечаю я вопросом с дивана, потому что вся эта ситуация меня уже порядком запарила. Она говорит: что́ я так выгляжу! Что я такая бочка! Даже хуже — я просто, блин, толстая! Это что такое? Все, что на руках похудело, теперь на лицо перебросилось? Весь жир, все мясо, которое на плечах похудело, теперь на лице! Твою мать! Я выгляжу как свинья! Глаза и губы двойные! Гля, блин, их на моем лице два раза повторили!

Что было дальше, я, увы, не в курсе, потому что, хотя она орет не своим голосом и бьет об умывальник разные косметические штучки, я засыпаю и просыпаюсь уже в следующий раз. А что мне снится, это, я извиняюсь, не ее поганое дело.

***

На мобильник приходит сообщение от Анжелы. Привет, Сильный, мы познакомились там-то, интересно, мы еще встретимся или нет. Такое вот сообщение. Такой вот эсэмэс. Я просыпаюсь в этот момент ото сна, в постели, на диване предков, ото сна, возможно, длинного, хотя, возможно, и короткого. Потому что сколько сейчас времени, на этот счет у меня сомнения. Может быть, даже нисколько, потому что — конец света с апокалипсисом, что видно по синдромам моей психофизиологии. Потому что со мной явно что-то не то, особенно в физическом, в физиологическом смысле. Тут я замечаю один невыносимый для восприятия и логического объяснения факт. Прямо рядом со мной однозначно лежит и спит Магда. На этой почве у меня начинается ажиотаж мыслей и образов. Классический глюк. Лежит она однозначно рядом со мной, но вот живая или неживая, в этом я тоже сомневаюсь. Меня охватывает паника, я даже чувствую что-то типа страха, потому что выглядит она не то чтоб плохо, но как-то не очень живой, я бы даже сказал, совсем мертвой. То дышит, то, наоборот, опять не дышит, специально чтоб я еще больше испугался. Но при этом она ни на гран не меняет положения тела. Я пытаюсь вспомнить какое-нибудь событие вчерашнего вечера, какой-нибудь факт, во время которого Магду настигла неминуемая смерть. И не могу вспомнить.

Тем временем, хотя каждое, даже малейшее, мое движение почти смертельно, а боль и страдание — мои неотлучные спутницы, я тянусь к ее сумочке. За что дорого расплачиваюсь болью в башке и всех человеческих органах, какие только есть в моем теле. Однако я должен вывалить на одеяло всю эту срань, которую она носит с собой, хотя содержимое ее сумки мне, извиняюсь за грубое слово, сугубо фиолетово. И все это хождение по мукам из-за одного гребаного панадола в форме таблетки.

Возможно, из-за него я даже предаю свое антиглобалистское мировоззрение, свои взгляды и убеждения. Ведь панадол изготовляют из ядовитых животных, ядовитых растений и межчеловеческих отходов Запада, из западных минералов, из отравляющего водопои всего мира парацетамола, взвешивая его на стерильных весах стерильными гирьками.

Однако несмотря ни на что — это хорошее, можно даже сказать, обладающее лечебными способностями средство. По барабану, чей это яд. Пчелиный, осиный или, может, даже трупный. По форме это обычная, самая обычная таблетка, предназначенная и удобная для употребления. Она хорошо действует во время ломки на общее самочувствие, которое у меня, например, теперь такое же, как во время болезни с ознобом. Кто знает, может, он лечит даже кашель или понос? Одним словом, может вылечить все.

Тут я нахожу ручку "Здислав Шторм". Меня прямо переколбасило. Перед моими глазами, как фата-моргана, проносятся все события вчерашнего вчера. Хотя, если считать хронологически, возможно, все это произошло уже сегодня.

Это как в минуту смерти: вокруг дым, а перед тобой как на ладони вся твоя жизнь в одном фотокадре, как на слайде. Так вот, я помню, что много слов и событий напрямую касались вопроса смерти, умирания и страданий. Я смотрю на Магду, которая мало того что глаза закрыла, так еще и ни фига не шевелится. Я думаю о ребенке, которым она хвасталась, что у нее есть, и думаю, что, может быть, пока я не смотрел, она — добитая на смерть амфой — родила его и умерла при родах. Но эту рабочую версию я отбрасываю, потому что помню, что потом на этом диване мы трахались, что взаимоисключается, потому что с ребенком, со всеми этими биологически-физиологическими заморочками, которые вроде как должны потом быть, мне кажется маловероятным.

Потом я вспоминаю свой аффект, который склонил меня к неудержимой агрессии с применением острого предмета. Вспоминаю, что хотел отрезать ей ногу в области ляжки. Меня это парит, мне в голову лезут мысли, что я это сделал. А теперь у меня временная, вызванная шоком преступления и эскалацией жестокости, амнезия. Червяковский Анджей — тут все сходится. Но чтоб я ей ногу отрезал, это я вычеркнул из памяти, вполне возможно, что уже безвозвратно. Весь внутренне содрогаясь, я сую руку под одеяло и ищу ее ногу, ту, с судорогой, которая, насколько я помню, должна быть ближе к стене. Нога на месте и чувствует себя хорошо, даже вроде бы урчит, как собака, любующаяся собственными испражнениями. Цвет лица у Магды тоже примерно такой же, зеленоватый какой-то, части ее тела разбросаны по всему дивану, она лежит, как жертва убийства, но ее явно никто не убивал, и в бою за польско-красное знамя она тоже не полегла, не погибла на войне за флаг. У нее даже свежий макияж для сна нарисован, старые разводы она

смыла, а новые назад нарисовала, немного криво и как бы наоборот, но это просто от амфы, от этой ничем не обоснованной ломки у нее тряслись грабли, и она наставила себе разных черточек и точек, как будто по ее лицу прогулялась вся азбука Морзе. Глядя на все это, мне, возможно, и не стоит делать таких намеков, но скажу одно, когда я был маленьким и потом, когда вырос тоже, я никак не мог понять, что из них ресницы, а что брови. Глаза, конечно, я знал, но вот брови и ресницы были для меня черной магией. Так же как пеньюар и педикюр. Полный завал. Китайская проповедь в польском национальном костеле. Из-за этого меня преследовала буквально лавина разных личных и интимных ситуаций, в которых я вел себя в корне ошибочно и неправильно. Но всегда как-нибудь да выкручивался.

Раз я уже знаю, что у нее все пучком, то сгребаю со своего брюха весь неорганический заграничный хлам, который я вытряхнул из ее сумочки. Сумочки с развеселой рекламной надписью "Лиза". Я стаскиваю с себя одеяло и думаю про себя все те мысли, которые я уже сказал, а сам на цыпочках иду на кухню.

Где смотрю на свой телефон с буквами текста эсэмэса от Анжелы. Поэтому я сразу же ей звоню. Раз-два-три. Она веселенькая. Может, еще датая с позавчерашнего, когда мы познакомились. Я говорю ей, что она очень красивая и очень хорошенькая, что она произвела на меня неизгладимое впечатление как женщина и как девушка тоже. Ну, такой мужской треп, телефонный съем, красивая, мол, и хорошенькая, просто классная, и очень симпатичная опять же. Я говорю ей, что у нее классный характер и что это мне в ней нравится. Она спрашивает, какая музыка меня прикалывает. Я говорю, что всякая понемногу, что вообще-то всякая. Она говорит, что тоже. Подводя итоги, мы супер побазарили, дискуссия прошла, так сказать, на высоком культурном уровне. Затронули несколько тем из области культуры и искусства, она: какие я люблю фильмы, я, что она очень красивая, но самое красивое у нее лицо, а фильмы я люблю разные, но больше всего разных актрис и актеров. Что из нее тоже могла бы получиться неплохая актриса, модель. Она говорит, что я заливаю, я говорю, что, если она мне не верит, это уже ее проблемы, хотя пожалуйста, я могу поклясться всеми святыми. Она на это отвечает, что должна кончать. Я ей на это, видела ли она "Быстрых и бешеных". Она, что, может, да, а может, и нет. Я предлагаю пересечься, видак посмотреть. Она спрашивает, есть ли у меня девушка. Я говорю, что еще нет, потому что я не могу прийти в себя после последней трагической связи, что-то типа любви, обреченной на гибель не по моей вине. А она мне говорит, что любит, когда парень романтический и нежный, но одновременно в нем должна быть твердость и мрачность. Чувство юмора, чувствительность, любовь к приключениям, к прогулкам вдвоем, к романтическим ужинам при свечах, к долгим прогулкам вдвоем вдоль морского берега, к долгим разговорам вдвоем обо всем на свете, к романтическим прогулкам, к длинным и нежным письмам, и чтобы был открытый и с веселым чувством юмора, настоящий приятель и друг, искренний, нежный, с широким жестом, культурный, увлекающийся искусством и любящий задушевные разговоры о скоротечности жизни. Я отвечаю, что тоже люблю таких девушек, хорошеньких,

красивых, с чувством юмора, которые любят крутое кино, боевики и послушать вдвоем хорошую музыку, любят развлечься, потанцевать, симпатичных, с хорошей фигурой. Она говорит, что я заливаю. Я возмущаюсь. Потому что, если я что-то сказал, значит, это правда, хотя бы в силу факта, что слова уже прозвучали. А даже если и не правда, то всегда еще может ею стать. Тогда она спрашивает, знаю ли я, что на наших землях идет польско-русская война под бело-красным флагом, которую ведут коренные поляки с русскими, которые воруют у местного населения акцизы и никотин. Я говорю, что первый раз слышу. А она, что именно так оно на самом деле и есть, что в народе говорят, будто русские хотят поляков прокинуть и основать тут русское или даже белорусское государство, хотят позакрывать школы и учреждения, поубивать в роддомах польских новорожденных младенцев, чтобы исключить их из общественной жизни, и наложить дань и контрибуцию на промышленные и продовольственные товары. Я говорю, что они просто свиньи, просто козлы какие-то, уроды.

Тогда она говорит, что должна кончать. Спрашивает, почему я говорю таким тихим голосом, как будто специально. Я говорю, что прямо рядом со мной в комнате спит моя мать, у нее крутая ломка. Она спрашивает, какая такая ломка у моей матери. Я говорю, что моя мать это такая мать, которая любит иногда оторваться, вмазаться как следует перед и после работы. Анжела смеется, говорит, что у меня веселое чувство юмора, за что она с ходу дает мне сто очков. Я говорю, что спасибо, мы это еще обсудим, потому что она классная девчонка и по характеру, и по нраву, что меня особенно очень в ней привлекает.

Я иду в комнату, где настоящие содом, гоморра, разгром, бардак и завал. Диван какой-то вздыбившийся, всклокоченный, безумный. Башка трещит. Ручка "Здислав Шторм" катается по всей комнате, словно по наклонной плоскости. Вдоль и поперек. Жевательная резинка в виде цветных красных, голубых шариков сыплется из сумочки Магды на линолеум как град и снег, погодные осадки. Барахло, шмотки, колготки. Как будто по ним тайфун прошелся. Шмотки без реального содержимого. Занесенные ураганом, который дует из окна. Люстра качается туда-сюда. Грязь, на мебели пыль. Одним словом, хаос, паника. Магда на диване в двусмысленной позе, как королева мусорной кучи, в ночной рубашке моей собственной матери, что меня просто бесит. Играет в развивающие игры на своем телефоне. Сует язык в пакетик из-под амфы, который нашла в моем кармане. Она безнадежна. Лентяйка, от которой нет никакого проку. Она видит меня, своего парня, но по ней не заметно ни тени радости. Скорее неожиданное отвращение, разочарование.

— С кем это ты трепался? — говорит она мне, но сначала снимает со своего языка пакет из-под амфы.

— Ну и с кем я, по-твоему, трепался? — отвечаю я ей тоном несколько враждебным, но это именно то состояние неприязни и напряга, до которого она меня довела своим видом.

— Ну да, трепался, как это ты не трепался, если трепался? Даже я слышала, так что есть свидетели. Только ты говорил как-то странно, правда, я еще спала. Так, наверное, подводные рыбы слышат наши разговоры людей. Бу-бу-бу тары-бары. Вот и я, в полусне, буквально все

именно так и слышала. А что касается того, что я из этого поняла, то ты постоянно повторял слово "мать".

Ну, тут я ей говорю, потому что мне уже на нее смотреть просто впадло: это моя мазер звонила мне на мобильник, не знаю, ты в курсе или нет. Сказала, что сейчас будет дома и что тебе отсюда лучше линять в темпе вальса, ясно? Потому что если она тебя увидит, убьет как бешеную собаку. Потому что ты, Магда, не то общество, о котором она мечтала для своего сына. Потому что у нее есть принципы, и она считает, что девичье сокровище это скромность, а у тебя ее ни на грамм, даже меньше, чем культуры. Весь район знает, что ты амфой балуешься, драгами и водишься с кем попало. Что на тебе вообще клейма негде ставить, а меня ты уже морально и ментально уничтожила как личность. Она сказала, что если ты еще здесь сидишь да еще расфуфырилась в ее ночную сорочку, в ее шмотки, то тебя ждет мучительная смерть. Поэтому давай быстро дуй отсюда восвояси, если не хочешь подложить нам обоим свинью. Мне пришлось ее успокаивать, я ей так сказал: мать, не волнуйся. Магда спит исключительно в чулане, в подвале, принесла с собой собственную ширму и отгородила себе закуточек, и кипятильник принесла. Там она и спит, а наши вещи и банкноты она не трогает.

Магда молчит, но вдруг взрывается. В нездоровой форме. Совершенно непонятной. В форме чего-то среднего между кашлем и гневом. Начинает собирать свои манатки, шмотки, колготки, прям тебе молниеносная сегрегация отходов. Она явно язвит. У твоей старухи, говорит, не все дома, как, впрочем, и у тебя, такая же дефективная. Люди говорят, что она ваш дом русскими панелями облицевала, и что эти панели, этот сайдинг уже вот-вот в самое ближайшее время отклеится.

Тут она натягивает колготы, которые откуда-то вытащила. Стрелки трет пальцами, как будто от этого они срастутся и их будет не видно. Смотрит на меня типа с сочувствием и говорит: потому что панели-то русские. И эти панели как ебнутся с большой высоты, и конец всей семье. Сам подумай. И лучше сорви этот сайдинг, пока не поздно. Я тебя, Сильный, предупредила. Представь себе: гриль на свежем воздухе, все чудесно-расчудесно, вкусно пахнут ребрышки из супермаркета "Хит", твоя старуха наклоняется над грилем с кочергой, твои братишки — с подручным набором приправ. И вот, Сильный, вы все наклонились над грилем и глядите на него как на неземное явление, как на затмение солнца. А тут хрясь! хрясь! хрясь! — эти панели падают прямо на ваши генетически дефективные головы, будто какие-то гребаные метеориты, сталактиты или планеты с неба. Один на твоего братана. За барыжничество, за его эгоизм, раздолбайство, за то, что он трахнул Арлету, а потом бросил, бросил на первой же остановке. За то, что водится с русскими. Хрясь ему по башке. И в больницу, в отделение для заразных больных. И лучше сразу в закрытое, с полным карантином. Хрясь! Следующий на твою мать. За поганый язык, за весь этот "цептер", на котором она бизнес делает и гребет нехилые бабки. За офигительные цены в безумно дорогом солярии. За все зло, за то, что она погубила нашу с тобой, Сильный, любовь. Хрясь. И в карантин!

Тут Магда, потому что видит, что хотя я со своей стороны пока еще молчу, но во мне уже вскипает потребность реакции, посылает мне очаровательную, но одновременно язвительную улыбку. Как будто хочет сказать: сорри, Сильный, что твоя семья компрометирует тебя на весь город. Ничем не могу помочь. В крайнем случае, просто старайся не показываться в городе, спрячься дома. Потому что среди нормальных людей тебе места нет. А сама рыщет по квартире. Шлепает подошвами по линолеуму. Отвратительная. В одних колготках.

На твою собаку следующая панель. Хрясь! Прямо по башке. Потому что это бешеная, патологическая собака, состоящая из одного живота. Ноги — по нулям, руки — по нулям, голова — остаточное явление. Как вся твоя семья.

Она говорит эти слова, а сама приносит из ванной зубную щетку моей матери, выжимает на нее пасту и, обурев от наглости, чистит свои не то чтоб очень удачные зубы. Но это, блин, еще не конец ее речи, потому что несмотря на помехи в виде зубной пасты, щетки и зубов она гонит дальше. Она продолжает, и это явно кульминационный гвоздь ее программы. А последняя панель саданет в тебя, Сильный. Чтоб ты знал, что ты мне на хрен не нужен, что я совсем тебя не люблю. Чтоб ты знал правду о себе. Ибо ты ничтожество, грязь под моими ногтями. На которую мне глубоко, извиняюсь за выражение, наплевать. Фишка ведь не в том, что ты оказался чмошником и впутал меня в эту историю с ребенком. Это как раз меньшее зло, потому что, скорее всего, Клаудиа, Донна, Николя или Маркус будет не твой ребенок, а мой, а ты умрешь. Неважно, мальчик или девочка. Суть в том, что ты пытался меня убить, что ты метился в меня из холодного оружия. Что ты не нашел в себе жалости к моей ломке. Потому что твоя левацкая душа обосрана вдоль и поперек.

Договорив до конца эти слова, Магда сплевывает на диван пену от зубной пасты.

— Ты какую зубную пасту взяла? — говорю я, глядя на это, потому что вдруг до меня доходит вся двусмысленность, все отчаянье моего положения, и я выхожу из себя до последней капли нервов. — Отвечай, стерва. Ту, справа или ту, слева? Она отвечает, что уже точно не помнит, потому что у нее крутая ломка и чтоб я перестал фачить ее мозги. У нее и без того настроение хреновое.

Потому что та паста, что слева, праздничная. Только на Пасху и Рождество. Если ты ее взяла, я тебя убью как собаку, говорю я Магде. За оскорбление принципов и конституции моего дома. И за оскорбление моей матери. Какая бы она ни была, плохая или хорошая, под вывеской "Центр" или под вывеской ООО "Красный треугольник". Потому что мать — это мать, и я люблю ее как родную. И фигли тебе до этого. Вот твое барахло, сумка и твои говняные шмотки, вот весь твой переносной бордель. Гляди, я кидаю тебе все это на лестничную клетку, как собаке кость, чтоб ты знала свое место в жизни. Скули. Скули как пес. Мне по барабану. У меня есть дела поважнее.

После чего, говоря ей все это, я довольно грубо выпихиваю ее за автоматически закрывающуюся дверь марки "Герда". Почти в одних колготках. С моей стороны это нехорошо, нелояльно, признаюсь. Но вывести меня из равновесия равняется смерти в судорогах. И она ее примет. Со всеми последствиями. Как ни крути. Слева или справа.

***

Арлета, перегнувшись через стойку, честно говоря, почти совсем пьяная. Как экзотическое животное с опухшим лицом. Надувает пузырь из жвачки, который лопается, закрывая своей розовой структурой ее лицо. Тогда она его сколупывает и засовывает назад в рот. Живой символ потребительской идеологии масс. Она съест все на своем пути, сожрет весь мир до последней крошки и выбросит вон, как помятую оберточ-ную бумажку. Выкурит пачку до последней сигареты, если только ей удастся засунуть все разом себе в пасть и прикурить. Даже след от коктейля слижет со стойки.

В руке у нее сигарета под названием „Viva", которую она подносит к губам с довольно невнятным выражением лица. И говорит мне: слушай, Сильный, у меня к тебе один деликатный вопрос. Я говорю: ну давай, валяй. А она: скажи мне, что на самом деле у тебя произошло с Магдой? Я говорю: не твоего, блин, ума дело. А она, что и так все знает, поэтому я могу ничего не рассказывать, ей и так все известно. А я ей говорю: ну и как по-твоему, что между нами произошло, если ты такая умная? Она говорит: ты мог еще все спасти, изменить к лучшему, когда вы были с Магдой на море и она хотела быть с тобой. Она мне во всем призналась как на духу. Но ты стал ревновать, и утром, когда она проснулась в твоей квартире, куда ты ее заманил хитростью, решила про себя, что нет, она не может с тобой встречаться. Что и требовалось доказать. И это твоя заслуга, вот что я хотела от тебя услышать, Сильный.

Я закрываю глаза рукой. Потому что Магде крупно повезло, что ее сегодня тут нет, нету ее дурацких волос, ее птичьего голоска, ее смеха, как у рассыпающейся на части климактерички. Потому что сегодня она бы уже в живых безнаказанно не осталась. Я ищу ее взглядом, чтобы в случае чего убить, раздавить как гниду. Музыка, свет, неоновые огни. Тем временем ее нигде нет, поэтому, осмотревшись кругом, я говорю Арлете: где Магда? Она говорит, потому что видит, что я на пределе: поехала на дачу с Лёликом.

На какую дачу, этого она мне уже не скажет. Она дрожит от мысли, чтобы я не поехал следом и не убил их сразу двоих одним ударом. Не задушил и не растоптал их фейсы собственной ногой. Не закопал у беседки, вбив в землю осиновый кол и полив в этом месте почву растворителем или денатуратом, чтобы они никогда уже оттуда не вылезли. Пусть трахаются под землей, подпольно, без свидетелей, в темной и уютной почве огорода. Арлета, нет, она не допустит до этого коварного преступления против человечества, потому что ей есть что терять, потому что в ходе следствия может выйти на явь вопрос ее собственных правонарушений с русскими сигаретами.

Бармен говорит, чтобы я на все забил. Что я и делаю. Но не потому, что мне наплевать на Магду, а потому, что на сегодняшний вечер у меня другие планы. А какие, поживем, увидим.

Ну, и сижу я. Весь из себя прикинутый, потому что я уже оделся, ведь когда я встал тогда утром, то был исключительно в одних трусах. Штаны тоже чистые. Тут входит Анжела и идет, как единственная клиентка всего бара, мастер спорта и по бильярду, и по геймам. Тут, кстати, мне приходит в голову, что в общем-то я, блин, не очень в курсе, как она выглядит, эта Анжела. Кто-то, что-то, но неизвестно, откуда звон. Теперь я ее однозначно узнаю и встаю в виде приветствия.

Анжела — девушка совсем другого типа, чем Магда. Другая на ощупь, вообще другая. В более мрачном, что ли, стиле, угрюмом. Черное платье из вроде как мохнатого материала, такие же шузы со шнурками, колготки не обычные, а в довольно вызывающую сеточку. Кольчуги и кастеты на руках и в ушах. Вся в лаке для ногтей черного оттенка. Вся перемазана этим лаком, но ровно и старательно. Вокруг рта, и глаза тоже. Из которых торчат склеившиеся насмерть ресницы.

— У тебя классный, интересный стиль, — с ходу затыкаю я ей рот комплиментом.

И сразу вижу, что это доставляет ей наслаждение, мои слова. Она мне отвечает: какой такой стиль? Я ей тут же говорю: ну, сама знаешь. Одежды, поведения, образа жизни.

Она говорит, что она просто такая, какая есть, что никто ей ничего не навязывал, а наоборот, она сама выбрала этот стиль. Что всю жизнь она вела себя как я, как ты, как мы все, но однажды сказала себе, что хочет быть сама собой и сохранить свой собственный неповторимый стиль. Такой же, как она сама и ее душа, мрачный и черный.

Я говорю, что с ее стороны это очень интересно и занимательно. Что самое важное в жизни — это быть самим собой и никем другим. Она говорит, что тоже это поняла.

Тут разговор на минуту прерывается. Анжела пьет коктейль и разглядывает бар.

— Как тебе тут? — говорю я ей, чтобы начать разговор.

— Угу, — отвечает она, — нормально. Хотя в основном я таких людей, как ты, ненавижу. Это я должна тебе сразу сказать.

Меня это напрочь выбивает из колеи, услышать такой текст из уст девушки на первый взгляд симпатичной, которая к тому же по телефону казалась такой милой. Я смотрю на нее. А она продолжает в том же роде: ну, знаешь. Я не тебя конкретно имею в виду, с тобой приятно пообщаться, и одет ты аккуратно, да и ума тебе не занимать. Я имею в виду всю эту попсу, эту тусовку, которую я просто ненавижу. Посмотри на своих знакомых. Одни потаскушки и дебилы, которые хотят друг друга. У всех одно на уме, чтобы найти мужа. Это же полная труба — самому напрашиваться на размножение. Полное отсутствие контрацепции. Но ты другой, я сразу это заметила. Романтический, потому что я сразу разобралась в твоей душе. Романтика, нежность, прогулки при луне, мотоциклы, катамараны. Все то, что я люблю в людях.

После чего она спрашивает, есть ли у меня девушка. На что я ей отвечаю, что еще нет, потому что я еще не пришел в себя после девушки, с которой вынужден был расстаться, потому что она каждый день многократно изводила меня духовно. Она мне на это: ясно, хорошо, что ты с ней порвал. Я, например, не такая. То есть не такая примитивная, глу-

пая. Например, я не ем мяса. Мясо — это результат преступления. А сахар делают из костей животных, поэтому сахар я тоже не ем.

Я смотрю на нее как на прокаженную. Мне в голову приходит мысль, что, может, она чокнутая, удрала из психушки и выбрала меня своей очередной жертвой. И надо быстро отсюда искейпнуть, заплатить за себя, Бармену сказать, что классная телка хочет с ним познакомиться, и сваливать отсюда что есть мочи. Но я этого не делаю. Нет у меня того звериного инстинкта, который спасает от уничтожения разные виды животных. Я сижу и смотрю на нее, на ее платье, ее ноги. Будь что будет.

Она это замечает, допивает свой коктейль. — А ты знаешь, что яйца я тоже не ем?

Ну, это уже перебор, тут я не выдерживаю, потому что в такие нелепые взгляды просто не врубаюсь. Я ей говорю: ты что, стукнутая? При чем тут яйца, что они тебе плохого сделали, блин?

Она смотрит на меня с возмущением, как будто я не в курсе элементарных моральных принципов. И говорит мне: а как бы ты себя чувствовал, если бы тебя убивали без твоего согласия? Если бы ты даже об этом не знал, то есть был бы совсем беззащитный. В общем, сам убедишься. Потому что мир уже на краю. Когда утром я смотрю на мир с балкона, вижу одно: мир гибнет, умирает. Окружающая среда. Деградирующее в людях человечество. Все жирные, с излишком веса. Безнадега. Американизация экономики. Тебе все эти факты что-нибудь говорят? Загрязнение лесов и озер. Асбест. Как человечество мы обречены. Это конец.

Тут на этом фоне между нами возникает дискуссия. И я ей отвечаю, потому что ее слова вывели меня из душевного равновесия: а тебе известно, что бывают случаи, когда куры, петухи там разные, могут заклевать свои яйца насмерть и потом съесть?

А она мне на это, еще больше рассердившись: потому что это их бунт! Они говорят "нет" плохим людям, которые беззаконно отнимают у них единственное потомство. Лучше сами его съедят, чем будут кормить унылый род людской.

Хоть я тоже выдвигаю постулаты против загрязнения природы американскими предприятиями, от ее речей я просто офигеваю. Это же типа мои собственные мысли с антиглобалистским уклоном, но не совсем чтоб до конца мои. Типа мои, но какие-то истерические, без трезвой мужской оценки, без капли здравого смысла.

— Я считаю, что твои взгляды слишком радикально пессимистичны, — говорю я, а сам кладу руку ей на колено. Она говорит, что она просто-напросто реалистка. В прошлом месяце ее бросил парень. Вот такие вот пироги. С тех пор она не питает иллюзий и не так глупа, чтобы опять с кем-то связываться. Мир ее ужасает. Но если б только на своем пути она встретила кого-то, кто любит ездить на велосипеде, заниматься спортом, бадминтоном, играть в мяч на пляже. Кто разделяет ее хобби. Кто поможет ей открыть красоту этого мира. Дружбу, любовь, романтические прогулки. Кто сумеет отдать ей всего себя целиком и полностью. Она ответит на письмо.

– Не думай, что это в один миг решит твои проблемы, – говорю я ей и сам удивляюсь своей тонкой душевной организации, которая, извиняюсь, из меня прет. Я прямо так и сказал: проблемы будут всегда, не эти, так другие. Жизнь непростая штука.

В ответ она мне делает такое признание: не знаю, ты в курсе или нет, но я не верю в Бога. Бога нет, потому что он обрек своих детей на страдание и смерть. Его просто нет, вот и все. Ни в костеле, нигде. Я категорически отказываюсь в это верить, и можешь меня убеждать сколько влезет. Есть только дьявол. И никакие аргументы не заставят меня отказаться от моих убеждений. Это все, что я могу сказать тебе на эту тему. Черная Библия, непременно прочти эту книгу и вдумчиво проанализируй, потому что это моя самая важная книга еще со школьных времен, мои идеологические университеты. Особенно раздел про энергетических вампиров, которые высасывают из тебя всю энергию, не оставляя тебе ни капли, такие вот люди. Мой парень, Роберт Шторм, был одним из них, он забрал у меня все.

Я сразу же ухватился за этого Роберта, потому что на ее базар про религию и духовность у меня в запасе нет ни грамма противоядия. А если даже и есть, то не будем об этом вслух. Такой вот уговор, каждый думает о своем, о девичьем, и никого не волнует, о чем.

– Роберт Шторм, этот кент мне как будто знаком, – говорю я ей. А она, что, может, со школы, с дискотеки или, к примеру, мы встречались в клубе или на бирже. А я ей, постой-ка, постой, а его отца случайно не Здиславом зовут? Она говорит: ага, а откуда я его знаю. Я ей говорю, что не иначе, как это они владельцы предприятия по производству песка, с которыми у меня дела, личные счеты. Она дико обрадовалась и отвечает, что ни фига себе совпадение. Я ей говорю, что точно. Она мне, что вот никогда бы не подумала. Я ей, что тоже. Что у меня своя туристическая фирма, транспорт и все такое. Но мой основной бизнес – фабрика аттракционов, а на это требуется офигенное количество песка. Вся фишка в том, что аттракционы нужно на чем-то устанавливать, а специалисты доказали, что для этого лучше всего подходит песчаная основа.

Ну, и еще подкидываю ей терминологии: железосодержащая, а потом еще одно малопонятное слово западного происхождения, чтоб она знала, что в нашей фирме работают компетентные лица.

Она мне на эту фабрику аттракционов отвечает, что я не выгляжу на такого. А я ей, что внешность обманчива. Тогда она мне говорит, что, раз так, я должен дать ей свою визитку, где написано про эту фабрику. Я ей говорю, что велел своей секретарше Магде заказать новую партию визиток. Но могу ей показать фирменный письменный прибор с фирменным знаком "Производство песка", который якобы получил лично от Шторма. Показываю, она в диком восторге. Я говорю, что если она не против, то мы можем нюхнуть по дорожке, в самый раз после рабочего дня, полного расчетов и обильных бизнес-ланчей с высоким содержанием нездоровых, в основном американских жиров и пригара. Голландский салат на навозе из собачьих отходов. Что после всех этих банкетов, шведских столов, после газет и журналов, которые я читаю каждый день, я ощущаю страшную усталость. Перманентное чувство ус-

талости. Она мне, что Роберт никогда бы ей не разрешил. Ну а мне уже надоело катать вату, и я ее прямо в лоб спрашиваю: ты со мной пришла или со своим целомудренным Робертом Здиславовичем? И или мы идем нюхать амфу, или нет. Раз, два, три — решаешь ты. Она на эти мои слова еще чего-то тянет, бурчит себе под нос, а сама натягивает куртку. Бармен мне подмигивает. Жаль, что это не Левый мне подмигнул, я бы его тогда просто на месте убил, его и все его семейство с двоюродными братьями и сестрами включительно.

Все о'кей, мы выкатываемся из бара и идем напротив. Я хочу проявить чуткость и предлагаю ей, если у нее там какие напряги с Робертом Штормом, то я всегда пожалуйста. Можно считать, что его хату уже обчистили. Мои кореша совершенно бесплатно заберут у него все, что найдут, да еще и порадуются. А потом он все это спокойно может назад в комиссионке купить за наличные или в рассрочку, так что внакладе никто не останется. Особенно если учесть, что он богатый правореакционный эксплуататор рабочих на своей фабрике. Католический расист. Вонючий русский L&M. Она спрашивает, как я себе это представляю. Я ей образно объясняю. Десяток крепких пацанов въезжает к нему на хату, холодильник, музыкальный центр, аудио-видео, все hi-fi отправляются прямиком в рай и ждут его там. Если он, конечно, туда попадет. Хотя кореша мокрой работы не любят и обычно клиентов не мочат. Так только, пощекочут маленько французским ключом по большим берцовым костям. Плойка, электробритва, если какой приличной фирмы, картридж от принтера, фен, роликовые коньки, фотоаппарат, компьютер вместе с клавиатурой, с мышкой, с женой, с хрусталем, если есть, с тостером. Вся, так сказать, бытовая, видео-, аудио- и оргтехника.

Она точно язык проглотила, не знает, что и сказать, а я радуюсь, что произвел на нее сногсшибательное впечатление. Я насыпаю для нас по дорожке и спрашиваю, есть у нее какой-нибудь мундштук или ручка, на худой конец. Она говорит, что есть. Я ей на это отвечаю, чтобы дала. Тогда она мне дает. Здислав Шторм "Производство песка". Я говорю: еее-еб твою мать. Она: что, подделка, да? Русская фальшивка? А я ей на это, нет, не в том фишка. Нормальная типа ручка. Обыкновенная. Ручка как ручка. Но вы, бабы, все одинаковые, суки, падлы. И вот что я еще тебе скажу. Я больше не желаю иметь дела с вашим вонючим полом, никаких баб. Даже если они будут вешаться мне на шею, как мухи на варенье. Потому что все они просто бляди. Раз в месяц выходят из строя, и толку от них никакого. У каждой как минимум один экземпляр ручки с надписью "Здислав Шторм". Все, завязываю. Теперь даже если какая баба будет на коленях просить, чтобы я ее поимел, я отвечу: нет. Отвали. Из сердца и с глаз моих. Вон. Да ты не менжуйся, это я не тебе. Это я другой какой-нибудь сучке, которая будет меня клеить. А я и пальцем не шевельну. Тут она смотрит на меня, как будто хочет, чтобы я трахнул ее прямо сейчас, напротив бара, у этой стены. И так мне отвечает: ты прав, Сильный. Мне тоже не нужны ни женщины, ни мужчины. Потому что большой разницы тут нет, и с теми, и с другими — одна пурга, одна хренотень, одни проблемы. Полов просто нет, нет разделения на мужчин и женщин. Нет противоположного пола, и никакого другого тоже нет. Все козлы и кровопийцы. Все люди, какой бы пол после рождения им ни присвоили, одного поля ягодки. Знаешь, какого? Разряд своло-

чей, раса ублюдков, обычных потенциальных ублюдков. Вот что я тебе скажу. Все они одной расы, человеческой расы.

Я ей на это отвечаю: кончай базар, давай лучше затягивайся. Она занюхивает раз одной ноздрей, раз другой, из ее глаз катятся бесцветные слезы. Потом я занюхиваю свое. Минуту мы стоим как стояли. Я спрашиваю, брала ли она уже когда-нибудь. Она, что не совсем, не так чтоб до конца. Ну, думаю я тогда, сейчас начнется цирк, Анжела на глаз тянет килограмм на тридцать максимум. У нее руки размером с молоточек и наковаленку у меня в ухе. Вдруг она начинает ржать как ненормальная. Говорит, что только теперь ей по-настоящему хорошо, что она чувствует оживление во всех частях своего тела, и ее взгляды меняются так радикально, как никогда.

И вдруг как блеванет прямо себе под ноги! Типичная амфетаминовая рвота. С полетом. Летящая прямо по прямой в синюю даль. Я прикалываюсь по полной программе, и все, что стоят вокруг, тоже. Такого извержения везувия я, сколько живу, не видел, ни после водки, ни после травки. Блин, я чуть не лопнул со смеху. Особенно прикольно, что эта блюющая телка тоже прикалывается. Хотя я ей удивляюсь, на ее месте я бы так не радовался. Но она тоже ржет как сумасшедшая. Между приступами далеколетящей рвоты она успевает крикнуть в мою сторону: дьяяявоол! После чего продолжает блевать как ни в чем не бывало. Но выглядит при этом так, точно сейчас взорвется изнутри своего замшевого платья и весь мир зальет блевотиной, только эхо пойдет. Это будет ее царство, адское царство, во всю ширь которого она протянет веревки для сушки белья и будет сушить на них свои черные платья, колготки, черные трусы и самое главное, просто манифест своего характера: черный лифчик. Таких ненормальных я еще в жизни не встречал. Хотя блюющие мне попадались, взять хотя бы Магду, которая в свою очередь делала это в сторонке, типа на отлете. Ну что еще можно сказать про Анжелу? Я смотрю на нее. Это сколько же такая маленькая дрянь, это худющее горе луковое может наблевать? Ужас. Целое море, целые горы, просто пейзажи какие-то, и все выдержано в голубоватом тоне ее коктейля, в экзотическом оттенке Болс Кюрасао. Плюс остатки какой-то чисто символической еды, вегетарианские трупики ни в чем не повинных растений. Но в процентном отношении флоры там всего ничего, а все остальное — штормовой океан голубой водки. Что касается меня, я бы не удивился, если бы то, что она из себя извергает, было черным лаком для ногтей, черной тушью для ресниц, изгрызенным черным фломастером. Включая черный карандаш для бровей и черную краску для волос заодно с аппликатором.

О'кей. Мы возвращаемся в бар. Анжела идет смыть всю эту пакость вокруг рта. Я смотрю ей вслед. Ничего из себя. Хоть и грязная. Ненормальная. Но веселая, отрывная, поржать опять же любит, умная. Одним словом, сойдет, хотя и не бог весть что. Ну, как там, говорит Бармен и подмигивает мне. Забей на нее, а то заблюет тебе всю квартиру. Его слова причиняют мне боль, ранят в самое сердце. Потому что это просто хамство, хотя он все происшествие наблюдал исключительно через окно и не знает фактов.

Я не хочу быть таким же хамом, как он, но не могу по отношению к Анжеле позволить себе сносить его нелояльность. Она такая тощая, что каждое мое дыхание, каждое движение моего пальца чревато для нее последствиями, может свалить ее с табуретки и задрать ей подол. Анжела возвращается. Я ей говорю: уходим. Она мне: с какой стати? Я: что сыт по горло этим местом, где культура и искусство в полном негативе. Она смотрит на меня, потому что, похоже, в меня влюбилась, просто втрескалась с первого впечатления, которое я на нее произвел. И говорит: вот именно. А у самой тем временем брови накрашены черным, не исключено, что даже углем, я это сразу просекаю. Но решаю, что не буду смотреть, потому что для меня важнее ее душа, чем тело. Хотя тело не менее важно. Хотя оно и слишком худосочное, хрупкое какое-то, что ли. Она говорит, что любит гулять, даже если ночью. Что завтра в городе праздник под лозунгом День Без Русских, такое всенародное гуляние, и пойду ли я с ней прогуляться. Я думаю, красиво звучит: День Без Русских, Магда наверняка не замедлит явиться, чтобы оттопыриться на халяву за счет разных козлов со всего района. Но несмотря на то что я знаю, что встречу Магду, что это отравит мою душу и мысли, я говорю Анжеле: поживем — увидим. Она говорит, в каком смысле. А я, ну, что разная фигня может помешать, погодные условия там, давление кислорода, или, к примеру, как будет с бабками, тоже еще вопрос, по-разному может получиться. И спрашиваю, пойдет она ко мне на хату, да или нет.

Она говорит, что, может, да, а может, нет. На ее платье я замечаю сеть светлых пятен, которые возникли, когда ее полоскало и всюду летели брызги, которые сплошь заляпали фасад ее платья. Я ей говорю, что у нее блевотина в декольте, она быстро заглядывает туда, хотя сама, несмотря на рвоту, явно на приходе и говорит, чтобы я ее поцеловал в губы, потому что она всегда мечтала, чтоб на мосту, чтоб среди деревьев. Так и сказала: поцелуй меня прямо в губы, я так хочу, я всегда хотела заниматься этим посреди моста, посреди кустов и деревьев. Я всегда об этом мечтала. И только сейчас это поняла. Не знаю, что на меня напало. Это ты так на меня повлиял. Один раз сойду с ума. Пусть даже по мелочи. Чтобы все было спонтанно и в самый неожиданный момент. Например, в лифте, на море, где-то, где никто еще не догадался. Потому что жизнь такая короткая, Сильный, а смерть так близко, все ближе, она уже дышит нам прямо в лицо, безносая смерть с желтыми костями и черными дырками вместо глаз. И не отрицай, потому что это правда полное вырождение, всеобщий упадок всего на свете. Деспотизм, деморализация. Сильный, один миг — и мы уже трупы. Мы можем погибнуть в любой момент. И неважно, что будет причиной: отравленное мясо, отравленная вода, полимеры какие-нибудь, правая партия или левая, русские или наши. Они нас убьют, а потом поубивают друг друга и съедят на десерт с одной тарелки. На десерт. Потому что на первое будет кое-что другое. Прекрасные дикие животные вымирающих видов, массовое уничтожение поджаристых оленей, истребление маринованных тигров и жирафов в практичных одноразовых упаковках, сделанных из их костей. Все это погибает, вымирает. Остались только мы с тобой. Вообще-то, я пишу поэзию. Ну, стишки там разные. Иногда сижу целыми днями. Могу сидеть без конца. Зачеркивать, перечеркивать. И опять писать заново. Пока только в стол. Потом для массового читателя в мировом масштабе, кто знает, может быть, даже для американцев польского проис-

хождения. В натуре, у меня там дядя живет. Дядя и тетя, они просто классные. Канадцы. Веселые. Деловые. У них там свой магазинчик, для поляков. Бизнес небольшой, но доходный. Они его по наследству получили. Потом вложили собственные инвестиции. Тетя стояла за прилавком, хотя не обошлось без агрессии со стороны местного населения. Дядя занимался поставками. Ну, матрешки всякие, подлинные национальные иконы, они там пользуются большим спросом. Пластинки и красиво изданные альбомы фольклорного коллектива "Мазовше". Группа "Вадэр" тоже хорошо раскупается. Которую я люблю. Но куклы идут лучше, матрешки, коврики с оленями, соломенные поделки, безделушки там всякие. Еще я люблю животных. Я даже подписывалась на журнал юных натуралистов. "Моя собака" называется. Знаешь такой журнал? Нет? Странно. Специальный журнал про разных домашних и вьючных животных. Ну знаешь. Все равно каких. Там всякие интересные вещи бывают. Очень даже забавные. Например, сколько у верблюда в горбу воды и разных запасов. Знаешь сколько? Нет? Ужас сколько. Просто дикий ужас. Или, к примеру, собака, какие симптомы, если у нее глисты?

— Она елозит задом по ковру, — отвечаю я мрачно из собственного опыта. Сам я тоже владелец собаки.

А она мне на это с возмущением: не только! Этих симптомов просто куча. Боль в заднем проходе, облысение, рвота, сухой нос. Ненавижу убийц животных! Когда я смотрю телепередачи о том, как у нас в Польше и во всем мире обходятся с животными, мне хочется умереть. Один раз я уже хотела умереть. Я тогда уничтожила все письма от Роберта. Все. Это была настоящая попытка самоубийства. Хотя и неудачная. Я много говорю. Я хочу рассказать тебе все, я это поняла. Потому что жизнь так коротка, Сильный. А если бы меня тогда не вырвало всеми надолами мира, когда я уже вот-вот должна была умереть, она была бы еще короче, чем сейчас. На полгода. Потому что с тех пор прошло уже полгода. Дегенерация. Деморализация. Об этом я пишу в своих художественных произведениях. Мир прогнил до мозга костей, и я хочу умереть. Но не сейчас. Знаешь, как я хочу умереть — прыгнуть с крыши с криком: писец. Я хочу умереть под колесами мчащегося поезда. Он мчится, а я поперек рельсов, он гудит, а я лежу, он через меня переехал, а я лежу, реакции — ноль по фазе. А потом фотографии в газетах. Все просят прощения, все себя винят, а Роберт виноват больше всех, это он меня довел до такого отчаяния, до такой деградации, это он уничтожил меня как человека и как женщину. Некрологи, эпитафии, прощальные речи. Сильный, а теперь главный вопрос этого вечера: ты готов умереть вместе со мной? Среди руин, пожарищ и развалин. Которые будут окружать нас как пейзаж уничтожения. И по этим руинам ползет Дьявол. Он ползет по всему, что встретит на своем пути, по нашим трупам тоже. Земля разверзнется в лицо небытию. Конец. Полное декадентство, полный модернизм. Змеи, открытые лона женщин. Нет, не отвечай, я не хочу знать, что ты ответишь. Лучше мечтать и обманываться, что когда-нибудь это сбудется. Не знаю, когда. Сейчас или потом. Когда я смотрю на тебя, мне кажется, что ты меня не слушаешь. Когда мы вот так идем. И ничего не отвечаешь. Молчишь.

Анжела была девственницей. Как потом оказалось. Когда она уже запачкала диван моих родителей. Магде я бы никогда такой антисемейной

профанации не позволил. Другое дело, что таких проблем с ней ни раньше, ни позже не случалось. Но это было уже потом. А сначала было еще много разного. Я только упомяну тот факт, что Анжела не высылала никаких сигналов, что она целка. Абсолютно. Она только подчеркивала, что вместе с Робертом утратила все, что у нее было, поэтому, хотя она еще и малолетка, я думал, что все эти физиологические заморочки она тоже вместе с ним потеряла. Но оказалось, что этот кровавый бал Роберт Шторм оставил на мою долю, за что я до конца жизни буду проклинать его имя и фамилию. Но об этом потом.

Сначала было так. Она парит бабку в красных кедах практически без остановки. Гонит как заводная, только еще хуже. Если б я мог, если б это лежало в сфере моих возможностей, я бы вытянул порошок у нее обратно из носа. И насыпал назад в мешочек. Потом старательно завязал бы и так запрятал, чтоб она его уже никогда в жизни в глаза не увидела. Потому что от самого его вида к ней могла бы вернуться эта бесконечная лавина лексического запаса, которым она пользуется без перерыва и всяческих ограничений со своей стороны. Я ничего не говорю. Ни слова. Я не хочу ничего испортить. Слушаю все подряд, как на исповеди. Сначала были продажные политики, которые ее не волнуют, хотя они убийцы младенцев и кровопийцы. Потом ее опять занесло на вопрос пола, что вроде как нет разделения полов, и половых органов тоже нет, нет женщин и нет мужчин, а есть только продажные политики. Убийцы новорожденных младенцев и кровопийцы всей нации. Губители естественной среды, убийцы ни в чем не повинных животных, которым она говорит: нет. Потом, уже на диване, опять дьявол и его свита, полный зла и насилия мир, который только тем и занят, что творит зло, и скоро ему конец, и всадник апокалипсиса на плотоядном коне. Красота окружающей среды. Заповедники, велосипедные экскурсии, прогулки по горам и вдоль моря, золотой значок почетного туриста, письма и открытки от друзей со всей Польши.

Я говорю, может, она хочет типа жвачку или конфету, потому что мы как раз идем мимо бензоколонки фирмы "Шелл", и, хотя она не выражает явного согласия, я покупаю ей жвачки в форме шариков и желатиновых мишек. С моей стороны это, конечно, подвох и провокация, но мои истрепанные нервы уже совсем на пределе, а выйти из себя мне всегда было как два пальца обоссать.

Ну, вот мы уже в моем районе. Ночь, темно. Листья шуршат на ветру. Она жует, сосет. Понемногу, хотя я хотел дать ей побольше, хотел засунуть ей в пасть все конфеты сразу. Но тогда, от такого большого количества, ее маленькое хилое тельце могло бы лопнуть, и тогда все, облом. Мне пришлось бы идти домой несолоно хлебавши, одному, а ее оставить здесь в виде лоскутков или звонить с мобилы в полицию, типа я тут девушку только что замочил. Посредством введения в ее организм слишком большого количества желатиновых мишек. Они бы подумали, что я просто прикалываюсь по телефону, а она бы тем временем сдохла у моих ног. Такой концепции своей смерти она явно в своих мечтах не предвидела. Ха! Сказал бы я ей, но боюсь все испортить.

Я открываю дверь ключом, а она говорит: красивый дом, современный. У моей тети в Канаде похожий, только лучше, канадский. Это русский сайдинг, да? Русский, не русский, но сайдинг это вообще-то хоро-

ший, хотя иной раз может и обвалиться ни с того ни с сего. Зависит, кто клал, русские на мировых рынках по этой части не котируются.

– Ты так думаешь? – вежливо поддерживаю я разговор, а сам надеваю тапочки и ей тоже предлагаю, только поменьше, моей мамани.

– Сама не знаю. Я уже сама не знаю, что думать, что считать, на какую тему. Хотя еще вчера мои взгляды были прочно обоснованы, но сегодня ночью я сама не своя. Это полнолуние на меня так влияет, и ты тоже. И тот порошок, что ты мне дал. Он тоже повлиял. Все сегодня происходит совершенно быстрее и кружится вокруг меня как в луна-парке.

Тут мне в голову приходит мысль, что это скользкая тема, с этими луна-парками. Скользкая как труп. Она пялится на меня в ожидании, с застывшим на полпути полужестом, как будто теперь я должен вытащить картонные коробки, набитые разными железками, и тут же построить ей комнату страха, отвести в тир с самолетиками. А уж, по крайней мере, надо показать ей спрятанный в мебельной стенке директорский письменный стол, накладные, ценные бумаги, парадную униформу для бизнес-встреч. Ну и, конечно, кубок для лучшего бизнесмена года, который учредил и вручил мне лично Здислав Шторм за самый высокий показатель потребления песка в Поморском воеводстве. А еще бы лучше посадить ее с одной стороны стола, а самому сесть напротив. И начать убеждать ее купить луна-парк наивысшего качества по очень привлекательной цене на выгодных условиях. Со скидкой, в кредит и по блату. Ни фига подобного, Анжела, эту тему мы проехали. Поэтому я предлагаю ей кофе, чай.

Она нет. Ничего не хочет. Вообще-то она на диете. Она вообще ничего не ест, потому что слышала, что это лучше всего. Одно зернышко риса запить шестью стаканами кипятка. С утра. То же самое вечером. На следующий день два зернышка. Потом по очереди три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, просто каждое утро и вечер прибавлять по одному зернышку. Это можно легко посчитать. Но количество стаканов всегда одно и то же. Вот как надо делать. Чтобы избежать убийства животных, которые дорого платят за нашу гребаную потребительскую идеологию, уничтожение растений, расход бумаги и трату денег. Так она выражает свой голос протеста против мира.

И тут она меня спрашивает, хочу я умереть вместе с ней или еще нет. Обнявшись. Я на спине, она на животе, или наоборот. Лицом к лицу. Но сначала, чтобы не чувствовать боли, надо обмануть свою психику, отуманить ее. И спрашивает, есть ли у меня еще тот белый порошок? Я думаю: святой Вайделот, приди и забери ее от меня. Забери ее, даже перед лицом факта, что эту ночь я проведу один, а предварительно сделаю бутерброды. Хотя она ничего себе. Не то чтоб фигуристая, это все же дело вкуса, но если кому-то нравятся анатомические мотивы, чтоб все берцовые кости просматривались как на ладони, то, конечно, она в порядке. Но это кому как. Надо сильно любить жертвы Бухенвальда, чтобы выдержать вид каждого движения ее скелета под кожей. А вот с лицом – нормалек. Нос, губы – все на месте. Соблазнительные. Я пытаюсь переключить ее на нужную тему.

— Ты очень красивая, — говорю я. — Ты могла бы быть актрисой или даже певицей. Она мне: кончай заливать, Сильный, а что, ты это серьезно? Я ей, что в натуре. Она тогда ложится на диван, откидывает волосы наверх и разглаживает на костях свое платье, все в пятнах, как шкура животного. Потом она сбрасывает на линолеум тапочки моей матери и говорит сонным и мечтательным голосом:

— А у тебя, Сильный, случайно нет каких-нибудь связей? Может, ты знаком с каким-нибудь таким, ну, порядочным, менеджером или журналистом? Которые организовывают мероприятия, двигают искусство? Ну, ты понимаешь, о чем я. Поэтические вечера, вернисажи, которые помогли бы мне, как начинающей поэтессе, найти свое место на жизненном старте. Здесь дело не в бабках, тут ты бы мне помог, мы заинвестировали бы в меня вместе. Но, учти, андеграунд меня не интересует. Речь о том, чтобы творить, работать в искусстве, культуре, поэтические вечера, вернисажи, лекции. Главное — идеология.

— Нет, — отвечаю я мрачно. Хотя и смотрю на нее, как она трет ляжку об ляжку.

Тут она вдруг становится презрительная и сухая. И говорит:

— Что нет? Как это — нет? И это все, что ты можешь мне сказать, когда я пришла с тобой сюда? Тоже мне директор фирмы. Нашелся тут инженер-механик. Производитель русских аттракционов. Электричек и Дональдов Даков с электроприводом в тысячу ватт. Фирма, бумаги, накладные, костюмы. Капиталистическая бутафория. Фирма-призрак. Связей по нулям, знакомств — двигателей бизнеса — по нулям. Связей с культурой и искусством — по нулям, спонсорства — по нулям.

Потом она вдруг изменяет оттенок голоса на более мягкий, ищущий примирения: хватило бы одного журналиста.

— Пусть даже будет спортивный, но со связями. Одно интервью со мной. Для газеты. Ну, скажем, для газеты и для журнала. Не обязательно местного масштаба. Можно слегка приврать, кое-что утаить. Рассказать о попытке самоубийства, потому что это всегда пригодится, протопчет, так сказать, тропинку к сердцу читателя. И фотка, на которой меня снимут именно в этой позе. Или в похожей, но макияж более выразительный, демонический, соответствующее освещение, профессиональный фотограф. Надо еще написать, что в своем творчестве я развиваю демонические, модернистские мотивы. Сатанизм Пшибышевского. Это хорошо продается и всегда в моде. Ну, и надо написать, что я еще совсем молодая, хотя уже очень талантливая.

В этом месте нашего одностороннего типа общения я, скорее всего, уснул. Потому что последующие факты расходятся. То есть я просыпаюсь уже в совсем другом месте разговора, который ведет Анжела. Она как раз говорит, с моей точки зрения, что-то в корне бессмысленное: ну и что с нами будет дальше, а, Сильный? Ты поговоришь с инженером Виловым? Ты должен его знать, он тоже работает в бизнесе, продает польский песок. В принципе, то же самое, что Здислав Шторм, только по почте и в рассрочку. Ну и большая шишка.

У Анжелы тушь водостойкая. Глаза не размазаны. Ресницы торчат. Ноги врозь. Подол выше пупка. Руки закинуты навзничь. Лицо мечтательное.

— Да, — снисходительно, но твердо соглашаюсь я.

А она вдруг как сорвется с дивана, как полетит в туалет. Ее опять полощет, она сейчас, похоже, выблюет собственный желудок и всю кишечную аппаратуру. Выблюет все содержимое своей пищевой полости. Вместе с мозгами. Вернет на свет божий свой долг за все времена, всё, что задолжала самим фактом своего рождения. Еще и от себя что-нибудь добавит. Пищевая рвота с сильным содержанием Анжелы в своем составе. Я это так понимаю. И одновременно нервничаю. Меня беспокоит мысль, красивая она все-таки или нет. И не чокнутая ли. И стоит ли с ней возиться. Или лучше ее сплавить. Сказать, что был соответствующий звонок из рекламного агентства, из конторы по переработке и транспортировке. Что мне в срочном порядке надо решить парочку проблем. С бумагами там всякими, несколько деловых встреч, на которых мое присутствие жизненно необходимо. Подписать там кое-что, шлепнуть печати. Ключевое значение для развития моей фирмы. Хищный капитализм на своей ранней стадии, жаль, что так получилось, пока, приятно было пообщаться, вот твоя куртка, вот твои шузы, в ближайший год меня не будет в городе, конференция производителей аттракционов в Баден-Бадене, фестиваль песка в Новой Гуте, таковы законы демонического капитализма, вот такие пироги. Но что-то меня все же влечет и манит. Перспектива остаться одному в темной квартире мне как-то не улыбается.

И я тут раз! Все ставлю на одну карту. Р-раз! — и гашу свет в большой комнате. Р-раз! — и бегу за ней в ванную, где раздаются отголоски Содома и Гоморры, просто зов натуры какой-то. Эта висит, перевесившись через ванну, как черная тряпка для мытья посуды. Блюет без продыху. В редких промежутках повторяет покорным, почти просительным голосом: дьявол. Дьявол.

И тут вдруг невесть откуда раздается настоящий взрыв. Серия взрывов. Настоящее извержение. Вулкан, а не девица. Потому что к моему удивлению раздается основательный грохот. Типа раскаты грома. Вполне приличная, купленная у русских напольная плитка, так называемая глазурь и терракота, ввезенная через Тересполь за довольно-таки приличные бабки, дрожит под ногами как осиновый лист. Грохот, шум, раскаты грома эхом проносятся по веревкам для сушки белья, проникают к соседям, после чего расходятся по всему микрорайону, вызывая неотвратимые сотрясения.

Я смотрю на Анжелу, смотрю в ванну, по дну которой катится средних размеров камень с человеческий кулак. Я чувствую, что моей психике нанесена душевная травма. Отвращение. Ужас. Мои мысли теряют ориентацию. Все мои предыдущие взгляды на человеческую породу разлетаются в пух и прах. Тысяча вопросов к самому себе и к Анжеле появляются вдруг в моей голове.

Но я не успеваю их задать, потому что следом за этим булыжником ее опять начинает рвать. Теперь это настоящая лавина камней поменьше, небольших таких, как галька, но чуть побольше. Короче, обыкновенные такие камни, средние, которые попадаются на каждом шагу, не надо даже специально искать. Просто труба. Твою мать... Рекорд Гиннесса. Мировой рекорд. Новый завод по переработке камней. Производство песка. В задницу такой мир. Я отсюда линяю. Девушка с камнем внутри себя. Девушка, которая вытошнила камень. Это ж надо. А я еще хотел ее поиметь. Трахнуть. Брюшную полость, вымощенную брусчат-

кой. Как только все эти, висящие на кончике языка слова пришли мне в голову, я быстренько незаметно перекрестился. Что-то во мне осталось от карьеры служки в Успенском соборе. Некоторая склонность к предрассудкам, вера в них. Иногда в моем чайнике даже крутится мысль, что хорошо, что меня там уже нет. Что я вовремя вырос из своего наряда служки, он стал мне маловат еще до того, как во все костелы нагрянули целые полчища до зубов вооруженных педофилов. Хотя, может, я неправильно рассуждаю. А вдруг, к примеру, все бы сложилось не так, а подругому. И был бы я совсем другим человеком с совсем другими, а не такими, как сейчас, вкусами. И тогда сейчас со мной был бы какой-нибудь симпатичный, спокойно играющий в кубики малолетка, Максик, Эричек, Маркус. И я бы с ним поиграл, показал бы ему с балкона город. И на душе у меня было бы спокойно, и совесть чистая. Вместо этой отцветающей Анжелы, по самые уши набитой булыжниками. Глотательница камней. Кто знает, чего еще. Может быть, огня. Или песка, что очень скорее всего, если принять в расчет ее близкое знакомство со Штормом. И хрен его знает, чего еще. Но это мечты. А реал это бездыханно перевешенная через край ванны Анжела. Я жду выяснений. Я жду выяснений от тебя, дорогая. Ты не ешь мяса, зато жрешь камни. Ты просто ненормальная. Крейзи. Психопатка. Давай, объясни мне все это.

— Что, любишь камушки? — говорю я ей с раздражением, а на самом деле язвительно, потому что зол на нее за то, что она шиза, что моя жизнь кажется мне теперь одним большим глюком, чистой мечтой параноика. — Что, Анжела, любишь иногда заморить червячка камушком, а? Низкое содержание калорий, я понимаю, с твоей диетой такой вот камушек — объедение. Ням. Вредно, но ведь, твою мать, питательно. Нука, выкладывай, кто ты такая. Давай, без истерик, без пурги, выкладывай начистоту, признавайся, ты просто психическая из города Шизанутска и один раз в жизни можешь смело в этом признаться.

Но она молчит. Висит через ванну, как почерневший труп. Что за ночь, сколько страха и эмоций, по сравнению с этим все остальное просто детские игры. Рядом с этой Анжелой я чувствую неизбежность сердечно-сосудистого заболевания, чувствую, что сейчас у меня будет инфаркт всего тела. Даже теперь, хотя она совершенно без сознания, может, даже уже неживая, я со своей стороны не чувствую в себе никаких мыслей из разряда тех, которые мужчина может чувствовать по отношению к женщине. Для меня она теперь никто, ни мужчина, ни женщина, ни даже гребаная политиканша. Я вижу только перевесившийся через мою ванну смертельный исход в тапочках моей матери, которая, как ежик, день и ночь пашет в "Цептере", распространяет и рекламирует косметику, лечебные лампы и кастрюли. Со стороны Анжелы это просто свинство, так меня прокинуть. С чувством неприятного осадка я слоняюсь туда-сюда через ее бесчувственные конечности и достаю из ванны камни побольше. А потом выкидываю их через окно на тротуар, в темную, полную опасностей, треска и шорохов ночь. В электрическую ночь, полную разрядов энергии, ночь высокого напряжения. С моей стороны это, конечно, безрассудство, потому что я, кажется, попадаю в кого-то или что-то живое, как раз проходящее мимо. Потому что темная бездна ночи вдруг оглашается сочным звуком удара и воплем. Я, однако, громко захлопываю окно и иду смотреть телевизор, потому что конфликт со

шляющимися ночи напролет дебилами сейчас не для моих нервов развлечение.

По телику ничего нет, а вот в мебельной стенке — наоборот — есть. Птичье молоко, которое я нахожу и немедленно начинаю хавать. Потому что события сегодняшней ночи повергли меня в чувство голода. Какое-то время я думаю про свою мать, девичья фамилия Матяк Изабелла, по мужу Червяковская. Которая сегодня купила эти птичьи конфеты с мыслью о себе, но прибежала домой, раз, два, собаку выпустила на газон, схватила свой чемоданчик, деловой костюм, и вперед. В свободное от работы время она съела четверть коробки, другую четверть съел мой братан, которому все на каждом шагу говорят, что по нему тюряга плачет. Соседи, родственники, двоюродные братья и сестры. Вообще-то насчет сладостей он не любитель. Он сидит на яичной диете. Берет, значит, десяток яиц и выедает из них белки, а желтки и скорлупу выкидывает. Или под настроение сливает в миску и оставляет собаке. Потому что ему надо шамать много белка, чтоб бицепсы росли, вот он и жрет молоко с молоком. И пусть кусает локти, потому что эти птичьи молоки очень вкусные. Как и песок, это тот польский продукт, который мог бы произвести настоящий фурор на столах всего Евросоюза. Завоевать весь мир вместе с Антарктидой. Там ведь у кого ни спроси, каждый ответит, что ничего такого, как птичье молоко, нету. Потому что, если рассуждать логически, с древних времен известно, что птицы молока не дают, а если б давали, то их бы уже давно на широкую ногу использовали в промышленности. И тут ты объявляешь: а вот и есть птичье молоко, существует. Надо только приехать в Польшу, где до сих пор сохранились прекрасные, еще древние фасады домов в городах Вроцлав, Новая Гута, Гданьск. Где самый лучший в мире песок, качественный и по сходной цене. И вот уже заграничная капуста вкусно хрустит у тебя в кармане. Одна за другой едут экскурсии. Отдаешь в прокат автобусы — очередная порция бабла. Автобусы непременно отечественного производства, раздолбанные, дешевые, но экзотические, местные, заграничным туристам нравятся такие отставшие во времени механизмы, такие, извиняюсь за выражение, допотопные реликвии. Ездят они себе на этих колымагах по ухабам и писают от счастья, а у тебя, опять же, бизнес и бабки. Борщ в пакетике, всякие национальные польские супы, грибной, луковый, или даже китайский — водитель заливает их в кружке кипяточком, — и опять дополнительные бабки. Проценты идут, счет растет. Прощальная вечеринка. Птичье молоко на столах — гвоздь программы. Знакомство с исконными местными жителями. В продаже огромные запасы птичьего молока. Экскурсия на фабрику и ознакомление с технологическими процессами производства птичьего молока. Фабрика, конечно, липовая, но туристы любят такую фигню.

У населения появляется прайс. Тогда оно принимается очищать наш город от русских. Сунули в лапу кому надо — и всех русских вычеркнули из списка жителей и базы данных. День Без Русских теперь празднуется ежедневно, каждый день ярмарки, фейерверки, антирусские фестивали, листовки, залпы праздничных салютов, которые разноцветными огнями пишут на небе лозунги: "Русские — в Россию, поляки — в Польшу!", "Отдайте фабрики в руки польским суперрабочим!", "Нет русскому сайдингу!", "Путин, забирай своих выродков!". А мое дело сторона, это уже

не мой бизнес. Больше всего прайса у меня, потому что я себе застолбил торговлю бело-красными флагами и транспарантами. Потом я под шумок проплачиваю выдворение из города Магды и живу как король, сижу себе перед телевизором в окружении женщин и пью вино стаканами. И все довольны, хотя русские не очень. На оставшиеся деньги я финансирую создание настоящей левой партии. Первой серьезной левоанархической партии. Анархическое течение по спасению левого движения. Такая вот у меня идея. Самый большой в городе фасад, флаги, знамена, газоны. Красивое, западного типа административное здание в светлых тонах. Я — секретарь, мой братан — председатель, хотя анархист он или нет, это еще большой вопрос, это еще проверить надо. Мать в качестве бухгалтера, элегантная, хотя и в годах, полная компетентность, особый отдел по делам контроля за анархией, кресло на колесиках, на окнах вертикальные жалюзи. И множество секретарш, весь обслуживающий персонал — почти одни секретарши. Аппетитные секретарши раскинулись по всем столам с задранными до самых ушей подолами своих деловых юбок, в расстегнутых жакетах и пиджаках, в заранее снятых трусиках, и у всех одно на уме. Офигительные уборщицы, одетые в одни халаты, давно уже снятые, ползают у моих ног. Для любителей снифа везде стоят автоматы с амфой, которые, если вставить карту с чипом, извергают из своих недр целые горы целительного порошка прямо в нос. В таких условиях я могу быть добрым дядюшкой Сильным, Бармена возьму в водители, Левого на техобслуживание, Кисель пойдет кладовщиком, Каспер, ну, скажем, садовником. Анархические секретарши дают прямо на столах, на стульях, смотря что стоит в кабинете, варят хороший кофе со сливками, разносят еду на подносах. Магду в уборщицы, пусть своим поганым языком вылизывает самую мерзопакостную грязь с моих плиток. За окном стоят только солнечные дни с хорошей погодой. Я отдаю распоряжения: столько-то транспарантов отправляем в Слупск, приготовить столько-то нашивок на одежду для Поморского воеводства, столько-то арафаток на Восток, столько-то черных рубашек в город Щецин. С экономикой полный порядок. Всем живется хорошо, даже угнетенным рабочим, которых мы обеспечиваем всем необходимым, то есть темами забастовок и митингов.

Но как следует домечтать окончательный триумф левой идеологии я не успеваю, потому что демонстративная эрекция топорщит мои трузера. И тогда я говорю в сторону ширинки: эге, джордж, ты знаешь, что нам нужно. Это ты так улыбаешься. Мне. Тебе понравился мой план, да? Особенно идея с амфой. А больше всего с секретаршами, раскинувшимися по фирменному ковровому покрытию. Что, джордж, погулять захотел? С тобой все ясно.

Облом, дорогой, боюсь, не удастся тебе проветриться, хоть и приспичило заняться спортом. У нашей с тобой телки случился смертельный исход. Может быть, она даже умерла. Лежит поперек ванны. Вытошнила камень. Может, в ее костлявой манде тоже какая-нибудь каменоломня, асфальт и бетон. Похецаешься там, покалечишься, а пробьет твой звездный час, подвернется тебе нормальная телка, без камней, да хоть бы Магда, уже не будешь такой резвый, как сейчас. В целях контрацепции пописать через катетер — вот и все, на что тебе хватит сил.

Разговариваю, значит, я сам с собой полушепотом, но вслух, потому что этот труп в ванной все равно ничего не слышит, и хаваю птичьи молочки. И тут нате вам, вдруг — как будто все мои желания всегда исполнялись по мановению, чего сроду не было даже в моем сраном детстве. Как будто добрый Бог, батюшка Федор Амфетаминович, смилостивился над моим несчастьем.

Потому что вдруг между бумажками, которые отделяют одно молочко от другого, чтоб не склеивались, не таяли при комнатной температуре, и для красоты тоже, я нахожу спрятанную заначку дорогой моей амфочки, царицы-благодетельницы. В нескольких, в общем-то, аккуратных пакетиках, ну прямо в самый раз для меня. Скорее всего, это мой братан спрятал на случай кипиша с полицией, типа обыска в квартире. Все складывается просто замечательно, потому как плохое самочувствие моего скелета и мышц уже дает о себе знать. Чем я быстро пользуюсь, чтобы улучшить свою координацию, способность понимать и анализировать, а также общее психофизическое сотрудничество организма. Потому что амфа — это вам не вагон панадола, мятный чай и два дня в спячке. Амфа — это полный бодряк и веселье продолжается.

Раз-два, ручка "Здислав Шторм", и дело сделано. В квартире сразу же как будто лучше видно. Темнота светлеет. Становится попрозрачней, посветлее.

Я тут же немедленно включаю пылесос. С трубой и шнуром включительно. Чтобы Изабелла Червяковская, в девичестве Матяк, утром не наткнулась на этот срач. Возвращаясь домой с уикенда. Который она провела, сверяя счета, в "Цептере". Потом я иду в туалет и ванную. Посмотреть, как там Анжела и какие шансы у моего джорджа обмануть судьбу-злодейку. Так вот — изменений пока не предвидится. Отравленная камнями Анжела висит поперек ванны в состоянии, не обещающем скорого пробуждения. А признаюсь, что в реанимации смертельных исходов я не силен. Когда однажды я попытался проделать это на случайно лежащей женщине, результаты были плачевные. Женщина оказалась мертвой еще раньше. Я тогда очень переживал. Попытка войти в контакт первого уровня с настоящим трупом. Для моей психики это был страшный удар, особенно когда я потом ехал на практику и ел бутерброд теми самыми губами, которыми пытался оживить эту трупную бабу. Ближе к теме, однако. С Анжелкой дело говно. Я пытаюсь привлечь ее внимание, тормошу, слегка пинаю ногой. Бесполезно, летальный исход, труп, полная отключка. Но если принять во внимание наличие амфы, которую я нашел во внутренностях птичьих молочков, я не сдаюсь и засовываю Анжелину башку под кран, под душ. Башка у нее бледная, анемичная, уделанная по полной программе, без кровинки в щеках. Водостойкий макияж несгибаем, как татуировка. Выражение на фейсе типа бессмысленное, потому что на нем могла бы быть злость или, опять же, радость, но никаких ощутимых следов этих чувств Анжелкино лицо не выражает. Я чувствую, что меня разбирает. Вот такая она мне даже нравится, только бы ничего не говорила, только бы не тарахтела без умолку как заводная. Если будет молчать, может даже рассчитывать на какое-нибудь чувство с моей стороны. Но я требую письменной гарантии на бумаге с печатью, что она откроет свою пасть в любых целях, исключая артикуляционные. Тогда, так и быть, беру.

Джорджу чего-то неймется. Дергается. Я ему говорю: уймись, дебил, не видишь, идет процесс реанимации? Пока ты можешь о ней только помечтать, очень уж кардинально ее прополоскало. Ты пока притаись, а когда мы разбудим эту нашу напичканную камнями спящую красавицу, тогда другой вопрос, с ее помощью я уж постараюсь найти для тебя занятие поинтересней, чем сидеть в темноте и одиночестве.

И тут меня вдруг осенило, что и как делать. Быстро, слаженно, как на военных маневрах. Из птичьих молочков я мигом извлекаю еще один пакетик, хотя потом не избежать крутых разборок с братаном. С мордобитием и кухонными ножами. Ну и пусть, столько сил на эту блевательницу положено, что отступать поздно. Я охватываю руками эту чужую, черную башку, разжимаю ей рот и силой втираю в мясо, из которого растут зубы, хороший, дорогой товар, которого она, возможно, и не стоит. Я это делаю только потому, что мой дорогой джордж требует того, что ему по всем статьям причитается за все перенесенные сегодня над ним интеллектуальные эксперименты и оскорбления. Амфа — магическое пособие для безработных. Тут же, не успеваю я подождать даже несколько минут, пока я смываю душем с плиточного покрытия терракотой ее каменную рвоту, она вдруг оживает, как русская кукла, работающая на новых батарейках R6. Вращает своими черными веками, под которыми вдруг появляются глазные яблоки. Которых у нее последние несколько часов типа не было. Смотрит на меня не слишком выразительно. А потом говорит тоном первооткрывателя Америки, солнечных лучей и электроплитки, вместе взятых: Сильный, ты что? Довольно невнятно. Но я знаю, что джордж на верном пути и готов воспользоваться плодами этого типа случайного, но все же знакомства. Я беру Анжелку под мышки и волоку на диван. Ее костлявые ноги тащатся за ней по ковровому покрытию. Если бы, к примеру, ей еще и руки отрезать до половины, она могла бы работать манекеном в витрине магазина с шелками. Но я все равно бы ее волок, потому что нет уже у меня никакого желания опять ворочать мозгами на тему: мертвая она или все-таки живая, а может, просто неразговорчивая? Или это она такая нерешительная, никак не может выбрать среди предложенных вариантов. Мне по фигу. Она женского пола? Женского. И нечего тут мудохаться, живая она или мертвая, тем более что Анжела мне говорит: ну, ты, чего прицепился, убери лапы, я сама могу.

Значит, процесс пошел, все пучком, элегантное возвращение из мира усопших в мир живых и разговаривающих, возвращение, что ни говори, с помпой, трубы и фанфары, тетя Амфочка мертвого на ноги поставит. Мне уже насрать на те валуны, которыми заблевано все ванное оборудование, откуда они взялись и все такое, вопрос похерен, и я уже не буду его обсуждать с этой придурочной камикадзой. Потому что ее нарцисстическая карьера псевдоинтеллектуалки не входит в этот момент в мои приоритеты.

Ладно, хватит гнать пургу, я лучше сразу перейду к ключевому вопросу, который, чего тут скрывать, стоял на повестке дня с самого начала. К межполовому знакомству. Которое явно имело место быть. Однако прежде, чем мы приступили к этому подтвержденному документами факту, случился, как известно, довольно долгий простой. Какой простой? А такой, что у Анжелы, после того как я профессионально оказал ей пер-

вую помощь, ожило вдруг ее хайло. Вернее, лицо с органом речи. Невозможно привести здесь все те слова, которые посыпались из этого отверстия, потому что она сразу же после возвращения к жизни стала очень разговорчива на все темы подряд. Из ее рук, ног, частей лица прямо у меня на глазах произросла буйная, как огромный лес, жестикуляция. Много разных слов, много фразеологии, но только с ее стороны. С кем она общалась? Уж точно не со мной. На самые разные темы. Ее оральность не иссякла, она без умолку говорила, спрашивала и отвечала сама себе. Про собак, про животных вообще. Потом пошел базар про сатанизм. Что она уже устала от этого мрачного, смертельного стиля, что хочет быть самой обыкновенной или хотя бы более обыкновенной чем она на самом деле. Что иногда она жаждет ничем не отличаться от своих одноклассниц, самых обычных, глупых девчонок, что только и знают — в школу, из школы, других интересов по нулям, глубоких мыслей о мрачной стороне жизни — по нулям, мыслей о смерти — по нулям, о самоубийстве они даже не думают, потому что насквозь ограниченны, не чувствуют новых веяний, трендов, ничего. А для нее наложить на себя руки — фигня, один удар ножа, один килограмм таблеток, и она мертва, а в газетах ее фотографии на фоне моря, с соответствующим макияжем, она вся в металле и романтических драпировках, в газетах некрологи, извинения, статьи, что такая молодая, но уже талантливая и очень творческая личность оставила нас на произвол судьбы. Но это не все, она дальше тянет свою резину, не упуская и продовольственных тем, типа с самого рождения ее организм не принимает мяса и яиц, потому что это плоды преступлений.

Для меня это был простой, потому что я, пока она трындела, смотрел телевизор, по которому абсолютно нечего было смотреть. На тысячу каналов одна порнуха, и та немецкая, science medieval fiction. Дело происходит в замке, мужик весь в доспехах, а хардовая немецкая сучка дает ему исключительно в банальных позах. Просто классика, ни одной свежей позы, а вместо звука, который для целостности восприятия все-таки должен быть, Анжела пропихивает свои диалоги в системе моно. Облом. Анжела каждую минуту спрашивает, чего это я все время лыблюсь как полудурок. Меня это бесит. Потому что, если уж смотришь фильм, не фига отвлекаться на разговоры, из-за которых можно потерять нить и потом не знать, в чем теперь дело, почему они, к примеру, именно так трахаются, а не иначе.

Вот такие заморочки, блин. Я ей отвечаю, что улыбаюсь, потому что рядом со мной — она, и я счастлив, потому что от ее вида у меня поднимается настроение. А потом быстро стараюсь врубиться, что случилось, пока я отвлекался, и сильно ли продвинулось действие фильма. Но несмотря на то, что она все время пытается испортить мне связность сюжета, я все равно врубаюсь, в чем там дело. Потому что при помощи опыта и интуиции всегда можно понять, что в данную минуту происходит на экране.

Вот такие заморочки, блин. Короче: потом пошла лекция на тему почетного значка туриста и льготной путевки на любую молодежную турбазу в горах Карпатах. Еще одно слово, и я суну Анжеле в руки открытый зонтик. И выкину ее в окно, чтоб упорхнула отсюда к себе на хату.

Но я так не сделал. И теперь стараюсь аккуратно переворачиваться на замызганном диване и, главное, помню, как бы не вляпаться в то место, где Анжела шлепнула сургучную печать своей девственности, чтоб ей пусто было.

Потом пошел уже ништяк, потому что Анжела перестала наконец слоняться по моей хате, шарить своими черными гляделками по мебельной стенке и домогаться, чтобы я показал ей какую-нибудь свою детскую фотку, когда я был еще голенький. Еще чего придумала. Я никогда не был маленький, говорю я ей. На полном серьезе. Я родился уже довольно большой и с трехдневной щетиной, а потом только рос, даже есть не надо было. Заливаешь, говорит она и бухается на диван. Джордж сразу, но не будем про личное. Ты, наверное, устала? — говорю я ей. А она мне, что нет, просто она вообще любит полежать, полежать и помечтать. Ну, мне по фигу, о чем она собирается мечтать, о горных кручах или что она выиграет областной конкурс на самый черный прикид и ей за это дадут черную медаль, но я тихой сапой пристраиваюсь рядышком. Неважно, о чем она там размечталась. Она вынимает из сумочки бумажник с документами. Я потихоньку начинаю. Но об этом не буду, потому что это дело интимное. Такую, как она, главное не испугать, потому что эти шизанутые тридцать килограммов готовы в любой момент достать из своего бумажника маленькие гибкие крылышки и выпорхнуть в вентиляционную трубу с жалобой в отдел по делам несовершеннолетних. Нет, правда. С психами лучше без шуток. Поэтому я ее спокойно так, потихоньку, без жестокости и насилия. Она вытаскивает фотку какого-то облезлого на вид хмыря. Роберт Шторм, говорит и смотрит мечтательно. Ладно, думаю, пусть сосредоточит свое внимание на чем-нибудь другом. А сам манипулирую уже вплотную к ней, но это очень личное. Тут она начинает доставать разные коллекции всякого мусора, свои письма к подруге из Англии, которая ей ни разу не ответила. Потому что, возможно, не тот был адрес или не тот язык. Потому что, говорит Анжела, между английским и сленгом большая разница. Сленг — это такой язык, на котором тоже разговаривают. И вот, например, та англичанка говорит именно на сленге, а письма по-английски не поняла. Подумала, что это и не ей вовсе письмо, потому что адрес Анжела тоже написала по-английски. Или, может, подумала, что это письмо из цепочки счастья, и сразу же выбросила его вместе с картофельными очистками и использованной салфеткой. Наверное, так и было, шепчу я Анжелке прямо в ухо, чтобы заинтересовать ее другими, более важными делами. Ноль реакции. Я бы мог с нее сейчас платье снять, она бы даже не заметила, пока я ее не трахнул бы как следует, а может, даже и вообще не заметила бы. Значит, мы на верном пути. Суперосторожно. Она лежит на боку и перебирает свои бумажки, эти свои говнюльки. Вот листик с дерева. Вот краеугольный камень. Вот окурок, к которому прикасались губы Господа Бога. Вот ее Первое Причастие, которое она выплюнула и засушила, а теперь хранит на счастье. Вот ее первый волос. А вот ее первый зуб. Это ее первый ноготь, а это ее первый парень Роберт Шторм в профиль с охотничьим ружьем на охоте в Охотничьем обществе. Я потихоньку делаю свое. Колготы. А она гонит дальше как ни в чем не бывало, просто телеведущая какая-то, голова разговаривает, а пониже пояса в нее может войти по очереди вся польская армия, она и глазом не моргнет. В этом она вся, эта Анжела. Бесповоротно занята

разговором. Пусть говорит. Не буду вдаваться в подробности, но при снятии трусов она даже сотрудничала. Подняла попку, засмотревшись в открытку с курорта, которую ей прислала из Хеля подруга из Щецина. Типа я тут классно отдыхаю, много гуляю по свежему воздуху, погода хорошая, солнце, костер, гитара и хорошее настроение и P. S.: нам песня строить и жить помогает. Ну, лиха беда начало. Я боялся ее реакции в ключевой момент, чтоб не выскочила с криком. Тесно, но тепло, раз-два-три, мое лицо в ее мокрых волосах, с которых я смыл под краном уже упомянутые тошнотики, а джордж тихонько мурлыкает свою песенку-чудесенку. Она ничего так, кажется, даже сотрудничает, хоть я и боюсь, как бы не выкинула какой-нибудь очередной номер с бетоном или еще каким валуном. Она гонит про то, что когда-то любила собирать марки, а теперь ей это кажется инфантильным, так ей сказал Роберт, из-за чего между ними не раз доходило до ссор и конфликтов.

Ну что тут долго рассказывать. Я буду лясы точить, а потом мои детки, мои и Магдины или другой бабы, всегда ведь какая-нибудь подвернется, возьмут и станут подслушивать и узнают, из каких воистину биологических конфигураций они произошли. Что я, их отец, не нашел их вместе с ихней матерью в канаве при шоссе на краеведческой экскурсии, а просто вмонтировал в чрево матери при помощи своей подвижной присоски. И как мне им в глаза смотреть? И что я им скажу? Что мы не люди, а обычные кишечнополостные, которые соединяются в пары по двое и делают непристойные телодвижения? Что в этих морях биологически активной жидкости плавают хвостатые твари, у которых потом вдруг появляются зубы, ногти, одежда, дипломаты, очки? И хотя развлекуха в самом разгаре, я вдруг резко начинаю подозревать, что с Анжелой что-то не то. Что я натыкаюсь изнутри на какое-то ее сопротивление, чувствую с ее стороны какое-то физиологическое препятствие. Так оно и есть.

Потому что вдруг как треснет, как щелкнет, типа взрыв, потому что вдруг простор какой-то, пусто, будто я пробился насквозь в какую-то подводную страну, потому что вдруг Анжела как завопит, как вскочит, и весь ее мусор, который она старательно разложила по всему дивану, как разлетится во все стороны. Она орет, держится за свою писькy и сучит ножками. Твою мать, говорю я и начинаю ржать, потому что хотя уже конец и удовольствие не так чтобы очень, но я сразу просекаю, что к чему. Что вот она — поднятая целина, и будет теперь наша Анжелка классная, охочая до развлечений телка по всем статьям. Сейчас из места, где срастаются ее концлагерные ножки, выпадет символическая скорлупка, которую она поднимет, оправит в золотую рамочку и повесит над своей кроватью. А еще она ее отксерит и подарит мне в точно такой же рамочке, чтобы я ее поставил на свой директорский стол в конторе по делам общедоступной анархии. Чтоб я ее показывал во время деловых встреч Здиславу Шторму, что вот типа его сын не смог, а я, Сильный, Анджей Червяковский, сумел.

Но ничего такого не происходит. Анжелка стоит надо мной, видон у нее просто прикольный: платье задралось до самого пупка, а сама она, типа скромная принцесса из царства целок, пытается обратно натянуть на себя колготки и говорит: я девственница. И тут же, как наглядную иллюстрацию, выделяет из себя прямо на диван нехилый сгусток крови и

кусок сырого мяса. Я ей говорю: только без истерик, пожалуйста, и прикуриваю из ее сумочки красный русский L&M, чтобы отомстить ей за преждевременно обломанный кайф. Сам я тоже весь в крови, которую надо срочно смыть и застирать, потому как сейчас я в состоянии поверить, что меня каким-то чудовищным образом обокрали — стибрили мой собственный пол, и теперь я среднего рода.

Ну у нее и видуха, у этой Анжелы. Кошмар, тридцать два килограмма рвущегося наружу кошмара, отчаяния и шока от неожиданного удара, я чувствую даже укол совести, что это мой джордж — виновник всего этого ералаша. Мне ее даже жаль, потому что я уже давно заметил, что у меня мягкое сердце и я вчистую расстраиваюсь из-за всяких пустяков. Иногда я даже жалею свою собаку Суню, хотя по упитанности она скорее корова, чем лань. Но я всегда подчеркивал моему братану, чтобы не перегибал с этими желтками, потому что у нее от этого изжога и лишний вес. Ну, я ей и говорю, иди сюда, Анжелка, это ведь твой праздник, день святой Анжелики. Давай, натягивай трусики, а если что, до свадьбы заживет.

Но она по-прежнему в шоке, вся трясется, будто я как минимум лишил ее органа речи. Она уже не хочет говорить об открытках, не хочет говорить о птицах, будто у нее зубы между собой срослись. Одновременно я панически размышляю, какой еще номер она мне тут выкинет. Потому что я потихоньку опять начинаю мрачно отмораживаться, а значит, у меня не будет ни сил, ни энтузиазма убирать то, что она может извергнуть на ковровое покрытие или еще куда. Опять камни, или теперь это будет уже новый виток ее внутренней болезни, и из нее посыплется уголь, кокс, динамит, клинкер, известь, пенопласт.

— Да ладно тебе дуться, — говорю я ей и застегиваю трузера, которые так запачканы кровью, как будто я защищал в них диплом по убою крупного рогатого скота или просто в ширинке взорвалась противопехотная мина. Я встаю с дивана, беру Анжелу на руки, и мне кажется, что она ученица не экономического лицея, а начальной школы, куда пришла на бал-маскарад в костюме черной копоти. Вот такой глюк. Ей теперь больше пяти лет не дашь, из-за чего мое сердце вдруг начинает кровоточить по всему телу. Тогда я сажаю ее на диван и говорю: обожди-ка минутку. И подтаскиваю один колченогий столик, поправляю салфетку, чтобы все путем, чтобы ровно лежала. Хорошая салфетка, по русской лицензии, кружевная, пятностойкая. Выкладываю птичье молоко, ставлю вазочку с искусственной герберой, рядом сигареты, чтоб все элегэйшн, круиз на пароме "Титаник", мирное соглашение, символический жест мужчины по отношению к женщине. Она еще дуется, ногой разгребает этот свой бардак с сувенирами со всех деньрождений и поцелуев в руку и губы. Уже почти светло, Суня лает в саду как недорезанная, жрать хочет. Суня, блин, гребаное ожирение. Анжела по-тихому отмораживается после бурных переживаний этого вечера, тупо смотрит внутрь пепельницы, будто гадает на окурках про свою творческую карьеру. Тут я быстро перехожу к делу, чтобы у нее остались радостные воспоминания перед тем, как она мне тут совсем выпадет в осадок.

Вернемся к нашей теме, лапуля, говорю я ей, роясь пальцами в птичьих молочках, чтобы сварганить себе маленькую славную дорожку и

расслабиться. Она мне в ответ поддакивает жестом головы, не то возражает, не то подтверждает. Я ей тогда говорю: сегодня День Без Русских. Значит, облом, все будут на площади. Но завтра начинаем раскручивать твою карьеру, моя ты талантливая. Послезавтра я позвоню всяким разным, шефу, премьеру, знакомому фоторепортеру. Что типа скандал. Типа самоубийство. Ну, не на самом деле, конечно, не это же главное. Главное пиар. Я так понимаю. У меня напряженный рабочий график, но пару-тройку встреч мы провернем, я там надавлю на кого надо, слышь, Анжелка? Потом вдруг оказывается, что самоубийство спасено. Большой талант спасли плохие врачи. Выставка твоей одежды, конференция с участием прессы на тему, какая музыка тебе больше нравится, какое у тебя хобби в свободное от искусства время. И тут вдруг в один прекрасный день ты перестаешь быть анонимкой, толпы пипла хотят тебя видеть, хотят поближе познакомиться с твоей личностью, сердце Роберта Шторма тает, как на блюдечке. Но Роберт Шторм может только помечтать, может только лизнуть тебя глазом через толпу охранников. А твое сокровище сегодня все равно пропало. В "Лизе" твоя фотка прямо посредине обложки.

— Только не в "Лизе", — невнятно говорит Анжела заплетающимся языком и громко отрыгивает неизвестно чем, может, булыжником, а может, битумкартоном, а может, и стекловатой. Это ее первый зафиксированный синдром жизни за последние полчаса. Я боюсь, как бы она тут у меня опять в летальный исход не впала. И что я делаю. Себе дорожку, "Здислав Шторм", и все пучком. А ей я говорю так, чтобы ее немножко отвлечь от самоубийства: а теперь, Анжелка, давай, возьми себя в руки. Смерть — это фигня, смерти нет, ты ведь не веришь в смерть, это ведь предрассудок. Заразные болезни — предрассудок, автомобильная преступность — предрассудок, могилы — предрассудок, несчастье — предрассудок. Это все подлые изобретения русских, это их козни, чтобы экзистенциалистически нас запугать. Роберт Шторм просто платная марионетка в русских руках. Хулиганство и вандализм — просто народная легенда. Ни "Арки", ни "Легии", ни "Полонии", ни "Варсовии", никаких футбольных клубов. Это фиктивные команды, которые пляшут под дудку Новосильцева. Стась и Нелли тоже фиктивные, их никогда не было, просто русский князь Генрик Сенкевич вероломно изготовил их специально для фильма "В пустыне и дебрях", я тебе говорю, чистая древнегреческая мифология. В натуре. На самом деле очень даже возможно, что и русских тоже нет, это мы еще проверим. Иди-ка на балкон, за окном лучший, брэндовый мир, специально для наших потребностей, высоковольтных линий нет, шприцов нет, пожаров нет, мяса нет. Только Вегетарианский Красный Крест организовал сбор денег на новые камни для желудка Анжелики, семнадцать лет. Эй, Анжела... Анжела, подними-ка задницу... встань... да встань же на минутку!

Тут я подбегаю к дивану, и что я вижу. Большое пятно, твою-у-у-у мать. Вот почему она так тихо сидела, эта вдруг примолкнувшая копоть. Она тут втихушку вся сама из себя вытекла и стекла на диван моей матери, совсем недавно, в прошлом году, купленный диван типа "Бартек", вытекла в виде крови, хотя, может, там немного моей органической жидкости тоже нашлось бы, чего уж тут запираться. Все, она меня достала. Нет, я сейчас просто выдерну шнур из этого поганого мира, перережу

высоковольтные провода, дерну за ручку и сорву к чертовой матери тормоза безопасности. Я хочу ее убить здесь и сейчас, даже если придется весь раскладной диван залить ее блядской кровью, полоснуть ножом, распотрошить и выкинуть все эти прибамбасы, весь этот поролон, постель, пружины, разметать в разные стороны, растоптать, уничтожить, убить, уничтожить. Блядь, сука, твою мать. Ну, это уже перебор, дорогуша, все, твоя карьера кончена, хорошо, что я не успел пошевелить пальцем и привести в боевую готовность свои связи. Все, твоя звезда уже закатилась, и давай ты тоже катись отсюда. Вали, я сказал. Вот твои шузы, сапоги прямо с гор Кавказа, вот твой куртяк, вот твой переносной киоск с сувенирами, вот твои внутренние камни. Спасибо, что вы приняли участие в нашей программе. Вот автоматически закрывающаяся дверь "Терда", раз-два, левой, левой, автобус номер три сей момент за вами приедет вас забрать.

Все бабы — суки. Все одинаковые. Сами никогда не уходят, сидят и ждут. Пока я не взорвусь. Выгоняй их тогда, отмахивайся от них как липучка для мух. Я подозреваю, что вполне возможно, это одна и та же, только переодетая в разные шмотки сука пристает ко мне все время, раскручивает на удовольствия, а потом устраивает срач во всей хате. Каждый день, каждый божий день, и все хуже и хуже. Я подозреваю, что она живет где-то в нашем микрорайоне. Знает, что у меня слабые нервы. Приходит и специально меня достает. Я ее убиваю. А она опять отрастает из собачьего семени и уже на следующий вечер опять сидит сплоченная и готовая к делу. Русское отродье. Может, русские — это просто бабы, может, это такой эвфемизм для женщин. Но мы, мужчины, выгоним их отсюда, из нашего города, это они приносят беду, несчастья, заразу, засуху, плохой урожай, разврат. Портят чужие диваны своей кровью, которая течет из них, как вода сквозь пальцы, запятнывая весь свет неотстирывающимися пятнами. Угрюм-река Менструация. Опасная болезнь Анжелика. Суровое наказание за отсутствие девичьей плевы. Если узнает ее мать, вставит ей обратно.

***

Плохие сны.

Магда рожает каменного ребенка, на вид это пятилетняя девочка, оба глаза с нервными тиками. Ребенок — каменное чудовище, которое ни Левый и никто другой не признаёт своей дочерью, Магда хочет продать ее в цирк, стоит передо мной, качает коляску и говорит: или я, или та другая, Сильный, или я продаю Паулину в цирк, выбирай, или я, или она.

В почтовом ящике открытка от Анжелы, привет, Анджей, я не знала, писать тебе или нет. Я в аду, еще сегодня, вернувшись домой, я совершила самоубийство. Ничего особенного. У нас тут магнитофон и комната отдыха. Воспитатели симпатичные, музыкальные. Когда что-нибудь еще узнаю, напишу поподробнее. Мне пора, потому что сейчас у нас будет линейка. Потом ужин, спортивное ориентирование, игры на свежем воздухе. В понедельник с инспекцией приезжает Сатана. Будет проверка палаток, потом собрание. Целую. Я никогда тебя не забуду, если можешь, пришли какие-нибудь теплые вещи (здесь холодно по ночам). Твоя Анжела. P. S. Передавай всем привет!

Звонит телефон, большой телефон звонит прямо внутри меня, где трубка, я не знаю, хотя со всех сторон слышу голоса, это тебя, Анджей, это за тобой какие-то люди, какие-то люди за тобой, Анджейка, это члены комиссии, они к тебе, хотят проверить твои органы, пригодны твои органы на продажу или нет, их хотят продать на запад, Анджейка, зачем же так нервничать, все в порядке, органы нам подходят, ваш вопрос решен положительно, их покупают, срок операции уже назначен...

Я просыпаюсь. Слепой, глухой, немой, как огромный крот, вытащенный из-под земли, зарывшийся в окровавленный диван. Словно полуживой, будто меня засунули в спичечный коробок и закрыли там. Короче, глючит. Отовсюду звенит. Звук стерео. Остальное моно. Кажется, что все, чего никогда не было, теперь есть и сидит у меня в голове. Все, чего никогда не было. Вся пустота. Все молчание как кто-то третий лишний. Вся вата мира. Весь суррогат и весь пенопласт, засунутый кем-то в мою голову. За ночь я прибавил в весе. Я такой тяжелый, что сам себя не могу поднять на ноги. Насыщенный раствор. Как будто я запутался в шторах, как будто я запутался в собственной куртке и не могу выпутаться, засунул башку в рукав и не могу ее оттуда вытянуть.

Как будто эта Анжела в меня, а не в диван истекла своими внутренностями, и я теперь лежу опухший, удвоившийся, двойное сердце с обеих сторон, двойная печень, шесть почек и несколько кирпичей.

А когда я встаю ближе к обеду, то думаю, почему это мать не вернулась еще из фирмы "Цептер". Хотя, может, она звонила, но мне ничего про это неизвестно. Интересно, почему я не поднимал трубку. Ни фига не могу вспомнить. Интересно, что происходит, может, я уже один живу в этом городе, потому что весь род людской вымер как жанр. И когда я так стою, передо мной раскидывается вид на нашу квартиру, выдержанный в стиле батальной живописи, пейзаж после битвы. Интересно, может, война в мое отсутствие уже закончилась, может, пока я дрых, тут была решающая битва, главный штаб. Пока я спал, русские вломились в квартиру, ворвались, перевернули все вверх дном прикладами, перестреляли на картинах пейзажи с водопадами, подсолнечники, особенно досталось кожаным часам. Скинули с холодильника голубую пластмассовую фигурку Божьей Матери, памятный сувенир из культовой базилики в Лихени, головка отвалилась, святая вода запачкала паркет. Натоптали в ванной, всю плитку загадили. Всех женщин, какие попались под руку, изнасиловали прямо на диване, устроили здесь себе главный штаб, комитет по делам траха. Привели лошадей, сожрали все птичье молоко, выкурили все сигареты, засрали все кругом и адью, до встречи в следующей жизни в Белоруссии. Моего братана и мать забрали в плен. Меня, скорее всего, убили, потому что у меня такое впечатление, что я избит насмерть каким-то тяжелым предметом, потому что внутри головы я еще слышу далекое эхо этих ударов и выстрелов. Но почему меня, ведь у моей матери был с ними неплохой бизнес, сайдинг, панели, "цептер". Почему же именно меня, почему они били меня по башке так долго, что я до сих пор ощущаю в ней вкус железа, кучу железного лома, слышу, как крутятся вокруг собственной оси шестеренки. Где они были, когда Магда высказывала свои взгляды против них и открыто вела антирусскую идеологию?

Но что-то изменилось, это я констатирую, как только распахиваю настежь вертикальные жалюзи. Мир вылез из формочки. Зажравшееся, как паразит на теле нашего общества, солнце стало больше. Жирнее. Бьет по глазам. Беспощадно. Целится прямо в меня, светит мне прямо в глаза, почти как настоящая гестаповская лампа: говори, Сильный, признавайся, будешь еще грешить, а не признаешься, мы сейчас крутанем ручку до отказа, и ты сдохнешь от этого убийственного, шипящего света, который уже лижет тебя белыми язычками пламени. Шнур жалюзи скрипит. Занавес разъезжается. Представление начинается. Вот это шоу, я такого в жизни не надеялся увидеть. Потому что таких спектаклей просто не бывает. Нигде на свете и вообще в природе. Я не могу поверить во что вижу. Я в таком шоке, что хочу высунуться из окна, потому что мои глаза не хотят открываться, и гляжу я только через щелки, а все остальное тонет во мраке. Ну, и в результате врубаюсь башкой в стеклопакетное окно, в результате чего раздается какое-то эхо, какой-то резонанс, грохот ужасный, из-за которого вдруг делается еще светлее. И вот еще что я хотел сказать: что-то случилось с моими глазами, о чем я уже говорил, за ночь они заросли какой-то дополнительной дармовой кожей, и вижу я, в общем, хреново, но то, что мне видно, я вижу. И то, что я теперь вижу, это явно никакой не глюк, и не мультик, и не повтор любимой телепередачи по письмам телезрителей, а самое настоящее шоу прямо из жизни, реалити-шоу.

Так вот, вдруг ни с того ни с сего в мире пропал цвет. Нет его. Полное отсутствие присутствия. Ночью кто-то спер все цвета радуги. Или еще что-то случилось. Может, цвета поблекли от частой стирки. Поблекли до полного уничтожения. Может, кто-то выстирал этот пейзаж, этот вид из окна, в автоматической стиралке не в том, что надо, порошке. Моя сеструха тоже мне как-то устроила такую передрягу с джинсами. Сегодня нормальные голубые джинсы, а назавтра уже совсем белые, белые ливайсы с белой лейбой без буковок. Я тогда просто взбесился, потому что в моей тусовке мне была бы просто хана, что, Сильный, к причастию собрался, опоздал, служба закончена, причастие уже съели, иди домой, до встречи в следующем году.

Ладно, штаны это чепуха. Проехали. Но одно я вам точно скажу. Не знаю, как они это сделали, кислотный дождь там или еще чего, может, экологическая катастрофа цистерны с отбеливателем, а может, ДТП у Левого, когда он ехал на своем "гольфе", набитом амфой. Но все дома снаружи белые. Типа известью или еще какой гадостью покрашенные. Соседский дом, этих, что кучу бабла зашибали на махинациях с левыми машинами, которые русские привозили, вдруг до половины тоже белый от самого верха. До половины. Всё до половины белое. В основном это половины домов. А то, что внизу, улица, там, блин, красное. Все как есть. Бело-красное. Сверху вниз. Наверху польская амфа, внизу польская менструация. Наверху импортированный с польского неба польский снег, внизу польский профсоюз польских мясников и колбасников.

И куда ни глянь, везде какая-то оранжевая бригада мельтешит с ведрами краски, с валиками, на ветру лопочут бело-красные сигнальные ленты, чтоб вороны не садились и на свежую краску не срали. Машины, сирены, какие-то приспособления, строительные леса, дурдом, ну, дурдом на колесиках, больной город, спутники уже могут фотографировать его на память из космоса, паранойя.

И когда я все это вижу, р-раз за шнурок, и вертикальные жалюзи опять назад заслоняю, даже шнурок со зла оборвал. Потому что смотреть на это — извините-подвиньтесь. И не уговаривайте, я эту порнуху с бело-красными животными и бело-красными детьми, которую снимают под моим окном дегенераты из городских служб за наши же налоги, смотреть отказываюсь. Ну, может, не за мои налоги. Но за налоги моей матери, хотя я ее давно уже не видел. Может, я и перебрал чуток амфы, раз у меня теперь даже с веком такие проблемы, то оно отлипает, и тогда я вижу все, то опадает, и тогда все, что я вижу, это моя кожа изнутри. Она там черная, и это все, что я вижу. Только не надо мне втюхивать, что город перекрашен в цвета нашей национальной сборной по футболу из-за меня, что это мой личный глюк, что это у меня амфа внутри ферментирует и на почве ломки крыша поехала. Не надо ля-ля. Потому что, как только я захлопнул жалюзи, все снаружи назад стало пучком. Я вздыхаю с облегчением и бегу закрыть на двойной замок автоматическую дверь "Герда". Чтобы эти бивни не ворвались ко мне внутрь, ведь как пить дать заляпают мне известкой весь дом, испортят мебельную стенку, ковролин, вертикальные жалюзи. Это будет конец. Изабелла этого не переживет. Кессоны там всякие на потолке только что контрабандой привезены через Тересполь. А тут вдруг офигительный красный цвет, под цвет ее губной помады, она бы могла лежать вечером с зеркальцем и проверять, подходит оттенок или нет. Они сюда не войдут, и точка, иначе им придется пройтись по моему трупу и тщательно затоптать меня в ковровое покрытие, чтоб легче было закрасить, чем отодрать. Я даже вдруг чувствую себя счастливым человеком и подумываю, не дать ли Суне пожрать. Потому что она чего-то перестала скулить. Но потом меня осеняет другая мысль, что для этого мне понадобится выйти наружу, и опять начнется эта фата-моргана, эта бело-красная зараза, расползающаяся по городу как оспа. Уж лучше я сяду. Потому что по квартире лучше не ходить, а то можно запачкаться о ковровое покрытие. Я осматриваюсь. Надо признаться, что думать я в это время не думаю, во всяком случае, думаю не слишком интенсивно. Можно даже сказать, все пропускаю мимо внимания, потому что как раз сижу. Сижу. Моя голова живет своей отдельной, собственной жизнью. Там какая-то тусовка, звонят телефоны, передают радиопередачи из Варшавы и из Москвы одновременно, горят огни, электричка ездит до самого Китая, въезжает в одно ухо, выезжает из другого и давит по дороге всё подряд. Все мои мысли и чувства.

И тут вдруг в один момент доходит до меня вся моя жизнь, раскинувшаяся кругом как послевоенный пейзаж с окровавленным диваном, с пятнами крови на моих штанах. Из пятен получается какая-то настольная игра, где все тропинки засохшей крови однозначно ведут в ад, притаившийся в моей ширинке. Белые пятна на ковре остались от Магды, когда она сплевывала зубную пасту, а красные от Анжелы, которая тут от меня бегала и в результате загадила мне всю комнату. Какой-то дождь из фантиков от конфет прошел, дождь камней и молочных зубов, будто Анжела, перед тем как отправиться в ад, вытряхнула по всей комнате свою сумочку.

Держи, Сильный, держи и не говори, что я не оставила тебе ничего на память, вот мой испорченный зуб, вот мой сломанный волос, вот мои отклеившиеся ресницы, тут мои ноги, еще согнутые, а тут руки, вот мои камни, спрячь их куда-нибудь подальше, засуши, засунь между книж-

ных страниц, в пакетик, в вазу, в рамку. Когда ты наступаешь на ковролин, ты наступаешь на меня. Потому что вообще-то я уже умерла, сижу себе в аду, скукота ужасная, Сатана говорит, что тебя, скорее всего, тоже сюда вот-вот вызовут. А пока он купил мне пару черных хомячков, самец все время хочет трахнуть сучку, и мне постоянно приходится следить, чтобы быстро его с нее снять. Мне их даже поливать неохота, так скучно, что я постоянно зеваю.

И от этих моих мыслей все ее вещи, открытки, жвачки в форме шариков, катающиеся по квартире точно какая-то мануальная развивающая игра, вдруг начинают лететь в мою сторону, и мне приходится их ловить. Я собираю их, хотя как представлю себе, что хожу по Анжелиному мясу, мне делается нехорошо, меня плющит к полу и колбасит по всей квартире. Бумажки, окурки в форме отпечатков ее черного рта, всё в пакет. В большой непрозрачный пакет. И в шкаф. Под шмотки, под четырехместную палатку, а сверху еще приваливаю гладильной доской, чтобы никто из моих родственников к этому не притронулся и не заразился трупным ядом.

Вдруг неожиданно звонок в двери. Шок. Паника. Может, лучше подхватить свои адидасы и зашиться, блин, в мебельную стенку, как будто нет меня и никогда не было. А этот срач на диване и везде, этот бесповоротно оторванный шнур от жалюзи, съеденное птичье молоко и тянущаяся от дивана по ковру, по коридору до самой двери, через крыльцо, через калитку, по тротуару до остановки, через весь автобус номер 3, от водителя и до самого сиденья кровь это вовсе не кровь, а красная краска, которой красят нижнюю часть города к празднику Дня Без Русских и которая, наверное, вытекла из кармана какого-то работяги. Так я им и скажу. Полиции и пожарникам, вместе взятым: герла отдала концы, истекла кровью по дороге домой, замызгала весь город вдоль и поперек, как раз в канун городского праздника, испортила нам День Без Русских, дурную славу пустила про наш город, что живем мы тут не как люди, а как убойный скот. А отвечать будете вы, гражданин Сильный, предъявите документы, фамилия матери, увлечения, хобби.

Представляю я себе все это, и дрожь меня пробирает. Но звонок не перестает, что делать, не знаю. Я в грязных штанах, с пятном спереди, а звонок воет как сирена "скорой помощи", этот звук может запросто прикончить человека, если он не откроет дверь. Ну, и иду я через весь коридор, наполовину подслеповатый, с взбесившимся, моргающим как стробоскоп веком, которое, точно отделившийся от меня зверь, вращает моим глазом. Иду, как приговоренный к смертной казни, приговоренный к смертной казни через пытку светом, посредством набитых под веки осколков солнца.

Тогда я открываю. Открываю. Открываю все эти замки, которые раньше закрыл. Затрахали. Со звонком это уже перегиб, меня просто отымели в уши, от этого звука мне на лицо сыплется побелка. Просто подключенный к моей голове электрошок. Не знаю, какой мусор надо иметь в башке, чтобы вот так по-хамски жать на звонок чужого дома.

Я открываю и, даже не посмотрев, говорю: ну что, бля?

Анжела в дверях. Анжела в дверях. Живая. Держится на ногах собственными силами. Стоит. Пялится попеременно то на меня, то на мою ширинку. Как будто не в курсе, что это ее рук дело, и будь у нее совесть, она бы это отстирала, если б не была такая задница. Но где ей. Стоит. На фоне перекрашенной в бело-красный цвет улицы. Лицо у нее такое, как будто его с приходом весны побелили известью, чтоб червяки не завелись, а глаза, губы, всю эту фигню дорисовали черной гуашью.

Она похожа на завядший и сгнивший горшочный цветок. Выглядит, словно только что вылезла из реки, в которой утонула месяц назад. А тем временем ее обосрали стрекозы. Я смотрю на нее. Да, красивой ее не назовешь. Видон как у монашки, которая по весне выползла погулять по парку и с трудом удерживает на увядающей прямо на глазах шее мужское лицо. В окольцованной перстнями костистой лапке такой же завядший, как она сама, бело-красный флажок. Бумажный.

— Вот, купила у русских, — говорит она таким анемичным голосом, будто читает стихи на концерте в честь Пясницкого Леса, где немецко-фашистские захватчики расстреляли все местное население. И слабо махает флажком. Как будто хочет сказать: это не я сюда приперлась. Это под меня кто-то косит.

Я гляжу на нее как баран на новые ворота. Потому что она живая и целая, не в аду, значит, не подложила мне свинью, не такая сволочь, чтобы из-за нее сюда приперлись мусора и присяжные психологи. И разъяренный Сатана: Сильный, сукин сын, ты ее убил, ты убил мою доченьку, а она была такая маленькая, такая худенькая, так любила турпоходы и путешествия.

Теперь я точно вижу, что она некрасивая. Я бы даже сказал, такое впечатление, что в дверях стоят обуглившиеся останки цыпленка табака. У русских, повторяю я за ней, а сам судорожно держу в руке дверь, чтобы она случайно не вздумала войти. Жмурик. Не знаю, может, это меня просто глючит, что она пришла забрать назад свою черную девственность, которую вчера тут оставила. Что это она за ней вернулась, хотя уже дохлая, уже с вытекшей до последней капли кровью. Ночью умерла, а теперь вдруг вернулась. И я не знаю, о чем с ней разговаривать.

— Анжела, а у тебя усы, — сообщаю я, глядя ей в лицо, чтобы завязать разговор.

— Усы? — спрашивает она тупо и поднимает свою гнилую руку к верхней губе. Но эта рука по дороге вянет и опадает согласно направлению гравитации. — Усы? — повторяет она без выражения.

— Ага, самые настоящие усы, — говорю я уже бодрее, потому что чувствую, что эта тема ей по душе. Хорошая тема, нейтральная и притом забавная. Я ей говорю: вот я иногда смотрю на тебя и думаю: мужик.

Она на это типа не реагирует. Не смеется, будто человеческого языка не понимает, не знает, что такое усы. Нет, видно, не нравится ей эта тема. Чтобы не получилось между нами тишины, неприятной, как развешенная мокрая стирка, которая то и дело хляпает по морде то рукавом, то штаниной, я опять начинаю: как дела? — и ободряюще ей улыбаюсь, протягиваю руку, на которой тоже замечаю немного засохшей крови, и сильно, по-дружески хлопаю ее по плечу, чтоб знала, что мы друзья, что мы запросто можем стать настоящими приятелями и что,

когда я ее встречу на улице, она всегда может рассчитывать на то, что я с ней поздоровкаюсь.

Она в ответ на этот дружеский жест с моей стороны довольно сильно шатается, поднимает руку с флажком, машет им довольно апатично и говорит: я у русских купила. И поднимает свой безжизненно висящий флажок. Я у русских купила, потому что дешевле. Наши тоже продают. Но дороже. Ясное дело. И из искусственных материалов. Которые не разлагаются в природных условиях.

Пока она это говорит, я не знаю, сколько это может еще продолжаться. С ее стороны ни улыбки, ни чего. Она смертельно серьезна. Я тихонько подсчитываю в уме. Может, мы уже целый час тут стоим. А может, полчаса. А может, секунду. А может, я уже умер. Может, меня держат в каком-то бумажном дурдоме, в каком-то вырезанном из женского журнала бело-красном наркодиспансере. Вроде все пучком, но стоит мне шевельнуться, как клей для бумаги перестанет держать, и я рассыплюсь вместе со стеллажом, под которым горит адское пламя. Потому что это такой специальный ад, куда сажают за амфу. И пускают такие вот глючные мультики. А Анжела — это не Анжела вовсе. Это какая-то гребаная бумажная кукла. Ртом шевелит, а голоса не слышно. Черная рыба-молот. Черная рыба-чудище. Черный бумажный журавлик. А теперь я подаю заявку на панадол. На парацетамол в широком смысле этого слова. На увеличение добычи противоболевых средств во всем мире. Потому что от этого воткнувшегося в меня, какого-то сверлящего взгляда моя башка начинает болеть так, будто сейчас вдруг отклеится от всего остального и слиняет, скатится по ступенькам, покатится по улице, найдет открытый люк и обретет, наконец, полную независимость.

— У тебя собака сдохла, — вяло говорит Анжела и машет флажком. Я говорю: типа чего?! А она мне, что Суня лежит там, у гаража, и что она совсем мертвая от голода. Тут я как сорвусь, как побегу, потому что мне уже неважно, что у меня на штанах срач в национальных цветах, мне теперь по фигу. Потому что я в ужасе. В шоке. Хватаю птичье молоко, выгребаю из холодильника все, что есть, сосиску, замороженные овощи, все подряд и лечу. Суня лежит на спине на газоне. Который, наверное, скоро опять пора подстригать. Лежит моя собачка, нельзя сказать чтоб очень оживленная. Суня, Суня, говорю я и чувствую, что сейчас заплачу. Особенно когда вижу какашку, которая из нее сама вылезла как большой черный червяк, который ее убил, а теперь убегает в землю, подальше от наказания. Суня. Ну давай же. Не будь свиньей, ты ведь не кинешь мне такую подлянку. Вставай. Гля, что я тебе принес. Ты фасоль не любишь, но раз в жизни ничего тебе, блин, не будет, не отравишься, если раз в жизни сожрешь немного фасоли, нечего нос воротить, не хотела жрать, вот и сдохла, ты еще дождешься, увидишь, твоя хозяйка очень рассердится, когда вернется, а тут вместо собаки труп, весь дом в крови, вот увидишь, она нас всех уволит, прикроет лавочку, и кранты... ну проснись же, блин!!!

Когда я так ору и уже даже замахиваюсь, чтобы как следует ей наподдать, подходит Анжела. Кладет мне руку на плечо. Серьезная, в руке флажок. Говорит: успокойся, Сильный. Твое горе ей уже не поможет. Я знаю, что ты в шоке. Успокойся. Я знаю, что ты очень любил Суню. Но

теперь ее нет. Ничего не поделаешь. Смерть идет с нами плечом к плечу и дышит нам трупным смрадом прямо в лицо. После нее остается только боль и страдание. Но раны заживают.

Я стою беспомощный, ошарашенный и совершенно выбитый из колеи тем, что происходит, как быстро все вдруг рассыпается в пух и прах. В конце концов даже собака сдохла, и эта смерть как сургучная печать на посылке со всеобщим разложением. Я стою, а Анжела берет из-под гаража лопату для снега и начинает копать могилу прямо в газоне, там, где стоит.

Я сажусь на бордюр, потому что у меня не хватает уже на все это душевных сил. Все, хватит, всем спасибо, всем пора по домам, в коридоре рядком стоят ботинки, остатки торта можно брать для детей. Это конец. Сегодня перегорела моя последняя лампочка. Сегодня я умер, сегодня я смотрю, как земля сыпется на крышку моего гроба, и сам бросаю себе горсть земли.

Тут я вдруг говорю Анжеле: это русские отравили Суню. Она мне: вполне возможно. Тогда я начинаю понимать, что это чистая правда, и это меня просто бесит.

— За одну польскую собаку двух русских, — говорю я, — или трех. За Суню, за смерть бедной, аполитичной польской собаки трех кацапов на тот свет. Расстрелять.

Потом я беру палку и показываю, где будут стоять русские и как я буду стрелять.

— Агрессия всегда возвращается. Человек человеку волк, — говорит Анжела. Ей даже удалось кое-что выкопать этими своими венами без мышечной, костной и какой-либо другой ткани. И не успел я оглянуться, она уже подошла ко мне и говорит: а как тебя, вообще-то, зовут, Сильный?

Меня просто стопорит. Она что, совсем психическая?

— Допустим, Анджей, — говорю. — Анджей Червяковский.

— А меня Анжела. Анжела, а второе имя Анна, — говорит Анжела.

— У меня тоже есть второе имя, — говорю я, — но я тебе не скажу. Тут у меня от голода начинается отрыжка, потому что я давно ничего не ел. Ну, скажи, пристает Анжела, а сама копает дальше. Я сижу на бордюре и говорю, что не скажу. Она мне говорит, почему. Я ей говорю, потому. Но мою мать зовут Изабелла.

Тут к калитке подходят двое работяг с краской. Ты копай, копай, говорю я Анжеле и иду к ним.

— Здорово, хозяин, — говорят они мне уважительно, но одновременно с удивлением смотрят в сторону моих штанов со следами несомненно органического происхождения. — Свинья? — спрашивают они про эту кровь. — И сколько щас такая живым весом в деревне стоит? — спрашивают они, показывая на эту засохшую кровь.

— Нехило стоит, — говорю я, потому что мне влом вдаваться с ними в подробности, живым весом или убойная, в деревне или в супермаркете, в хлеву или еще где. Потому что это не их собачье дело, не их штаны, у них свои есть, вот про них пусть и переживают, чтобы не запачкать. Они видят, что я не в настроении про погоду, моду и косметику с ними базарить.

— Ну так что, красим? — говорит один другому.

— Это типа в каком смысле красим? — тут же трезво спрашиваю я. Они переглядываются и говорят, что дом будут красить в бело-красный цвет, потому что такое распоряжение мэра по всему городу. А если нет, то что? — спрашиваю я; они в ответ сразу теряют резон и переглядываются. Нет так нет, — говорят они мне, — дело хозяйское, да или нет. Но я вам честно скажу, как оно на самом деле. Если да, то мы с напарником входим, опаньки и все путем, полная кооперация мэрии с жителями польской расы, полное сотрудничество и взаимовыручка, вот, скажем, в банкомате у вас какая недостачка, а тут — раз! и вдруг она ни с того ни с сего исчезла, задолженность по квартплате то же самое. Ну, по мелочи, конечно, потому что крупные махинации мэрии не по карману. Или вот, скажем, жена у вас рожает, а если одновременно, к примеру, рожает жена какого-нибудь, скажем, прорусского антиполяка, который не принял участия в инициативе по окраске дома, то у вашей жены первенство и все привилегии, чтобы культурно родить ребенка, плюс бело-красная роза прямо в кровать. А та, другая, тем временем отдает концы в коридоре. И это ей еще крупно повезло, потому что на самом деле ее ни один таксист не возьмет, а машина у них вдруг ни с того ни с сего испортилась. Ничего особенного, фигня какая-нибудь, к примеру, в выхлопную трубу кто-то засунул кусок пенопласта. Но машина-то не заводится. Не заводится, и все тут. Потому что, если вы против, то я тебе, мужик, честно скажу, не те уже сейчас времена, чтобы такое решение не влияло. Оно влияет. Вроде ничего, а потом вдруг оказывается, что все. Тут что-то испортилось, там вдруг сайдинг оторвался, жена вдруг скоропостижно помирает, хотя у ней даже насморка никогда не было. Что-то пропало, какие-то документы исчезли, аккурат с твоей фамилией, ну, бывает, случайно попали не в ту папочку, что надо, а совсем в другую, и все. Нет бумаги, нет человека. И вдруг ты вместе с семьей исчезаешь с лица этого города, а ваш дом по частям перенесут на окраину, обольют бензином, потом растворителем и подожгут из одного только принципа. Потому что или ты поляк, или ты не поляк. Третьего не дано. Или поляк, или, наоборот, русский. А попросту говоря, или ты человек, или чмо позорное. И точка, вот что я тебе скажу.

Тогда я долго смотрю ему прямо в глаза, чтобы убедиться, что он это всерьез. Да, всерьез. Знает мужик, что говорит. Тогда я оборачиваюсь к дому. Сайдинг только что положили, элегантный, белый, на вид западный, хотя и у русских купленный. Смотрю я на него. Потом смотрю на Анжелу, которая отложила лопату и пытается запихать Суню в яму. Мысли меня всякие посещают, типа мелкая могила какая-то, так не пойдет, глубже надо было, настанет тепло или жара, тут же завоняет.

— Собака у меня сдохла, — говорю я, показывая на картинку с Анжелой, которая хоронит Суню. — Русские отравили, — добавляю, чтобы сразу внести ясность, что я не какой-то там гребаный прорусский антиполяк и знаю, что вытворяют в городе эти недорезанные сволочи, собак полякам травят своими русскими консервами.

— Отравили? — говорят работяги таким тоном, что ясно, что они не питают уже никаких иллюзий насчет тяжести преступлений, которые совершают русские по отношению к жителям нашего города.

— Ну да, взяли и отравили, суки позорные, скорее всего, они ее просто насмерть уморили голодом, — говорю я. А они показывают на Анже-

лу валиком: дочка, небось? Горюет, бедолага. Страдает из-за этих козлов. Да хоть бы ради дочери вы должны окончательно решить, какой общественный строй исповедуете. Одно слово, да или нет, русские подделывают компакт-диски, роют яму под нашу экономику, убивают наших и ваших собак, из-за них плачут наши дети. Да или нет? Польша для кацапов или Польша для поляков? Решай, мужик, потому что мы тут лясы точим, а эти суки вооружаются.

Я смотрю на преждевременно почерневшую Анжелу: измазанная сажей девочка лет пяти пялится в мою сторону и ждет, когда я вернусь и отслужу службу за упокой Суниной души. Души Великомученицы Суни, погибшей за чистоту польской расы. Убиенной русскими с особой жестокостью за польское происхождение.

Но еще я все же смотрю на сайдинг, брэндовый как-никак, куча бабок уплачена, почти что неизношенный. И тут в моем мозгу в один момент все кристаллизуется, все становится ясно как днем. Сайдинг я им на заклание не отдам, русский он или не русский, это уж извините-подвиньтесь. Анжела, иди-ка сюда, — зову я ее. Анжела подбегает трусцой. — Они хотят мне сайдинг в бело-красный цвет покрасить, говорю я ей вполголоса в сторонке. Она бессмысленно смотрит мне то в правый глаз, то во второй, будто вообще не врубается, что такое белый, что такое красный, будто самое большее, на что она способна, это черный, и если бы я ей сказал: они хотят в черный цвет покрасить, то она бы сразу просекла, в чем суть. Как это — покрасить? — спрашивает она, и сразу видно, что она тупая как валенок. Ну, в польский цвет, — объясняю я ей как идиотке, — в польский цвет хотят покрасить, в честь Суни, в честь того, что ее русские отравили.

— Ты что, с дуба рухнул? — Анжела вдруг реагирует так, как будто понимает, об чем речь. — Сайдинг ты б мог дать им покрасить, если бы тебе мать трахнули или левый луна-парк привезли в город. Или если бы тебя самого грохнули и твой труп изнасиловали. А в честь Суни они могут забор покрасить, так и скажи.

А ведь правильно говорит, не так уж глупа эта телка, котелок варит, когда я наконец открою свой бизнес, песок ли, аттракционы или транспаранты, неважно какой, возьму ее в отдел "калькуляторы".

— Сайдинг не трогайте, — говорю я мужикам без тени сомнения в недрогнувшем голосе. — А забор, так и быть, можете покрасить.

Они по очереди переглядываются, думают, куда бы меня зачислить: в за или в против.

— Я бы и забора не дал, — говорю я быстро, — но это за собаку мою, за слезы и боль моей дочери Анжелы, которой русские кровную обиду нанесли, ее лучшего друга замочили насмерть. За это я их ненавижу, за это забор моего дома будет символизировать объявление войны поляков с кацапами.

Тут я даже удивляюсь, какой же я хитрый, какой предприимчивый, как ловко слепил что-то из ничего, потому что они вынимают свой список с таблицей жителей, пялятся в эту таблицу с рубриками: пропольский, прорусский — и говорят:

— Ну, и куда его? — Тут второй, что чуток повыше, и говорит: на мой вкус, он явно пропольский. А этот первый ему отвечает: что пропольский — это ясно, но сколько пунктов? И опять переглядываются. Тогда

высокий говорит: надо, значит, анкету-психотест заполнить. Распахивают куртки на своих комбинезонах и вынимают из карманов анкету-психотест. Вроде небольшая бумаженция, а все равно бюрократия, три вопроса, и что хочешь, то и делай. Я смотрю на них подозрительно, но анкету-психотест беру и отхожу с Анжелой на несколько шагов в сторону.

— Первый вопрос, — читаю я вслух. Работяги мне на это: при заполнении формуляра под угрозой административного наказания следует говорить правду. — О'кей, — говорим мы с Анжелой, и я читаю: первый вопрос. Представь себе, что начинается польско-русская война. Знакомый черточка знакомая говорит тебе по секрету, что он черточка она поддерживает русских. Что ты делаешь? А. Немедленно информирую домовладельца и полицию. Б. Выжидаю, мучаюсь совестью, но в конце концов умалчиваю о происшествии. В. Поддерживаю его черточка ее, потому что считаю, что русские граждане должны по-прежнему торговать поддельными сигаретами и компакт-дисками.

— И травить польских животных, — добавляет один из работяг типа мимоходом.

— Ответ А, — говорит Анжела.

— Ответ А, — подтверждаю я без промедления. Они зачеркивают А и говорят: хорошо. Анжела прыгает и хлопает в ладоши от радости, что мы правильно угадали. Тогда я читаю дальше: второй вопрос. Ты видишь на улице человека, который на одном из домов вешает красный флаг. Что ты делаешь? Ответ А: Немедленно срываю вражеское знамя.

— А, — говорит Анжела.

— Хорошо, — отвечают работяги. И тот, что повыше, добавляет: ну, тогда может сразу перейдем к ключевому вопросу, чего тут резину тянуть, если вы заранее знаете правильные ответы. Тот, что пониже, говорит: о'кей, точно.

Третий, последний вопрос. В последнее время засоленность реки Неман возросла на 15%. Подчеркиваю: на 15%. Состояние природной среды этих окрестностей ухудшилось, а воды Немана приобрели ультрамариновый цвет. Правда ли, что ответственность за такое положение вещей ложится на русских? А. Да. Б. Не знаю. В. Конечно. Вэ! — сразу же отвечает Анжела, работяги переглядываются, и тот, что повыше, добавляет: девять пунктов из десяти, самый лучший результат в рубрике "вооруженное отношение к расовому врагу". Ну, значит, красим забор, что поделаешь, мы сюда не лясы точить пришли. Записывают что надо куда надо и принимаются за забор.

Мы с Анжелой идем кончать эту фигню с собакой. Я типа стою в сторонке и думаю про Суню, что какая бы она там ни была, а все равно жалко, что сдохла. Анжела своим военно-морским шузом загребает на нее землю, и я вдруг гляжу, что Суня пропадает из вида, точно телевизионное изображение с экрана среди помех, она типа порастает землей.

— Чао, бамбина, — говорю я Суне в последний раз. — Классная ты была сучка, только немного жирная.

Анжела смотрит на меня пристально, не в ее ли адрес намек, и загребает землю дальше. Хватит, — говорит. — А теперь давай отслужим богослужение, небольшой фокус-покус, чтобы Суня не попала туда, куда нам с тобой, Сильный, прямая дорожка, а мы с тобой попадем в ад, как

в яблочко, на самое дно, да еще нас обломками сверху придавит, пустотой присыплет. Ты еще будешь свидетелем моей гибели под руинами, под камнями и обломками. А я буду смотреть на твою гибель. Такой вот конец. Чтоб Суня избежала нашей участи, тяжких страданий.

После чего Анжела утаптывает землю, вырывает несколько корней с травой и сажает их в землю на могиле Суни.

— Бог переворачивается в гробу, когда все это видит, — говорю я и крещусь.

— Ну, ты, кончай понты кидать, — говорит Анжела и хватает меня за руку, отчего меня дрожь пробирает по всему позвоночному суставу, потому что мне кажется, что это сама смерть, злобная и бешеная старуха-смерть схватила меня за руку и ведет на ту сторону реки.

— Ты что, с ума сошла? Пусти, — говорю я и удираю на крыльцо. Анжела смотрит на меня с некоторым изумлением и говорит: вчера ты относился ко мне по-другому, с нежностью. — Но раз так, ладно. Нет так нет. Совсем необязательно держаться за ручки. Это мещанство. Каждый из нас свободная, независимая и отдельно взятая личность. Не знаю, что ты там себе думаешь, но я тоже независимый, отдельный и индивидуальный человек. И мы должны внести в этот вопрос ясность. Я не собираюсь отказываться от своих друзей, от своих привычек и хобби. И хочу, чтобы ты об этом знал.

А потом началось. Только мы успели войти в дом, надеть тапочки, шлепанцы, вдруг как зазвонит звонок, раз, второй, третий, как начнет кто-то валить в дверь кулаками. Охрана порядка. Или, то же самое, только хуже, Изабелла. Шутки в сторону, думаю я и, чтобы не пошел слух, что ищут моего братана, чтобы не пошел слух, что в нашей семье живут одни уголовники, говорю Анжеле, чтоб немного привела комнату в порядок, а я пока открою. И вовремя, потому что Наташа не успела еще в автоматически закрывающейся двери типа "Герда" пробить насквозь дыру в форме своего шуза. Хотя самой малости не хватило.

Смотрю я на нее. Наташа — это Наташа. Мы с ней познакомились на дискотеке. Хотя я понятия не имею, что она в День Без Русских делает в этом городе, в эту пору, в этой квартире. В свое время она катила бочку на Магду, мы как раз с Наташей познакомились, когда Магда пришла ко мне жаловаться, что какая-то мымра к ней пристебывается, и если бы у нее был настоящий парень, то он бы сказал этой суке, чтобы держалась подальше. Мы тогда с Магдой немного встречались, между нами уже завязалось довольно близкое знакомство, ну и пришлось мне идти выяснять отношения. Наташа мне сказала, что ненавидит Магду за одну ее рожу и что, когда она идет через танцзал, то пусть лучше Магда прижмется к стеночке и притихнет. Потом мы с ней тусовались довольно близко. А теперь она стоит в дверях и пялится на мои штаны, как будто у меня там стрелка присобачена, которая сейчас качнется, подползет к животу и покажет карту погоды на ближайшую неделю. Сегодня ожидается исключительно красная с порывами до черной погода с прояснениями. Сегодня будет русская погода. Над городом собираются красные тучи. День Без Русских из-за неблагоприятных погодных условий, возможно, придется отменить.

Я без понятия, чего она сюда приперлась, чего ей от меня надо. Спереди в волосах белая прядь. Хитрый взгляд. Небольшой горб.

— Депресняк? — спрашивает она меня на тему моих штанов, сально улыбаясь, мол, я кое-чего знаю, но не скажу. Хотя вообще-то классная телка. Только на что это она типа намекает? Типа со мной что-то не так, типа половые отклонения, окончательное и бесповоротное половое расстройство: прощай, мол, джордж, ты меня достал, из-за тебя я загадил себе штаны, и теперь тебе хана. Попытка убийства острым оружием. Хуже, почти самоубийство, игрушечный комплект для детей в возрасте от трех лет, звучное коммерческое название "маленькое самоубийство", кухонный ножик и крохотный гробик для джорджа из не разлагающихся в земле синтетических материалов, на цепочке. А для тех, кто позвонит первый, сюрприз от фирмы, чехольчик.

— Нееееееа, это одна моя знакомая, — говорю я Наташе на тему этих штанов, хотя надеюсь, что Анжела не слышит, а убирает в комнате.

— Фу, просто свинья, а не знакомая, это ж надо было так тебя уделать, а? — говорит Наташа, слюнявит палец и пытается стереть там, где надо.

— Ага, — говорю я. — Просто извращенка. — Наташа в ответ спрашивает, извращенка это что, имя у нее такое или фамилия, потому что она про анкетные данные меня спрашивает, а не про подвид.

И, нагло глядя мне прямо в глаза, дальше трет мне штаны своим пальцем. Ну, я ей на это начинаю постанывать. Она тогда меня отпихивает, кричит, что я такая же свинья, как и все, что она ко мне по-дружески, а я ей тут вылезаю со своей поганой эрекцией, и что, может, у меня или у моего братана есть какая травка, что-нибудь нюхнуть, потому что она за этим пришла.

— Заткни свою зяпу, ладно? — говорю я ей. — На полтона тише. У меня в гостях двоюродная сестра, — отчитываю я ее. — Заливаешь? — шипит Наташа, входит и на цыпочках адидасов идет в комнату, куда нагло заглядывает. — Никакая это не сестра, — шипит она в мою сторону, — это какая-то садомазохистка, какая-то мрачная проблядь. — Ты это, заткнись, понятно? — шиплю я ей, и мы вдвоем смотрим в дверную щелку. Анжела на коленях довольно-таки заторможенно собирает бумажки и окурки с пола. — Мля-а-а-а, она вообще живая или ты ее с кладбища приволок? Может, это вообще труп на батарейках? — шипит Наташа, пихает дверь и входит. — Привет рабочему классу. Ну, и как тебя зовут? Меня, например, Наташа. — Подает Анжеле руку и говорит: Ната. Ната Блокус.

— Анжелика, — говорит Анжела, — но если хочешь, можно просто Анжела.

— Анжела, значит? — говорит Наташа и подтягивает штаны.

— Просто Анжела, — говорит Анжела.

— Классные у тебя браслеты из гвоздей. Почем брала? — говорит Наташа.

— Смотря какой, — отвечает Анжела, поднимаясь с колен. — Они все разные, но в основном я их покупала сегодняшним летом в туристическом городке Закопане или на других высокогорных экскурсиях.

— Класс, — говорит Наташа. — Просто завал.

Отходняк у меня просто голимый. Я до сих пор не знаю, говорил об этом или нет, но у меня череп сносит и вообще, наверное, я прямо сейчас умру. И не буду скрывать, что, глядя на Наташу, глядя на Анжелу, я за-

думываюсь над таким вот подозрением, что это ясный как белый день ад, специальный ад за барыжничество, за амфу, ад с незаходящим солнцем, с лампочкой в пять тысяч ватт прямо в глаза, с какой-то тусовкой, на которой веселятся две отмороженные телки, из которых одна, может, вообще давно уже жмурик, а вторая шастает по квартире, с отвращением поднимает разные вещи и бросает их назад на ковер. Как одночленная комиссия по делам произошедшего тут военного преступления. Как вьетнамский солдат среди зарослей сахарного тростника. Под одеяло на диване заглядывает: о, я вижу, тут была крутая резня, а, Сильный, кого это ты так уделал, извращенец, собаку свою, что ли, говорит она.

Анжеле бледнеть уже дальше некуда, поэтому она резко сереет. К тому же она вдруг отрыгивает, что грозит опасностью, может, на свет божий опять просится очередная порция камней. Нужно ее спасать, потому что как ни крути, а сегодня она проявила к нам с Суней большую доброжелательность и смекалку.

— У меня собака сдохла, — объясняю я Наташе, показывая на диван, — русские отравили. Она умирала в муках и все засрала кровью. Они ей скормили саморазрывающийся внутри жертвы патрон. Противопехотную мину в еде, — говорю я, сажусь рядом с Анжелой на диван и утешительно обнимаю ее рукой. — Она нам всю квартиру загадила, мы ее только что похоронили.

Наташа смотрит на меня каким-то непонимающим взглядом, потом вдруг резко встает.

— Не гони волну, Сильный, мне твоя собачья ферма по барабану, меня не интересует, на какой бок твоя собака перевернулась, когда сдохла, на левый или на правый. Ты мне лучше скажи, где у тебя товар заначен, потому что про погоду и хобби мы, конечно, можем потрепаться, но не тогда, когда мне так подышать приспичило, что я сейчас обоссусь.

Тогда, поскольку я не отвечаю, она идет на кухню. Начинает открывать шкафчики, хлопать дверцами, кастрюлями греметь, где товар, Сильный, где у вас, бля, товар, от тебя, дебила, толку не добьешься, у тебя совсем кукушка съехала, ты уже не знаешь, где кухня, где ванная, не говоря уж о том, куда стафф заныкал. Это ж три дня назад было, а сейчас ты даже не помнишь, как тебя тогда звали, Червяковский или еще как-нибудь.

Анжела остается в комнате, а я, как хозяин дома, тащусь за Наташей, бессильный перед лицом ее гнева. Как только я попадаюсь ей на глаза, она сразу начинает орать: вали отсюда, я сама буду искать, от тебя, Сильный, толку как от козла молока, иди себе эти кишки со штанов соскреби, а то видон у тебя, будто сам себя выпотрошить пытался. Пошел вон, кому сказала, смотреть на тебя не могу.

Ну, и я выхожу в коридор, мыкаюсь там, оглядываюсь по сторонам. Меня глючит, что я огромный кусок ваты, который катается по квартире туда-сюда, какие-то резкие порывы ветра носят меня из комнаты в комнату. Это типа сон у меня такой, мне вдруг кажется, что с потолка сыплется снег или град, белые бумажки, большой белый тюль медленно на меня опадает. В комнате бушует ветер. Меня сносит назад. Ветер дует сверху и сносит меня под пол, в подвал, внутрь Земли, где белые ми-

гающие черви заползают под мои веки. Я вхожу в кухню, и сон тает. Грохот, бардак, разбитые стаканы на полу, моя кружка с гномиком тоже, из шкафчиков вытащены все тарелки и разложены по полу. Наташа у стола, то, что там стояло, сбросила на пол, башкой оперлась на руку. Высыпала на кухонный стол борщ в порошке и — телефонной картой, тук, тук, тук, делает себе дорожку. Потом берет ручку "Здислав Шторм" и втягивает борщ, при этом страшно чихает и плюет розовой слюной в раковину.

— Мля-а-а, Сильный, тебе сейчас будет хана, — заплетающимся языком обещает она. — И твоей панке тоже.

Она плюет в кучку борща и размешивает ее пальцем. Встает, идет в комнату. Я за ней. Когда она идет, поднимается ветер, развевает Анжелины волосы, портит ей прическу. Наташа открывает бар. Все бутылки по очереди. Тем, что ей не по вкусу, она полощет рот и выплевывает прямо на ковер. Плюет она классно. Куда хочешь попадет. Умеет. Тут она плюет в меня, прямо в лицо. С такой вдруг силой, что меня шатает на пару шагов назад. Это было мартини.

— Знаешь, за что? — говорит Наташа, набирает глоток и выплевывает мне его с ненавистью прямо на ширинку. — Знаешь, за что, мудила? За то, что я сегодня злая, за то, что во всем городе нет ни грамма нюхты, потому как День Без Кацапов сегодня, и все в городе должно быть супер и бантик на ратушной башне, фейерверк мэру в жопу, здоровое общество с грилем на балконе, а на каждом окне горшок с цветком. И еще, бля, за то, что ты вместо того, чтобы помочь мне искать товар в твоем же собственном доме, потому что Магда мне наводку дала, что он точно тут есть, и я этого так не оставлю, а ты вместо того, чтобы мне помочь, прохаживаешься, как болгарская плечевая. Сваливай с моих глаз, дай мне лучше закумарить, а то как врежу. Две дай. Давай все.

Тут она поворачивается к Анжеле: я и на тебя плюну, не боись, я изи, потому как вижу, ты такая хилая, что тебя снести может.

Анжела смотрит на нее, разинув рот от удивления: тебе вообще не пришлось бы на меня плевать, говорит она Наташе, убирая волосы с лица, если бы ты умела сдерживать свои негативные эмоции.

Наташа смотрит на нее, что у нее на уме неизвестно. Сильный, говорит, ты ее за сколько купил? Признавайся, она, наверное, была в уцененных товарах. После чего плюет Анжеле очень, как обещала, легонько прямо в глаз редкой, белой слюной.

Тут Анжела резко встает и, схватившись за рот, несется в туалет. Наташа ни с того ни с сего плюхается на диван и накрывается одеялом: Сильный, — бормочет она, — Сильный, кончай жопиться, давай продадим этот видак русским, будет хоть какая-то капуста, а, будь другом. Мы сразу же возьмем тачку, поедем к Варгасу и купим. Мамаша твоя даже не просечет. Тебе половина товара, мне половина, и твоей френдихе тоже дадим полизать. Ну чего пялишься, я сегодня выгляжу как говно в лесу, и ты не лучше, иди, иди сюда, обними меня, ты мне лучше скажи, как звали мочалку, которую ты вчера трахнул, я ведь знаю, что трахнул, а с собакой это ты заливаешь, она хоть красивая была, волосы у нее красивые, блондинка или брюнетка? Это та, что ща блюет?

Я ей тогда шепотом на ухо говорю, чтобы шла куда подальше.

Она мне громким шепотом отвечает: ты что, не мог себе кого поприличнее найти, без течки? А у тебя залысины, Сильный, я тебе сразу скажу, скоро ты начнешь лысеть, свинья.

Говоря это, она нежно прижимает свои губы к моим губам, и когда я думаю, что вдруг все между нами пошло по правильному пути и что она классная герла, ради нее я могу даже бросить Анжелу, она изо всех сил плюет мне прямо в рот, всю свою слюну, все, что у нее было, а может, даже больше, все свои внутренности, все органические жидкости своего организма, какие у нее только были, потому что этого столько, что я захлебываюсь.

Из туалета доносятся звуки рвоты.

— Ты куда с языком лезешь, ну куда? — говорит Наташа. — А тебе бы было приятно, если б я тебе язык сунула в чистый рот? Ты что, псих? Скотина. Свинья.

— Говори, где торч заначил, — говорит она, садится на меня верхом и сжимает руки на моем горле. — Потому что щас тебе будет хана, все, беру телефон, звоню в полицию, потому что раз ты не знаешь, пусть они приедут и поищут как следует. Бля, ну и видон у тебя, если бы ты себя видел. Я себя тут чувствую как на твоих похоронах. Сильный умер, Анжела! А классный был чувак, веселый такой. В земле мы его хоронить не будем, потому что грехов на его на совести много, он торч заначил и не хотел делиться. Похороним-ка мы его в диване, чтобы мать могла часто его навещать, когда будет себе на ночь диван раскладывать. Классный был пацан, мы все скорбим по тебе, Сильный, одноклассники и одноклассницы, твоя первая учительница, Анжела тоже, хотя ей самой хреново. Эта сука Наташа, которая тебя придушила, еще за свое ответит, но она была права, ты просто хамло, что не дал ей тогда задвинуться.

Она душит меня все сильнее. Она душит меня все сильнее и сильнее. Она меня сейчас кроме шуток насмерть задушит, что я совсем умру. Вся моя жизнь пролетает у меня перед глазами. Такая, какая была. Садик, где я узнал, что самое главное для нас — это мир во всем мире и белые голуби из бумаги для рисования по 3000 злотых за альбом, а потом вдруг по 3500 злотых, принудительный тихий час, описанные трусики, эпидемия кариеса, праздничные утренники, насильное фторирование зубной полости. Потом я вспоминаю начальную школу, злющих училок в блестящих блядских сапогах, раздевалки, сменную обувь и школьный музей, мир, мир, бумажные голуби, порхающие на хлопчатобумажной нитке по всему вестибюлю, первые гомосексуальные контакты в раздевалке физры. Потом пэтэуха, Арлета, девушка моего кореша из нашей группы, я ее поимел на экскурсии в Мальборк, это была моя первая женщина, хотя, вообще-то, у меня возникли проблемы, и даже очень, потому что она была для меня слишком быстрая. Потом были в больших количествах другие, хотя я ни одну из них не любил. Кроме Магды, но между нами все кончено.

— Птичье молоко, идиотка, — хриплый стон вырывается у меня из-под страшного Наташиного нажима. Она мне прямо в лицо пускает с высоты струйку слюны: какое птичье молоко, блин, птичье молоко у тебя ща ушами пойдет, если не скажешь, — говорит она и придавливает мне желудочное содержание коленом.

— Ну, в птичьем молоке товар, — мычу я, и она меня отпускает, спрыгивает с дивана, даже кроссовки эта падаль не сняла, и все пока еще хорошее птичье молоко вываливает на ковровое покрытие, а мне потом собирать. Вслед за молоком на пол падает один малюсенький, последний, пакетик с товаром. Дорожка у нее получается толстая, как дождевой червяк. От этого вида у меня даже сил нету подняться с дивана, в глазах темнеет, и я смотрю на свои ногти. Она себе уже "Здислава Шторма" с кухни принесла, но вдруг задумалась и вдруг делит на три дорожки.

— Ладно, пусть будет по совести, — говорит она. Одна дорожка потолще, вполне упитанная, вторая такая тонкая, что я скорее словлю кайф от растворимого борща, а третьей типа вообще нету.

— А я что, блин, а я что, хуже? — ору я и ощупываю свои повреждения в результате клинической смерти через удушение, до которой меня довели. Наташа тут же поворачивается задом и свою дорожку хлоп в нос, потом кусок моей и кусок Анжелиной, и не успел я сорваться с дивана, она мне уже такую речь толкает: а чё те? Мало? Мало тебе? Если мало, догонись ширяловом.

Однако она тут же смягчается и, шмыгая носом, говорит: ну, иди сюда, иди, тетя тебе поможет. Оп-ля. И стаскивает меня с дивана, на котором меня типа обуяла слабость, хотя скорее всего это из-за систематичности, с которой я в последнее время балуюсь амфой. Ну-у-у, — говорит Наташа, — иди, иди, не бойся, легкая инвестиция в носоглотку, и будешь как новенький, Сильный, прямо из магазина, еще в коробочке, еще с этикеткой. Вот. А ща шморгни носиком. О-о. Ща будет хорошо. Хотя на старость импотенция гарантирована.

Когда она мне уже немного помогла справиться с дорожкой, она оглядывается и говорит: ну и бардак у тебя, Сильный, тут надо пропылесосить, у меня сильное желание как следует пропылесосить весь этот срач, понимаешь, раз и навсегда. Но если я возьму пылесос, то так тебе пропылесосю, что и ковер втяну, и пол втяну, и подвал втяну, все. Весь дом к черту, весь русский сайдинг обрушится. Так что лучше ты мне не давай. Или дай, но в розетку не включай. Уж я тут пропылесосю. А ты, Сильный, не-е-ет, ты не того, давай приводи себя в порядок, такой большой мальчик, а штаны заменструячил, выглядишь как кассир в мясном магазине, мне от одного твоего вида плохо.

Ну, и я снимаю эти штаны, потому что уже вроде получше себя чувствую, картинка проясняется, чай настаивается. У тебя слишком худые ноги, говорит она, потом поднимает с земли ручку, смотрит на нее и говорит: Здислав Шторм, Производство песка, ты его знаешь?

Я говорю, что не знаю, хотя Анжела, которую сейчас так кошмарно полощет в туалете, вроде бы знает. А Наташа мне, в курсе ли я, что это за чувак? Я говорю, что он типа песок производит. Она спрашивает, нал у него имеется? Я говорю, что, может, да, а может, и нету. Она говорит, что сейчас мы поедем к нему, напомним про мое с ним знакомство или лучше про его знакомство с этой Анжелой, она сделает фокус-покус, и мы снимем с него бабла завались сколько, и тогда День Без Русских будет наш день, гриль, киоски с напитками, все раскупим подчистую, что там есть.

И раз-два, у нее уже все готово, план составлен, я тут только мальчик на побегушках, для действий, не требующих умственного напряжения, посуду там помыть, дверь в сортир, где блюет Анжела, закрыть. Наташа осматривает содержимое шкафов, эту блузку, Сильный, надо выкинуть, не знаю, что на эту тему думает твоя мамаша, но я бы в ней даже в подвал не пошла. Потом на ковровом покрытии она находит Анжелину открытку от подружки из Щецина, ту, что Анжела, сматываясь вчера в спешке подальше от моего гнева, бросила где-то около дивана, и громко, по слогам читает ее. Ну, бля, говорит, это кто ж писал: классно отдыхаю, много гуляю на свежем воздухе, погода хорошая, солнце. Костер. Охренеть можно. Сильный, ты ее знаешь? Богатая, наверное, телка, раз поехала в санаторий лечить свои мозоли, как думаешь, может, мы с нее какие бабки стрясем? Сечешь? Но никакого насилия с кровопролитием. Лучше всего письмо с угрозами. Напишем по профессиональному шаблону. У твоего братана должен где-то быть такой шаблон. Одно письмо, что она скоро погибнет. Второе, что скоро погибнут ее дети. А третье, что она уже труп, уже, считай, в гробу. Если денег не даст. Но, бля, понимаешь, в чем загвоздка? В том, что она из Щецина. Эта мутотень займет у нас кучу времени, а нам сегодня надо подняться, на День Без Кацапов. Иначе мы тут никто, не котируемся. Значит, остается только этот Шторм. Чтоб на деньги опустить. Ему уже не выкрутиться, ему улыбнулось колесо фортуны. И тогда мы, Сильный, мы с тобой, устроим в этом городе такой порядок, что ни кацапы, ни наши оглянуться не успеют, как останутся без капусты. Мы введем тут новый строй, еще сегодня. Всё, у кого что есть, сотовые телефоны, кошельки, ключи от квартиры, сигнализацию от машины, все сложить посреди площади.

Тут она меня достала. Обе они достали. Нюхают мою амфу, устраивают бардак. Они меня просто гнобят. Одна блюет, вторая мне зубы заговаривает, и я спрашиваю, это что, двухчленный союз психического истребления Анджея Червяковского? Они друг дружки стоят, им бы пожениться и конец туфте, женско-женский коллектив, дети войны, фирма, специализирующаяся по амфе и панадолу, каменная блевотина, Наташа занялась бы вымогательством, Анжела день-деньской вышивала черные салфетки. А номер моей мобилы пусть забудут.

— Наташа, а теперь заткнись, я хочу предложить тебе кое-что на выгодных, блин, условиях, — говорю я весь на взводе. — Слушай сюда. Хочешь, я продам тебе Анжелу? В натуре. Хочешь, она будет твоей рабыней? Она хорошая. Общительная. Стихи умеет читать. Тебе с ней будет хорошо. Она тебе попку подтирать будет, еду пережевывать, а если попросишь, может тебе выблевать что только захочешь. Камень. Амфу в пакетике. Кислоту. Курево. Что только закажешь. Познакомит тебя со Здиславом Штормом. Будет за тебя твою печать шлепать. Будет твоей секретаршей.

Наташа перестала мечтать, смотрит на меня как на идиота. Иди ты в жопу, говорит. Тебе уже совсем крышу снесло. Хрен тебе с маком, я в такие игры не играюсь. И ты меня в свои махинации не впутывай. Товар-то левый. Я тебе не дура, что к чему, разбираюсь. Торговля живым трупом — это торговля живым трупом. Да и на кой она мне? С баблом напряг, а тут и жрачка, и прививки, и на прогулку своди, ты меня что, за идиотку держишь, на фиг мне все это. Ты ее себе сюда привел неизвестно откуда, из пекла, небось, вытащил, ты и занимайся, а меня своими

проблемами не парь. Хотя я тебе вот чё скажу. С этого, может, и был бы какой прайс, но сначала надо перебазарить с Варгасом. Он, может, чего и придумает, хотя больно уж большой геморрой с ее переброской на Запад и так далее.

— Как хочешь, — говорю я Наташе и иду в сортир, потому что все-таки я уже типа привык к Анжеле, к тому, что она оказалась живая и все еще живет, и я уже не могу себе представить, что она, к примеру, умерла. Поэтому я иду в туалет. Анжела жива. В традиционной позе висит через край унитаза и возвращает ему свои внутренности. После вчерашнего там немного должно остаться. С виду органического происхождения, белое, в унитазе плавает только один отдельно взятый камешек, и я узнаю в нем гальку с дорожки к нашему дому. Остальное не знаю что. Известь для побелки, школьный мел, краска, которой она хлебнула, когда работяги зазевались.

— Ну что, все пучком? — спрашиваю я ее и пинаю ногой. Она жива. Смотрит на меня взглядом обшмаленной над газовой плитой курицы. А я ей говорю дальше: знаешь что, Анжелка? Это у тебя всегда так? Ну, рвота эта? Потому что я не знаю, ты в курсе или нет. Но это может плохо кончиться. Ты себе как ни в чем не бывало спокойно блюешь, и вдруг оказывается, что ты выблевала собственный желудок. Или, например, вывернулась наизнанку. Или тебе это в кайф?

Анжела вытирает рот и смотрит на меня так, что я начинаю подозревать, уж не было ли еще хуже и она вытошнила свой позвоночник вместе с мозгами. После чего она окончательно закрывает глаза. Я беру ее под мышки. Потому что может вернуться Изабелла, захочет пописать и споткнется об Анжелу, и сразу начнется вой и скрежет зубовный, что в доме опять беспорядок. Я зову Наташу. Наташа берет ее за ноги. Отнесем ее в комнату твоего братана, в вытрезвитель, решает она. Ну, несем. Ложим на кровать. Наташа поднимает Анжеле руку. Рука опадает. Наташа садится ей со всего маху на живот. Тут сразу же какое-то булькание, и я кричу: осторожно, блин, но, к счастью, это только белый пузырь вылетает у Анжелы изо рта и сразу же лопается.

— Я не знаю, где ты ее, Сильный, взял, но одно для меня ясно как день. Это испорченный экземпляр, с изъяном, — говорит Наташа. — Даже на Запад ее не возьмут, разве что на запчасти. Но все равно внутренности попорчены, придется вырезать, так что навару никакого.

Тут меня начинает трясти от злости.

— Она что, совсем двинулась? — кричу я, потому как все это меня уже добило до ручки, до полной утраты психического равновесия. — Совсем охренела? Или обязательно хочет мне подосрать? Ментов наслать на флэт? Да эта хата бывает ведь так набита амфой, что трещит по швам. Вся сплошь ведь оштукатурена амфой. А эта идиотка устраивает тут себе сеансы самоубийства, или она думает, что время и место подходящее и компьютер можно запросто отключить, добро пожаловать в наш приют для самоубийц, комната отдыха для покойников, нашла себе эвтаназию по дешевке, она должна наконец подумать всерьез, блин, и просечь фишку, что ее в этот дом пускают, но только при условии, что она живая, а если у нее руки чешутся руки на себя наложить, пусть ищет себе другое место. За калиткой и ни на миллиметр ближе.

Пока я бьюсь в этой истерике, Наташа со скучающим лицом ставит на Анжеле научные опыты. Немного морщась, заглядывает ей в рот, щупает зубы, из-за этого ей потом приходится вытирать руку о штаны, роется у нее в карманах, в сумочке и вытаскивает какие-то бумажки, письма, открытки.

— Слышь-ка, успокойся, не все потеряно, мы на ней еще бабла шибанем, вот увидишь, — говорит она мне. Одна из бумажек — ксерокс диплома из туристического лагеря в Бещадах за второе место в беге по спортивному ориентированию. Его Наташа сразу же рвет, а обрывки засовывает Анжеле в карман и говорит: когда эта мокрая курица проснется, подумает, что взбесилась и в бешенстве сама его порвала. Потом берет два засморканных гигиенических платка, вытирает ими с Анжелы пыль и тот белый яд вокруг рта и тоже засовывает в карман. Под конец попадается совсем крупный глюк, письма какие-то. Я думаю, нет, все-таки эта Анжела идиотка: чтобы сначала носить неотправленные письма в сумочке, а потом схлопотать летальный исход в присутствии Наташи, ну, блин, полное отсутствие инстинкта самосохранения, вообще.

Но чему быть, того не миновать. Дело сделано, Наташа разрывает зубами конверты и идет в салон, я тащусь за ней, сажусь на диван и заглядываю через плечо. Наташа вслух, по слогам читает первое письмо. Там написано так. Уважаемые господа, дорогая дирекция. Громко и решительно я заявляю свой голос протеста и возмущения против того, чтобы в Польше были зоопарки и цирки. Я громко и решительно требую освободить находящихся там животных и выдворить их к себе на родину. Я громко и решительно требую освободить несовершеннолетних детей от обязанности посещать в рамках школьных и прочих воскресных экскурсий эти места казни, жестокости и безвинного страдания братьев наших меньших. Мой жизненный девиз: если хочешь, чтобы твой ребенок увидел боль, пойди с ним в цирк. Я учусь на третьем курсе экономического лицея. Мое хобби — это, кроме всего прочего, животные и звери. Вместе с друзьями я организовала общество экологической пропаганды животных, председателем которого являюсь. Мы не угрожаем, но предупреждаем. С уважением, ученица третьего курса экономического лицея номер два Анжелика Кош, семнадцать лет.

— У нее фамилия Кош? — спрашивает Наташа, глядя с недоверием. Потом берет с пола ручку и своим безграмотным почерком приписывает так: *пэ эс. И ваще можете нам отсосать. Больше писать мне некогда, я спешу в ад. Чао какао, смерть предателям.*

После чего, ехидно хихикая, заклеивает конверт вынутым изо рта куском жвачки. Потом еще два письма. Точно такие же, только через копирку, среди них одно — жене президента Иоланте Квасневской, а второе — зоопарку в Островце Свентокшиском. На первом Наташа дописывает: *пэ эс. В случае дальнейшей организации концентрационных лагерей в целях привлечения немецких туристов мой приятель Сильный убьет тебя, твоего мужа и детей. До скорой встречи в аду.* А на втором то же самое, что было, с отсосом. Потом она возвращается в комнату моего братана, а я за ней. Анжела типа слегка очухалась, и я какое-то время даже переживаю, что она слышала через стенку, как мы с Наташей читали ее корреспонденцию. Однако Наташа видит в этом ноль проблем. Анжела, отвернись-ка на минутку лицом к стене, а? — говорит она, и когда Анжела бес-

чувственно смотрит на нее и бесчувственно отворачивается, Наташа опять засовывает письма назад в ее сумочку.

— А что, у меня там что-то есть? — пугается Анжела слабым голосом.

— Ага, — говорит Наташа на полном серьезе, — комар сел тебе на жопу и хотел укусить, но я прихлопнула гада. Теперь можешь не бояться.

— Спасибо, — вяло, как мертвая вяленая рыба, улыбается Анжела. — А какую музыку ты слушаешь?

— Да всякую помаленьку, — отвечает Наташа, глядя типа свысока, и я начинаю бояться, что у нее кукушка съехала и она сейчас возьмет колонку от музыкального центра и съездит Анжеле прямо в табло.

— А какую больше, грустную или веселую? — настаивает Анжела, не чувствуя опасности.

— Может, такую, а может, и другую, — говорит Наташа, а я боюсь, что она собирает слюну, чтоб умыть Анжелу. — Разную. Медленную, но иногда быструю тоже.

— А из быстрой тебе какая нравится? — интересуется Анжела, подпираясь локтем, но тут из нее раздается кашель, скрип, и она выплевывает в воздух нехилую белую тучу пыли или пудры.

— Разную, но в основном я больше всего люблю клипы, — отвечает ей Наташа. — Но меня не заводит, когда поют какие-то блядские лесбиянки, которые, если их прямо сейчас хоть кто-нибудь не трахнет, просто обоссутся. Мне больше нравится, когда мужики поют. Например, хип-хоп, английские песенки о том, что вокруг террор и мы живем тут как в гетто, вот.

— Я тоже про это люблю, — говорит Анжела. — А какие ты читаешь книжки? — и тут же добавляет: — Или журналы?

Наташа отвечает: ой, долго рассказывать. Да всё понемногу. Программу телепередач. Рекламные щиты. Иногда комиксы. Про приключения опять же. Конан Истребитель. Конан Варвар. Конан один в большом городе. Эту серию я когда-то всю прочитала. Плакаты тоже люблю читать. Анекдоты. Раздел юмора. Программы.

— Класс, — говорит Анжела, — прямо точно как я. А худеть ты любишь?

Тут Наташу типа осеняет, она на минуту впадает в столбняк, а потом вдруг так резко наклоняется над Анжелой, что та перестает мочь нормально дышать и фиолетовые тени с глаз Наташи сыплются ей прямо под веки. Не знаю, что мне теперь делать, чтобы не обидеть Наташу, которая чувствует себя в моем доме свободно, и, может, это она просто хочет с Анжелой пообщаться поближе.

— Кто тебе, бля, платит? — говорит Наташа прямо в рот Анжеле. — Отвечай, сволочь. Ну. Раз-два.

— За что платит? — плаксивым от удивления голосом говорит Анжела, она очень удивлена и хочет типа прояснить ситуацию.

— За информацию, бля, обо мне, — говорит ей прямо в рот Наташа.

— За какую информацию? — шепчет Анжела.

— Я тебя не спрашиваю про информацию, я тебя спрашиваю, кто? Слушай, бля, вопросы. Соврешь, убью. Кто тебе платит? Москва?

— Не грохни ее ненароком, о'кей? — спокойно говорю я Наташе.

— А ты, Сильный, иди лучше подрочи, — говорит она мне, встает и идет ко мне с таким выражением, что я делаю шаг назад, потому что боюсь эту суровую и резкую герлу. — Что, Сильный? Может, ты не против,

что твоя мурена мне устраивает допрос, я ща повернусь к ней назад, а она уже вытащила фонарик и мне по глазам светит? Мы тут лясы, бля, точим, погода, бля, безоблачная с прояснениями, художественная культура и литература, а она тем временем звонит на мобилу Здиславу Шторму и все передает русской разведке, каждое мое слово плюс еще от себя кое-что добавит, личные, бля, впечатления? А? Кто за этим стоит? Говори. Левый? Варгас?

— Ты знаешь Здислава Шторма? — тут же оживляется Анжела.

— Ясно. То есть вообще-то нет. Но если бы я хотела, я бы знала, — говорит Наташа, а потом ко мне: — ты ей не говорил, Сильный?

— Типа что я ей не говорил? — спрашиваю я, потому что теряю нить разговора.

— Ну, что она даст Шторму, а прайс поделим на троих? — говорит Наташа.

— Нет, не говорил, — отвечаю я в полном согласовании с правдой.

— О'кей, раз ты не говорил, придется мне, — радуется Наташа и забывает про всю эту заморочку с разведкой. — Ну, значит, слушай. Есть такая идея. Это типа мы с Сильным придумали. Идея супер, поэтому слушай внимательно, а лучше записывай. Если, конечно, хочешь, чтоб тебя выбрали мисс на городском празднике День Без Русских, иначе ты себе даже булку без ничего с гриля не купишь. Я, вообще-то, тоже останусь ни с чем, а несчастье сближает. Короче, план такой. За те бабки, что у тебя в сумочке, мы берем тачку и заваливаемся к Шторму. Не дергайся, все ништяк, вдруг хватит, то есть на полдороги точно хватит, а потом договоримся как-нибудь. Адрес есть на ручке, которая у тебя в сумочке. Значит, заваливаемся мы к нему и начинаем базар. Что мы типа из общества экологической пропаганды животных и типа нам нужны бабки на охрану польских животных от русской заразы и полной ликвидации. У нас с собой разные бумаги, печати, папки. Тогда он говорит, что не даст, что тонет в долгах, бизнес прогорает, регресс, безработица, "Газета выборча". Тогда я выйду. Скажу ему, что хочу писать или что меня тошнит, неважно, вариантов тут завались, например, у меня вдруг месячные начались или что-нибудь в том же духе, и если я сейчас же не выйду, то он свое кресло вовек не отчистит. И тут вступаешь ты со своим сольным номером. Изящно наклоняешься, высовываешь язык. Читаешь ему стихотворение о животных. Не обязательно сильно романтическое, можно обыкновенное, важно, чтоб наизусть. Тогда он тебя раздевает и трахает. И все. Бабки у нас в кармане.

Анжела глядит на Наташу с нескрываемым восхищением, восторгом. Откуда ты знаешь об обществе экологической пропаганды? — спрашивает Анжела мечтательно, и видно, что ее растрогало до глубины души.

Наташа даже глазом не моргнула, откуда она знает, хотя мы оба знаем, откуда она знает.

— Читала в рекламе или в каком-то кроссворде, уже не помню, короче, неважно.

— Ой, правда? Мир так тесен. Не хочу хвастаться, но я председатель этого общества, — восторженно говорит Анжела. — Мы боремся за эмансипацию и освобождение животных, за их права, чтобы они могли о своих проблемах говорить собственным голосом.

— Ну, значит, нет проблем, — говорит довольная Наташа. — Но ты стишок хоть какой-нибудь знаешь? Необязательно про животных, лишь бы в рифму.

— Конечно, — улыбается Анжела, и ее зубы, растущие редко и как-то беспорядочно, как надгробные камни на кладбище, сияют блеском трупного счастья. — Я даже могу почитать ему кое-что из своих произведений.

Тут она типа совсем оживилась, встает, вытирает с губ и платья белый налет и осадок и говорит:

— Например, это. Роберту. Ну, на самом деле в начале три звездочки, но подразумевается Роберт. Ну, вы понимаете. Посвящается Роберту, это очень личное, но он этого уже никогда не прочтет.

И тут она начинает говорить курсивом. Очень много слов, я не в состоянии охватить их все вниманием, понять, есть в них рифма и смысл или нет. А она говорит нам вот что, переводя взгляд попеременно то на меня, то на Наташу: эпитафия пропащему человеку.

Твои бессильные руки молчат в карманах. / Если хочешь знать, / нас никогда не было. / Если хочешь знать, / нас и сейчас нет. / Громко звучит минута молчания. / Она звучит в нашу честь. / И даже когда мы любовью заняты, / мы делаем это порознь. / Ибо ты себялюб, / и лишь себя самого ты умеешь любить.

— Здорово, — говорит Наташа и одобрительно кивает головой, а меня пихает в бок, чтобы я от своего имени тоже похвалил. — Ну ты ему и написала, да ведь он же просто голубой, импотент вонючий. Будь у меня такой талант, я бы точно так написала, точь-в-точь как твой стих, идентично. Только посвятила бы его Лёлику. И подписала бы по-другому: Блокус Наташа. Я ненавижу тебя, отстойный извращенец, я никогда не буду с тобой. Но вернемся к делу. Теперь давай какую-нибудь херню о животных, и в путь.

— О животных? — мрачно задумывается Анжела. — О животных у меня ничего нет, разве что о слипшемся колтуне крыльев, это очень грустное стихотворение, но с натяжкой его можно отнести к категории птицы. Из-за этих слипшихся крыльев, но оно очень грустное.

Мы с Наташей переглядываемся, как комиссия конкурса о животных. Ты как думаешь, Сильный? — говорит она. Я думаю только о том, чтобы они наконец свалили, потому что я хочу жрать, а эти две дуры сидят тут и беседуют о литературе. Так ведь я же им не скажу, что на самом деле думаю. Никак я не думаю, — признаюсь я и встаю. — На мой вкус сойдет, особенно если подчеркнуть, что посвящается Роберту. Это Шторма вконец смягчит в вопросе экологии, потому что это же его сын.

— О'кей, значит, пошли, — говорит Наташа и хватает Анжелину сумочку.

— Куда? — спрашивает вдруг Анжела с испугом, таращась на свою сумочку и черное в белые крапинки платье. Видно, что Наташа сдерживается из последних сил.

— В зоопарк на антиполитический митинг, сечешь? Отдайте животных назад. Оставьте в покое наших зубров. Освободите смотрителей.

Потом она хватает Анжелу за руку и тащит к дверям. Я шлепаю за ними, потому что мне хочется писать. Стоп, — поворачивается ко мне На-

таша, — а ты куда собрался? Я стою и не знаю, что мне ей на это ответить, типа что́, уже и пописать нельзя?

— Ты, Сильный, никуда не идешь, — говорит мне Наташа, — ты уже сегодня оприходовался и хватит. Да, сначала мы планировали иначе, но сейчас, как сам видишь, все сложилось по-другому. Анжела идет со мной, а ты остаешься дома. Простирнись, отскреби эти кишки, чтобы во время праздника выглядеть как порядочный человек и снять себе какую-нибудь телку без месячных, которая тебе еще и на дурь заработает. Мы пошли, все, до свидания, пока.

Арлета пьяна и вставлена по самое не хочу, просто переносная комната смеха какая-то. Машинка для уничтожения документов, что ни скажи Арлете, из нее тут же это вылетает обратно. Через рот. В форме смеха, в форме обрывков, оберток, мусора, конфетти. И разлетается по воздуху. Игровой автомат какой-то, вместо глаз две неоновые лампочки, мигающие из-под непомерно разросшихся от амфы век, как два маленьких велосипедных фонарика. В куртке из змеиной кожи, в облаке блесток.

Она меня спрашивает, хочу ли я сигарету. Я говорю, что если у нее русские, то спасибо, я лучше пешком постою, мое дело сторона, и вляпываться в русофильство я не собираюсь. Она говорит, что никогда не курила русские сигареты, уж кто угодно, только не она, вот Левый — да, курил, и Бармен курил, а вот она, Арлета, никогда не имела с русскими почти ничего общего, собственно говоря, даже вообще ничего, если не считать пару-тройку раз, но это было давно и неправда, она была пьяная, и это было уже несколько лет назад, когда они еще не опускали польскую музыкальную промышленность и не раскрадывали польский песок.

Поэтому, когда она мне дает "Кармен", хоть и без акциза, я беру, а что мне остается, как не закурить.

И мы курим, молча. День Без Русских, праздник, визг и скрежет микрофонов, танцует художественный коллектив "Божьи коровки" и молодежная группа "Фантастик дэнс". Дым от гриля тоталитарно окутал весь город, жертвы из колбасы, ребрышек и других частей животного происхождения принесены богам во имя победы над захватчиками. Гарь ползет по улицам, стелется вокруг городского амфитеатра и пачкает те части зданий, которые типа должны быть белые. Поэтому наш государственный флаг теперь серо-красный, грязный орел на красном фоне с прокопченной короной. Анжеле это бы не понравилось, хотя я не знаю, где она теперь, наверное, уже трусы снимает. Окончательное и бесповоротное увеличение угара в естественном содержании воздуха, колбаса, мать наша насущная, приговорена к сожжению живьем, приговор приведен в исполнение, везде смерть, везде преступление, четвертованные животные, если б могли, кричали бы, но они уже не могут, органы речи у них уже конфискованы и запакованы в отдельные пакеты. Телячья гортань, ухо, глаз пропущены через мясорубку и продаются в упаковках по двести грамм, следующей зимой вырастут черные подснежники, следующей зимой во всем городе погаснет свет и все покроет мрак. Попкультура сажает на сцене свои фальшивые цветы, искусственные герберы, искусственные пальмы, суррогаты домашних цветов в горшках из неурожайной фольги, из стекловаты. В небо летят фейер-

верки, летят обертки конфет, летят листовки, лопаются мыльные пузыри, на столах переворачиваются бокалы.

И небо, как в день последнего апокалипсиса, темное, обвислое, стоит протянуть руку, и я всю эту фигню могу в один миг развалить, только швы затрещат, и вся конструкция рухнет прямо на город со всеми его пригородами, вместе взятыми. С чистилищем и всей производственной базой. Вот такая у меня мысля. А вывернутые наизнанку зонтики с надписью "Coca-Cola", как бело-красные лиственные растения, взывают об отмщении. Одноразовые вилки, одноразовые тарелки летят через городской амфитеатр туда же, куда и дым, как отдельный ветер.

Тут Арлетка говорит мне вот что. Если я куплю ей большую колу и чипсы, она мне кое-что расскажет, потому как ей кое-что доподлинно известно. Сто пудов. Я прикидываю, выгодно мне вступать в сделку с этой шмонью или не стоит. И говорю, что самое большое, на что она может рассчитывать, это маленькая кола, причем, одинокая, без чипсов, это все, что я могу для нее сделать. А она мне, что у нее такие сведения, за которые можно купить килограмм амфы и целую курицу с гриля, но она мне делает скидку, потому что я ее хороший знакомый, кореш и друган, бывший парень ее подруги, а перед этим ее собственный бывший парень, что, конечно, меняет ситуацию в мою пользу, поэтому она мне скажет по знакомству за колу и чипсы. Тогда я говорю, пусть она мне скажет, а я уже определю цену, сколько эта информация на самом деле стоит. Тогда она говорит, что о'кей, но чтобы я не удивлялся и набрал побольше свежего воздуха, чтоб не задохнуться. Так вот, сегодняшние выборы самой симпатичной девушки Дня Без Русских в восемнадцать ноль-ноль выиграет Магда.

Я сижу как ни в чем не бывало. Полное самообладание. Типа и что с того, что Магда. И вообще, кто такая Магда? Может, когда-то я ее и знал, а может, мы с ней вообще незнакомы. Возможно, мы с ней когда-то и пересеклись, но теперь у нас нет точек соприкосновения, потому что все кончено, я покончил с этой сукой, с этой гребаной мисс, да я ее в таких ситуациях видел, в одних колготках, со сломанными ногтями, как она вылизывала швы кармана, в котором лежал пакетик амфы, как она трусы подтягивала, как смотрела телевизор и блевала себе на платье, потому что программа типа реалити-шоу так ее увлекла, что она не могла оторваться и сходить за тазиком. Да если бы теперь все это показать на экране, получился бы супержесткий мультик только для особенно взрослых с особенно крепкими нервами, потому что, если нервы слабые, они просто лопнут до крови и кости.

— Ну и что тут такого? — спрашиваю я типа равнодушно, чтобы не показать по себе никаких эмоций и впечатлений и чисто из вредности купить ей как можно меньше. Потому что это Арлетка, и стоит ей купить колу, как тут же появится Магда и скажет: дай глотнуть. А нет такого закона, чтобы она за мой счет развлекалась, потому что эту колу я проставил. Потому что это отравленная, фальшивая, черная кола, купленная на мои деньги и деньги моей матери, и как только Магда придет и скажет: дай глоток, она сразу же ею и отравится, эта кола не пойдет ей впрок, она этой халявной, пахнущей моими деньгами колой просто подавится, закашляется и так захляпает свое красивое платье, что никто

ее в никакие мисс не возьмет. И на Запад, делать карьеру секретарши или актрисы, она не поедет, потому что с таким кашлем ее никто через границу не пустит, чтоб она там не разносила бактерии и болезни, которые в Евросоюзе не имеют права на существование.

Арлета, однако, не теряет надежды, что ей удастся раскрутить меня на что-нибудь по существу. Это еще что, говорит она. Ты вот дальше слушай. Потому что это целая история, такого у нас в городе еще не было. Она эти выборы выиграет, потому что дала одному организатору. Но дело того стоило. Теперь она вроде как получит горный велосипед и диадему, ну и знаешь, разные там коробки конфет, талоны на сапоги.

Сдерживаться дальше мне уже очень тяжело, хотя я изо всех сил стараюсь не выйти из себя. Но несмотря на все свои усилия и старания начинаю оглядываться по сторонам и, возможно слегка не рассчитав силы, отодвигаю какого-то заслоняющего мне свет мужика, гребаного отца двоих детишек, который покупает им колбаску или какое-то другое дерьмо в бумажке. Ну, и он, конечно, падает в грязь, но дети сразу же помогают ему подняться, а он, отряхивая штаны, говорит: извините, пожалуйста. Дети у него оба недоразвитые, причем один ребенок в очках, а другой тоже недоделанный, потому что женского пола, они отряхивают ему грязь со штанов и все из чувства фамильной солидарности трясутся со страху. Я ему тогда, уже вполне рассердившись, отвечаю: смотри, блин, куда прешься, а в следующий раз пользуйся контрацепцией.

Типа намек на этих его детей, которые чем дальше, тем худшего качества. Потому что какого хрена этот дебил гонит халтуру в массовом масштабе, какого хрена он отравляет плодами своих дефектов общество, он себе стреляет вслепую, а мне потом всю жизнь пахать на медицинское обслуживание каких-то слепых засранцев.

Тогда он мне говорит, что да, да, обязательно, а детям, что им уже пора, потому что тут очень дорого. Тут Арлета как сорвалась, как полетела за ним вслед и кричит, что я сказал, чтоб он купил ей большую колу. Он послушно возвращается, на штанинах висят вцепившиеся в них дети, очки треснули в невралгической точке, он уже собирается покупать, но я говорю: стоп. Ничего ей не покупай, она того не стоит. Она может и из реки попить.

Тут он начинает жутко трястись, у меня даже появляется подозрение, что от этих переживаний у него внутри лопнул пищевод или какой-нибудь другой жизненно важный орган. Он смотрит то на Арлету, то на меня и в ускоренном темпе быстро делает ноги. Арлета смеется: классно ты его опустил, а то в последнее время тут полно всяких греко-католических отбросов общества, ходят где хотят и дышат нашим общим воздухом.

Мне типа по барабану, что там Арлета считает на эту тему. Типа меня вообще не колышет, что там Магда вытворяет. Типа я даже совсем не озверел от ярости. Но моя нога ходит ходуном, а на столике из-за этого плещется в бокалах пиво. Тогда я смотрю в толпу, на люмпен-пролетариат, который безудержно прокатывается перед входом, сжимая в грязных лапах бело-красную сахарную вату и бело-красные сосиски. Это меня окончательно добивает, сначала полное отсутствие гигиены, бело-красный ты или красный, а потом сальмонелла и глисты такого же цвета. А потом рвота, бело-красные волны рвоты захлестывают город, девятый

вал рвоты, который хорошо виден из космоса, чтобы русские знали, где наше государство, а где их и на какую всеобщую демонстрацию национальной солидарности против хищных захватчиков способна Польша. Магды нету, наверное, сидит себе за кулисой или в прицепе и быстро дает звукорежиссеру, чтоб усилил громкость, когда она будет отвечать на вопросы, что́ она любит из еды и какая погода ей больше нравится.

Я все же сдерживаюсь с трудом, горный велосипед — ладно, пусть берет, на здоровье, и пляжный мяч, и козырек от солнечной погоды, желаю успеха, но если она собирается, пользуясь моим отсутствием, официально давать всем подряд, это с ее стороны, извиняюсь за выражение, перегиб. И тут против своей воли я представляю себе этого организатора. Инженера-магистра и председателя жюри. Я вижу, как грубо он с ней обращается, как он безжалостен, в одной руке папка для бумаг, в другой калькулятор, а между делом он ее трахает, подсчитывая доходы и расходы Общества Друзей Польских Детей, считая курс доллара, считая алименты для своей жены с двадцатилетним стажем по имени София, считая на пальцах возраст своих детей. Магда спрашивает, как он думает, она красивая, а он тем временем расписывается в квитанции о получении заказных писем из районной прокуратуры. Он говорит, что она, конечно, очень красивая, она такая красивая, что пусть лучше к нему не поворачивается, потому что он сбивается со счета, он ошибается в расчетах, пасьянс у него не сходится, кубики в тетрисе путаются, поэтому лучше ей заткнуться и сосредоточиться на том, чтобы как следует ему дать.

— Нет, ты дальше слушай, дальше самое интересное, — говорит Арлета, когда видит, что я уже типа слегка задет и меня трясет от злости и ненависти. — Ты слушай, сейчас будет самое главное, — говорит она, — потому что этот типа организатор, ну, председатель этот, собирается ее увезти из города и забрать в Рейх. Меня, может, тоже возьмет, если все получится и не будет проблем с бумагами. Потому что на мне типа висит условное за участие в избиении, но он сказал, типа все можно уладить. Вот такие дела. Магда уезжает. Улетает в теплые края. Я типа вместе с ней. Так что мы, Сильный, уже не увидимся, поэтому раз в жизни будь на прощание человеком: кола и чипсы. Можно одни чипсы, потому что мочи нет, как жрать хочется.

Я еще какое-то время стою. Я стою, и те слова, которые она сказала, звучат у меня в голове как прямая трансляция с места несчастного случая, с места преступления, громкоговорители еще передают последние вздохи трупов, последние стоны свежеубиенных, шелест все еще растущих у них ногтей. Магду. Забирает. В Рейх. Председатель. Кто-то нажал на все кнопки одновременно, в паспорт шлепнули печать, шлагбаумы падают на головы прохожих, Анжела умирает посреди полового акта со Штормом, выплевывая через рот маленького черного обугленного младенца, Наташа сплевывает, и ее слюна зависает в воздухе на полпути. Арлета наклонилась и выколупывает из щели между досок стола кусок картошки, ее ноготь цепляется за доску. Барменша хотела сказать: спасибо, пожалуйста, но успела сказать только: спа. Потому что для меня вдруг все в один момент обрывается, вся эта ярмарка задерживается на полушаге, по условному знаку все дети разжимают руки, и бело-красные воздушные шары летят в небо, их хорошо видно из космоса, и масштаб явления трудно переоценить. Все вдруг как будто останавливается, ярмарка костенеет,

праздник, побрызганный лаком для волос, застывает, всему конец. Что-то падает, кто-то смеется, на сцене все новые коллективы исполняют все более новые, чем предыдущие, песни. А теперь конец, точка в конце сложносочиненного предложения, бело-красные флаги спущены до половины, у Арлеты развязались шнурки в кроссовках. Тут и сказочке конец, свод амфитеатра раскалывается и падает на исполнителей.

— Эй, Сильный, ты только не вздумай меня продинамить, слышь, Сильный? — говорит Арлета.

Я молчу. Ни слова. Смотрю. Смотрю. Ни слова.

— Ну, Сильный же, меня знаешь как плющит, если ты не купишь мне чего-нибудь пожрать, я просто умру от голода, — стонет Арлета и, заметив застрявший в столе кусок колбасы, опять выколупывает его ногтем и съедает, но потом выплевывает назад на стол и говорит: это что-то другое, но не пойму, бля, что.

— Тогда тебе лучше скорее сдохнуть, — злобно отвечаю я ей, наклоняясь всем телом вперед. — Прямо сейчас, — говорю я. Все равно ведь она ничего не получит, только потеряет остатки вертикального положения, и для ее трупа придется заказывать специальный гроб с наклонным углом плюс дополнительная емкость для ее вытянутой в молящей позе руки.

— Если ты мне не купишь, я пожалуюсь Лёлику, — обижается Арлета.

Но меня уже не волнует, что она еще может мне сказать, что она думает, а чего нет и кого приведет разбираться со мной по поводу возврата своего имущества, потому что по мне пускай хоть самому Варгасу звонит и говорит, что я обещал купить ей чипсы, а потом прокинул, и пусть мне Варгас на это ответит: раз обещал, будь человеком и купи, бля, а я ему тогда скажу: не куплю, вот не куплю, и все, ни ей, ни тебе. И вообще можете отсосать друг у дружки, потому что мне теперь по фигу, хорошие я поступки совершаю или плохие, какая это статья и на какой этаж я поеду после смерти, вверх или вниз. Меня теперь не колышет, есть Бог или Бога нет, потому что даже если он был, то давным-давно пошел спать, раз послал Магде этого левого председателя. Без крыльев, но с папкой для бумаг. Не то чтобы святого, но при баблах. У меня занимает это ровно одну секунду, чтобы разгрести одной рукой весь этот сброд, который рабски клубится вокруг своей владычицы колбасы с гриля. Пара каких-то хмырей вроде как падает, но я типа не в курсе, если будет заморочка, все свалю на Арлету, гнев всех этих людей, потому что она теперь стоит и смотрит мне вслед, а сама говорит: Сильный? Ну Сильный, тебе говорю. Не будь свиньей и купи мне что надо, тогда я не буду никому звонить. Сильный?

И уже начинается веселье, потому что несколько человек уронили от моего удара свою свежекупленную еду, которая, вкусно пахня, пенится в грязи. И теперь, Арлетка, хотя ты и смотришь на нее с аппетитом, не будет, не будет тебе еды, теперь они возьмут и убьют тебя, и мало того, что никакой колы, никаких чипсов, мало того, что ты ничего не получишь, так еще в рамках возмещения ущерба они вырвут у тебя из глотки то, что ты уже сожрала, тот выколупанный из щели между досок ломтик картошки. Потому что я говорю тебе до свидания, хотя мы теперь уже, наверное, больше не увидимся, по крайней мере с твоей стороны.

И я спокойно ухожу. В направлении туда, где думаю ее найти. Осматриваюсь. Бело-красное мягкое мороженое. Польские куклы в национальных мазовецких и других костюмах. Десять злотых — десять выстрелов из винтовки в вырезанного из фанеры русского. Если б там стояла Магда, я б заплатил. Бах, и у нее отвалился туфель. Бах, и отвалилась нога. Бах, и отвалилось полжопы. Все, больше мне не нужно, пусть так и остается. Безжопую Магду уже никто трахать не захочет, и мне достаточно, дальше я ее мучить не стану, может, я даже ее подберу и приму назад.

Иду я, значит. Полное спокойствие. Шаг за шагом. Сначала приходится слегка распихивать толпу, а потом она уже сама знает, где ее место, и в страхе шарахается от моих шузов в стороны, уступает с дороги. Визг раздавленных, рвущиеся об забор платья, в воздухе мелькают туфли падающих, летящая в грязь колбаса. Вокруг вылупившиеся на меня, удивленные лица. А я иду. Спокойно так иду. Потому что знаю, что теперь делать, и никто уже не придет и не скажет: Сильный, Сильный, успокойся, все будет хорошо. Никто не воткнет сигарету мне в рот и не скажет: на, закури, закури, Сильный, успокойся, да не обращай ты внимания на Магду, такая уж она уродилась. Тогда я сам достаю сигарету и прикуриваю, хотя дует ветер. А когда я вынимаю спички, толпа пятится еще дальше, замирает, задерживает дыхание, потому что боится, что я все вокруг подожгу. Что я подожгу этих беременных женщин в надутых ветром пузатых подолах, эти мятые костюмы, коляски, полные детей, будто какого-то побочного продукта, ихнюю сахарную вату на палочке. Но я этого не делаю, потому что неохота. Я сам знаю, что мне делать.

И когда таким макаром я иду и начинаю уже врубаться, где тут кулисы, гардеробы, встречаю Каспера. Каспера. Что странно, потому что я его уже несколько дней не видел. Вдобавок он с какой-то девицей, которую я раньше не видел.

У Каспера вздувшиеся от амфы наружу, отполированные и блестящие, как ручки на мебельной стенке, глаза, которые то и дело делают сверхурочное количество движений в минуту. Я говорю, может, он представит мне свою девушку, потому что я ее уже, кажется, где-то видел. Она тогда говорит: Алиса, и подает мне руку с золотым колечком, которое я сразу замечаю. Она учится в экономическом институте, говорит Каспер и кладет ей руку на задницу с таким видом, что я даже удивляюсь, как это он не спустил от удовольствия. Она мягко, но решительно снимает его руку и говорит: но параллельно я заканчиваю курсы секретаря со знанием немецкого. После таких курсов меня возьмут на работу везде, в любую контору, в любой секретариат, везде.

Тут у меня даже нет времени присмотреться к ней поближе, потому что Каспер спрашивает, типа куда я иду. Я говорю типа равнодушно, да так, иду за Магдой. Тогда я вижу, что он вдруг типа немного нервничает, оглядывается по сторонам и достает сигареты. В ответ она, эта Алиса, кладет ему руку на пачку и смотрит в глаза, как будто прибыла из благотворительного учреждения спасать моральные жертвы никотина. Я вижу, что Каспер зеленеет от злости, но покорно, по-собачьи поджав хвост, прячет пачку в карман и говорит:

— Пошли, Сильный, с нами, пивка махнем, потолкуем о том о сем, я тебе про Магду кое-что расскажу.

Тут эта барышня сразу встает по стойке смирно, как будто ее током шибануло, и говорит: никакого пива, Каспер, иначе я возвращаюсь домой. Видон у нее такой, будто она выступает на школьном митинге на тему вредного влияния алкоголя и сигарет на самочувствие и занятия спортом.

Тогда Каспер вроде как уступает, скисает, но делает вид, что типа все в порядке, он типа тоже выступает на том же митинге.

— Я говорю, пивка махнем, это же не значит накиряемся до поросячьего визга, это значит культурно посидим, одно пиво в бокале 0,2.

Девица в ответ задумывается, что теперь надо сказать, что там дальше было по сценарию, вспоминает и говорит: но, Каспер, ты ведь знаешь, всегда так говорят, это самообман, моральная дымовая завеса. Ты же знаешь, у нас с тобой уговор, и если ты относишься ко мне серьезно, ты должен уважать мои принципы.

Каспер смотрит на меня извиняющим взглядом и с мукой в голосе говорит:

— Сильный, пошли дернем по коле? — после чего, когда девица отворачивает голову за какой-то летящей птицей или воздушным шариком, делает мне выразительные знаки руками и глазами, просто целый театр разыгрывает в том смысле, что телка малость того, не дает, ну и вообще отстойная. Но когда мы уже поворачиваем в сторону продажи напитков, она позволяет ему взять себя за мизинец, и Каспер показывает мне глазами, что, возможно, из нее еще получится что-нибудь путевое, из этой Алисы, может, ему еще удастся с нее чего-нибудь поиметь, какие-нибудь удовольствия.

Ну, мы идем. На первый взгляд это типа вопреки моему плану, вопреки моим тогдашним намерениям, но я думаю, что, если я немного выпью, мой план от этого только выиграет, станет более четким и целенаправленным в сторону гардероба и кулис. Оки. Каспер покупает себе маленькую колу, Алиске этой минеральную воду, а мне пивка для рывка. Оки. Типа хорошо сидим. Его просто разносит, можно подумать, будь дорожка, которую он занюхал, хотя бы на одну точечку длиннее, его бы точно разорвало на куски. Сидит, качает ногой. Быстро так. Смотрит то на Алису, то назад на меня. Алиса говорит, что ей нужно на минуточку выйти в туалет, и многозначительно глядит на Каспера, чтобы он в ее отсутствие не выпил случайно всю колу, не ввязался в драку. Мы смотрим, как она идет в сторону сортира. Выглядит она примерно так: прежде всего глухая водолазка с намертво закрытым горлом. Волосы серые, мышиные, заколотые на макушке заколкой с надписью "Закопане 1999". На шее золотая цепочка с крестиком поверх водолазки, на что я еще перед этим обратил внимание. Дальше она выглядит так: штаны от брючного или летнего костюма, книзу суженные, плюс ортопедические сандалеты. Девица из разряда: домашняя курица. Уберет, обед приготовит, вернет в лоно католицизма. Но не для Каспера она, и не надо меня лечить. Прежде чем открыть дверцу переносного туалета, она еще раз беспокойно смотрит в нашу сторону, а Каспер многозначительно машет ей рукой. И как только за ней закрывается дверца, сразу же начинает лихорадочно хлопать себя по карманам, достает пакетик и на глаз бухает себе в бокал дозу, при этом половину рассыпает, потому что руки у него дрожат. После чего жадно выпивает все до дна, остатки вытирает рукой и слизывает с пальцев. Потом прикидывается, что типа ничего не произошло, локти на стол, руки на одеяло, ветерок по-

дул, но теперь перестал, дождь пошел, но теперь перестал, сидим оттопыриваемся, расслабон полный, все по-старому, конца света не было.

– Она безнадежна, – говорит он мне вдруг после минуты молчания. – Я с ней два дня хожу, а она уже говорит, чтоб я приходил к ней в воскресенье на обед знакомиться с родителями. О том, чтобы перепихнуться, пока и речи нет, это я уже просек. Хотя у меня была надежда, что, может, все еще изменится, а если нет, мне по барабану, поедем на каникулы в дом престарелых.

После чего запуганно смотрит в сторону сортира, типа чего это она так долго не выходит.

– Она там окопалась, – истерическим шепотом шипит Каспер, и я думаю, что, может, у него уже кукушка съехала, – она провалилась в унитаз. Сейчас выйдет в новом имидже. Новый цвет волос и новый цвет лица. Ха!

Потом, оглядываясь по сторонам, он поглубже уходит под стол и подкуривает от моей сигареты. Подожди, говорит, испуганно оглядываясь. Пока эта помешанная на семейных ценностях сука не вернулась, мне надо наговориться: сука драная.

И еще пару раз повторяет: сука драная, твою мать, падла и говно.

Сортир, однако, открывается, и выходит Алиса, с которой, как отчетливо видно, ничего не случилось, она жива и здорова, поправляет резинку от трусов и гордо осматривается по сторонам, довольная, хорошенько очистившая кишечник принцесса. Каспер тут же сует мне в руку свою сигарету, на, на, да на же, бля, забери у меня быстрее. Так что мне приходится курить две сигареты одновременно, не пропадать же.

Она садится. И с места в карьер начинает: извините за отсутствие, мальчики, но мне нужно было воспользоваться туалетом. Но я уже вернулась. Знаете что, раз уж мы тут сидим, давайте я расскажу вам одну историю. То есть, собственно говоря, это даже не история, это фильм такой был, я его недавно смотрела в кинотеатре "Silverscreen" вместе с родителями и сестрой, с нами была еще моя двоюродная сестра, которая тогда как раз у нас гостила. Она привезла нам много мясных консервов, но, к сожалению, маме пришлось их выкинуть, потому что теперь очень много случаев сальмонеллы и стафилококка.

Каспер нервно качает ногой, зырит по сторонам и время от времени вворачивает, не глядя на нее: класс!

– Не перебивай, пожалуйста, – говорит она тогда, слегка обидевшись, – ты никогда не даешь мне закончить, хотя мы знакомы уже несколько дней. Ну, слушайте дальше. Поехали мы, значит, в это кино. Ну и конечно же оказалось, что мой билет куда-то пропал! Моя сестра мне прямо так и сказала: ну ты, Аля, говорит, и растеряша. Черт побери, и разозлилась же я тогда, потому что действительно бываю иногда ужасно рассеянная. Такой у меня характер, и никто не может меня отучить. Я тогда себе сказала: ну, блин, должен же этот билет где-то быть. И знаете, где он был? Представьте, что в моей сумочке прямо наверху. Знаете, есть такая пословица: темнее всего под фонарем. Без глупых ассоциаций, конечно. Тут мы входим в зал. Я уже много раз бывала на разных фильмах в разных мультикинотеатрах, но, к примеру, моя двоюродная сестра Анета, она из довольно маленькой деревни, и для нее это была абсолютная экзотика. Нет, честно, мне было даже неловко, потому что все на нее смотрели. Но это неважно, лирическое отступление, так сказать. И тут начался фильм. Неважно, как называется, вы наверняка его смотрели. Там был мужчина

и женщина, впрочем, вы, наверное, его смотрели. Разные там повороты сюжета, сначала она его бросила, потом он к ней вернулся, ну, знаете. Дело происходит в Америке. Я считаю, что самая лучшая сцена в этом фильме автомобильная катастрофа. Вернее, автобус столкнулся с машиной. Они как раз ехали на этом автобусе, только тогда еще не были знакомы. И столкнулись друг с другом, очень забавная сцена, даже моя мама смеялась, потому что она считает, что это было очень забавно. По-моему, хуже всего им удалась сцена, в которой герой и героиня идут друг с другом в постель. Ну, вы понимаете. Занимаются сексом. Я чувствовала себя очень неловко, потому что сидела рядом с папой и наши локти соприкасались. Мне кажется, ему тоже было неловко. Он все еще думает, что я по-прежнему его маленькая дочка, что я ничего не знаю о всей этой грязи, не знаю, что мир полон зла. А знаете, чем закончилось?

— Сильный, ты в курсе, что Магда уезжает? — довольно серьезно говорит Каспер, глядя на мне.

— Извини, но я перебью, — отвечает ему Алиса, — вы о Магде говорите? У меня есть однокурсница Магда, она лучше всех сечет в социологии макроструктур. Хотя зубрила она просто безнадежная. Ее зовут Магда Штенцель. У нее родители оба юрфак закончили.

— Нет, мы говорим как раз о другой Магде, — медленно и выразительно отвечает ей Каспер, будто на каком-то иностранном языке, на котором говорят сквозь зубы. И я боюсь, что сейчас прольется чья-то кровь, выйдет заморочка, потому что он медленно, но верно теряет терпение и доброе сердце. Хотя у нее при этом лицо насквозь невинное, на нем как будто проступает явный отпечаток девственной плевы.

— Знаешь что, Каспер, у меня такое впечатление, что ты плохо питаешься, — говорит вдруг Алиса, — какой-то ты нервный, вечно раздраженный. Расслабься, ты какой-то весь напряженный, дерганый. Эта сторона твоей личности меня удивляет, я такого про тебя еще не знала.

Каспер нервно оглядывается вокруг и говорит: я пойду пописаю. Таким тоном, как будто хочет сказать: за что мне такое наказание.

Тогда Алиса застенчиво опускает глаза на свою кожаную сумочку, достает гигиенический платочек и вытирает со стола разлившуюся колу и пиво.

— Слушай, — говорит она мне, — Анджей, тебя ведь Анджей зовут, да? А меня Аля. Я хочу, чтобы ты мне, как друг, сказал одну вещь. Только честно. Даже если это будет горькая правда. Потому что я считаю, что даже самая горькая правда лучше, чем самая сладкая ложь. Скажи, Каспер употребляет наркотики?

— Нет, — отвечаю я. И смотрю, как жарится колбаса, как развеваются флаги, как переворачиваются одноразовые стаканчики.

— Правда, никаких наркотиков? — говорит не до конца убежденная Алиса. — Ни тяжелых, ни легких? Это хорошо, потому что я этой гадости не признаю. Я знаю, что некоторые мои институтские знакомые балуются этим, но я бы не перенесла, если бы мой парень погряз в этой ужасной трясине. Говорят, наркотики разрушают нервную систему и серое вещество, потом наступает полное психическое и физическое истощение организма, люди от них болеют, попадают под плохое влияние, выносят из дома технику и ценные вещи. Ужас.

Я кивком изображаю что-то среднее между да и нет, намекая, что полностью с ней согласен.

А она мне на это: слушай, Анджей, у тебя что, какие-то проблемы? Ты выглядишь так одиноко и грустно. Скажи мне честно. Может быть, я смогу тебе помочь. Не думай, я многое пережила, недавно я порвала со своим парнем. Мы были вместе два года. Цветы, поцелуи, ну, понимаешь. А потом вдруг все, конец. Я от него ушла. Хотя он учился на международных отношениях, может, ты его знаешь. Хочешь, я тебе честно расскажу, как все было. Потому что я сама по своей натуре человек честный, открытый, и людей люблю тоже таких, как я. Без комплексов, без фальшивых табу.

Охренеть можно, думаю я.

— А знаешь, как все это было у нас, — говорит она, — когда нам исполнилось полтора года, такой юбилей, он принес цветы, вино. Я разозлилась, потому что ни я, ни он, мы же не пьем. Извини, но это очень личное. Он, как потом оказалось, хотел получить пресловутое доказательство моей любви. Я говорю, черт, я ведь не какая-нибудь раскладушка. И спрашиваю, разве моей нежности, моей близости ему недостаточно, потому что если нет, то нам не о чем друг с другом разговаривать. Мы тогда довольно сильно поссорились. Я ведь могу говорить тебе просто Анджейка? Ну и, черт возьми, скажи мне, Анджейка, разве это с его стороны серьезно, разве он поступил ответственно? Ему исполнился двадцать один год, мне двадцать.

Ты знаешь легенду о надкушенном яблоке, стоит его один раз укусить, и оно начинает гнить и червиветь?

Тут я чувствую: что-то здесь не так.

— Ты рассказывай, рассказывай дальше, — подбадриваю я ее, а сам на минутку подхожу к бару. Спрашиваю, не знают ли они, где тот парень, который сидел с нами. Они мне говорят, что он сначала сидел с нами, потом пошел в туалет, а потом, когда вышел, его ждала какая-то девушка, и они вместе куда-то пошли.

Я говорю, а как выглядела девушка, с которой он ушел. Они, что длинные белые волосы и нарядное платье из тюля с декольте, и левый глаз дергается.

Тут я сразу все понял: Магда.

И когда я возвращаюсь к столику вообще не в себе, она сидит в той же самой позе, как побрызганная лаком для волос телеведущая в новостях, и информирует весь старательно конспектирующий ее слова народ: я не такая, как другие девушки легкого поведения. И надеюсь, что в этом вопросе ты, Анджей, со мной согласишься.

— Угу, — угрюмо отвечаю я довольно кратко, потому что после последних событий решил ограничиться минимальным количеством слов. Потому что я уже решил, что нет. Именно так, нет, и все. Пусть она трындит что хочет, может даже песенки петь, все, что знает, включая колядки, видеоклипы и бегущий под низом текст. Она может перечислить мне все свои грехи, начиная с первого класса начальной школы, сообщая количество и степень их серьезности, принимая во внимание отношение частотности к приросту массы тела. Потому что теперь ей

можно все. Она может подробно рассказать мне, как ей удаляли аппендицит, и описать все стадии избавления от молочных зубов в пользу постоянных. Пожалуйста, пусть сливает. А я буду только смотреть. Чтоб она была сильно красивая, не скажу, хотя на худой конец сойдет. В крайнем случае, я могу отвернуться и смотреть на что-нибудь другое, на мебель, на вид из окна. Эти волосы она, наверное, выращивает со времен первого причастия и обрежет их только после замужества, чтобы намекнуть родственникам, что ее супружеская жизнь удалась. Честно говоря, уже от одной этой мысли я чувствую какую-то смутную тошноту, потому что знаю, мне придется нелегко, придется перебороть себя, как будто я к собственной матери ласты клею или даже еще хуже: как будто я трахаю какую-то не поддающуюся идентификации домашнюю птицу, недоваренную тушку. Потому что на вид эта девица какая-то синюшная и неопределенная, что вызывает у меня злость и отвращение.

В связи с этим я начинаю вести себя достаточно резко и сухо, из-за этих своих размышлений на тему ее синюшного вида я хочу ее как-то поддеть, сказать что-нибудь язвительное.

— Ты в подвале живешь? — спрашиваю я типа на полном серьезе. Потому что все равно, буду я ей пудрить мозги: ты очень красивая и симпатичная, — или не буду, а я ее поимею, и это неотвратимо, как ни крути.

Да, Каспер отбил у меня Магду. И хотя это бред, подлость чистой воды без всяких примесей и химических добавок, стопроцентная подлость без сахара и красителей, хотя для меня это просто предательство, низость и насилие над моим мировоззрением, я все равно свое возьму, еще и с лихвой. И тут я начинаю шепотом считать на пальцах. Он сейчас трахает Магду, плюс один в его пользу. Но Магда дает всем, это ему минус полтора. Я трахну его Алю, хотя, принимая во внимание ее внешность, для меня это минус один. Но за то, что она не давала какому-то дебилу два года, плюс за то, что в течение нескольких дней Касперу не удалось ее ни разу трахнуть, за это за все плюс три в мою пользу.

Она смотрит типа с удивлением и говорит: в подвале? С чего ты взял? Мой папа работает учителем, мама тоже учительница. Мы живем недалеко отсюда в коттедже. Мне повезло, что я не живу в большом микрорайоне. Вообще это, может, немного инфантильно, но я завела себе двух волнистых попугайчиков. Это умная и общительная птица родом из Австралии, где на свободе она живет в больших стаях. В Польше волнистый попугай — одна из самых популярных домашних птиц. Она небольшого размера, уход за ней не обременителен, а самец легко поддается обучению и повторяет разные звуки. Клетку нужно убирать ежедневно, хотя это занятие несколько монотонно.

Тут, пока я слушаю все эту тягомотину, я решаю перейти к решительным действиям, провести массированный удар, налет, десант. Поэтому я ей говорю, что она очень начитанная, хотя звучит это так, как будто я сказал, что пусть она не обижается, но сейчас я ее убью.

— Спасибо, — говорит она, — спасибо, Анджейка, но я должна тебе честно признаться, что, несмотря на твои чувства, мы пока останемся просто друзьями. Я не хочу знакомиться с новыми парнями, пока все не утрясется. Но это не значит, что мы не можем стать хорошими друзьями.

Кстати, у меня тут возник к тебе один небольшой вопрос, ты случайно не знаешь, где Каспер?

Тут я пускаю в ход камни и карабины против каштанов — вооруженная до зубов, жаждущая мести армия захватчиков с разгона наступает Алисе прямо на ногу в ортопедической сандалете.

— Понимаешь... — говорю я, глядя то на нее, то в свой пустой бокал. И хотя явно не следует дотрагиваться до нее даже палкой через одежду, потому что можно заразиться опасной токсической болезнью, через кофту типа водолазка, или еще какой-нибудь дрянью похуже, я понимаю, что как особь мужского пола в возрасте, способствующем размножению вида, я должен это сделать. Поэтому я говорю грустно и типа смущенно: понимаешь, Аля. Я могу так тебя называть, Аля? Мне тяжело это говорить, но с такой девушкой, как ты, я хочу быть честен. Каспер — опасный преступник, насильник. "Вампир из Мухосранска-2", эротический триллер США, точка. Полное извращение, неестественная тяга джорджа к женщинам беззащитным и чистым, как ты. Это все, что я могу тебе сказать, потому что это не тема для разговора за пивом и чипсами. Шутки кончились, это уже не выговор от директора и административный штраф десять злотых в рассрочку.

На горизонте наблюдается глубокий шокинг и внезапное увядание ее лица, которое кукожится в направлении пола. Тут я поддаю жару, продолжая триумфальный поход шовинистической мужской армии по пальцам девичьих иллюзий. Древко знамени вбито в ортопедический сандаль, международный джордж гордо лопочет на ветру и показывает факью.

— Знаешь, Аля, мне неприятно тебе это говорить. На первый взгляд Каспер как Каспер. Ничего особенного. А на нем десять лет условно висит, судебный исполнитель по пятам топчет, плюс неурегулированные отношения с армией, алименты по всей стране. Массовое производство левых внебрачных детей на каждом шагу. Он куда ни ступит, тут же сварганит какого-нибудь беспризорного ребенка. По инерции. Ты же видела, когда шла в туалет, как он на тебя смотрел. Я, едва тебя увидел, сразу почувствовал, что ему только одно от тебя надо, а что именно, ты знаешь сама, и я тоже знаю.

Спектакль на тему мученичества и борьбы польского народа закончен, стихотворение о жертвах восстания прочитано, можно сесть и спокойно закурить. Довольный собой, как стадо слонов, я вынимаю сигарету. Выпавшая в осадок Аля смотрит на меня так, будто только что прочитала в настенной газете у себя на лестничной клетке, когда возвращалась домой, что завтра она собственноручно умрет и решение обжалованию не подлежит. Вдруг она начинает смеяться явно напоказ и говорит мне что-то в том стиле, что я пошутил очень неудачно.

— Ты можешь смеяться, но я говорю серьезно, — отвечаю я довольно угрюмо. — Есть доказательства, куча доказательств, куча женщин плачет от него по ночам. Только в нашем городе по крайней мере с десяток, а в Польше сотни, в том числе пятьдесят из них русские. Потому что он, извиняюсь за выражение, обычный извращенец, разносчик мастерски скрываемых отклонений от нормы, типа останемся друзьями, останем-

ся друзьями, а на самом деле ему только одно нужно, впрочем, тебе хорошо известно, что именно.

— Ты это шутишь так, Анджейка?.. ты, наверное, просто прикалываешься... — говорит она, хотя лучше бы ей помолчать, потому что, говоря это, она бледнеет и выглядит еще хуже, чем раньше, ни дать ни взять попавшая в стирку фотография с ее студенческого билета, на которой выбелились и расплылись особые приметы и черты лица. Она зависает на своей заколке "Закопане 1999", как потрепанная подшивка бумаг, которая из последних сил держится, чтобы не разлететься по ветру.

— Да говорю же я тебе, это точно, я уверен в этом на сто пудов, как в собственном имени, фамилии и девичьей фамилии моей матери, — отвечаю я ей грустно. — Мне это известно из первых рук. Хорошо, что он ушел. Мы остались одни и можем спокойно поговорить. А он свою фабрику внебрачных детей с неправого ложа пусть устраивает в другом месте, пусть найдет себе для этих целей какую-нибудь левую герлу, пустую и глупую, не такую, как ты. Потому что он тебя не стоит, — добавляю я в рамках эротических фантазий, поскольку знаю, что нажал на нужную кнопку и процесс пошел.

— Ничего себе! — говорит она, глядя прямо перед собой, и пьет из бутылки из-под воды, хотя там давно уже ничего нет. — Если бы я рассказала об этом своей маме, то до двадцати одного года мне запретили бы выходить из дому. Может, даже смотреть в окно. Я все никак не могу поверить, что этот мерзавец хотел меня так вероломно обмануть, возможно, он собирался продать меня в Германию. А ведь был такой обходительный, такой внимательный. Ты прав, пару раз он пытался угостить меня сигаретой. Это должно было меня насторожить, ведь женщины не курят. Табачный дым убивает нерожденных младенцев, убивает кровяные шарики в крови, оказывает пагубное воздействие на дыхательную систему. Статистика говорит сама за себя, и тебе, Анджей, я тоже советовала бы бросить эту гадость ко всем, как говорится, чертям. Подумай сам. Его зовут Анджей и так далее, он не курит. Прости, но я расскажу тебе один случай, который должен заставить тебя еще раз обдумать свою позицию в этом вопросе. Мой папа тоже когда-то курил, и это была его ошибка. Так продолжалось в течение двадцати лет, а потом он заболел. Ни с того ни с сего. И ничего не помогало, ни банки, ни витамины, в конце концов пришлось согласиться на антибиотики. И тогда он сказал себе: нет. Больше я не буду себя травить, у меня жена, две очаровательные дочери. И бросил. С тех пор он ежедневно сосет леденцы. Мятные. Мама недовольна, потому что это обходится недешево. Даже при оптовой покупке.

Тут я немного поозирался по сторонам, уже четыре часа. Ну, значит, мы еще успеем вернуться к тому моменту, когда вспыхнут прожекторы, загремят фанфары и Магда расскажет, что она думает по поводу своей любимой погоды. Но тогда уже все будет кончено, вся эта сраная война под названием "Возжелай жену ближнего своего". Проверка работоспособности джорджа и умения крепко жмурить глаза будет уже за спиной. А результат этой войны уже предрешен. Я — плюс две диоптрии, Каспер — минус ноль целых пять десятых.

Ну, и я вытаскиваю из кармана руку и типа случайно протягиваю ее через весь стол, случайно типа нехотя убираю Але волосы с лица. И тут же прикидываюсь, что ловлю себя на этом подсознательном жесте, тут же убираю руку назад и украдкой, под столом, вытираю ее об штанину от всяких бактерий и микробов, которые могли перейти на меня с этой девицы, облепить меня всего и снести в моих джинсах свои скользкие яички. Из которых через несколько дней вылупятся сначала очки в позолоченной оправе, потом крестик на цепочке, а в конце выползет оттуда кофта типа водолазка, что будет означать мою немедленную смерть и летальный исход.

— Пошли ко мне, — говорю я обиженно, потому что вся эта история с кровожадными бактериями, насекомыми, паразитами и микробами меня сильно разозлила, мало того, я вдруг вспоминаю, какие сатанинские посиделки имели место в моей квартире, с аналом, оралом и кровью, и еще приходит мне в голову, что, может, уже случайно вернулась Изабелла и скончалась от одного вида своего дивана. — Или лучше к тебе, — добавляю я быстро.

***

А была ли Аля на самом деле целкой, я так никогда собственноручно и не узнал. Почему, об этом потом. Мне даже не удалось установить, женского ли она вообще пола. Потому что у меня есть подозрения, что нет. Скорее всего, она что-то среднее. Курица. Домашняя птица. Горшечное растение. Типичное тенелюбивое животное. Она пользуется пудрой, но между ногами у нее оверлочный шов, чтобы ни один извращенец не позарился на ее святую святых. Потому что она, скорее всего, все-таки святая. Потому что на совести у нее нет ни одного греха. Она не курит сигарет, не пьет алкогольных напитков и до свадьбы не дает. Именно за эти выдающиеся заслуги она скоро получит медаль и почетную грамоту от Общества воздержания и умеренности за принципиальную позицию и борьбу с грехами во имя того, чтобы люди их не совершали. Именно за эти свои выдающиеся заслуги она отправится в специальный рай для некурящих, где у нее будет собственное кресло в комнате отдыха. Она будет там сидеть, как сейчас, нога на ногу, и листать страницы журнала для женщин под названием "Твой стиль".

— Знаешь что, Анджейка? — будет покрикивать она вниз, в сторону ада, где буду сидеть я и докуривать окурки, которые выбрасывают люди, потому что ничего другого мне не остается. — Это безумно интересный журнал. Высший уровень. Здесь есть интересные статьи, интервью, кроссворды. Ты должен почитать, сам оценишь. С виду это женский журнал, но, на мой взгляд, мужчина тоже может найти в нем много интересных сюжетов и информации. Я тебе подброшу парочку номеров, особенно мой любимый, майский. Там напечатали очень классный и интересный дневник. Его написала девушка, которую зовут Дорота Масловская. Ей всего шестнадцать лет. Несмотря на разницу в возрасте, я думаю, мы с ней нашли бы общий язык и подружились. Это очень интересная личность, оригинальная, творческая, художественно одаренная. В таком молодом возрасте это достойно удивления и вызывает живой интерес. Иногда она такое напишет — даже смеяться хочется или плакать. У нее есть чувство юмора. Хотя одновременно я считаю, что это человек, которому неуютно в со-

временном мире, она переживает период бунта, начинает курить сигареты. Я думаю, что, если бы мы познакомились и подружились, она могла бы под моим влиянием измениться к лучшему, исправиться, а ее жизнь, чувства стали бы намного проще. Потому что, не знаю, что ты обо мне, Анджейка, думаешь, но я через все это уже прошла, я ведь не всегда была такой, как сейчас. Я тоже когда-то ссорилась с мамой, хотела быть кем-то другим, я даже собиралась обрезать волосы, полностью изменить свою личность. Но моя мама все это время была моей лучшей подругой, и хотя иногда она проявляла строгость, я все равно считаю, что это пошло мне только на пользу.

Пока она это говорит, я сижу на диване и смотрю в окно, на котором у нее висят приклеенные скотчем листья клевера из зеленой бумаги. Еще у нее стоит застекленная мебельная стенка, в которой она держит в прекрасном состоянии законсервированные трупы мягких игрушек типа мишки, собачки.

На двух планках у нее к стене прицеплен постер из фильма "Бунтарь по собственному желанию". А вокруг разные сувениры и небьющаяся фарфоровая кружка с надписью "Стрелец". Когда она замечает, куда я смотрю, она с места в карьер начинает мне объяснять как дебилу: это подарок к восемнадцатилетию. Хотя я не верю в гороскопы и считаю, что это предрассудок, глупое развлечение для простых, внутренне неразвитых людей. Эта цепочка тоже подарок. От крестной.

Кроме того, у нее есть еще два попугая, из которых оба похожи на нее до боли, и поскольку мне до боли скучно, я ехидно спрашиваю:

— Их обоих Аля зовут? — и чуть не прыскаю со смеху от собственной шутки, от этого намека.

— С чего ты взял! — говорит она, подходит к клетке и дает этим двум заморышам по одному или по два зернышка на рыло. — Животных нельзя называть человеческими именами, ты что, не знаешь, что у животных нет души?

В этом вопросе я как раз пас.

— Твои предки дома? — спрашиваю я, потому что хочу уже приступить к делу, хочу добраться до ее неаппетитной копилки, чтобы все уже кончилось. Я хочу поскорее получить причитающиеся мне пункты и выйти, наконец, отсюда, пока еще не уснул и не проворонил выборы мисс.

— Нет, мои родители поехали на ярмарку, а потом навестить дядю, — говорит она и сразу же поливает удобной леечкой цветы, разные там кактусы, которые растут у нее на окне. Потом вдруг как будто пугается: а почему ты спрашиваешь?

А по кочану. Но я отвечаю ей предусмотрительно: да так, ничего. Просто я не хотел бы причинять неудобства.

— Да, порядочные люди всегда переживают, — отвечает она озабоченным голосом. — Но ты не волнуйся, знаешь, они все понимают. Это они с виду такие строгие. А на самом деле разрешают мне буквально все, в границах разумного, конечно. У меня с родителями полное взаимопонимание, они у меня просто чудесные, они самые лучшие мои друзья. Я считаю, ты должен с ними познакомиться. Они наверняка тебе помогут, посоветуют что-нибудь насчет твоих проблем и неприятностей. Ты знаешь, они с виду

взрослые, солидные, но иногда я не могу избавиться от впечатления, что это пара влюбленных подростков. Они всегда держатся за руки и вместе катаются на велосипедах, вместе ходят на фитнес, вместе гуляют.

Пока она говорит, я представляю себе, как это должно выглядеть на самом деле. Ее мать, значит. Во-первых, она спит в очках, чтобы хорошо видеть, что ей снится, и не прозевать явления святого Цитрамона от головной боли. Ясное дело, принимая во внимание личную неприкосновенность и ее женское достоинство, не может быть и речи о том, чтобы муж прикоснулся к ней повыше локтя. На мужа я в мыслях уже не наезжаю, потому что чувствую типа солидарность. Как представлю себе, какую огромную фрустрацию ему пришлось вложить в организацию всего этого бедлама с двумя неудачными дочерьми. Бедный, так и вижу, как его гонят взашей журналом для самосовершенствующихся учителей или другим женским чтивом. Придушенный, кастрированный, спихнутый на край дивана.

И тут я начинаю предчувствовать поражение. На меня вдруг наваливается бессилие, мой внутренний реостат говорит мне стоп, красный свет, руки прочь от кастрюли. Не трогай, а то обожжешься, не трогай, а то заразишься. Не пользуйся с ней одним полотенцем, не садись на один унитаз, перед употреблением ознакомься с инструкцией. Она сидит совсем рядом и вытирает уголком кофты типа водолазка свои очки, старательно подышав на оба стеклышка, а я, совершенно упав духом, думаю, ну и как тут собраться с силами и взяться за дело. Она сидит довольно близко, и у меня должна быть на это другая реакция, тем временем со стороны джорджа веет полной апатией, джордж даже взглянуть в ее сторону не хочет, притворяется, что спит, а на самом деле дрожит и комбинирует, куда бы удрать от своей судьбы, в какую штанину. А его судорожно зажатая между двумя Алисиными ногами судьба тем временем тоже закрыта, не работает, и свет там не горит.

Аля тем временем ни с того ни с сего оживляется, непонятно почему вдруг переходит на мою личность, что меня вместо того чтоб радовать, наоборот, отвращает.

— Что ты думаешь о политике, обо всей этой польско-русской войне? — говорит она, заглядывая мне в глаза с близкого расстояния. Я тут же замечаю, что у нее болезненные, желтые зубы. Я не собираюсь сразу начинать с ней военный конфликт на национальные и ненациональные темы, поэтому вероломно спрашиваю, что она считает на эту тему. Она мне отвечает, что вот что:

— Мой папа, человек очень рассудительный, благодаря чему, в общем-то, у нас в доме еще во времена социализма всегда водилось и мясо, и большой выбор колбасных изделий, и моющие средства, говорит, что в этом деле не следует иметь никаких громких, к чему-либо обязывающих мнений. И тут он прав. Потому что теперь все вдруг заделались жутко важными, демонстративно высказывают свое мнение, а потом хвосты-то прижмут. И тут он прав. Поэтому, если тебя кто-нибудь спросит, за кого ты, то я тебе, Анджей, советую воздержаться от какого-либо окончательного мнения. Потому что можно здорово пролететь. Слушай, а ты серьезно ко мне относишься? — спрашивает она вдруг, глядя мне в рот.

— А почему ты спрашиваешь? — отвечаю я немного перепугавшись, потому что хочу, чтобы она от меня отцепилась, хочу уже выйти отсюда, без пунктов, но в здравом уме, чтоб сразу же за дверью отряхнуться от ее перышек, от ее волос и отдать Изабелле джинсы в стирку.

Она мне на это отвечает: почему спрашиваю, почему спрашиваю. Ясно, что не для того, чтобы к тебе подмазаться. Просто я думала, что через несколько дней мы поедем к моей сестре в районную больницу. Она как раз родила, в конце концов, уже почти год прошел, как они с Мареком поженились, было венчание и свадьба, на которой было очень весело, очень веселая атмосфера была у них на свадьбе. Она еще лежит в отделении, потому что Патрик, похоже, подцепил желтуху. Совершенно непонятно, черт побери, каким образом. Мама подозревает, что это врачи виноваты, их непрофессионализм и отсутствие позитивного подхода к пациентам. Иногда люди из-за этого даже умирают, из-за врачей, которые, наоборот, должны пациентам помогать, это ведь абсурд какой-то, парадокс. Кроме всего прочего в массовом масштабе процветает так называемое взяточничество, у врачей начисто отсутствует совесть, ни капли ответственности, ни капли желания исполнять свой врачебный долг и профессию. Об этом много пишут в текущей прессе, в еженедельниках, говорят по телевизору, ну просто везде.

Я молчу и стараюсь вести себя так, чтобы соприкасаться с ней как можно меньшей поверхностью. Я чувствую, что проиграл по всей линии защиты, минус десять пунктов плюс незаметный бросок ее слюны на мое лицо, когда она ко мне обращалась. След ортопедической сандалеты на моем лице. Тяжеловооруженная армия в панике отступает в глубину штанов. Полный назад и паническое бегство.

Так что я уже тогда становлюсь неразговорчивый, потому что мои чресла уже получили сигнал, что обратились не по адресу и никакого продолжения рода человеческого тут не предвидится. Джордж тоже уже хочет покинуть это мероприятие, потому что просек, что не будет тут ни конкурсов, ни физических упражнений. Поэтому я передвигаюсь немного дальше в сторону занавесок, чтобы она случайно не подумала, что я хочу стать с ней друзьями. Я стараюсь, чтобы она не обиделась на меня за эту эмиграцию, но она, по-моему, обиделась. Ну, тогда я пытаюсь загладить положение, чтобы она не чувствовала себя жестоко оскорбленной и чтобы потом не было, что со мной не о чем разговаривать и типа поэтому мы так целенаправленно друг с другом молчим. Поэтому я спрашиваю, знает ли ее сестра, что у беременных бывает такая болезнь, как токсикоз. Она говорит, что конечно, это такое довольно неприятное женское недомогание во время беременности.

Тогда я встаю с дивана и прохаживаюсь в сторону окна. Потом к двери. Потому что я, блин, уже на пределе и честно предупреждаю, что если мне сейчас же не дадут или какого-нибудь пива, или хоть крошечку амфы, или хотя бы кубик Рубика покрутить, то по моим нервам сначала пойдет трещина, а потом они с грохотом развалятся, и за последствия я не отвечаю. Если бы она мне хотя бы компьютер включила. Пасьянс "Паук". Хоть бы калькулятор какой дала в руки, чтобы я подсчитал свои минус сто миллионов тысяч пунктов из-за ее нелепости, из-за ее паршивого характера. И общей паршивости тоже. Потому что, скорее всего, это бесконечное число, которое в уме, как ни крути, не сосчитаешь. Тут

я задумываюсь о том, что могло бы быть, если бы Бог имел хоть каплю совести, порядочности. Потому что если бы было так, а не иначе, если бы он проявил хоть миллиграмм доброй воли, вложил хоть миллиграмм логики в этот сценарий, то я имел бы сейчас Магду, потому что она с самого начала продавалась как подарок для меня. Так нет же. Даже там, в этом с виду честном Царстве Божьем, процветает коррупция, предательство, бьют лежачих и мылят глаза полиции насчет набитого амфой багажника "гольфа". Даже там все только под себя гребут, везде барыжничество и проституция, а польских девушек продают на Запад. Бог прикидывается, что он типа левых взглядов, всем поровну, ни больше и ни меньше, одинаково. А сам как вмажет мне по рукам, отдавай, Анджей, Магду, поиграй теперь чем-нибудь другим, а Магду мы теперь дадим Касперу. А потом еще Левому, пусть поиграет с чем-нибудь нормальным, мальчик слишком много времени проводит за компьютером, а ему это вредно для осанки, для сколиоза. А ты, Анджейка, не расстраивайся, мальчики тебе ее потом отдадут, правда, мальчики? Честное Божественное. А ты покудова с Алей поиграй, она немного не того, с дефектом, так сказать. Где сядешь, там и слезешь. Ну и что, это же не значит, что с ней нельзя играть, было бы желание.

– Факью, я в эти игры не играю, – говорю я себе под нос и смотрю вверх. Но это даже не небо, это потолок с облезлой штукатуркой, и это даже не кукла, которая хочет, чтоб с ней играли, это преждевременно скончавшаяся телеведущая, которая к тому же нацепила очки в золотой оправе и, послюнявив палец, листает журналы.

Если б она мне хотя бы калькулятор дала, что я уже подчеркивал раньше. Я хоть на секунду бы развлекся, прибавлял бы, отнимал, сначала все цифры слева направо, потом справа налево, а в конце умножение. Я бы все рассчитал. Про Магду. Ее рост. Ее возраст. Длину ее волос. Длину ее предположительной жизни. Угол наклона Каспера по отношению к ней. Количество амфы в крови. Процент ее удовлетворения. По-любому низкий. Она, по-любому, на минусе. Скорость, с которой русская армия приближается к городу. Количество проданной колбасы. Я бы все посчитал, если бы она дала мне калькулятор.

Но она нет. Не дает. Она сидит и время от времени пялится на меня, а другой рукой поправляет себе что-то в зубах. И ей даже в голову не приходит, что это уже все. Что вот теперь решается судьба ее клеверных листиков, приклеенных к окну, и стекол в мебельной стенке, что сейчас я это все подожгу вместе с ее волосами, которые я вообще отрежу на фиг и сам, собственными ногами, растопчу в жидкую тюрю. В конце концов я ей вот что говорю. Потому что это уже не хиханьки: то да се, да что ты обо мне думаешь, Анджей, я тебе нравлюсь? я красивая? я некрасивая? чем она лучше меня? Потому что хотя я человек по натуре добрый, но чтоб меня держали за ходячий приют для сирых и убогих – это уже перегиб, не желаю выслушивать контрацептивный пердеж из серии "домашние советы" и ничего с этого даже не поиметь, никакого удовольствия, одну мелодраму и длинные разговоры об искусстве, поэзии и защите зачатой на закате солнца жизни нерожденных младенцев.

– А ты человек скорее экономный, да? – говорит она на погибель моим мыслям и чувствам. Да она же просто бьет лежачего, получай, получай, гад, не хотел разговаривать о погоде, не хотел разговаривать о

токсикозе у беременных, значит, будем разговаривать о бережливости, да, Анджейка, шутки в сторону, камера пошла, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами Алиса Бурчук, и специально для вас я сейчас прочту список продуктов, которые вы можете приобрести с сезонной скидкой, чтобы вести ваше домашнее хозяйство еще более функционально и экономно. Потому что не думайте, будто, покупая все подряд, бросая в корзину продукты без разбора и понятия, мы можем скромно и без риска хозяйничать в нашем доме. Покупки — это дело, которое следует основательно продумать, запланировать, взвесить все за и против. Посмотрим, это мясо с виду кажется неплохим, но взгляните на чудовищно высокую цену, особенно если учесть, что рядом лежит совершенно похожее мясо, изготовленное всего несколькими днями раньше, но еще совершенно пригодное, а стоит оно в два раза меньше. Первое задание: какое мясо выберешь ты, Анджей, ведь наверняка ты не будешь таким расточительным, чтобы выбрать дорогое и в конечном счете, скорее всего, менее вкусное мясо. Не надо отвечать, главное, что ты согласен. Теперь мы передвигаемся со своей корзиной на следующее поле нашей таблицы. Перед нами полка с текстильными изделиями. Твоя задача, Анджей, выбрать самые лучшие носки. Да, конечно, эти очень прочные, но за их стоимость ты можешь приобрести три пары менее прочных, хотя они ничем не хуже. Прекрасно, это движение головы я засчитываю как кивок, а это значит, что ответ верный. В таком случае мы отправляемся дальше, на следующем поле представлена полка с алкогольными напитками. Твое задание: не покупать алкоголя и тем более сигарет. Если купишь, автоматически теряешь главный приз. Если не купишь, переходишь на следующий этап, такой же интересный и полный эмоций, как и предыдущий. Кстати, мы знаем, что ты, как человек солидный и рассудительный, поддерживаешь наш общий выбор, а теперь по условному сигналу мы все вместе встаем и громко кричим хором: нет алкоголю, разоружить табачные фабрики, запретить продажу спиртного выше пяти процентов содержания, Анджей, ты что-то вертишься, нервничаешь, наверное, не можешь уже дождаться следующей таблицы, на которой представлена секция с овощами и фруктами. Корзина А: дорогие фрукты, привезенные с далекого Запада, покрытые толстым слоем вредных пестицидов — заразных микробов, разносимых неграми, которые трогали их руками. А теперь посмотрим, что у нас тут в корзине Б? Русские фрукты! Они, конечно, немного дешевле, чем наши, но ведь это фальшивые подделки, а не настоящие фрукты, наверняка они внутри пустые. А вот в корзине В мы найдем настоящие польские фрукты, недорогие и вкусные, потому что польские яблоки, даже с подгнившими бочками, вкуснее, чем яблоки с гнилого Запада, совершенно ясно, что наш рассудительный Анджей выбирает корзинку В, прекрасный, правильный ответ, таким образом, мы переходим к следующему этапу нашего телешоу, и впереди нас ждет еще много интересного и поучительного!

— Можно я пойду пописаю? — спрашиваю я довольно угрюмо и лечу в сортир. Громко спускаю воду и в надежде, что ничего не слышно, перетряхиваю все шкафчики. Уровень наркотиков в этом доме просто никакой. Одна таблетка сибазона. И одна упаковка панадола. Я быстро принимаю оба супертяжелых драга, поскольку начинаю опасаться за свое здоровье. Боюсь, что я сошел с ума или еще чего, передозировка

амфы за несколько последних дней, короткое замыкание, оборванные провода. Вот так, Анджейка, сначала панадол, сибазон, а потом вокзал, сразу же слышу я и оборачиваюсь, но это только эхо в моей башке так взыграло. Импотенция, интерес к сидящей рядом особи женского пола нулевой, может быть, это уже даже гомосексуализм, и как только я это думаю, сразу же смотрю в зеркало, может, на моей внешности уже проступили какие-то видимые следы педерастии, но ничего такого я не замечаю, никакой отметины.

Быстро, чтобы не возбудить ненужных подозрений, я возвращаюсь на свое место и сажусь на него. Представление продолжается. Конец рекламной паузы. На этом этапе, Анджей, ты должен купить себе подходящую обувь. И здесь тебе предоставлен выбор между прекрасными функциональными ботинками заграничной фирмы ССС, филиалы которой расположены на территории всей нашей страны. Это обувь на любую погоду, потому что она очень практична и проста в пользовании, просто надеваешь ботинки и носишь их дома и на работе, со штанами и с юбкой. Со штанами, быстро отвечаю я, чтобы дать правильный ответ как можно скорее и избежать тем самым публичного обвинения в педерастии и других извращениях.

Вот именно! Атмосфера в студии накаляется до предела, эмоции перехлестывают, потому что оказывается, что ты, Анджей, именно такой, каким должен быть, экономный и практичный, а теперь очередной этап нашей программы. Вопросы будут проблематичные и, возможно, даже несколько щекотливые, но все же что ты ответишь, да или нет, если ни с того ни с сего встретишь на нашей таблице классическую польскую семью из шести человек, ну и как ты поступишь? Ты посторонишься со своей эгоистической, гедонистической, самовлюбленной корзиной и пропустишь вперед истинные ценности? Или ты будешь пропихиваться против течения, задевая и переворачивая деток божьих, наступая им на маленькие, беззащитные ножки, выбивая из ихних ручонок недорогие и изумительно сладкие леденцы в форме сердечек? Ты отдавишь ногу своей тележкой отцу семейства, который трудится в поте лица, чтобы вырастить плоды сельскохозяйственного труда своего? Уступишь место в автобусе женщине с ребенком на руках? Ты молчишь, ты не отвечаешь, но тебя выдает выражение твоего лица, на нем крупными буквами написано, что ты порядочный человек и в будущем хотел бы иметь много детей.

А теперь мы переходим в следующую категорию, где ты, возможно, будешь чувствовать себя уверенней, потому что, возможно, это как раз твое хобби, которым ты, к примеру, интересуешься, возьмем, к примеру, хотя бы такой вопрос: ты ведь по своей природе человек несмелый? Сосредоточься как следует, это очень простой вопрос, для разминки, ведь мы все, и я, и публика в нашей студии, все мы за тебя болеем и желаем тебе успеха, чтобы ты выиграл в нашей программе, поэтому тебе будет задан другой вопрос. На этот раз из области психологии, потому что я очень интересуюсь психологией и межчеловеческими соотношениями, как можно изменить самого себя, как работать над собой, как победить свои слабости, сделать свою жизнь более здоровой от страхов и несовершенств, как осознать в себе чувство собственного достоинства. Потому что я вижу по

тебе, что ты несколько скован, неуверен и, наверное, поэтому не можешь ответить на такие простые, просто элементарные вопросы, ты, наверное, меня стесняешься, перестань, ну что ты, в самом деле, так нельзя, если мы хотим стать настоящими друзьями, мы должны быть откровенны друг с другом, чувствовать себя в своем обществе свободно и раскованно и ничего друг от друга не скрывать, даже самые большие свои слабости. Поэтому я говорю тебе и всем физическим лицам, которые смотрят нашу программу: друг — это такой человек, в присутствии которого мы можем не бояться быть самими собой, не подавлять свои эмоции, а у тебя есть друг? Напишите нам об этом, ваши ответы на почтовых открытках мы ждем до конца недели, а вас ждут вещевые призы и подписка на мой любимый журнал. Но вернемся к нашей игре: теперь другой вопрос, я задам его немного иначе, потому что тот, предыдущий, возможно, был сформулирован слишком сложно для тебя, ты такой неразговорчивый, может, это мое присутствие тебя стесняет, я тебя смущаю, если хочешь, я выйду, а телезрители на минутку закроют глаза, чтобы ты мог спокойно приготовиться к ответу на заданную тему, решить, что ты по этому поводу думаешь, можешь составить себе конспект ответа, и мы поговорим об этом позже, а теперь перерыв, стоп камера, публика в нашей студии встает, встаем, все встаем, делаем раз, поднимаем руки вверх, делаем глубокий вдох и начинаем круговые движения, и раз, и два, а я тем временем встану с кресла, вот так, сниму свои очень красивые очки, которые в свое время обошлись мне сравнительно дорого, даже принимая во внимание, что это было еще в начальной школе, но все равно это была покупка почти вневременная, я отложу в сторону свой любимый журнал, который вообще-то спонсирует нашу программу, и по секрету скажу тебе, Анджей, одну вещь. Главный приз в нашей программе — это я, Анджей, если ты правильно ответишь на все вопросы, если согласишься, что я права, если окажется, что у нас с тобой общие интересы, то я разрешу себя поцеловать в губы, но очень осторожно, потому что у меня очень чувствительные губы, которые тут же лопаются и облазят вместе с кожей, которую я тогда отрываю клочьями, отрываю вместе со всем лицом и всеми внутренностями, но это не беда, ты не волнуйся, ничего страшного, потому что я тут же отрастаю еще лучше, чем прежде, с волосами длиннее, чем теперь, и крест, что висит у меня на шее, вот тут, видишь, отрастает еще больше, и мои ортопедические сандалеты тоже, и руки, и ноги. Но вернемся к нашей игре, поприветствуем всех зрителей, собравшихся перед телевизорами, и публику в нашей студии.

Этот раунд мы начинаем с ключевого вопроса, благодаря которому еще не все потеряно, у тебя еще есть шанс попасть в финал, смелее, это уже последний вопрос и теперь решается твоя судьба, выиграешь ты главный приз или нам с тобой не о чем разговаривать, и тогда конец, собравшиеся перед экранами телевизоров зрители показывают большими пальцами обеих рук вниз и по условному сигналу, который появится в уголке экрана, дружно плюют в свои телевизоры, а ведь мы этого не хотим, поэтому набери в легкие побольше воздуха, выплюнь жвачку, вопрос: на каком факультете ты учишься?

— На каком факультете ты учишься, Анджей? — говорит Алиса и назад надевает свои магические позолоченные очки, абракадабра фокус-покус, и готово: я учусь на экономическом, люблю читать и ходить в кино,

музыку не слушаю, познакомлюсь с культурным молодым человеком без вредных привычек в возрасте от двадцати пяти до тридцати лет для серьезных отношений двух культурных людей.

Я молчу. Молчу. Она смотрит на меня испытующе, неужели ты не знаешь ответа? Сосредоточься, наверняка знаешь, ведь ты же где-то, конечно, учишься, иначе не сидел бы тут со мной, ведь мы все где-нибудь учимся и не скрываем этого, наоборот, открыто признаемся, подумай хорошенько, ведь наверняка ты помнишь, на каком факультете.

Хорошо, раз ты не можешь вспомнить, первая подсказка, послушай внимательно: стало быть, это факультет... связанный с администрацией... с управлением...

– Администрация и управление! – тут же говорю я и нажимаю соответствующую кнопку на диване, чтобы этот ответ не исчез ненароком с экрана, прежде чем я успею его выбрать. И с беспокойством смотрю на Алю: правильный ответ?

Она смотрит немного испытующе: ты уверен, что это тот ответ, что именно этот ответ ты хочешь выбрать, ты уверен в своем выборе, ты уверен, что это правильный ответ?

Тут уже я, махнув на все рукой, иду ва-банк и повторяю, что на факультете администрации и управления.

– Елки-палки! – говорит она, потому что, скорее всего, ответ правильный. – Я тоже должна была туда поступать, этот факультет родители выбрали мне еще в начальной школе, но не поступила, потому что не было мест, впрочем, мама говорит, что не поступила я вовсе не из-за нехватки мест, а из-за процветающей там коррупции, из-за некомпетентности правящих элит и тяжелого экономического положения в стране, и вообще туда берут только по блату, а еще мама говорит, что экономический факультет – это тоже хорошо, даже еще и лучше, специальность более перспективная, и с устройством на работу будет проще, я, конечно, не хочу тебя пугать, но администрация и управление – специальность уже обреченная, после окончания учебы тебя с таким образованием не возьмет на работу ни одно уважающее себя учреждение. Я, в общем, то же самое не раз говорила своей лучшей подруге Беате, которая тогда поступила и думает, что теперь вдруг весь мир ляжет ей под ноги, вся Польша с Россией включительно.

– Я иду назад на праздник, – говорю я ей не терпящим возражений тоном. Потому что это уже конец программы, и выиграл я или проиграл, мне по фигу, от главного приза я отказываюсь в пользу сирот, в пользу Польского общества польских руководящих работников, в пользу моего лучшего друга Каспера, эта награда, по совести, причитается ему и только ему, и, может, он о ней мечтает. И мне по фигу, что по моим расчетам, по моей шкале, я на сотню миллионов пунктов в минусе, так что теперь мне придется трахнуть Магду тысячу раз подряд плюс еще несколько раз Анжелу, считая, что она опять девственница, чтобы хоть как-то выровнять счет и не потерять лица.

– О'кей, – говорит Аля, и я радуюсь, что наконец-то гейм овер, наше антенное время подходит к концу, передача "Готовим вместе" заканчивается, наше жаркое из лебедя после снятия текстильных декораций

готово к употреблению, хотя пока — в кофте типа водолазка — оно выглядит довольно неаппетитно, но вкус превосходный, хотя, может быть, и чуть жестковато. Блюдо можно подавать как на банкетах и грилях в семейном кругу, так и на официальных приемах.

— Жаль, что ты уже уходишь, интересно было пообщаться, я рада, что у меня появился такой знакомый, как ты. Подожди минутку, я покажу тебе свадебные фотографии моей сестры, у них была очень веселая свадьба, все было очень вкусно, хотя блюда в принципе простые, и очень веселая, семейная такая, атмосфера. Посиди тут и ничего не трогай, — говорит жаркое из лебедя, одергивает водолазку и поправляет местонахождение золотого крестика на своей груди. И уходит. Я тем временем эти ценные мгновения в ее комнате наедине с самим собой, с глазу на глаз с цветами в горшках и волнистыми попугайчиками, не трачу попусту. Хотя после употребления перечисленных выше спецпрепаратов я чувствую внутри себя какое-то спокойствие и холодный расчет. Потому что, я еще этого не говорил, но в гробу я видал такую систему и с такой системой сотрудничать не намерен, и ни в каких публицистических интервью, ни в каких программах о поэзии типа "Прости меня" выступать в качестве участника не намерен, вот это я знаю точно. Ну, значит так. Сначала я устанавливаю цветок в горшке на ковер, вынимаю джорджа и демонстративно писаю в горшок, а сам весь на нервах, что меня накроют, поэтому струя идет криво, попадание получается не всегда идеальное. Не все помещается, поэтому для тех остатков, которые не влезли, я ставлю на пол клетку с попугайчиками, чтобы разрядить свой стресс на них, прямо в их мисочку для воды. Они тем временем вопят, разевая клювы, и удирают по перекладинам, я даже боюсь, что эта лебедушка сейчас сюда прибежит, привлеченная отзвуками их казни. Спокойно, падаль, — говорю я им, — немного мочи нормального человека вам полезнее, чем гектолитр психически больной воды из рук вашей благодетельницы.

Однако они как ненормальные начинают визжать еще громче и того и гляди начнут предпринимать отчаянные попытки улететь в теплые края за помощью, за подкреплением, потому что эта шизанутая так их воспитала, что в обществе среднестатистического человека они не знают, как себя вести, их явно натравливают и подстрекают к нападению на порядочных людей без психических отклонений, и, по-моему, они собираются кинуть мне какую-то подлянку. Ну, тогда я смотрю на них и вижу, что они такие же глупые, как их мамаша Алька, наверное, они изучали экономику, или нет, наоборот: тот слева — банковское дело и управление управлением, а этот справа — финансы и финансы. Ваша мать просто трехнутая, — говорю я им тихо, типа по секрету, и шепотом плюю одному прямо на башку.

Оки. Тут я уже спокойно засовываю пару-тройку вещиц в карман, все, что валяется на виду, сувенирная ручка из Закопане в форме топорика, золотое колечко с камушком и школьный клей в виде помады, потому что мало ли что, может пригодиться. Это утешительные призы нашей программы, учрежденные госпожой ведущей, чтобы не было так, что я совсем уж в минусе, ведь так получается, что мои пункты с каждой минутой уменьшаются сами по себе, сумма их общей стоимости падает, но если что, то чтоб хоть какую-то пользу я с этого отстоя все-таки поимел.

Потом я ставлю все как было и шепотом, в полной конспирации, открываю дверь, тут же производящую громкий протяжный скрип.

— Ты куда? — кричит Аля из бездны, из каких-то отдаленных, несуществующих комнат, из клуба вкусной и полезной книжки, где в алфавитном порядке стоят на полках альбомы, фотографии, литература, проза, фото Али и ее сестры, приветствующих приходского ксендза хлебом и солью в народных кашубских костюмах, красный диплом и грамота за образцово-показательную работу классного казначея в начальной школе.

Услышав, что она, наверное, где-то далеко и не успеет добежать досюда, пока я не выйду, я бегом спускаюсь по лестнице, хватаю в руки свой шузняк и выбегаю из этого дома, громко хлопнув калиткой. Где начинаю тяжело дышать и стараюсь отойти подальше, потому что, когда она обнаружит мое отсутствие и произошедшие в ее личной экосистеме флоры и фауны изменения, мне может не поздороваться, она может пуститься в погоню или, что еще хуже, все же заставит меня смотреть эти фотографии.

Первый попавшийся автобус как раз подъехал, поэтому я сажусь в него, хотя должен признаться, что чувствую какую-то слабость, типа сонливость, и мог бы теперь на этом автобусе ехать без конца, и никто меня даже не упрекнет в отсутствии билета, потому что никто не сможет сдвинуть меня с места, такой я стал тяжелый, что даже пол может в любую минуту подо мной провалиться. Мы едем так медленно, скорее всего, из-за моей тяжести, в основном из-за тяжести моих рук, я не в состоянии их поднять, и они просто висят. Я боюсь, что не удержу их, и они сейчас упадут на пол вместе с остальным телом, и уже никто их оттуда не поднимет, даже домкратом. Мы едем все медленнее, и город тоже движется медленно, он, как морская волна с дистанционным управлением, то приливает к окнам, то откатывается. А пультом играют пьяные в доску члены городского совета. Тучи над городом хмурятся как зловещие брови. Бог разозлился, Бог наводит порядок. Но вот Алиску, если бы она была тут, это по-любому не испугало бы. Пусть все вокруг рушится и горит синим пламенем, она только достанет свой студенческий билет плюс крест из-под куртки, и толпа, в панике топчущая сама себя, тут же расступится перед ней, о-о-о, студентка экономики, красавица, отличница, к тому же католичка, правда, с каким-то немного сонным парнем, наверное, это ее умственно отсталый сын, значит, тем более надо ей помочь и поднять его с сиденья, отклеить от дерматина. Расступитесь, пропустите, может, у них важное дело, они идут в библиотеку, чтобы взять новейшее произведение Бертольда Брехта, они идут за пайком картошки, пожар подождет, подвиньтесь и пропустите.

Такие вот у меня мысли, что хреново я поступил, что не взял ее с собой. Потому что теперь она мной бы руководила или хотя бы руки мне поправила, положила в алфавитном порядке, а то в таком состоянии я точно доеду до Урала, и никто меня не разбудит даже на Рождество, мать моя в отчаянии, она купила мне подарок, а тут оказалось, что Анджейки нет, хотя еще несколько месяцев назад, когда она звонила домой, он был на месте. А теперь его вдруг нет, уже много месяцев подряд он едет в некомфортабельном автобусе марки "Польский автопарк" на край света, ему там стипендию дали. Я думаю, что только она обо мне и вспом-

нит, вышлет зубную щетку, запасные носки, банку варенья, нитку с иголкой и открытку с пожеланиями хорошего настроения. И когда я про это думаю, какая хреновая у меня жизнь, мало того, что я так облажался в этой игре, еще и черти взяли меня на заметку, так как я сейчас не совсем уверен, умер я уже или еще нет, что меня уже окончательно добивает, потому что автобус, по-любому, едет, но словно в тумане, в дыму, который клубится внутри него. И мои веки автоматически закрываются, куда я ни посмотрю, там они и закрываются, но я успеваю еще заметить, что везде полно дыму, и пассажиры какие-то размытые, без ярко выраженных границ, растекаются по всему автобусу, потому что день сегодня скорее теплый. И еще я замечаю, что их голоса доносятся будто из-под ваты, из-за стены, из теплых краев, с другой стороны.

И вдруг, когда я все медленнее, все большими буквами, все более корявым почерком думаю это, я вдруг слышу: ты слышал?

Вот такой вопрос я слышу. Он вообще-то громкий, выразительный, несколько раз повторенный на фоне двигателя внутреннего сгорания, в котором шумит какой-то громкий ветер типа циклона. Нет, планирую я ответ, но в данной контрольной работе это задание особенно трудное, потому что у меня никак не получается пошевелить губами, ни в одну сторону, ни в другую, они залиты чем-то типа бетона, старательно замазаны клейстером или каким-нибудь гипсом, а верхние зубы кто-то приклеил к нижним и запечатал сургучом с грифом "совершенно секретно", не вскрывать. Одно только мне удается установить со всей очевидностью: во рту у меня нету языка, наверное, он выпал на каком-то повороте и закатился под сиденье. А в рамках свободного места, где раньше был язык, находится что-то мясоподобное, резиновый шланг, управлять которым у меня ни хрена не получается.

— Ты слышал? — говорит мне все время кто-то, разносясь как эхо, и что-то тормошит меня с одной стороны, какой-то дополнительный вспомогательный ветер в левое плечо.

После долгой борьбы мне все же удается нажать надлежащую кнопку, и из меня, в соответствии с правдой, доносится что-то похожее на "нет", но звук такой, будто рот набит каким-то неопознанным картофельным пюре. Я сразу же пугаюсь, зря я это сказал, потому что теперь из-за своей болтливости и прямолинейности я попал на следующий этап, надо было ничего не говорить, тогда они, возможно, и выключат эту камеру.

Так оно на самом деле и оказалось. Только я сказал "нет", как карусель тут же закрутилась с новой силой, ветер тормошит меня за плечо, двигатель шумит, и на меня сваливается очередной вопрос, теперь он звучит так: "Не слышал?" Не слышал и не слышал, ладно, если ты не понял вопроса, мы зададим тебе его еще раз, и еще раз, до победного конца, пока ты не ответишь, пока ты не ответишь, можешь тут сдохнуть, но публика хочет знать, ты слышал? Не слышал? Публика хочет знать правду.

С полным доверием к своим артикуляционным возможностям я стараюсь еще раз подчеркнуть, что нет, но у меня уже не получается так хорошо как в первый раз, выходит как-то по-другому, менее понятно, может быть, я говорю даже что-то среднее между "да", потому что уже сам не знаю, слышу только шум, а дым все гуще, все менее прозрачный, это все, что я успеваю заметить, прежде чем мои глаза окончательно закрываются.

***

А потом наступает длинный, хуже, чем обеденный, перерыв, и если бы меня попросили представить это графически, мне пришлось бы зарисовать весь лист черным, от силы осталось бы несколько белых троеточий. Потому что я просыпаюсь только тогда, когда уже становится совершенно очевидно, что я иду, хотя, может, скорее качусь, как груда камней, завернутая в тряпку, и только эта тряпка удерживает их в куче, не позволяя раскатиться в разные стороны, но все равно они в любой момент могут рассыпаться. Так или иначе, но похоже, что я нахожусь в движении. Хотя вполне возможно, что это улица движется относительно меня, крутится прямо перед моими глазами, как гребаный бело-красный мультик, утыканный флагами по самое не хочу, как торт на день рождения, который специально для меня испекла мама Изабелла в честь моего возвращения из непробиваемой тьмы, где я пребывал все это время в целях восстановления здоровья и перевоспитания. Потому что исключительно так я могу себе это объяснить. Другого объяснения у меня нет. Я привожу с собой разные туристические воспоминания, памятные пейзажи, на которых запечатлена эта темень во все поры дня: утром, днем и ночью, в профиль, в анфас и с птичьего полета, хотя на первый взгляд она выглядит везде одинаково, то есть абсолютно и непроницаемо черной. У меня завалялись даже кое-какие снимки, сделанные собственным фотиком: я на фоне тьмы, хотя меня там не видно, но скорее всего я там был. А вот, Изабелла, специально для тебя я привез немного тьмы в баночке, тамошнее фирменное блюдо, правда, я уже немного съел, потому что кормили нас плохо, некалорийная какая-то была еда, непитательная.

Тут раздается отрыжка, и я замечаю, что приводящая меня в движение сила это Левый, который дружески поддерживает меня под мышку и за пояс. Мы передвигаемся, а улица стоит на месте, кроме тех небольших фрагментов, которые состоят из прохожих, — это я тоже замечаю. Но откуда я здесь взялся, на эту тему мои воспоминания кристаллизируются действительно как-то очень медленно, но по-любому это был какой-то из этапов телеигры: куда я хочу попасть после смерти, в ад или в рай, а я, наверное, неосторожно нажал не на ту кнопку и выбрал неправильный ответ, но теперь я уже опять в студии, вместе со всеми, всё на месте, бока не поджарены, и я могу даже ходить, если очень постараюсь. Хотя вдруг я начинаю бояться, что мне был задан вопрос про гомосексуализм, и отсюда эта неловкая сцена с его рукой на моей талии.

— Ты чего ко мне прижимаешься? — возмущаюсь я, единогласно отметив, что могу уже вполне говорить, хотя, к примеру, слюны у меня во рту нет. Из-за полной мелиорации ротовой полости я чувствую легкий скрежет шарниров.

И тут я нечаянно привожу в действие гром и молнию со стороны моего, что бы там ни говорить, а все же приятеля Левого. Который вдруг доводит все, что было, до моего сознания тоном довольно-таки вульгарным и без капли милосердия. Что он не знает, чем я обдолбался, но кумар у меня был тяжелый. Отьехал я круто, просто улёт по полной программе, меня так торкнуло, что и на тот свет недолго, вот я и ехал автобусом на тот свет. Левый говорит, что мое счастье, что он на этом автобусе как раз в ту сторону ехал, что он мой приятель и друг, иначе бы мне полный каюк, наркодиспансер и детокс или даже полная смерть,

потому что я был в таком состоянии, что три случайных пассажира и одна пассажирка женского рода должны были помогать ему вытаскивать меня из автобуса на нужной остановке, позор на весь город, а кроме того, я своей слюной загадил ему мобильник, я извергал ее буквально на все, такое было впечатление, что я просто дышу слюной. А в конце он подчеркнул тот факт, что ему пришлось заинвестировать в мою пользу нехилый децильчик амфы мне в десны, чтобы я шел более по-человечески, а я вместо благодарности на него наезжаю с какими-то педерастическими наклонностями, тогда как он по собственной воле скорее кота возьмет под руку, потому что я вообще не в его вкусе. А еще вроде, что когда он втирал мне децил в десны, я ему загадил слюной еще и рукава куртки по самые локти, и он мне теперь демонстрирует какие-то мокрые пятна, но, по-моему, это он раньше просто свои вещички простирнул, а теперь мне лапшу на уши вешает.

Я ему хотел на это что-нибудь ответить, чтобы отцепился, потому что принять для успокоения истрепанных нервов сибазон и панадол это еще никакой не грех, чтобы каяться в нем на Страшном суде дяде Левому, который тоже в данном вопросе не без греха, сам любитель снифа, и вообще. Но я не могу ничего сказать, потому что он все время тарахтит без задней памяти, а что именно, я уже не понимаю. Что траливали, что, если бы они знали, что я на эту новость так зареагирую, они бы мне лучше вообще ничего не сказали, тишина залог спокойствия.

— Типа на какую новость? — говорю я ему вдруг врасплох.

— А ты что, не слышал? — спрашивает он тогда у меня, как у последнего отморозка. — Ты что, не слышал, что Магда не выиграла конкурс Мисс?

Тут я начинаю просекать, что кто-то воспользовался моим духовным отсутствием в городе и провернул какую-то аферу и что вся эта фигня у меня в голове в логическую и ясную картину не укладывается. Вот, на одну минуту человек немного отвлекся, на одну минуту исчез, пустил дела на самотек, и тут же сделался бардак и эпидемия в супермасштабе.

— Как это не выиграла? — говорю я. — Как это не выиграла, если должна была выиграть?

— Должна, должна! То, что она должна, еще ничего не доказывает. Этот нечистый на руку председатель жюри что-то задолжал Шторму, ну, тому, который типа большая шишка, у него еще песочные акции и журнал "Польский песок". Ну и выиграла Наташа, которая приехала со Штормом на его машине, а еще с ними была какая-то трехнутая металлистка, так она получила титул "Мисс зрительских симпатий", хотя сто пудов, что ни один нормальный мужик ее по-трезвому бы не трахнул.

Я на это молчу, потому что, когда я трахал Анжелу, я был на кайфе, так что уравнение сходится, что не значит, будто я хочу сейчас это обсуждать, потому что не хочу, потому что должен подчеркнуть, что чувствую себя категорически плохо, особенно сибазон мне типа отрыгивается.

Ну, и идем мы, значит, типа к амфитеатру, типа в ту сторону, но куда-то не туда. Потому что по-любому, но что Левый типа мирно настроен, не скажешь. Я даже подозреваю, что он сам себе нехило из той амфы, что мне отжалел, хапнул, позаимствовал из моего децильчика, которым меня спасал от широкомасштабной апатии и бессилия. За что ему, конечно, честь и хвала, вылечил меня от погибели, но себе отхватил

очень уж чересчур, потому что глаз у него дергается с такой силой, будто моргать одним глазом это его личная, любимая, навязчивая идея на почве невроза. Если бы он участвовал, например, в соревнованиях по морганию, кто быстрее моргает, то точно бы выиграл. Моргать глазом — профессиональный навык, любимое занятие в свободное время, чреватое прогрессирующей зависимостью от моргания.

Он весь на нервах. Ясно как день, что у него руки чешутся врезать хоть кому-нибудь, даже если это буду я. Несмотря на то, что, во-первых, он мой приятель и друган, во-вторых, трахнул мою девушку, и явно не один и даже не два раза, а в-третьих, в пользу моего летального исхода он израсходовал целый чек, значит, ему теперь меня убивать невыгодно, товар он назад все равно не получит, черт-те что, такая серьезная инвестиция, а прибыли по нулям. Но на всякий случай я стараюсь идти не так, чтобы очень к нему близко.

— Сушняк замучил, блин, — говорю я ему, добывая голос откуда-то из залежей сухой слюны в кристаллах. Если бы я, к примеру, не был такой культурный, я бы сплюнул как последний хам. Но я этого не делаю, потому что боюсь, что на тротуар упадет моя слюна в кубиках или, того хуже, в пачках или даже в рулонах. Я задумываюсь, не из-за женатого ли товара от Варгаса вся эта хрень. Потому что этот хмырь всегда хранит амфу внутри ботинка вместе с неизвестно какой дрянью, и из-за этого отравиться в наше время — раз плюнуть. Теперь я, возможно, даже умру тут в муках, потому что всю свою жидкость недавно выплюнул Левому на куртку, и теперь во мне нет ни капли воды, а кровь в виде порошка пересыпается направо и налево из одной жилы в другую.

— Ну так пей, блин, и не баклань, — говорит мне Левый прекрасную жизненную мудрость, крылатое слово и пословицу на всю жизнь, просто в рамочку оправить и на стенку. Из лужи я типа пить не буду, так? — угрюмо отвечаю я ему, потому что шутить, разгадывать ребусы и загадки у меня нет настроения. Тут он типа сжалился, потому что, как ни крути, а это он проставил товар, и он теперь у нас бог и мажордом, он заказывает музыку, поэтому мы идем в Макдоналдс. Мы входим туда как двухчленная команда имени Матери Амфы. Большую колу, сурово говорю я кассирше без всякой лажи. Она подозрительно высовывается из-под своего суперфирменного козырька, после чего не менее подозрительно готова от одного нашего вида заклеить кассу пластырем. И не менее подозрительно она идет куда-то вглубь. Левый так возбужден, что начинает спичить в адрес этой кассирши разные вещи, хотя, честно говоря, она без шансов услышать его базар из своей фирменной подсобки, особенно потому, что ее фирменные уши прижаты и замкнуты фирменным козырьком.

— Ты, блин, давай лей колу, и в темпе, хватит там мастурбировать через передничек, Сильный, блин, пить хочет, а если нет, я, блин, туда приду и помогу тебе, но навряд ли тебе это понравится. — И когда он так выступает, я вдруг догоняю, что это все правда, и он совершенно прав, говоря с этой кассиршей в таком тоне. Потому что в цену каждой колы входит как минимум пять процентов для нее, за ее работу, вежливость и приветливость обслуживания, поэтому не может так быть, что, если у нее течка, она будет кидать тут косые взгляды, кривить рожу и, как последняя феминистка, полчаса наливать колу по грамму в минуту, когда я как раз

хочу пить. В связи с этим я вместе с Левым начинаю гореть праведным гневом, и мы с ним стоим и говорим пустому прилавку: давай, проблядь вавилонская, кончай своему Вавиле сосать и неси эту поганую колу, а то мы натравим на твоих приблудных детей акул капитализма, и они откусят им сначала ножки, потом ручки, потом письки, а под конец тебя саму откусят, и тогда тебе нечем будет держаться и ты потрюхаешь прямо на облачко, чтоб оттуда творить чудеса и исцелять больных от поноса.

— От гребаных прыщей! — вопит Левый так, что все трясется, дует ветер, а на картонном клоуне появляются морщины и трещины.

А когда она, наконец, послушно появляется с колой в одной руке и протягивает ее мне, малость перепуганная, трясущейся рукой со словами "четыре злотых сорок грошей", у Левого вдруг срывает башню, и он внезапно говорит ей: "э-э-э". А когда она со страхом поднимает голову, добавляет: Усама все равно тебя кончит.

Я тогда слушаю его речи и думаю, что классный у меня кореш, веселый, с чувством юмора, и что нельзя быть такой подстилкой Брюсселя. Поэтому я подхватываю тему и говорю: Усама тебя кончит за то, что ты сосешь у европидоров.

Мы с Левым при этом смертельно серьезны, у Левого даже глаз перестал дергаться, потому что, если бы он, как обычно, подмигивал, это могло бы всю ситуацию обратить в глупую шутку, но глаз в порядке.

Поэтому кассирша тихо выпала в осадок. Молчит. Только рука дрожит на фирменном радиотелефоне. А вот это отдай, — говорит ей Левый тоном скорее вульгарным, кивая головой на трубку, — я давно хотел получить такое говно в подарок к первому причастию.

Когда он это говорит, у него изо рта дует ветер, который развевает кассиршу, развевает ей волосы, расстегивает халат. Она медлит, будто собирается, как минимум, расплакаться, а вполне возможно, что даже горько зарыдать: не дам, не дам, это мое, это мне сам шеф дал. Но ничего такого не происходит, она как бы с отчаянием отстегивает от халата эту трубку и отдает ее как Бог велел Левому с миной убойного животного, которое как раз режут на мясо.

Но это еще не конец, потому что Левый явно в ударе, его по самые уши втянула и увлекла борьба с этой евроамериканской плечевой, от которой он решил не оставить на польской земле даже отпечатков пальцев. — А теперь беги на склад и принеси еще одну такую штучку для Сильного, — говорит он довольно здраво разнервничавшейся кассирше. — Только чтоб работала, а не какую-нибудь хрень, бегом, не то сыграешь в ящик.

Кассирша смотрит то на него, то назад опять на меня, у нее прыщи. Глядит, как будто получила по рукам самое меньшее палкой и теперь не может прийти в себя от шока. Тем временем она идет на склад и долго не приходит, а потом возвращается еще более бледная с радиотелефоном в руках, бросает его на прилавок и поспешно отступает в сторону автомата с кофе.

Тут я забираю, что мое, в том числе колу, раз она так шокирована, я специально не буду платить, полная халява, Вавилон ставит, угощение за счет США. А еще, прежде чем выйти, Левый сплевывает в морду клоуну и говорит ему: и тебя тоже кончит. Усама собственной персоной. А потом несчастной кассирше: а ты, сука, почаще трахайся. И сними халат. А то плохо выглядишь. Как больная.

Тогда мы выходим. Кореша. Вооруженное Братство Святого Джорджа угрожает всему человечеству. Внимание, внимание, преступники опасны и вооружены. У них на вооружении перочинный ножик и коротковолновая связь. Они вооружены амфетамином, они вооружены адреналином. Они топчут газон и обрывают цветы. Они корежат тротуар, они роют подкоп под весь мир.

– Класс, да? – говорит мне Левый, когда мы уже идем, и показывает, как он нажимает кнопки на своей трубе.

– Отвал башки, – отвечаю я. Тогда он говорит, чтобы я пошел и стал прямо у поворота, а он будет стоять тут, и мы друг с другом побазарим. Я так и делаю, потому что мне кажется, что это суперидея.

Тут оказывается, что это не какие-то говенные телефоны из игрушечного магазина "Малыш", типа комплект "Маленький полицейский", а самое настоящее профессиональное оборудование, как у бригад по борьбе с наркотиками.

– Алле. Алле. База. Прием, – говорит Левый серьезным и сосредоточенным голосом, а у меня получается стереоэффект, потому что, во-первых, я слышу то, что он говорит нормально, а во-вторых, то же самое я слышу в трубке. Короче, полный отпад, классная все-таки штука эта коротковолновое радио, даже лучше, чем мобила, хотя в нем нет развивающих игр, но все равно супертехника, всегда пригодится, познакомиться с новыми людьми, например, или амфу прямо себе в постель заказать.

– Пароль, ваш пароль, прием, – говорю я и с удовольствием потягиваю свою халявную колу, оглядываясь, не идет ли враг.

– Птицы летят косяками, – говорит Левый. Это он типа такой пароль говорит. А я ему чисто из вредности говорю: бут эррор. Ошибка. Неправильно набран пароль.

Стою я, значит, и радуюсь собственной шутке, кола вкусная, холодная и на халяву.

Тут, чего я совершенно не ожидаю, Левый вдруг выключает прием. И вопит: Ты чего сказал?! – но тоном враждебным.

Я тогда тоже отключаюсь и говорю обиженным голосом: пароль, блин, неправильный, поэл!

А он мне на это: что, блин, неправильный, что, блин? Тебе что-то не нравится? Всегда этот пароль был! Мы еще в садике так говорили! Я, надо думать, помню, что в садике говорили! У меня крыша еще не съехала, чтобы таких вещей не помнить.

Потом он бросает свою трубку на газон.

– Пароль неправильный, блин, ну что, скажешь, нет? – говорю я ему, совершенно выбитый из равновесия атакой адреналина. – Это типа каким косяком, ты что, совсем?! – и в приливе гнева отрываю от своей трубки антенну и кидаю ее на газон.

– Тогда какой пароль, по-твоему, блин, ну, какой, давай, блин, выкладывай, какой пароль, если не этот?! – орет Левый на полном серьезе, морда красная.

– Другой, блин! – кричу я, потому что моя слабость вдруг проходит, и вся эта ситуация с радиом доводит меня до белого каления. Тут правила простые, или он умеет прикалываться, или не умеет, или знает пароль, или не знает, а если нет, то пусть лучше не суется.

Тут Левый поднимает с земли свою трубку и включает ее назад. Говорит, блин, база, — говорит он в трубку тоном типа спокойным, — пароль: Сильный отсосал Москве. Прием.

Тогда я уже окончательно зверею, потому как что-что, а в прорусских тенденциях меня никто безнаказанно инсинуировать не будет.

— Внимание! Внимание! — ору я в трубку, чтобы, несмотря на оторванную антенну, было хорошо слышно. — Связь прервана. Тревога. Левый — педик, гей и кастрат.

— Сообщение не принято, — вопит тогда в свою трубку Левый, — правильный пароль: Сильный — пидор, а его мать русская подстилка и для любого готова трусы скинуть.

Тут я уже не выдерживаю. Психика сдает. Думаю, придется мне его убить. На полном серьезе. Потому что моя мать, что бы там ни говорить, да про нее что угодно можно сказать, но чтоб она носила какие-то трусы — это уже перебор, моя мать — человек по натуре своей очень спокойный, пола — материнского, а не какого-то там гребаного женского и тем более прорусского, и никто, а уж тем более Левый, не будет тут про нее говорить разные извращения. Оки? Раз так, ладно. Были мы корешами? Были. А теперь перестали? Перестали. Все. Я хватаюсь за трубку и говорю, потому что шутки кончились: прием. Прием.

И тут уж без всяких угрызений совести я ему врезаю: "Арка" Гдыня — сучье вымя! После чего уже окончательно и бесповоротно отключаюсь, хотя эту трубку я уже все равно сломал, и в сумме на черта я ее включал, для пущего эффекту, что ли, для понтов. Левый стоит на месте, он под впечатлением и даже уронил свое радио. Стоит. Руки у него колышутся на ветру. Шок, прострация, хаос, паника. Я даже боюсь, что, может, я слегка перегнул с силой своего аргумента.

Ну, и дело повернуло к крутой разборке. Раз-два-три, фокус-покус, сочный удар в табло, потому что Левого вывести из себя как два пальца обоссать, поэтому, как в "Санта-Барбаре", камера резко уходит вбок, а то получилась бы программа в прямом эфире для телезрителей после полуночи и только старше сорока. А так в кадре всего-навсего клумба, деревья, полная идиллия, какое небо голубое, Макдоналдс в лучах заходящего солнца, если бы продавали, я б Изабелле купил в салон такие фотообои, чтобы она вечером садилась на свой диван и любовалась. А тем временем на дальнем плане, за кадром, там, где уже не показывают, кровавое побоище между мной и Левым, в ход идут ногти и зубы, волосы летят клочьями. Правда, мы оба бритые налысо, но можно применить спецэффекты. Потому как мы с Левым настроились врезать друг другу по полной программе, все приемы дозволены, и никаких нунчаков, тактики, техники и профессионального бокса, нам подавай вырванный глаз и выдранную через глотку печень вместе с яичником. И, признаюсь, я в этой разборке тоже кровно заинтересован, потому что он меня по-любому достал, возможно, я бы даже ударил первым, потому что я так считаю: на хрен большую дипломатию "все не так, как ты думаешь, Левый", "я вовсе так не считаю, это Каспер так говорит" и тому подобную фигню. "Арка" Гдыня — сучье вымя! — и все, слово сказано, воробей вылетел, Левый получит пару раз по мордасам, я тоже — то, что мне положено в виде отдачи, потому что он конь здоровый и на амфе. Мы бы какое-то время курочили друг друга, раз моя возьмет верх, и тогда бы я говорил "Арка"

Гдыня — сучье вымя!, а раз — его, и он бы говорил: "Лехия" Гданьск — полная срань! Так бы все и закончилось, мы бы уделали друг друга насмерть, а потом уже только загробная жизнь, о которой даже неизвестно, есть она или ее нет, или, может, есть еще какая-нибудь третья возможность.

Но, как я уже сказал, все происходит совсем не так, совсем наоборот. Потому что он уже собирается подойти и со всей категоричностью врезать мне между глаз, когда вдруг появляется Анжела. Анжела. Ни с того ни с сего. Совсем без смысла. Подъезжает вдруг на горном велосипеде марки "Mountain City". Хорошая марка, их еще русские продают. У них они краденые. Серебристый, с наворотами, с шариками на спицах. Она подъезжает со стороны амфитеатра. В диадеме. Которую ей воткнули прямо в голову, и в соответствующей ленте через плечо с надписью "Мисс Зрительских Симпатий 2002". Анжела совершает вокруг нас круг почета, одной рукой держится за руль, а другой машет и приветствует толпу, делает жесты типа автографы раздает и надевает из сумочки черные очки, чтобы разогнать толпу. Я тогда, как и Левый, сразу забываю о ссоре. Потому что она точно черная королева, королева-победительница на велосипеде, у нее корона и лента, и шоколад из коробки запекся в уголках рта, ее черные волосы лопочут по ветру как черное знамя, потому что эту войну, скорее всего, выиграла именно она.

Она нарезает круги, приехала сюда на велосипеде прямо из-за границы, из холодных краев, с черных континентов, чтобы спасти нас. Привезла нам заморских орешков — зерна чистый изумруд, заграничных сластей, апельсинов и молока в картонных пакетах, плюс упаковку хорошего заграничного амфетамина в порциях по два чека со вкусом фруктовой газировки. Она приехала нас забрать, меня на багажник, Левого на раму. И что? И ничего. Мы с Левым сразу забываем обо всем, что нас разделяло, быстро идем в ее сторону, плечом к плечу ощупываем велосипед, из чего явно следует, что городской совет учредил краденый.

— Наташа дала мне покататься, — с гордостью говорит Анжела и проверяет, не сдул ли ветер с головы диадему. В уголках ее губ темные подтеки. Сегодня она будет блевать отопительным углем.

— Дай покататься, — просит Левый и складывает руки как для молитвы, Боже, смилуйся и дай покататься, на что она отвечает, что хорошо, но только не сломай механизм переключения передач или звонок, а то Наташа нас всех, вместе взятых, сотрет с лица земли.

И пока Левый катается, а я не успеваю даже толком побазарить с Анжелой, типа что и как, понравилось ли ей трахаться со Штормом, классно было или труба, как из-за поворота ни с того ни с сего выныривает, точно передвижная торговая палатка, торгующая Страшным судом, голубая машина марки полиция с приоткрытым окном. Тут мне все проясняется, потому что я вдруг сразу просекаю, что эта курица из Макдоналдса из мести позвонила в полицию. Наверное, обиделась, когда ей Левый сказал, что она плохо выглядит. И сразу за телефон, алле, тут два козла обзываются, оскорбляют меня, мое королевское достоинство, мою фирменную шапочку, поймайте их, пожалуйста, и заточите в каменоломню. И суки тут же бросили свои важные земляные работы по очистке территории от пьяниц и прорусских беспорядков, алле, алле, говорит Жбик, ребята, тут афера, попытка выцыганить колу в Макдоналдсе,

выезжаем на место происшествия. И они тут же приезжают сюда спасать божий мир от анало-секс-террора.

— Писец, — говорю я, потому что мне вдруг кажется, что это конец. Потому что я понимаю, сейчас нам придется нелегко, выговором тут не отделаешься, не плюйтесь, мальчики, это некрасиво, не ругайтесь матом и не рисуйте мелом на тротуаре. Разборка будет крутая. Потому что ладно там радио с оторванной антенной, и то, второе, которое навозит теперь газон, — тоже ерунда. Ладно там плюнули пару раз на клоуна. Все еще можно было бы уладить, объяснить, плевок стереть. Но нет. Потому что кассирша от обиды описалась в фирменные трусики, в результате чего Макдоналдс понес серьезные финансовые и моральные потери.

За что как я, так и Левый, а, кто знает, может, еще и Анжела, сядем.

А Левый еще не в курсе, безоблачно нарезает круги на велосипеде, то включает, то выключает динамо, наивный, мля. Но когда он подъезжает к нам, то вдруг тоже моментально сечет, чё тут светится. И я уверен, что у него есть при себе товар. Но уже поздно. Воронок подъезжает. Окошко открывается. Дебил в черном противопожарном комбинезоне с лицом серийного убийцы, приговоренного к пожизненному заключению и смертной казни, возит в этой тачке свою государственную черную жопу с такими понтами, будто как минимум едет в отпуск, локоть свесил, полный расслабон, типа еще один дринк и раскладушка. Второй рядом — то же самое, с той разницей, что он еще в рамках работы, в рамках своих суперсерьезных служебных обязанностей держится за руль. За это ему платят, каждый бы так хотел, держишься за руль, получаешь за это кучу бабла плюс дармовой пуленепробиваемый комбинезон для работы в огороде или на даче.

И он нам говорит: предъявите документики. Ни здрасьте, ни пошел вон, никакой культуры, чистое хамство без искусственных красителей.

Это как мгновение смерти, ты уже умираешь, уже ничего нельзя изменить, но ты еще помнишь, что у тебя полные карманы товара, твои грехи все записаны карандашом на полях, и стереть не сотрешь, училка вырывает тетрадку, ваше время истекло. И сейчас все именно так: хватит баловаться, предъявите документики, мы тут с такими, как вы, цацкаться не будем, у нас тут есть специальная машинка, которую купили нам налогоплательщики, ваш паспорт мы вкладываем вот сюда, а с другой стороны он выходит в виде лапши, и вас уже НЕТ, вы не существуете, и никаких проблем, никаких затрат, никакого социального обеспечения, у вас нет детей, у вас нет номера налогоплательщика, вас вообще нет. Ха, и никакого ВАС, все, козел, тебя нет, ты взял и исчез, можешь идти домой, хотя твоего дома тоже уже нет, его просто аннулировали.

Ну, мы типа стоим, смотрим на них. Тогда они становятся более категоричными. Дверка открывается, они выходят, строятся в две шеренги и говорят нам: документы, но говорят таким тоном, что в ответ возможен только один ответ: уже, уже достаю. Плюс быстренько преклонить колено и поцеловать им по очереди фамильный перстень и часы.

Мы с Левым переглядываемся. Да или нет. Предъявляем или не предъявляем. Будем лизать ботинки этих дебилов самым кончиком языка или не будем. Все происходит очень быстро, в доли секунды, которые как стекло сыплются из-под наших ног. Ясно. Один взгляд, и понят-

но, добром это не кончится. Черные свиньи гестаповской расы от нетерпения перебирают ногами в сапогах из человеческой кожи.

И в это время у Анжелы переворачивается велик.

– Документы на велосипед, – они, как только видят велосипед, тут же набрасываются на Анжелу, целясь в нее своим коротковолновым радиом, – справка, что вы имеете право на владение велосипедом. Это у них такой профессиональный условный рефлекс, этому их учат в ихних полицейских академиях, только покажи им человека – сразу полный рот слюны и загорается соответствующая лампочка: документы, а если показать велосипед – то же самое, слюна, лампочка, только пароль другой: документы на велосипед.

Мы с Левым сразу смотрим на Анжелу. Потому что разом вдруг сечем, что все это происшествие спровоцировала именно она собственной персоной. Мы не виноваты, что она сюда приехала на велосипеде, наследила на тротуаре, вот, пожалуйста, сама проповедует в природоведческой секте и сама же без угрызений испортила прекрасный, фирменный, ни в чем не повинный газон. Кроме того, тот амфетамин, что у Левого в кармане, это от нее. Она сама жрет кислоту как троглодит, весит тридцать килограмм, потому что принимает по полкило в день, и теперь ей надо все больше и больше, впрочем, по ней видно, что она уже практически вся состоит из одного амфетамина, а все остальное только нарисовано на лице углем.

Ну, значит, она приехала сюда, а мы с корешем просто стояли, колу пили. Мы ей сразу сказали, чтоб не ездила по газону, чтоб не портила зелень. А она ноль по фазе. Сунула корешу товар в карман и сказала: вот вам, ребята, первая доза даром, увидите, вам понравится, все ваши проблемы со школой, с родителями развеются как дым. Мы не хотели брать это говно, это дерьмо, но она настаивала. И по взгляду Левого я вижу, что у нас с ним на тему показаний полное согласие и сотрудничество.

Анжела говорит им, хотя видно, что тоже струхнула: но ведь я же Мисс зрительских симпатий.

Они смотрят на нее, потом друг на друга. Это мы сейчас проверим, говорит один. Ну, и они вытаскивают через окно своего автомобиля с радиоустройством черный гестаповский шарик на проводе, и один из них зачитывает Анжеле свой любимый стишок, который выучил наизусть еще в первом классе заочной полицейской академии. Имя, фамилия, дата рождения и проживания, номер дома, девичья фамилия родителей, размер обуви, количество окон в квартире. Анжела старательно заполняет эту устную таблицу. Все рубрики по очереди. Анжелика Кош и так далее. Вес двадцать восемь килограмм. И так далее. Тогда они всё, что смогли запомнить, повторяют в свое гестаповское радио. А где-то в недрах этой конторы сидит Большой Брат, спокойно курит и отвечает. Подтверждает, что да, есть такая Анжела, потому что так записано в каких-то ихних бумажках. Потом подтверждает данные, которые она им сказала. А одновременно кое-что добавляет от себя, из своего архива. Типа замечена в подозрительном обществе, подозревается в бунтарском загрязнении автобуса номер три, о чем донес один из жителей города, является лидером экологической оппозиции и пишет доносы в правительство и растительные организации на городские власти с жа-

лобами на сточную систему. Вероисповедание: сатанинский фундаментализм с антирусской направленностью, в этом году получила титул Мисс зрительских симпатий на городском празднике под названием День Без Русских. Пока в воздухе журчит эта радиопередача в честь Анжелы, мы с Левым оглядываемся по сторонам, зачесываем волосы пятерней, стопроцентная невинность, мы тут ни при чем, у нас с ней нет ничего общего, мы даже пола другого.

Тогда эти полицейские советуются между собой в полной гестаповской конфиденциальности. И вдруг говорят то, чего мы с Левым меньше всего ожидали. Они говорят Анжеле: вы свободны, можете ехать дальше, только осторожно, а то дороги скользкие от краски, и не разговаривайте больше со всякими подозрительными типами. И вот еще, мы с напарником хотели бы попросить у вас, если можно, небольшой автограф.

— Да, конечно, конечно, пожалуйста, — улыбается Анжела и щурит глаза от вспышек фотоаппаратов, красный ковер разворачивается как издевательский язык — мол, получили? — из пасти этого поганого строя, с которым она сожительствует на взаимовыгодных условиях.

— А мой напарник хотел бы еще для жены и детей, — говорят суки и протягивают ей книжечку с квитанциями на штраф.

— Как зовут вашу жену? — профессионально спрашивает Анжела и размашисто, каким-то рисуночным почерком, подписывает штрафы один за другим: Мисс, Мисс Анжела, Мисс зрительских симпатий—2002, для Анеты и Войцеха с наилучшими поцелуями Мисс зрительских симпатий Анжелина Кош. Плюс, когда я заглядываю ей через плечо, то вижу, что она еще кое-где приписывает "сатана 666" и "да здравствует чистота польской расы".

— Эй, ты, — говорю я, уже не обращая внимания, что полиция подслушивает, — чего это ты вдруг такой радикалкой заделалась, а? Что, слава в башку ударила?

— Чего, чего! — огрызается Анжела, нет, вы только посмотрите, какая она вдруг сделалась красноречивая, сказала три предложения о своих любимых видах овощей и уже получила от командира отряда Шторма почетную нашивку на рукав платья за выдающиеся ораторские способности. — Меня поляки выбрали, значит, я за поляков. Не за русских же, логично, а?

Потом она говорит полицейским: минуточку, и отходит со мной в сторонку.

— Ты что, не понимаешь, Анджей? — говорит она шепотом, полная конспирация. — Ведь это все равно, независимая Польша или придаток СССР, конец по-любому близок. А Шторм меня в нескольких вопросах просветил. Он говорит, что, если я выступлю от имени национальной фракции правого крыла, мне дадут авторский вечер в Доме культуры, а может, даже напечатают в "Польском песке", там посмотрим. Ты понимаешь, что для меня это большой шанс?!

— А что, ваш знакомый за русских заступается? — подозрительно спрашивает гадмен, когда видит нашу доверительную беседу и все более тайный ход переговоров, провода, протянутые изо рта в рот, совершенно секретно.

— Анджей? — говорит Анжела как дура, будто вообще не врубается, что у него рука лежит на пистолете. — Мы, собственно говоря, довольно

хорошо знакомы, — добавляет она от балды. Потом видит, что натворила, берет велосипед, посылает мне и Левому рукой воздушный поцелуй, машет полицейским и жмет на педаль. — Как только узнаю, что и как с моим выступлением, дам тебе знать! — кричит она, отъезжая как трамвай "Желание", и звонит в звонок.

Ну, значит, остаемся мы одни. И сразу же перестает быть так весело и приятно.

— Ну что, может, небольшой автограф? — говорю я, чтобы слегка разрядить напряженную атмосферу, которая так натянулась между ними и нами, что сейчас лопнет, а поскольку мы тянем сильнее, то именно мы и схлопочем со всего размаха по морде.

— Ну что, по морде захотелось? — говорит один шакал и сплевывает, уже не скрывая своих намерений. — Быстро, в багажник, — говорит второй и вынимает дубинку, — едем в отделение.

Я типа стою, смотрю на Левого. Левый в полной прострации, он уже догнал, что это его последние минуты на свежем воздухе, вот и старается как можно больше хапнуть в легкие и в рот. Все время оглядывается, прикидывает, как бы смыться, а в глазах слезы. Глаз у него дергается, как взбесившиеся жалюзи, как потерявший управление блендер.

— Но, гражданин начальник, но почему? — наконец говорит он жалобно, наверное, надеется, что мы тут слово за слово, бла-бла-бла, мол, кажется, дождик собирается, а праздник очень удачный получился, веселый такой, а тем временем — пстрык — и весь амфетамин у него в кармане вдруг испарится. — Если здесь нельзя останавливаться, если запрещено здесь стоять, то мы очень извиняемся и торжественно обещаем, что никогда-преникогда не будем себя плохо вести. Это был первый и последний раз. Но ведь с кем не бывает. Гражданин начальник, вы ведь понимаете, шел себе человек, устал, остановился, напился колы, вдруг заболтался со знакомым и забыл, что тут запрещено останавливаться. Но мы с Сильным уже все, уже идем...

— Мы идем, чтоб вставить как следует этим... — добавляю я, потому что, а вдруг, несмотря на всю официальность их поведения, там, в глубине совершенно секретного кармашка в ихних садово-огородных комбинезонах, кроме секатора завалялось еще и какое-нибудь подручное сердце. — То есть нет, — объясняю я, помогая себе жестами, потому что ловлю себя на мысли, что все нехорошие слова потом все равно замажут черным цветом. — Значит, мы это, мы идем, чтобы показать кузькину мать этим сукам...

— ...из Казахстана, — оживляется Левый и пытается сыграть на праворадикальных симпатиях. — А то они вроде сюда приехали, какая-то гребаная экскурсия, сделать кое-какую разметку с целью в недалеком будущем выселить польское население, разграбить польские хозяйства... мы идем отметелить их как следует. И только на минуточку остановились восстановить дыхание, потому что спешим, чтоб они не уехали...

Однако шакалы вообще нечувствительны к этой грустной пропольской истории, никакого сочувствия, никакого понимания к нашему патриотическому порыву, полное равнодушие. Один берет меня под руку — типа потанцуем, второй — Левого, кавалеры приглашают кавалеров, святая инквизиция, и одновременно заталкивают нас в машину, один

диктует другому: записывай, блин, и не церемонься. Многократное оскорбление полицейского. Вульгарный и возмутительный тон. Беспрецедентное и широкомасштабное уничтожение зеленых насаждений и общественных цветов, являющихся государственной собственностью. Попытка подкупа и коррупции, прорусский оппортунизм.

И не успели мы оглянуться, что происходит, не успели мы даже подумать, что вот он — конец всему хорошему, что встретило нас в жизни, а они уже нам прямо в лицо — бац дверью, и свет погас, подача воздуха прекращена, и все, конец, настроение испорчено. Но прежде, чем они успевают заковать нас в колодки, Левый успевает в отчаянии крикнуть им ломающимся пополам голосом:

— Гребаная ублюдочная фирма! Гребаная фирма!

Они сохраняют гестаповское спокойствие, и один говорит другому тоном "раз они так, мы им покажем": пиши дальше, оба в тяжелом наркотическом состоянии, из-за чего установить с задержанными широко понимаемый контакт не представляется возможным. Тяжелая стадия галлюцинаций, крики, вероятно, далеко зашедшая психическая болезнь с обширными метастазами.

А перед тем, как ехать, они еще решают покурить. Ничего раньше меня в их поведении настолько сильно не возмущало, потому что я ловлю себя на мысли, что так хочу закумарить, что из чувства протеста готов да вот хоть бы и Левого взять в заложники. Кроме того, мне хочется пить, и я чувствую себя с каждой минутой все хуже и хуже. И когда на полу машины я нахожу фирменную шариковую ручку с надписью "Польская полиция. Товарищество с ограниченной ответственностью. Предприятие по охране общественного порядка, вл. Здислав Шторм", то сразу же суваю ее через решетку и колю одного шакала в спину с просьбой, чтобы он дал мне затянуться.

На что он тут же отскакивает как ошпаренный и говорит второму: вот же, блин. Пиши еще, чтоб не забыть. Необоснованные приступы агрессии с использованием острого предмета.

Тем дело и кончилось. Он гасит недокуренную сигарету, бросает, а я смотрю на эту расточительность через решетку во всех подробностях, гребаный пес на сене, сам не скурил и другому не дал. И мы едем. Левый в отчаянии, он плачет. А эти, значит, так: один крутит баранку, а второй поглядывает, не комбинируем ли мы чего. Левый мне глазами дает понять на свой карман, где амфа горит сухим белым пламенем, что нам копец, а ему тем более. Ну, я тогда уже не знаю, что делать, ну и ору тогда: караул, пожар!

Они, несмотря на стекло с решеткой, типа слышат, поэтому оглядываются на нас. А я тогда говорю: справа! Показывая направо. И в долю секунды, пока они чисто из глупого рефлекса смотрят направо, прежде, чем они просекают, что это подколка, Левый успевает вытащить амфу из кармана и заскирдовать под какое-то одеяло, а другой рукой перекреститься. Вот такие дела.

Ну, теперь все путем. Мы выходим. Идем покорно, даже без наручников, потому что нас уже научили, что бы ты ни сделал или ни сказал, на все есть бесчисленные параграфы, каждое твое слово будет вывернуто наизнанку и использовано против тебя.

– Твою мать, – повторяет только Левый, – гребаная фирма, гребаная фирма.

Тут начинаются разные святые инквизиции, сначала нам делают фотографии паспортного формата, и я переживаю, что плохо вышел. А потом комната номер двадцать два, а Левого в какую-то другую. Меня определили именно в двадцать вторую, куда шакал ведет меня за плечо, я еще слышу, как он по радио говорит: веду его в двадцать вторую, пусть там Масовская снимет показания, и делу конец.

Я уже совсем равнодушен к тому, что со мной делают, но меня вдруг настораживает фамилия. Потому что я ее уже где-то слышал, не знаю точно где, но во мне оживает надежда, что, может, еще удастся как-нибудь выкрутиться по знакомству, поздоровкаться тут и там, сказать что-нибудь приятное, замолвить словечко как за меня, так и за Левого, и все путем, все утрясется, они еще в ручку нас поцелуют на прощание, а следы нашей обуви обведут красным фломастером, тут ходили Анджей "Сильный" Червяковский и Матвей Левандовский "Левый" – мученики анархической революции в Польше, несправедливо обвиненные и арестованные в облаве 15 августа 2002 года в восемь часов вечера. А в комиссариате вообще зафигачат мемориальный музей, ну, городской совет учредит, а за стеклом на манекене повесят мои джинсы и куртку, на отвороте куртки ордена за верность идеалам анархизма, за ниспровержение фашизма и жестокое избиение фашистских туристов. А джинсы еще с пятном, с памятной реликвией от Мисс зрительских симпатий Дня Без Русских. В музей валят толпы, прикладывают руку к стеклу, и от этого у них в течение нескольких дней все исцеляется, и прыщи, и сыпь, и даун, все болезни вдруг как рукой снимает, а тем девушкам, которые уже после, а хотят, к примеру, быть еще до, все что надо отрастает назад, и они могут спокойно, без угрызений совести выходить замуж, а в случае переписи населения и инвентаризации спокойно ставить себе десять пунктов из десяти в рубрике "чистота и невинность". Ну, я при таком раскладе тоже ушами хлопать не буду, забомблю себе какой-нибудь прикид покруче и буду директором всей этой конторы. Вход – десять злотых, исцеление – пятьдесят, птичье молоко – злотый за штуку плюс за коробку сорок грошей (пакетик – 50), экскурсия на могилу Суни – тридцать злотых плюс по десять с рыла за автобус, совет Али – двадцать, хотя тут я не уверен, правильная это такса или нет, потому что на самом-то деле ее советы яйца выеденного не стоят, а я не хочу морочить людей шарлатанством и пророчествами секты *New Age*. Меня интересуют только чистая анархо-левацкая сущность всех вещей и корабли свободы, плавающие по морю свободы.

А пока я себе все это думаю, представляю, вижу глазами своей души, вдруг открывается дверь. И из нее выходит какой-то мужик, который вообще отношения к этой истории не имеет, просто он один из своры статистов, которые работают в этом мультике. Но я его сразу примечаю, потому что с ним что-то не так, и это напрямую связано с комнатой, в которую он, наверное, вошел с улыбкой, полный оптимизма и с

прямым позвоночником, а выходит с прогрессирующим прямо на глазах сколиозом и горбом, в котором хранит запас воды для излечения морального бодуна, и вся эта его метаморфоза — прямое следствие одного посещения комнаты номер двадцать два. Лампа в глаза, психические пытки, признавайся, что среди русских имеются твои двоюродные братья и сестры, у нас есть доказательства, есть твои фотографии, типа патриот, а стержни для авторучек своим детям покупал у русских, вот, получай за это лампу в глаза, получай за это сколиоз. За машинкой сидит какая-то левая машинистка и записывает все, что он сказал, но не так, как на самом деле, а так, как ей больше нравится, потому что как бы вопрос ни был сконфигурирован, она все равно запишет: да. Да, допрашиваемый выказывает пророссийскую ориентацию; да, он хочет, чтобы русские захватили Польшу; да, он клянется именем Польши, что это не русские отравили реку Неман. А все только потому, что "нет" в этой машинке не работает, этого слова как раз нет на клавиатуре. И не было, его еще до польско-русской войны ликвидировали, вырвали еще когда допрашивали художников, связанных с "Солидарностью".

Вот, но когда я слышу "следующий" и туда вхожу, то убеждаюсь, что эту машинистку как раз нельзя обвинить в фальсификации результатов моральных выборов в период военного положения 1981 года, потому что, как я посчитал в уме, она тогда даже не знала, что такое да и что такое нет, потому что ее тогда, скорее всего, и в живых-то не было, она тогда еще не только не жила, но даже еще и не собиралась. Потому что на глаз ей максимум тринадцать лет.

— Здрасте, — говорю я заранее, чтобы показать, какой я вежливый, вдруг она научится писать "нет". Но эта, за машинкой, не отвечает, и тут я сразу начинаю подозревать, что между нами нет уважения, особенно если принять во внимание, что у нее стул выше, чем у меня. Сразу за мной входит шакал, который меня привел, и говорит: эти показания ты, Масовская, потом сразу же отнеси вместе с кофе и печеньем коменданту, он так велел, и сама тоже к нему пойдешь на долгий и серьезный разговор, он так велел. На это Масовская вслух говорит: так точно, а одновременно матом что-то бурчит себе под нос. Классный стереоэффект получается. Когда я слушаю, что она говорит, в то время как сама смотрит на эти свои клавиши и целится в них по очереди одним пальцем, а на втором догрызает остатки ногтя, мне сразу начинает казаться, что это скорее я должен сидеть за машинкой и записывать историю ее болезни. Умственной, конечно.

— Фамилия, — говорит она. Я ничего. Червяковский, — говорю. Имя? — Анджей, очень приятно, — добавляю, — а тебя как зовут?

— Меня Дорота, — говорит она и странно как-то смотрит, меня даже начинает глючить, что она все про меня знает. Что за херня. Я смотрю на нее, может, я ее когда встречал, на какой-нибудь дискотеке в Лузине или в Хочеве летом, но трудно точно сориентироваться, потому что на ней синий комбинезон, костюм под заглавием "водитель автобуса Неоплан", впрочем, слишком большой. Часы у нее показывают неправильное время, на левой руке ручкой написано "Л" как левая, на правой "П" как прошмандовка, и она, когда пишет или что-нибудь делает, все время эти руки проверяет.

– Имя матери, – бормочет она себе под нос, – вау, бля, имя матери Ма... тя...к... И...за...б...ела с двумя "л", а по мужу Чер...вя...ко...вск...ая... бля.

И тут я начинаю врубаться. Какое-то неясное подозрение хватает меня за шиворот, трясет и говорит, эй, Сильный, проснись, тебя круто глючит, вот сидит эта машинистка, ты еще даже не понял, хочешь ты ее трахнуть или нет, а она уже знает имя и девичью фамилию твоей родной матери. Очнись, Сильный, потому что тут какую-то хрень передают, а ты ни фига не в курсе, внизу, в стене тут спрятаны чьи-то тайные ясновидящие глаза.

– А ты что делаешь, работаешь? Учишься? – спрашиваю я у нее, чтоб хоть немного отвлечься от этого шизанутого мультика, который мне тут показывают, а то я прямо начинаю подозревать, может, это начало каких-то пыток.

Эта пишет как ни в чем не бывало, тормоз какой-то, а потом вдруг говорит: чё? Это она в мой адрес так спрашивает, я даже испугался, потому как она по-любому ненормальная, будто из другого микрорайона. И вдруг она начинает уже типа врубаться в устную речь. Ничего не скажешь, по крайней мере девица понимает по-польски, хотя сама, скорее всего, говорит на каком-то собственном средиземном диалекте, в состав которого входит постоянно дымящаяся сигарета. Между прочим, когда она пишет на машинке, она явно в мыслях ведет сама с собой какие-то кровопролитные словесные бои, какую-то внутреннюю гражданскую войну с братоубийственными битвами на ножи. Которыми нормальные люди мажут масло на хлеб. Она сводит сама с собой какие-то свои личные внутренние счеты с применением собственных иррациональных чисел. Ну, по-польски она тоже кое-как контачит, поэтому и говорит мне: ага. И то и другое. Все. Ответы. Правильные. Этот приз. Ты. Выиграл.

Тут она берет и вырывает из машинки букву "н" и бросает ее в меня. Но не попадает, потому что, наверное, опять перепутала стороны.

Тогда я решаю, раз уж между нами протянулась дружеская нить, не зевать, кто знает, что там дальше выйдет, слово за слово, я вчера классный фильм видел, потом она раскручивается, дает мне номер своей мобилы, я одолжу у Каспера его "гольф", заеду за ней, и мы поедем куда-нибудь на озеро или на чашечку кофе, чаю, и вдруг между делом получается, что буковки "н", "е" и "т" нашлись и работают за милую душу, так и лезут ей под пальцы в соответствующей конфигурации, в конфигурации "нет", пророссийский? – она печатает: нет; алкоголик? – она печатает: нет; виновен? – она печатает: НЕТ.

Ну, я ей тогда говорю: а где ты учишься? В гимназии? В экономическом лицее? В вечерней школе?

Она мне в ответ ковыряется в своей машинке, причем довольно агрессивно ковыряется, стучит по ней рукой. И: НЕТ, отвечает типа раздраженно. Тут опять заявляется тот шакал и говорит Масовской, чтобы она поторопилась с этим кофем и печеньем, потому что коменданту скучно, и чтобы выучила новые анекдоты, потому что старые коменданту уже надоели. И еще она должна немедленно бросить курить, потому что ей это вредно для кашля или чего-то там другого, а комендант из-за этого нервничает. Тут эта опять ему отвечает: так точно, а сама бурчит что-то себе под нос и злословит про какой-то детский сад и концлагеря.

Ну, она опять типа печатает, будто играет на клавишном инструменте в группе, лабающей в стиле регресс, а потом вдруг отодвигает машин-

ку с таким грохотом, что та чуть не падает прямо на меня, вокруг летают разные бумаги, белые страницы, как охреневшая домашняя птица, которую она кормит крошками от своих бутербродов. Такой шизы я еще в жизни не видел.

— Классно у тебя тут, уютно, — начинаю я с опаской, чтобы ей еще чего не стрельнуло в башку еще похуже, к примеру, чтоб меня убить, заколоть острием авторучки или карандаша, по ней сразу видно, что она на это способна. Кстати, она рыжая. Но с отростками. На подоконнике все цветы завяли наглухо, жалюзи русского производства опущены наглухо, плюс стакан, поросший мелкими малоподвижными водяными животными, плюс на письменном столе разложены разные графики, которые она все время чертит, даже когда разговаривает со мной. И пока она сидит, я только успеваю заметить, что вертикальная ось игрек означает степень, в которой ее все задрало и задолбало, а горизонтальная икс — течение времени. Функция возрастающая. Сейчас, по отношению к настоящему моменту, уровень задолбанности очень высокий.

Ну, тогда она закуривает и мне тоже дает, так что я чувствую, что мы с ней поладим.

— А где ты учишься? — настаиваю я.

— В педике. Заочно. Факультет. Начальное обучение, — говорит она тоном "вот моя пешка, дальше играйте сами". — Для лиц. Без. Диплома.

— А что ты окончила, пэтэуху? — настаиваю я дальше.

— Нет, — говорит она. — Лицей. Я окончила все десять классов. Но на выпускных провалилась. Вернее, меня провалили.

— Твою мать! — говорю я ей на это, типа возмущаюсь, типа я солидарен с ней, и плечом к плечу мы идем в здание министерства образования, чтобы тачками вывозить весь этот праворадикальный хлам на мусорку. — А за что тебя так?

— За что? — говорит она горько. — Потому что у меня отрицательная моральность. Минусовая.

Тут она начинает мне типа рассказывать все по порядку. Что типа выиграла какой-то конкурс, что-то, где-то, какой-то журнал, "Твой стиль" или "Женщина и жизнь", что типа она выиграла еще два года назад, но напечатали только сейчас, потому что раньше было много срочных реклам. Если я правильно понял, суть в том, что там напечатали какой-то ее типа дневник. Ё-моё, вот это история, — говорю я, чтобы не выглядеть идиотом, что типа не врубаюсь, и в отчаянии мотаю головой. Заткнись, ладно, — она как будто рассерживается и наперегонки щелкает ручкой, типа кто быстрее, она щелкает или я качаю ногой. — Это еще ерунда, весь облом впереди, ты слушай, что из этого дальше вышло.

И она рассказывает. Что этот дневник типа прочитала ее училка или еще кто-то, и вот приходит она на экзамен, а эта училка настроена против нее явно враждебно и начинает ее гнобить. Потому что суть в том, что она в этом дневнике чего-то написала не так, что она, например, курит и что в ее жизни происходили разные события аморального характера, а эта училка перехватила этот дневник и как последняя сука прочла. Я эту ее историю так понял.

— И я провалилась, — говорит она и бьется головой об стол, — на религии провалилась.

– Заливаешь? – спрашиваю я, типа мне очень интересно, потому что с психами надо осторожно, надо их обходить на цыпочках, тсссссссс, ты совершенно нормальная, просто ты нормальная не так, как все остальные.

– Не заливаю, – говорит она подавленно и в отчаянии заворачивает свое лицо в машинописную бумагу. – Не заливаю, правда. Устный экзамен по религии. Эта баба спросила меня, есть ли Бог. Ну, у меня нервы не выдержали, я от стресса совсем голову потеряла и стрельнула наугад, ответ А, да, есть. Но она уже решила меня отыметь за этот дневник, из-за того, что там все было описано, как я курила сигареты и показывала трусы, и она все равно меня завалила, сказала комиссии, что я списывала, что типа сама я ни за что бы не додумалась, а просто у кого-то списала. И поставила мне пару.

– Вот сука, – говорю я выразительно, чтоб она знала, что я с ней абсолютно согласен и вдобавок склонен прийти к этой училке в ее микрорайон со своей командой и обоссать ей дверь, а также разобраться с ее детьми, объяснить им по-хорошему, чтобы больше не появлялись на лестничной клетке, и во дворе тоже, и на детской площадке тоже.

Тут она начинает всхлипывать, шмыгает носом и спрашивает, есть ли у меня платок.

– Не плачь, у тебя такие красивые глаза, – отвечаю я ей на этот вопрос. Но когда она их вдруг поднимает из-за стола, происходит эррор, короткое замыкание, не тот пароль, не то напряжение, взрыв, оборванные провода. Потому что до меня вдруг в ужасе доходит, что даже если я очень захочу, то все равно не смогу ее трахнуть, строго запрещено, красный свет плюс вибрирующий звонок, контакт грозит смертью. Но почему? Потому что я знаю это чувство из моего старого сна, который я хорошо помню, но не буду тут рассказывать, скажу только, что в главных ролях выступали я и мой братан, но в этом месте на лицах черные прямоугольники и голоса пропущены сквозь компьютер, потому что это крутое психиатрическое извращение нормы, отклонение не в ту, что надо, сторону, какие-то больные глюки джорджа на некачественной пленке, какая-то медленно прокручивающаяся во сне подсознательная порнуха с элементами фильма ужасов. Короче, кровосмесительный изврат, произведенный в семейном лоне на семейном диване. Я тогда проснулся в ужасе, в отчаянии и весь день не мог без отвращения смотреть на родного брата, что я и он, ну понятно. И у меня теперь вдруг возникает точно такое, даже похожее, ощущение ужаса и желание бежать подальше от этой девицы, потому что вдруг у меня появляется уверенность, что она мне генетическая сестра или даже мать, хотя, может быть, я ее никогда даже не видел. Потому что это уж как хотите, я, конечно, люблю разных девушек и женщин, но я не полный все-таки извращенец, чтобы домогаться внутрисемейного сожительства. А уж тем более, принимая во внимание ее вид, я не сторонник педофилии.

А она тоже выглядит испуганной всем этим. Отвяжись от меня, Сильный, говорит она с отвращением, после чего тут же поправляется: то есть Анджей.

Но я уже все слышал. Я слышал, что она сказала. Она сказала "Сильный", что углубляет мою паранойю. Потому что если это какая-то незаметная, тайная пытка, чтобы обнаружить у меня скрытый прорусский эдипов комплекс, то я сдаюсь, и пусть она заранее впишет везде, куда на-

до: да, да, да, лишь бы оставила меня в покое, ты свободен, Червяковский, можешь идти, я тут сама за тебя все заполню, как мне удобнее, а за это ты уже свободен, иди, вот тебе булочка на дорожку.

Но она нет.

— В конце концов, мне не так уж здесь и плохо, — вздыхает она и свободной рукой показывает на свое разоренное царство опущенных жалюзей и сдохших комнатных растений, царство практически без окон, в котором царит одна пора дня: ночь, и одна пора года: ноябрь, и странно, что с потолка не валит плохая погода, град со снегом, и что она не сидит тут, укутавшись в пальто вместе с лицом. — Знаешь, не так уж тут и плохо, вот недавно мне выделили стул в личное пользование, — говорит она, — и личную печатную машинку...

Это, наверное, она типа дальше откровенничает в целях обнаружения моих прорусских антипатриотических и ненационалистических тенденций мировоззрения.

— Я вроде как собиралась в институт, — тянет она свое. — На польскую филологию, потому что, знаешь, у меня всегда хорошо шел польский, грамматика и литература. Больше всего мне нравился морфологический разбор предложения. Кроме того, я писала стихи и разные другие произведения. Некоторые мои друзья и знакомые даже утверждали, что хорошие, что я могла бы выиграть не один конкурс. Потому что, знаешь, у меня был талант, я умела, где надо, употребить и лирическое "я", и эпитет, куда надо, вставить. И им это вроде бы нравилось, хотя одновременно некоторые высказывали такое мнение, что видно влияние фразы Светлицкого, переработанной Домбровским... ну, ты сам понимаешь, каково мне было, я-то думала, что пишу о своих чувствах, а оказалось, что я пишу о чувствах, которые Светлицкий и Домбровский уже давным-давно перечувствовали. Вот такие дела, чего тут долго рассказывать. Я не сдала выпускные экзамены, и все мои планы рухнули, мама устроила меня по знакомству на эту должность. Вот такие пироги.

— Кончай базарить, — говорю я, потому что у меня уже не хватает терпения слушать эти ее двуличные откровения, эти ее фальшивые, в спешке кое-как придуманные показания, которые она высасывает из пальца прямо у меня на глазах, чтобы и я что-нибудь от себя добавил, типа "не переживай, Доротка, у меня тоже тяжелая жизнь, я расстался со своей девушкой, занялся грабежом, теперь у меня большие проблемы с шакалами, потому что в глубине души мой дом оклеен русскими панелями, а мой братан барыжничает, не говоря уже про мать, которая, между нами девочками, занимается крупными махинациями по импорту кафеля" и так далее, и так далее, слово за слово, а эта сука тут ни разу ничего не напечатает на своей машинке, а только будет сидеть и нажимать ногой на кнопочку, и в результате окажется, что я влип, приговор — пять лет условно, пожизненное заключение и ссылка. Хотя с виду она типа такая милая, искренняя, на глаз лет тринадцать, и с каждым годом будет все моложе, пока совсем не исчезнет. Душа человек, типа крошки со стола пособирала и со мной поделилась, даже типа погадала мне про будущее на кофейной гуще из стакана с загнившим чаем, где она тайно, но эффективно разводит каких-то животных. Прикидывается, понимаешь, моим большим другом, сразу на "ты" перешла, хотя ей максимум тринадцать лет, но сразу переходит на "ты", видали такую, и сразу, неизвестно откуда, уже знает мою кликуху.

А даже если все не так, как я думаю, и она не пытается меня уделать и на меня настучать, то все равно, она всегда может взять и описать меня в каком-нибудь своем произведении, а что ей стоит, да еще напишет настоящее имя и фамилию и все личные данные, пусть это прорусское чмо до конца дней своих сидит дома и в городе от стыда не показывается.

— Значит, так, — говорю я на полном серьезе, потому что шутки и анекдоты в сторону, поэтому я даже двумя руками подталкиваю стол, чтобы вызвать у зрителей чувство страха. — Откуда ты знаешь мою кликуху? Только давай не крути.

Она мне на это типа смущается, типа не знает, что сказать. Оглядывается по сторонам, куда бы спрятаться от моего гнева, может, в ящик стола, пожалуйста, я ее все равно оттуда вытащу за волосы, как только разозлюсь хорошенько. Тогда она мне говорит вот что.

— Откуда я знаю твою кликуху? Ну да, знаю, чего уж скрывать. — И тут она вынимает какие-то папки, акты, весь этот бардак, всю свою бумажную птицеферму, белую кипу разутюженных до совершенно плоского состояния и сшитых в стопки птичек. И начинает мне читать вслух, техникой чтения она владеет бегло, несмотря на свой явно детский возраст. "Анджей Червяковский, псевдоним 'Сильный', девичья фамилия матери Матяк Изабелла, разведенная, официально работает в отделе распространения гигиенических товаров 'Цептер'. Владелец фирмы Здислав Шторм, номер паспорта, это неважно. Замечен сегодня, 15 августа 2002 года, на празднике 'День без русских' в городском амфитеатре в обществе некой Арлеты Адамек, псевдоним 'Арлета', приговоренной к условной мере наказания за участие в избиении параграф номер, это неважно, на судебном заседании, имевшем место 22 февраля 1998 года, серийный номер судебных актов один три восемь три один один, серийный номер избиения тысяча семьдесят восемь, серийный номер обвинения, это уже неважно. Подозреваемому вменяются в вину действия, приведшие к падению жителя города Адама Витковского, в результате которых потерпевший упал в грязь и утратил собственность в лице поджаренных колбасок, цвет которых символизировал национальные симпатии потерпевшего. Потерпевший Адам Витковский показал, что..."

— Хватит, — говорю я, потому что у меня начинает кружиться голова. Потому что это значит, что за мной следят, может, даже в ванне, может, даже мои сны прослушиваются. — И много у тебя этого? — спрашиваю я слабым голосом.

Тут она пожимает плечами, открывает какой-то ящик, и тогда я говорю: все, писец, потому что моему взору является какой-то настоящий, набитый бумагами архив КГБ родом из остросюжетных фильмов производства США, где акты, как отдельные животные, отглажены и сшиты в папочки, воистину лаборатория, где в широком масштабе процветает подслушивание и ментальная слежка.

Но прежде чем она успевает ящик обратно закрыть, входит какой-то гадмен и говорит: Масовская, давай заканчивай и бегом к коменданту, он тебя ждет, сидит, понимаешь, один, общества никакого, и это его злит. Это во-первых. А еще он велел, чтобы ты перед этим как следует расчесалась, и вообще, жаловался, что у тебя корни волос непокрашенные. А во-вторых, оставь пока этого ублюдка в покое, потому что тут де-

ло вышло, комендант велел заняться в срочном порядке. Вроде как казахстанские шпионы, которые приехали на экскурсию, схлопотали от возвращающегося с праздника населения по мордам, объясняет шакал, но доказательств нет и свидетелей тоже не было.

Ну, тут она быстро вкручивает в машинку новую бумагу, и шакал диктует ей с какой-то бумажки:

"В казахстанское посольство в Варшаве — посольство напиши с маленькой буквы. Это как бы посередине. А теперь так, с красной строки. Сообщаем, что городской совет — это пропечатай с заглавной буквы — отрицает факт нападения коренных польских — польских с большой буквы — жителей города на страноведческую экскурсию из Казахстана. Городской совет с сожалением — это подчеркни — вынужден отрицать факт уличных беспорядков, в результате которых четырем казахстанским гражданкам были нанесены легкие телесные и моральные повреждения в виде оскорблений на тему происхождения (гражданки предъявили свои недоказанные и, скорее всего, фальсифицированные польские корни; по этому вопросу ведется следствие). Выражаем сочувствие и сожаление по поводу этих недоказанных нападений со стороны Казахстана, а также терпимого отношения и поддержки шпионажа. С болью объявляем о разрыве дипломатических отношений и полном запрете въезда на территорию города страноведческих автобусов и экскурсий из Казахстана. Из Казахстана — это большими буквами, а внизу: подпись, Председатель городского совета, независимый предприниматель, магистр-инженер управления природными ресурсами и водоканализационной системой Роман Видловой".

Масовская вынимает бумагу из машинки, дует на нее, после чего в месте для подписи размашисто расписывается "Роман Видловой" и шлепает соответствующую печать.

Шакал забирает у нее бумагу, смотрит, нет ли опечаток, все ли в полном порядке, и говорит: заканчивай с этим ублюдком и иди к старику. После чего немедленно выходит.

— Ты что тут, комендантская телка? — спрашиваю я ее тогда прямо, без лишних слов. Потому что с виду она такая несмелая, голосок тоненький, радуется, что получила в личное пользование стул на колесиках, тюкает себе скромненько по одной буковке на машинке, а втихаря, небось, таскает у коменданта то генеральский орден, то компас, то лампасы, и на самом деле это она верховодит всей конторой, покуривая его сигареты.

— Угууу, — говорит она с горечью, — ровно наоборот, этот чертов Ландау меня прикончит. Каждые пятнадцать минут к себе вызывает, потому что ему, понимаешь, скучно. Велит рисовать пейзажи и писать его портреты анфас и на фоне типа леса. Его прикалывает, что я читаю разные книжки. Велит сначала сказать автора и название, а потом все записывает в блокнот. Обещает перевести меня за это в другой кабинет с поднимающимися жалюзи. И вроде даже мундир моего размера, но это не точно, потому что бюджет. Я должна ему все подробно рассказать, краткое содержание прочитанной книжки, оки. Композиция, сюжет, художественное пространство, все-все. А он все записывает, а потом учит наизусть. А потом, если что, какой-нибудь конфликт с городскими

санитарными службами, какой-нибудь протест анархистов, косяками бросает в микрофон литературные цитаты. Образованным прикидывается. Честно. Он, кстати, на этом основании организовал в воеводской комендатуре Общеполицейский читательский клуб, Очека, как его у нас называют. Он там председатель и, между прочим, гребет на этом нехилые бабки. А я должна в свободное время писать ему доклады к собраниям, прикинь? Глянь, последний, — тут Масовская вытаскивает какие-то почерканные бумажки, — "за последнюю неделю число читателей в рядах службы общественного порядка возросло на целых 25 %. Большим спросом пользуется научная фантастика и приключенческая литература. Наименьший интерес вызывает полка с советской литературой, единичные случаи пользования этой литературой среди младшего персонала немедленно обнаруживаются. Наибольшее количество книг, пользующихся стойким интересом читателей, отмечено в отделе польской романтической литературы, в связи с чем комитет ОЧК постановил приобрести новые собрания сочинений Мицкевича и Словацкого".

Вот такую фигню мне приходится писать, я иногда даже специально делаю ошибки. Например, два дня назад нарочно допустила несколько грубых орфографических и синтаксических ошибок, полиция — маска для Вавилона. И никто не просек, эти из клуба, наверное, вообще не слушают, чего он там читает, только втихаря жрут чипсы и бросаются бумажками.

Тут она пожимает плечами и говорит: потому что на самом деле им глубоко по барабану. Все равно этого места на самом деле нет, зачем тогда мучиться, зачем принимать всерьез, стараться, искать мотивировку, чтобы еще лучше прикидываться? Тут она громко стучит в стену и говорит: здесь ведь в стенах нет никакого железобетона, да и стен нет, ничегошеньки нет, Сильный. Вот ты проверь, туда ведь старых газет напихали. Это все показуха, Сильный, ничего этого нет.

От ее вида мне хужеет. Потому что это уже перегиб, это она нарочно прямо у меня на глазах мне же устраивает глюки, блин, если уж смотреть всю эту херню, лучше я начну ходить в костел. Потому как или у нее в башке пробки перегорели и крышу напрочь снесло, или она вообще шизанутая, двери ее перцепции напрочь слетели с петель, вот и мотается эта соплюшка по комиссариату и злословит про искусственные материалы. А поскольку дело свое она делает — что надо напечатать на машинке, она напечатает, — ее и оставили в покое, только время от времени добавляют ей сибазол в чай, чтоб сильно не наезжала на коменданта и не грозила ему адом за его махинации.

— Ты так ничего и не понял, Сильный? — говорит она мне, все еще пытаясь что-то объяснить, и еще удивляется, что мне на ее шизанутые гороскопы чихать, я в ее секту не ходок, и не надо мне ни форменного мундирчика, ни конфетки, которую она мне сует, первая доза на халяву, говорит она, попробуй, просто офигительные колеса, после них кажется, что ничего нет.

И дальше тянет свою паранойю: надеюсь, ты не веришь, что этот комиссариат существует на самом деле? Я не хочу тебе тут ничего втюхивать, но он липовый, ненастоящий, фальшивка, понимаешь? Я тоже липовая, и этот мундир, что на мне, — тут она мне показывает, какие слишком длинные у нее рукава, на полметра больше, чем надо, до самых

колен, — все это липа, подделка, стекловата, бумага. А за окном нет никакой погоды, и никакого пейзажа, одна сценография. Если хорошенько двинуть, все упадет и развалится. Все, что ты видишь, не взаправду происходит, понимаешь, все это просто написано. В графиках, таблицах, актах, школьных журналах...

— О'кей, о'кей, — говорю я и отодвигаю свой стул назад, чтобы эта психованная меня ни с того ни с сего не ударила какой-нибудь железякой, не пырнула своей авторучкой в порыве экспрессии, — я все понимаю. Меня нет, тебя нет, никого нет, это мы уже установили. А теперь давай кончай свой сеанс добрых советов на тему смысла жизни и сущности вещей, потому что мы тут базарим, а русские вооружаются. Давай, спрашивай чего положено, и я сматываюсь, потому что я сюда приперся не на процедуру психического электрошока, а чтобы честно и искренне дать показания. Вот и допрашивай или отцепись, я в твою секту все равно не запишусь, у меня и без того навалом разных хобби в свободное время.

Масовская уже набирает в легкие воздух, чтобы еще раз объяснить мне свои бредовые глюки.

Сейчас она достанет таблицу, указку и покажет, как растет показатель ее бреда по отношению к количеству выпитого чая. Количество чая растет, значит возникают звуковые и световые эффекты, перед глазами летают японские журавлики-оригами, на сегодня спасибо, было очень интересно, но теперь вы должны как следует выспаться. И она это сечет, поэтому выпускает воздух назад. И правильно, потому что еще одно слово, и я звоню с мобильника в больницу, чтобы они сюда приезжали и привозили с собой все свои причиндалы, чтобы как можно скорее подключить ее к капельнице с галоперидолом.

Но она вроде понимает мою твердую позицию, говорит, о'кей, Сильный, считай, что тема замята. Раз так, делай, как знаешь. Я, конечно, могла бы в твоих показаниях написать про тебя все, про твои левацкие взгляды тоже, с меня даже станется написать, что ты принимаешь участие в организации воюющих безбожников. И тут бы тебе и крышка — ты бы носа в городе показать не смог. Но я этого не сделаю, знай мою доброту, думай себе что хочешь, имей какие хочешь взгляды, я тебе тут в рубрике "мировоззрение" печатаю: радикально антирусские взгляды с праворадикальным уклоном. В графу "индивидуальные успехи в деле укрепления польского самосознания" напишем... неважно, что-нибудь придумаю, антиалкогольная агитация среди сельскохозяйственного населения... дай подумать. А ты, если хочешь, можешь уже идти, ты свободен, загляни еще как-нибудь, в шашки сыграем, обожаю шашки.

— О'кей, — говорю я, меняя тон на типа более дружеский, потому что в общем и целом она классная девчонка, милая, искренняя, хотя насквозь — и вдоль, и поперек — все-таки пыльным мешком из-за угла стукнутая. Потому что пока еще ничего неизвестно, чем дело кончится, как долго продлится наш тетатет, я пока еще тут стою, и кто знает, может, прежде, чем успею выйти, она еще успеет бросить в меня нож или вытащит из-под стола рогатку и стрельнет. Поэтому лучше с ней не связываться, и я громко желаю ей всего хорошего на новом жизненном пути, чтобы ей дали какие-нибудь новые жирные буквы для ее пишущей машинки, какие-нибудь новые классные буквы, каких до сих пор и в природе не было.

— Чего и я себе желаю, — вздыхает она, перекладывая бумаги, — потому что тут крейзануться можно. Представляешь, в последнее время все дела только о прорусских симпатиях, сотрудничестве с врагом, распространении ферментов брожения. Только одно, ну дословно одно дело было насчет попытки вымогательства амфетамина, так я от радости чуть не описалась, что наконец-то могу напечатать какие-то новые слова кроме "прорусский", "антипольский" и "да". А так постоянно то кто-то цепь ограждения перепилит, то посадит пятно на флаг, то торгует непольским чаем, меня уже буквально шиза берет, я даже книжку об этом стала писать.

— Ага, ну тогда ясно, пиши, — говорю я на прощание, — лучше всего мемуары. Под названием "Какая я была шизанутая".

И говоря это, прежде чем она успеет меня за такие слова убить, в чем я уверен, что она это планирует, я вылетаю из комнаты в режиме фаст форвард и хлопаю дверью. Потому что мне надо еще вернуться за утерянным коротковолновым радио, потому что я так не сдамся, я должен его забрать. Потому что классная с ним была развлекуха, мне понравилось.

И когда я выбегаю во двор, и никто меня не задерживает, я сразу же хочу проверить: а вдруг то, что она говорила, случайно какая-нибудь типа правда. И я должен это проверить, чтобы не оказалось, что меня прокинули как последнего дебила. Я подбегаю к стене и сначала легонько по ней стучу: тук-тук. И действительно, к моему удивлению, раздается звук, как будто я не в стену стучу, а распаковываю телевизор и балуюсь пенопластом. Пенопласт, картон и стекловата, вот из чего построен этот город, тебе показалось, Анджей, говорит моя мать, стоя у газовой плиты и жаря колбасу, тебе показалось, что ты живешь, тебе просто приснился эротический сон на твою тему. Ты ведь не думаешь, что все это происходит на самом деле, город-то ведь бумажный, и я тоже сделана из картона и езжу на работу на такой же типа машине, а ты, когда смотришь в окно, как я уезжаю, даже не врубаешься, что это всего-навсего купленные в киоске турусы на колесах. Да, да, Анджейка, давай, обманывайся дальше, сотрудничай с фотомонтажом, который Масовская сварганила для твоего удовольствия, давай, суй голову в петлю.

Все, эти глюки меня достали. Я больше не могу. Я больше не намерен терпеть хамское издевательство над моей психикой, которое они на мне экспериментируют, эти неизвестные враги с другого берега реки, которые дергают за ниточки в этом представлении, проводят на мне эксперименты на животных, используют мои ткани для производства дорогих кремов с коллагеном и эластином, разводят меня на сапоги и сумочки. Я не выдержу этой неизвестности, я весь дрожу от возмущения и отчаяния. И как разгонюсь с небольшого расстояния, как разбегусь, как сдану в эту стену плечом, всем телом с головой включительно, как врежусь во всю эту фигню. И всё: я уже не знаю, что правда, а что только слова на бумаге. Вокруг опять раздается темнота.

***

А дальше все было совсем не так, как показывают в мультиках про тряпичную собачку, красную в черную клеточку. Трали-вали, собачка несется по полу, р-раз об угол шкафчика, и звездочки перед глазами, но сразу встает, отряхивается от того, что у нее отвалилось, и бежит дальше, ве-

село виляя хвостиком. И если разобьет вазу, то ничего страшного, ваза быстренько сама склеится, монтажер уж позаботится, чтоб пленка перекрутилась назад, нажмет на кнопку rev, прежде чем Оля или Эля вернется из школы и начнет орать, что ты натворила, проказница, какой беспорядок, настоящие авгиевы конюшни, вот вернется мама, она тебе покажет.

Ничего подобного, в этом устройстве только одна кнопка play, нажатая на веки вечные, вросшая в корпус. И мультик продолжается. Но в одном я уверен, этот приборчик испортился, слышь, мужик, испортился приборчик-то. Какой-то элемент, какой-то винтик того, выпал, пленка порвалась и трепещет на ветру.

В конце концов, я не хочу, чтобы меня обвинили, будто бы я вру. Потому что сейчас все начнут: да, да, Сильный, до свидания, иди лечись в районную поликлинику от мифомании, мы на тебя даже карточку постоянного пациента заведем и медицинскую страховку тебе оплатим. Потому что этого не может быть, ну, скажи сам, кто блюет камнями, это же противоестественно. Я еще понимаю прикол, когда Кисель напился пива с окурками, он тогда проглотил один, а стошнил два, но это как раз физиологически объяснимо. А вот ты тут чего-то заливаешь, врешь почерному, твой глюк совершенно не по масштабу здоровой польской действительности, тебе начисто снесло крышу и все антенны погнуло, ты уже не отличаешь, что правда, а что твой личный мираж. Да-да, Сильный, классно ты все это рассказал, мы тебя любим, в микрорайоне ты человек уважаемый, но в эту чушь мы по-любому не верим, так что давай кончай этот детский сад.

А я скажу так: я тут никому ничего доказывать не собираюсь. Все, блин. И клятвы на бело-красном знамени вы от меня не дождетесь.

Я прямо скажу: эта непроницаемая ночь наступила, скорее всего, согласно постановлению от 15 августа 2002 года по случаю моего столкновения со стеной районной комендатуры под вывеской "Польская полиция. Товарищество с ограниченной ответственностью", в чем я целиком и полностью отдаю себе отчет и заранее чистосердечно признаюсь. И это вам не фокус-покус, не бельмо, которое налепил мне на глаза польский представитель Волшебника Изумрудного Города. Это потеря сознания в своей классической версии, о которой можно прочитать в каждом учебнике по гражданской обороне. А если учесть остальные химические наслоения этого тяжелого дня, отравление ядовитым американским панадолом и его нежелательные реакции в сочетании с другими лекарствами типа амфетамин и сибазол, то вполне логично, что мне плохо и крышу не то что снесло, она просто развалилась на мелкие кусочки, и это не просто короткое замыкание типа "Катя Ковальская употребляет спид, но у нее нет СПИДа", это окончательный крах системы нервного оборудования. И даже если рассуждать логически, этого просто не может быть, чтобы я в таких обстоятельствах просто трахнулся головой об стену, и все. Продрых пару часиков, проснулся хорошо отдохнувший, свежий, полный жизненных сил и начал переставлять мебель.

И вот что я еще скажу: я, наверно, потерял сознание, но это была не обычная потеря сознания, типа просто темно в глазах, смотришь налево, смотришь направо, и ни фига. Нет, тебе что-то снится, тебя глючит, мультики такие взаправдашние, что ты не можешь из них выйти, ска-

зать до свидания и хлопнуть дверью. Нет, этот номер не проходит. Машина работает, и ты в этой машине — винтик, тысячей проводов подключенный к потолку, возврата нет.

Я только скажу насчет того, что говорил уже раньше: это был глюк, супергиперглюк, глюк моей жизни, хотя мне и раньше снились кошмары, однако не до такой же степени кошмарные. Всегда оставались какие-то сосуды, подключенные к действительности. А тут просто полная глюков банка, старательно пастеризованная и закатанная наглухо.

Так оно и было, и я прямо говорю, без всяких там научных теорий, метафор и объяснений трудных слов: фабрика гербов. Мужик откручивает орлу голову, второй вытряхивает содержимое, прикручивает голову на место, третий проглаживает орла горячим утюгом и приклеивает корону, а четвертый наклеивает его на красный фон. Полное сотрудничество и высокая производительность труда: сто гербов в минуту. Отзвуки тотальной бойни, орлы на гладильной доске дикими голосами вопиют к небесам об отмщении, оставьте нас, мы не согласны. Тут вдруг оказывается, что это такой мультик крутят по проектору. Масовская стоит перед экраном и размахивает указкой. Кругом сидит публика. Двойная публика, потому что отражается в окнах и ее в два раза больше, публики все больше и больше. Кто это? — орет Масовская взволнованной толпе и тычет указкой в экран. У-бий-цы! — скандирует разъяренная публика. А что они делают? У-би-ва-ют! А что чувствуют орлы? Стра-да-ни-е! И что еще? Боль!

И опять все сначала. Вдруг на экране появляется ни больше ни меньше, как сам президент Квасневский с женой Иолантой, они сошли с газетных страниц и теперь гуляют то под ручку, то за ручку, то в лесу, то на озере, что за глюк, а публика уже просекла и вдруг как заорет: президента на чучело! президента на чучело! Толпа безумствует, крушит все на своем пути, и тут ни с того ни с сего я слышу крик, который возносится над толпой: Сильного на чучело! Сильного на чучело! И тут Масовская как прицелится в меня своей указкой, и я вижу, что кончик метит мне прямо в сердце, поэтому говорю: ну что ты, Масовская, мы ведь друзья, а? Мы ведь друг и подруга, чего это ты вдруг, не любишь меня, что ли? Если я тебя тогда обидел, то сорри, я ведь не всерьез, ну, Масовская... кончай... хватит... но у меня уже такое предчувствие, что мне кранты, что мне уже недолго осталось, что-то уже пульсирует и типа даже покалывает, и я думаю, это мое сердце решило отмочить мне номер прямо перед смертью.

***

— Блин, он говорил что-то о Масовской, — говорит кто-то кому-то, и тут я замечаю, насколько мне позволяет что-либо увидеть узкая щелочка, сквозь которую я гляжу, что это какая-то девица, Анжелика Кош, впрочем. — Никогда бы не подумала, что он читает "Твой стиль", мне казалось, его такие журналы раздражают. Знаешь, когда мы познакомились, он произвел на меня впечатление человека с натурой очень простой, мужественной, угрюмой. А на деле вышло, что он очень ранимый, сначала этот безумный поступок, а теперь оказывается, что он еще и "Твой стиль" читает, знаешь, вот уж никак не ожидала, внешность, однако, обманчива. Если б я знала, наше знакомство совсем по-другому бы закончилось. Я ведь эту Масовскую знаю, все могло бы быть иначе, она ведь иногда читает стихи в "Крыше", мы пошли бы туда вместе, чтоб вместе послушать, вместе все это прочувствовать. У нее стихи как раз о том,

что я люблю: мужское насилие над женщиной, смерть и разложение, мы ведь могли вместе туда пойти. И вся эта трагедия, вся эта пролитая Сильным кровь была бы не нужна, просто ни к чему.

— Ой, бля-а-а, — слышу я другой голос. На этот раз с явным мужским началом, но через глазную щель мне видно плохого качества изображение Наташи Блокус, значит, я правильно угадал, — он же шизик, это ж надо так башкой в стену долбануться, брось ты его, Анжела.

— Как же ты не понимаешь, ведь кем бы я сейчас ни была, Мисс зрительских симпатий и находка местной литературной среды молодых литераторов, я не могу в такую тяжелую минуту оставить его одного, в когтях страданий и жестокости окружающих.

— Ну, блин, и что с того, я ему памперсы менять не нанималась, просрал себе репутацию в полиции, просрал себе репутацию в городе, его проблемы, у меня есть дела поважнее. Ты видела этого обойщика в джинсах, так вот, он взял у меня номер мобилы.

Щель во мне, через которую я все это вижу, а очень похоже, и слышу тоже, довольно узкая. Все остальное, вокруг щели, черное, бесконечное и тянется неизвестно куда, мало того, еще и болит. Я предпринимаю усилия, чтобы эту щель сильней приоткрыть, и хотя все болит, мне это удается настолько, что кроме Анжелы Кош и Наташи Блокус я вижу фон с разными белыми вещами, как будто нахожусь прямо посередине наволочки на одеяло. Вокруг все белое и пахнет чем-то типа лизола, поэтому в моей голове клубятся самые разные версии насчет того, что́ они со мной сделали, а главное, где я, потому что это вопрос сейчас ключевой. Остальное меня уже не волнует, покончил я жизнь самоубийством или нет, хотя я не поканчивал. Я хочу просто знать, на чем лежу, потому что знаю только то, что лежу, и даже не пытаюсь этот факт изменить, потому что понимаю: малейшая диверсия с моей стороны, каждая попытка пошевелиться чревата последствиями, они отправят меня назад в тот зал, где Масовская втыкает мне в грудь свой циркуль и рисует вокруг меня круги, все больше и больше, а публика хлопает, потому что знает, что так мне и надо.

— Тихо, бля, а то он просыпается, — говорит Наташа и грубо, силком поднимает мне веки, а я даже не в состоянии протестовать, такой я везде тяжелый, я, наверное, беременный самим собой, таким тяжелым и безбрежным я себя чувствую. — Зови-ка, давай, эту шизанутую санитарку, пусть даст ему какой-нибудь хрени, чтоб немного прозрел.

Тогда я довольно неуклюже моргаю и вижу фильм, который снимали с руки.

— Придержи-ка ему веки, — говорит Наташа Анжеле и передает ей мои веки, чтоб она их поддерживала, — я иду за этой белой шлюпкой, а то она, наверно, выходной себе устроила в ближайшем баре.

Тогда, по моим наблюдениям, Наташа выходит, а Анжела наклоняется надо мной, потому что я вижу приближающееся ко мне мое собственное изображение в ее глазах, выгляжу я довольно плохо, даже еще хуже, я вообще никак не выгляжу, потому что меня полностью заслонили, перевязали и запечатали, только внести залог и можно забирать.

— Анджей? — спрашивает она. — Ты в порядке?

И тут полный абзац, потому что, когда я хочу что-то сказать, все равно что, мой рот, вместо того чтобы открыться, закрывается еще силь-

нее. Закрывается с такой силой, что его даже нельзя открыть, а что хуже всего, наверное, его вообще нет, он теперь заделался атавистическим органом. А когда я хочу поднять руку, то ее тоже или типа совсем нет, или она, к примеру, прикреплена на вечный прикол в почве. Потому что, наверное, я вдруг превратился в комнатное растение, цвету себе в горшке на подоконнике, а Анжела со мной разговаривает, чтобы я лучше рос и пускал больше корней, тогда она меня весной пересадит.

— О'кей, не надо ничего говорить, — говорит она и делает жест типа поправляет подушку, — я тебе сама все расскажу. Потому что ты, наверно, ничего не знаешь. Сейчас уже не вчера, сегодня уже завтра. То есть следующий день. Ты пытался совершить самоубийство. Но тебя спасли. Теперь ты лежишь в больнице, и как только мы с Наташкой узнали об этом от Левого, Шторм нас тут же сюда подвез. Вот мы и тут. Наташка пошла теперь за медсестрой. Вот она сейчас вернется и все подтвердит.

Она говорит, а сама вынимает из сумочки боевую амуницию и поправляет глаза, чтобы были еще почернее. Потом задумывается, что-то считает в уме, может, когда начнутся месячные, потом принимает решение и целует меня в щеку.

— Зря ты так переживал из-за меня, — говорит она, рисуя себе на лице разные линии карандашом из сумочки, — я этого не стою. Такая боль, столько страдания, у тебя был такой потерянный вид. Представляю, что ты чувствовал, когда я уехала тогда на велосипеде, оставляя тебя одного с растоптанным цветком нашего чувства. Сейчас я понимаю: я играла не по правилам, я ранила твои чувства, но, знаешь, когда я была тогда со Штормом, меня вообще не интересовало, какой он, потому что он не такой, как ты.

Я хочу что-то сказать, что очень мило с ее стороны, что она тогда думала обо мне, но вместо этого из моего рта вылезает пузырь, который эффектно лопается и забрызгивает меня с ног до головы, а может, даже осколки стекла летят Анжеле прямо в лицо. Я прихожу к выводу, что в конечном счете рот у меня все-таки есть, не отклеился от тела, за что всем большое человеческое спасибо.

— Тихо, а то Наташа идет, — говорит Анжела и сразу опять лапами хватает меня за веки, полная готовность к передаче вахты, мол, я все время их держала, и базар на нейтральную тему. — А знаешь? Вроде как эту войну с русскими вчера как-то затушевали. Это нам Шторм сказал. Вроде как подарят теперь корабль, такой символ дружбы, на котором польские граждане будут ездить в беспошлинную зону. А для городского совета бесплатные билеты и бар. Для школьников и студентов 37 % скидки.

— О'кей, Сильный, — добавляет Наташа, садясь мне на руку. — Эта мымра сейчас сюда придет, поставит тебе Элени, классные песенки о солнце, чтобы ты чуток оживился, а то что-то ты не говоришь ни фига. Или еще какую-нибудь охренительную греческую певицу.

И это все, что я вижу через щель, которую мне то Анжела, то Наташа поддерживают, просто роды с клещами и без наркоза прямо на моих глазах. И еще я вижу какие-то махинации и мошенничество в торговле белизной перед моими глазами, всё вокруг настолько чистокровно белой

расы, что я подозреваю, что Изабелла завернула меня в белую бумагу для бутербродов и что я сам себя несу в школу на второй завтрак, а вокруг громкий шелест и шепот, эхом разносящийся по коридорам. Время от времени загорается белая неоновая лампа, а вокруг расстилается галерея лиц в белокаменных блузках, без умолку болтающий бюст Анжелы, ваза с лицом Наташи, интерактивный музей, настоящий запах настоящего лизола Б, настоящий шелест простыней. Здесь мы поставим кроватку, Магда, известковую кроватку для гипсовой фигурки нашего ребенка, а здесь искусственный телевизор. Белые люди с белой кровью и белым мясом, потому что куриным, известковым. И ничего красного, белый орел на белом фоне, война между белой расой под бело-белым флагом.

— Эй, Сильный, — слышу я конфиденциальный шепот и чувствую, как меня еще глубже впихивают в пучину кровати, что меня уже даже не удивляет. Потому что я к своей койке искренне привязался, это мой дополнительный орган в рамках компенсации за утерю целого ряда других органов, которые у меня, скорее всего, отвалились. — Не умирай пока что, ладно, поживи еще. Это я, Магда.

— Не ври, — говорю я, или мне это только кажется, потому что границы размыты, рассыпаны, и я не знаю, на какой стороне шахматной доски нахожусь, еще на белой или уже на красной, но меня это не волнует. Потому что эта конфетка для меня с обеих сторон горькая. — Не ври, Магда, что ты типа пришла. Не надо мне вешать лапшу "я здесь, Сильный, я пришла, а потом с первым апреля тебя, меня тут нет и не было". Конец. А могла бы прийти.

Еще все могло бы быть хорошо. Но ты не пришла.

— Ну, Сильный, дурачок, — говорит тогда Магда, и я самостоятельно, без участия рук, открываю глаза. И пугаюсь, потому что действительно, на первый взгляд, это вроде она, но вдруг это только ее макет, манекен, который Бармен купил специально для меня в комплекте со стрелками, чтоб бросать в мишень. Дебил все-таки этот Бармен, до него, что ли, не доехало, что у меня ноги и руки в полной аварии, я весь опутан какими-то трубками и только благодаря этому вообще не рассыпался на кусочки. Тут я задумываюсь, как я вообще буду жить дальше. Как я буду ходить со всей этой фигней, какие-то бутылки, какой-то радар, под ногами путаются провода, вот и ходи теперь по стеночке, отойти от нее ты можешь только на метр, ныряй себе в воздух на глубину метра, а еще, не приведи Господь, перепутаешь розетки, тогда все, короткое замыкание и собственноручное удобрение почвы.

— Сильный, это я, Магда, — говорит Магда и типа махает мне рукой из автобуса, отъезжающего на каникулы. — Это я, Магда, забежала на минутку, просто поболтать. Я вот купила тебе "Мальборо", с ментолом, думала, ты обрадуешься. И журнал про мотоциклы, "Мир мотоциклов" называется, чтобы ты тут совсем не рехнулся.

Классно, думаю я. Мы едем на автобусе. Кругом пыль, но все равно классно, двигатель шумит, все трясется, белые поля, плантации мела, интерактивный музей, столько пыли, что не видно экспонатов. Может, вообще это амфетамин летает в воздухе, потому что сейчас как раз время цветения амфетамина, воздух насыщен пыльцой, всеобщая общенациональная аллергия, рабочие места для безработных.

— Ты вот что, слушай, Сильный, — слышу я со стороны Магды, — ты теперь не будь дураком. Не позволь, чтобы они тебя тут уделали, они ведь хотят вырастить из тебя рододендрон, чтоб в коридоре поставить для красоты.

Тут она достает из сумочки "Мир мотоциклов" и пытается приспособить его так, чтобы я мог почитать. Но пока она мне одну руку сжимает, вторая разжимается, и журнал увядает. Тогда Магда, выведенная из равновесия таким моим поведением, снимает с полки радар, к которому я подключен, и я даже удивляюсь, что, когда она его берет, мне не больно. И бах мне его на живот с размаху, я от боли чуть самого себя не выплюнул, но мои способности протеста очень ограничены.

— Никто и не заметит, — шепчет мне Магда в утешение и кладет "Мир мотоциклов" на радар, который все время пищит, так что не исключено, что это мое новое искусственное сердце, которое мне теперь всегда придется носить с собой в целлофановом пакете, поэтому лучше бы она с ним обходилась поосторожней, чтоб не сломать. Прямо перед лицом я вижу теперь разные буковки, которые через всю страницу ползут в свой муравейник. Жаль, что они так быстро ползают, потому что вдруг это текст какой-нибудь песни про меня и мою боль, которую я теперь мог бы спеть для всех.

Но это еще не конец модернизации, потому что Магда явно решила улучшить мои бытовые и санитарные условия. Она достает из сумочки пачку сигарет и жестом, не терпящим возражений, засовывает одну из них мне в рот. Хотя сигарета тут же вываливается, Магда засовывает ее назад поглубже, почти до самого горла.

— Здесь не курят, — раздается какой-то слабый голос издалека, наверное, автоматически включающаяся антиникотиновая пропаганда, которая сейчас расскажет нам все, что думает на тему сигарет и их результатов.

— Какие-то проблемы, чел? Я вас не угощала.

Тут Магда смотрит на меня, заметив, что с этим курением что-то типа не совсем так, как должно быть.

— Чего они от тебя хотят: чтобы ты начал вдруг говорить стерео и с басовой инструментовкой? — говорит она и выдергивает из меня все штырьки от проводов, которые тянутся из моего носа и обратно. — Вот так-то лучше.

Тут мне еще удается в ускоренном темпе увидеть, как она бросает эти трубки на пол и прикуривает мне сигарету, а потом я уже вижу совсем плохо. Потому что вдруг что-то тяжелое падает мне на грудь, камень или, может, мое собственное веко, а может, это вентилятор оторвался от потолка, а может, просто со второго этажа идет дождь, град кроватей и пациентов. Но я уже про это больше не думаю, потому что способность думать я тоже вдруг теряю, что означает мой окончательный регресс в сторону растительного мира.

***

— Не умирай... — это такую передачу по радио передают. "Не умирай, мы вместе победим нашу общую смерть" — всеобщая благотворительная акция польского радио и рок-музыкантов. — Не умирай, — повторяет радио, а потом ведущий как бы теряет нить, потому что у него страницы перепутались.

— Не умирай, — говорит кто-то, — это я во всем виновата.
Тут двери опять открываются, и появляется щелочка, через которую я нагло подглядываю, что там снаружи. Может, это я как раз рождаюсь и выглядываю на свет из своей матери, но то, что здесь делается, мне не нравится. Так вот, надо мной не обычный потолок, а какой-то подвижный, он сворачивается на моих глазах, лампы исчезают и опять появляются, потому что, наверное, мы находимся на интерактивной фабрике неоновых ламп. И вдруг появляются разные лица и шум. Это я во всем виновата, объясняет мне кто-то с плачем, я теперь буду с одним тобой, только не умирай, я же не хотела, я же просто хотела, чтоб было весело... А все остальное это я так, для прикола... на самом деле я ни с кем не трахалась, ни с Левым... ни с этим звукорежиссером... пойми, я только так прикололась, чтобы тебя позлить, дурак ты... а теперь все будет хорошо.

Не умирай, Сильный, это говоришь ты, Магда, ты говоришь мне это по телефону, говоришь в мегафон. Это очередной твой каприз, купи мне сигареты, купи мне колготки, не умирай. Если можешь, не умирай. Не умирай, если хочешь, чтобы у нас все было классно. Не будь свиньей, не умирай, а то у меня сейчас как раз солярий, я уже договорилась, у меня сейчас нет времени тебя шантажировать, может, потом как-нибудь. Позвони мне ближе к вечеру и поклянись, что ты просто пошутил и что ты не умер, ну, я побежала, но сначала обещай, что все это неправда.

Я хочу что-нибудь подумать, но не тут-то было. Никакого подумать, запрещено, только соберусь что-нибудь подумать на какую-нибудь тему, по радио с вырванной антенной тут же передают офигительно интересную природоведческую передачу о ветре. Что ветер дует. Идет прямая трансляция прямо из города, сначала какой-то репортер говорит в прямой эфир, уважаемые радиослушатели, вы меня, конечно, не слышите, но мы тут сейчас являемся свидетелями необычного явления, во всем городе дует ветер. Дует он с запада и уже сорвал все бело-красные флаги. Несмотря на то, что вы меня или не слышите, или совсем не слышите, я все же подчеркну, что уже восемь человек потеряли волосы, а количество людей, пропавших без вести, по-прежнему неизвестно. Ветер как раз поворачивает налево, отрывает балконы в высотных домах. Появились слухи и ложные версии, что этот ветер сконструировали немцы, которые собираются устроить тут полигон, а на руинах разрушенных зданий — альпинистские стенки для спецподразделений. Ветер дует в неслыханном масштабе, его нельзя даже сравнить с ветром 1997 года, тем, что русские тогда на нас наслали.

Тут трансляция прерывается, может, журналиста сдуло с ног, ну, ничего, ему потом медаль дадут, посмертный "Орден улыбки" и именной компас от польского эмигрантского правительства за особый нонконформизм в служении правде. Ветер сбрасывает радио с тумбочки, и теперь будет многосерийный просмотр всех видов ветра, какие только существуют. Очень интересно, каждый ветер дует в другую сторону и каждый вырывает что-то свое, что именно не видно, но хорошо слышно, что что-то другое.

Если я отсюда выйду, то вот те крест, я куплю себе такой ветер, сначала просто как любитель, но потом уже буду покупать профессионально, со знанием дела, не нравится мне какой-нибудь мудак, я ему раз, напускаю

на флэт ветер, и до свидания, я ваша тетя, проводка сорвана, теле- и видеотехнику выдуло, у женщин трусы видно, детям уши продуло, а я сижу, джойстиком двигаю, пивко потягиваю, Магда раздевается, а я ей говорю, ну, куда ты, блин, лезешь со своим трахом, не видишь, я сейчас занят серьезным делом, деньги зарабатываю, долг для одного кореша выбиваю?

Это мечты у меня такие, все в бело-белой тональности, вот бы кто-нибудь снял из этого фильм и продал как универсальный видеофильм под названием "Мое первое причастие". Это же кучу бабок зашибить можно, инвестиции пустяковые, музончик какой как фон пустить, походить по приходам, попродавать, никто бы и не допер, что это не его дети, потому что все было бы равномерно белое, типа такой крупный план.

Не надо было умирать, говорю я себе, потому что теперь уже ни в чем не уверен. И хоть бы один честный человек нашелся, чтобы мне, блин, правду сказал. Живой я или умер. Если живой, ладно. Если умер, то мне, конечно, будет неприятно, но ничего, как-нибудь переживу. Но чтоб вообще не знать, об чем речь, я больше не могу. Получается, что мои сны, мои глюки, про которые я как про облупленных знаю, что они бредовые, залили вдруг все вокруг, и теперь у нас тут подвижная граница и передвижной праздник, которые могут появляться в любом месте и в любое время, как сыпь. Я уже вообще не врубаюсь, что тут правда, а что нет, каждый раз, когда я вытягиваю руку и что-то щупаю, оно оказывается сделано из простыни, я это уже тщательно проверил. Если они меня подставили и развели на мне плантацию простыней, почва, мол, светлая, но плодородная, и теперь простыня славно разрастается, санитарка приходит и регулярно ее подстригает, но она все равно заполонила уже все вокруг, выползла через окно и накрыла город.

Когда я отдаю себе в этом отчет, происходит вот что. Взаправду. Из-за между простыней, из-за между пергаментов появляется не кто иной, как Масовская собственной персоной. Возможно, она как раз вынула меня из ящика стола, вытащила из конверта, положила перед собой на стол, сидит и смотрит. А если я начну двигаться, то она в крик и прихлопнет меня какой-нибудь книжкой. Я из последних сил еще успеваю врубиться, что это именно она. Но, должен сказать, выглядит она еще хуже, чем я, мама дорогая. Что я, очень может быть, плохо выгляжу, это логично, причинно-следственные связи в природе, но почему она? Морда опухшая, как у китаёзы. Неужели нашла работу в Западном Берлине и косит под японку? А в свободное время потихоньку проливает слезы над моим несчастным случаем, чтобы выглядеть более экзотично. Ох, как мне тебя жаль, моя красавица, и хотя все это мне устроила именно ты, я тебя прощаю, полное всепрощение и понимание, меня уже нет, но это не значит, что ты должна по мне плакать, жрать элениум и резать себе вены. Лучше сядь, книжку почитай, я не против, я еще и пододвинусь к тебе, спрошу, что читаешь, хотя в глубине души мне на это глубоко насрать.

— А-а, да так, шпоры по литературе, если тебе интересно. Это я опять к выпускному готовлюсь, может, сдам со второго раза, — говорит она тогда, чем шокирует меня до такой степени, что я даже забываю, на каком языке когда-то разговаривал.

— Могу тебе вслух почитать, если хочешь, — говорит она, такая вдруг добренькая сделалась, такое у нее доброе сердце, подкармливает зимой синичек, стирает послюнявленным пальцем вульгарные надписи в лифте, спасибо-пожалуйста на каждом шагу. Она меня просто добивает. И к моему удивлению, она читает мне краткое содержание разных книжек, иногда даже интересные истории попадаются, вся Польша читает детям, а ты читаешь своему ребенку? Особенно меня трогает одна сказка, как один мужик, по имени Зенон, получает по морде кислотой прямо в лицо, ни фига себе дела, думаю я, это, наверное, предварительные ласки, а трахач потом будет, но они дальше не описали, потому что это было бы политически нерентабельно. Я стараюсь делать Масовской знаки большим пальцем, жить этому герою или умереть, но она назло читает с точностью до наоборот, не так, как я хочу, ну что за нереформируемая проблядь, я бы ей даже бабок подкинул, лишь бы этот Зенон той суке дал сдачи по морде, но не кислотой какой-то, а ломом и насмерть, чтоб было поровну, а то получается, что один пол ездит на другом поле верхом и вдобавок блядская рука блядской рукой погоняет.

О'кей, а самый прикол, что к этим историям там еще разные вопросы напечатаны. А ответы вообще крутизна, мне их Масовская тоже читает. Вопросы про то, чего в данной конкретной истории вообще не было, типа автор о чем-то забыл, и теперь читатель должен заполнить пустые пронумерованные клеточки сверху вниз, и тогда получится ключевое слово. Такой вот ребус. Всякую фигню надо угадывать, смысл заглавия, информацию об авторе, характеристику главного героя, плюс выучить наизусть все, что там по очереди случилось.

Потом еще стихи, супер, еще, еще читай, Масовская, эти поэты писали разные петиции с протестами к Богу: мол, на фотках в рекламных буклетах все было путем, раны заживают, и никаких несчастных случаев, а на самом деле оказалось, что санитарные условия безобразные, гостиница плохая, на стенах не картины, а какой-то китч, безвкусица, плюс некомпетентные гиды. Я как родился с раной на анфасе лица, так она до сих пор и не заросла и, честно скажу, становится все глубже, в метафорическом смысле слова, конечно. И если сюда наслать санэпид, так Тебе, Господи, эту шарашкину контору живо прикроют, вот, я манжеты запачкал, а жена потеряла шпильку, я требую возмещения убытков, до встречи в суде.

Чеслав Милош шлет телеграмму из Беркли, Эдвард Стахура с неразлучной гитарой, фотостори. Ничего не происходит, но в этом и суть, подчеркни красным фломастером все иллюстрации, тогда точно сдашь. Или лучше дай мне эту книжку, если я выживу, то вырежу себе эти картинки и буду носить их в бумажнике, как только мне захочется с тобой пересечься, я их выну: привет, Доротка, тот, что шествует в широком плаще, это мой двоюродный брат, скажу я. Он как раз собирается на один такой банкет для творческой элиты, флирт и алкоголь, если захочешь туда затесаться, я тебя представлю. О чем спич вести будем, о зыбучих полях в рукописях или о возвышенной тоске? Знаешь, у меня что-то с самого рождения болело в груди, я чувствовал какую-то тревогу. Наконец я однажды заглянул себе в горло, а там двойное дно.

На полном серьезе, ты вот думаешь, я тут весь как на ладони, две руки, две ноги, джордж переключает скорости, тебе кажется, что ты могла бы меня переделать в компьютерную игру. Три удара под дых, сверху, снизу и поджигаем джинсы, а потом ищешь по всему городу амфу, потому что уровень энергии у тебя падает, а чтобы перейти на следующий уровень, надо еще трахнуть двух телок и убить четырех бродячих собак. Тебе кажется, что три жетона решат дело в твою пользу и конгратьюлэйшн, we've got a winner, монеты сыплются проливным дождем, и ты можешь купить себе всё вместе с вешалкой, прилавком и продавщицей включительно. Да говорю же я вам, если б Сильный открыл окно, я бы открыла другое, если бы он бровью пошевелил, я бы пошевелила еще лучше, я его биографию печатала на машинке и знаю все, его глубина равняется длине его пищевода, он знает буквально два слова: да и нет, но зато во всех падежах и во всех, блин, каллиграфиях.

Что, Масовская, скажешь, нет? Это теперь ты такая умная, сидишь себе и смотришь, может, тебе еще солнышко принести и повесить под потолком, а дринк с вишенкой прямо в руку? Типа только смотришь, а если что, сразу в крик. Мама, мама, принеси мухобойку, оно шевелится.

А может, на самом деле все не так? Может, то, что лежит тут в кровати, это только мой представитель в Польше, может, это только демонстрационная версия моей программы? Может, я тоже кое-что чувствую, и если ты даже этого не можешь понять, беги в киоск и купи себе очки с объемным эффектом и тогда приходи, потому что из моей спины тянется в глубь земли многокилометровая инфраструктура, клубятся кабели и транзисторы, не смотри, а то утонешь, не трогай, а то потеряешь руку. Нет, на полном серьезе, ты в каком мире живешь, родная, ты же не рубишь элементарных вещей, если хочешь сдать этот свой экзамен, лучше купи себе учебное пособие по окружающей тебя действительности с бесплатным комплектом вырезных картинок, тогда и поговорим. Можешь меня навестить, я тебя даже поспрашиваю, приноси контрольные вопросы, ксерокопию паспорта не забудь. Будь внимательна, потому что вопросы каверзные: социально-политический фон? Польско-русская война — это всего лишь подтвержденный документами исторический факт или же комплекс навязанных обстоятельствами предубеждений? Опиши эволюцию коллективной галлюцинации в ходе сражения с вымышленным врагом — представь результаты графически в виде соответствующей функции. То, что ты держишь в руках, это просто обычная авторучка? (Вслух объясни понятие "фаллический символ".) Что означает находящаяся на ней надпись "Здислав Шторм"? (Устно объясни термины: капитализм, реклама, акционерное общество.) Моральный облик героев на фоне их жизненного пути, перечисли черты их характера и внешнего вида, как проявляется анимализация персонажей? С какой целью воплощается в жизнь запланированная смерть главного героя? (Перечисли основные положения философии *New Age*, что означает словосочетание: закрытоцилиндрическая композиция.) Задание на пятерку: представь в форме графика теорию двойного дна. А у тебя есть второе дно? Мотивируй свой ответ. На местной дискотеке ты встречаешь дьявола, что ты ему скажешь? Спонтанно отреагируй на заданную ситуацию.

Что, Масовская, припухла? Не знаешь, что и сказать? Это уже пошел курс для продвинутых, а ты вместо того, чтобы отвечать, пялишься в радар, может, тебе язык вырвали, наконец-то. Положи его в спичечный коробок и закопай рядом с моей кроватью на полу, очень все это грустно, но для меня в самый раз, теперь ты мои личные данные можешь показать русским разве что жестами. Я так тебе сочувствую, возьми-ка организуй общество, пусть и другие психованные, тоже без языков, борются со мной азбукой Морзе, если хочешь, я дам тебе телефон Анжелы, ей это понравится, она обует ролики и примчится сюда через пять минут.

Масовская, ну чего ты так? Что у тебя за выражение лица? Не надо на меня сразу так сильно злиться. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Только не прикидывайся, что ты это всерьез, типа жизнь и смерть на двух разных половинках тарелки плюс выжатый пакетик от чая. Эй, давай решим это мирным путем, лады? Я скучаю, ты зеваешь, я надеваю рубаху, ты застегиваешь пуговицы на манжетах, взаимное ООН, а то чуть что, так сразу война и один другому вены режет, на фига нам это? А когда я буду умирать, поинтересуюсь: ты что, тоже помираешь? — это я так, в шутку, подумаю, а ты с помощью этого радара на полке или по жестам моих ладоней расшифруешь. Вот увидишь, тебе понравится. Если я тебя обидел, так это в шутку, ну что ты в самом деле.

Но единственное, что я после своих слов вижу, это как она, нагло глядя мне прямо в глаза, тянется рукой к штепселю. О нет, Масовская, перестань, это уже не шутки, электричество детям не игрушка, электричество плюс ребенок равняется нет ребенка, большая дыра вместо ребенка, ну перестань же, я знаю, это только такая фотка с каникул, такой слайд, мы с тобой в музее проводов, улыбаемся, оба такие счастливые, нам хорошо вместе, ты тянешь за какой-то проводок, что за чудесные каникулы, я сейчас не выдержу, сейчас побегу и на тебе женюсь, правда, без лажи. Но этого на фотке уже не видно, потому что вспышка отказала и вдруг становится темно.

Мы обе, болтая ногами и щелкая орешки, разговариваем о смерти, хотя об отсутствующих говорить не принято. Это только синяки и царапины, я их наставила, катаясь на велосипеде, свои ты приобрела таким же образом, но на наших ногах они выглядят как синие озера и фиолетовые моря, и мы с увлечением разговариваем о смерти. И представляем себе собственные похороны, на которых присутствуем, стоим в сторонке с цветами, подслушиваем разговоры и плачем громче всех, поддерживаем наших мам под руки, бросаем горсть земли на пустой гроб, потому что на самом деле смерть нас не касается, мы другие и умрем когда-нибудь потом или даже никогда. Мы смертельно серьезны, мы курим сигареты, затягиваясь так, что эхо разносится по всему дому, и стряхиваем пепел в пустую коробку из-под акварельных красок.

Тем временем мы решаем устроить заговор, царапаем на стене грандиозный план побега в глубь земли. И начинаем готовиться, уничтожаем от-

печатки пальцев, снимаем с расчесок выпавшие волосы, собираем одежду. Все для того, чтобы у мира вырос на руке шестой мертвый палец, чтобы мир ошибся, сбился со счета, чтобы ему показалось, что нас вообще никогда не было. Чтобы повесить себя в шкаф на вешалке, вытащить из карманов все монеты, спички, бумажки и вынуть себя обратно, когда все уже закончится. А пока носить другие вещи, тела старых девочек, засушенных между страницами книжек, лица анемичных детей.

Но крышку сдвинули, содержимое попробовали и выставили на всеобщее убийственное солнце. И мы изо всех сил жмуримся, но кожа на веках сделалась прозрачной, и мы видим все очень ясно: брошенную, лишенную содержания одежду, трехдневной щетиной обросшую комнату, надутые ветром штаны, наши пустые упаковки, упаковки, из которых нас уже съели.

Мы кокетливо говорим: пожалуйста, но вместо подкопов в полу — несколько ничтожных, бессильных царапин, сделанных заколкой на руках. На нас сели ночные бабочки и отложили в рукавах яйца, и теперь мы больны, бинты слазят вместе с кожей, колготки слазят вместе с кожей, кожа слазит вместе с пальто. Становится все хуже, я уже выплюнула маленький черный пузырек, который Ванда поймала на лету, и у нас вдруг ухудшилось зрение, потому что теперь мы все видим иначе — все вокруг облеплено нефтью и подвешено за ноги на деревьях, весь мир — в елочных украшениях, грустно качающихся на ветру.

Сделай что-нибудь, я так больше не могу, все вокруг утыкано шипами, воздух и тот с шипами, дождь раздает пощечины. Волосы запутались в спицах велосипеда и слетают вместе с головой, сделай что-нибудь, забери меня отсюда.

А за ночь на нас построили город, отвратительный город, огромную свалку, мусорщики стоят и, опираясь о мусорные контейнеры, читают старые, на глазах распадающиеся газеты. Мосты, железнодорожные рельсы и телефонные кабели, машины и бесконечно длинные улицы, по которым кружат мусорки, вырывая у людей из рук окурки, бумажки и гигиенические салфетки. Меня облепили люди с дырявыми авоськами, по тротуарам катятся яблоки и картошка, бьются бутылки, солнце садится за осколки стекла и оранжереи.

Был шум, барабаны и дудки, шепоток как смятая в руке бумажка. Когда мы пошевелили рукой, все распалось, на лице остался только длинный след от чьих-то санок. Я думала, что вот оно, что я уже мертва, но вместо своего тела нашла только крошки в складках простыни.

У нас здесь масса сувениров: открытки с видом вокзала и до крови обгрызенные ногти, мама говорит: я не знаю, чем ты думала, когда ела собственные ногти, запасы кончаются, остались только пальцы. Вот увидишь, скоро у тебя в желудке отрастут из этих ногтей руки, они будут тебя царапать и сжимать изнутри, ты сама у себя вырастешь в собственном желудке. Одна девочка ела свои волосы, и у нее в желудке выросло волосяное чудовище. Один мальчик проглотил косточку, и у него выросло целое дерево, ветви вылезали у него из ушей и носа. Один мальчик поел черешен, запил лимонадом и умер. А потом: целлофановый пакет — это тебе не игрушка. Сколько раз можно повторять: не суй голову в пакет! Одна девочка засунула голову в пакет, не смогла ее вынуть и за-

дохнулась. Нельзя. НЕЛЬЗЯ. Нельзя пить алкоголь и стучать мячом по стене. Бегать и играть запрещается.

Мы понимающе улыбаемся друг дружке: внимание, внимание, внимание! — шепчем мы насмешливо, все опасно для всех, жизнь грозит смертью, сиди тут, сиди на коврике и никуда не ходи.

И мы, щелкая орешки, страшно серьезны, ежедневно мы целимся в себя вилкой и умираем, и каждое утро оказывается Маленьким Воскресеньем. Полным разочарования воскресением из мертвых. Мы потираем руки и бросаем блестящую мамину норку, норку с грустными пластмассовыми глазами, на съедение котам, и говорим им: только ведите себя прилично. Живые и мертвые пересекли демаркационную линию и слились в одну шумящую толпу, марширующую колоннами и рядами около наших кроватей, мы задумчиво смотрим на них на всех и поудобнее устраиваемся на подушках.

Но теперь, кажется, мы обе заболели всерьез, все расплылось, фотографию, на которой мы берем за рога весь мир, кто-то залил черным чаем. Продолжается один и тот же, бесконечный день с бельмом на глазу. Занавес время от времени опускается, и оранжевые рабочие поспешно меняют декорации, гасят свет, меняют погоду, вкалывают небу из шприца чернила. Только мы успеваем закрыть глаза, а они уже устанавливают оркестр, который бьет в тарелки и скрипит зубами.

В мутном свете все становится каким-то одинаковым, женщины, мужчины, дети, животные, слившиеся в однородную массу. И в этой черноте, в густом черном чае мы перестаем различать друг дружку, мы теряем форму и все больше напоминаем птиц — и какая-то старушка тычет пальцем нам между ребер или шлепает нас по попе, проверяя, можно ли сварить из нас бульон или лучше взять и продать на базаре. Она уже начала приготовления и ночью втихаря обжигает нам брови и ресницы.

Ложечка в стакане, черный чай начинает кружиться, кружиться вокруг нас, сначала тихо и медленно, потом все сильнее, все громче, зубы стучат по ложке. Свет сыплется на нас как кристаллики оранжевого сахара, небольшой месяц — не месяц, а до крови обгрызенный ноготь, запястья прорастают молодыми веточками, все клубится, пыль, пепел, осколки стекла, люди срастаются с животными. Мы обе смотрим все глубже внутрь, провода оборваны, беспомощные трубки качаются на ветру. Дует ветер, весь мир это только ветер, дождь разбивающихся стаканов и море разлитого чая.

Когда никто не видит, мы яростно все это распарываем. Мы все время поджидаем удобный момент, дрожащие и неуверенные в себе, как будто по дому, от квартиры к квартире, ходит ксендз с традиционным рождественским визитом, и уже слышно, как звенят колокольчики в руках позолоченных костельных служек. Мы ждем, когда раздастся звонок, расстегнутся все пуговицы и мы, бессильные и ничьи, сквозь тучи, сквозь ветви деревьев свалимся на город и врежемся головой в льющийся по улицам асфальт. Мы утонем в пенящемся мутном потоке, как два соломенных чучела на проводах зимы, с кирпичами на шее, с полными карманами камней, с горящими волосами.

Мы робко, когда никто не видит, рвем швы, устраиваем мелкие незначительные покушения на эти отвратительные пуповины. А когда

кто-то смотрит, прячем орудия преступления, ножики и ножницы, которыми только что чистили апельсин, за спину.
Я выхожу из дома. Скукожившийся от бед день так сильно подвернул под себя края, что с утра, с самого утра уже ночь. Мама говорит, ты куда, никуда не ходи, на улицах стаи бродячих собак, не выходи из дому. А я вот она, пожалуйста, даже если они меня съедят, это ведь приличные собаки, они тут же вытошнят меня назад. Помятую. Вернут прямо по зашитому под подкладку пальто адресу. Под ногами у меня плоское, ничего не выражающее лицо города. Город, огромное минное поле, раскатанное подо мной деревянным валиком безлюдное асфальтовое тесто.

Я иду очень неуверенно, никого тут нет, все знают что-то, чего я не знаю, и спрятались в подъездах. Собаки сжались в комочки в подворотнях, кошки шмыгнули в подвалы. Город сегодня под напряжением, сквозь каждую плиту тротуара пропущен ток. Сегодня в городе нет воздуха, вместо воздуха напустили газ или средство для дезинсекции. Запрещено выходить из дома, белый череп на черном фоне. Перепуганные люди выглядывают из-за занавесок — затыкая рты плачущим детям, они с ужасом смотрят, как я наивно иду по городу, как смело лопочут на ветру полы моего пальто,

Небо должно сегодня лопнуть, обрушиться дождем снарядов, камней, мертвых рыб и птиц, небо обязательно должно лопнуть. На тротуаре полно ловушек, один шаг в неправильном направлении, и ты вдруг оказываешься в аду, жаришься в красном жиру, черти едят тебя ножами и вилками, вытирая уголки губ бумажной салфеткой. Я говорю: пожалуйста, можете меня взять, я уже себя не хочу.

Конечно же ничего не происходит, ничего подобного, они же не могут подложить мне такую свинью, не в самый разгар праздника, не в середине фильма, надо же чем-то занимать телезрителей еще по крайней мере час. Я встречаю знакомую, и мне очень неприятно, что я ничего не могу ей сказать. Она мне немного помогает, мы склеиваем все сигареты в одну, и мне уже не приходится прикуривать каждую по отдельности, я хожу по улицам и тяну за собой фитиль.

И когда на столбе мы находим объявление "очень красивое беленькое платьице к первому причастию + сумочку продам дешево 677 19 09", мы срываем его и хотим немедленно позвонить, хотя даже голову не сможем просунуть в это платье и миртовые веточки не вырастут у нас на лбу. Мы можем только оторвать кусочек шуршащего кружева с пятном стеарина и носить его в кошельке, в отделении для мелочи. Там уже погасили свет, там закрыто, занято, не работает, мы можем только смотреть сквозь решетку, как малое, обросшее шерстью зло играет вместе со всеми на детской площадке, показывает факью Богу, хвастается своей коллекцией пластмассовых пистолетов, засовывает руки в штаны. За решеткой живет зло сладкое и доброе, оно путается под ногами и пририсовывает усы прохожим. Его нельзя отсюда украсть, меньшее зло удирает от нас на скрипучем велосипеде, показывает факью, щерит испорченные зубы, оно прячется в малюсеньком колодце, в котором не помещаются наши огромные и все растущие руки. И нам приходится пользоваться большим злом, настоящим злом только для взрослых, пить алкоголь, дотрагиваться до мужчин, курить сигареты.

А потом мы вдруг передумываем, на тротуаре мы видели двух прижавшихся друг к другу мальчиков, они были крошечные и сиамские, как выкатившиеся из костра картофелины. Они срослись щербинками, срослись руками из спичек, вздутыми животиками, они держали большой мяч, у них были шапочки, красные ручки, розовые язычки, которые тянулись за ними как флаги, флаги розового государства, королевства цветных карандашей, и тот, что побольше, пел: я люблю тебя, друг. В воздухе после них остались ленты розового тумана, и мы дышали этим розовым воздухом и знали, что такое не каждый день увидишь. Два маленьких, гуляющих по тротуару божка, щербатая парочка, в этом месте нужно поставить храм, и все прочитанные тут молитвы, письменные просьбы и заявления, устные пожелания исполнятся. Маленький смеющийся Бог, играючи шерстяной бородой, их исполнит, потрескавшиеся губы помажет кремом Nivea, а все царапины заклеит скотчем и школьным клеем.

И это приходит внезапно, как загоревшийся свет, как разбивающийся стакан, возвращаясь из парка, мы обе чувствуем, как воняет мусорный контейнер, и вдруг берем в руки зажигалки, поджигаем эту мусорку и смотрим на языки пламени, которые, будто бешеные оранжевые цветы, расцветают вдоль стены, и, громко смеясь, убегаем.

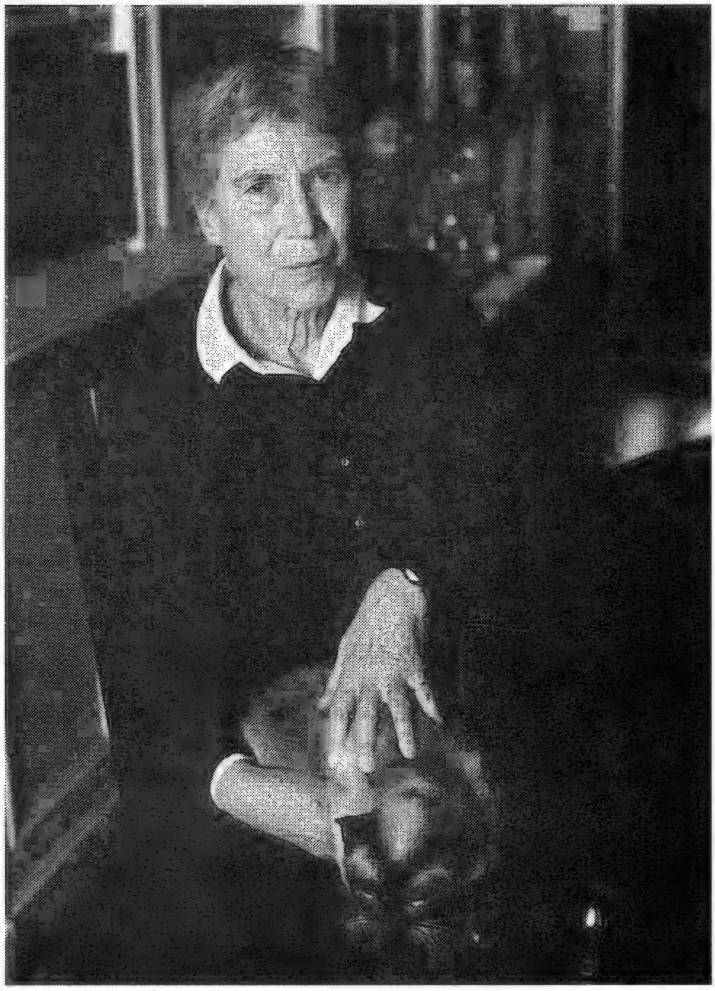
А когда будешь уходить, послюнявь палец и сотри пятна с перил и смахни пыль с почтового ящика. И присмотрись к этой стене. Вот, пожалуйста, только что покрасили, а уже прискакала эта несносная детвора и написала: дьявол. Хотя, по данным последнего опроса, первое место занимает другая партия.

Наталия Гинзбург

Дорога в город

Повесть

Перевод с итальянского А. Маркиной



© А. Маркина. Перевод, 2005
© Татьяна Бек. Послесловие, 2005

Труд глупого утомляет его,
потому что не знает *даже* дороги в город[1].

НИНИ жил у нас с малолетства. Он был племянником моего отца. Его родители умерли, и Нини пришлось жить с дедом. Дед колотил его метлой, и он убегал к нам. Когда дед умер, Нини сказали, что он может остаться у нас.

Вместе с Нини нас стало шестеро детей. Мою старшую сестру звали Азалия, она была замужем и жила в городе. После меня родились Джованни, потом Габриеле и Витторио. Говорят, что в доме, где много детей, всегда весело, но, по-моему, в нашем доме не было ничего веселого. Я надеялась поскорее выйти замуж и уехать, как это сделала Азалия. Она вышла замуж в семнадцать лет. Мне было шестнадцать, но мне еще никто не сделал предложения. Джованни с Нини тоже хотели уехать. Только малыши не проявляли недовольства.

Наш дом был красного цвета, перед ним стоял увитый виноградом навес. Мы вешали свои вещи на перила лестницы, потому что на такую ораву шкафов в доме не хватало.

— Кыш, кыш, — приговаривала мама, выгоняя из кухни кур, — кыш, кыш...

У нас была одна-единственная пластинка, и патефон с утра до вечера играл все ту же песню:

Бархатные ру-у-у-у-у-ки,
Душистые ру-у-у-ки,
Так опьянен я в-а-а-а-а-ми,
Что и не перед-а-а-а-ть.

Эта песня с ее странными тягучими словами всем нам очень нравилась, и мы начинали ее петь, едва проснувшись, и переставали, лишь когда ложились спать. Джованни и Нини спали в соседней комнате и утром будили меня, три раза постучав в стену. Я быстро одевалась, и мы убегали в город. Добирались мы до него больше часа. В городе мы расходились, делая вид, что не знаем друг друга. Я знакомилась с какой-нибудь девочкой и прогуливалась с ней под портиками. Порой я встречала Азалию, которая прятала под вуалеткой покрасневший нос. Она со мной не здоровалась, потому что на мне не было шляпки.

Иногда мы с подругой ели хлеб и апельсины на берегу реки, а иногда я заходила к Азалии. Почти всегда я заставала ее в постели: она читала романы, или курила, или ругалась по телефону со своим любовником (она была ревнивая), не думая о том, что дети могут услышать. Потом возвращался ее муж, и она ругалась с ним. Муж у нее был довольно старый, с бородой и в очках. Он на нее почти не обращал внимания и, вздыхая и почесывая голову, читал газету.

— О господи! — время от времени бормотал он себе под нос.

Оттавия, четырнадцатилетняя служанка с толстой растрепанной косой, держа на руках младенца, говорила, стоя в дверях:

— Обед на столе, синьора.

1. Книга Екклесиаста, 10:15. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Азалия натягивала чулки, зевала, долго смотрела на свои ноги, и мы садились за стол. Когда звонил телефон, Азалия заливалась краской, мяла салфетку, а из соседней комнаты доносился голос Оттавии:

— Синьора занята, она вам перезвонит.

После обеда муж возвращался на работу, Азалия снова ложилась в кровать и тут же засыпала. Во сне ее лицо становилось нежным и спокойным. Звонил телефон, хлопали двери, орали дети, а Азалия все спала, глубоко и ровно дыша. Оттавия убирала со стола и спрашивала меня испуганно, что будет, если "синьор" узнает. Но потом шепотом, с виноватой улыбкой, прибавляла, что у "синьора" тоже кто-то есть. Я уходила. До вечера сидела на скамейке в парке. В кафе играл оркестр, и мы с подругой смотрели, как одеты женщины, которые проходили мимо. Я видела Нини и Джованни, но они со мной не разговаривали. Уже потом мы встречались с ними за городом, на пыльной дороге, когда в домах позади нас зажигался свет, а оркестр в кафе играл веселее и громче. Мы шли полем вдоль реки, по берегу росли деревья. Мы подходили к дому. Я ненавидела наш дом. Ненавидела зеленый горький суп, который мать ставила перед нами каждый вечер, и ненавидела мать. Мне стыдно было бы встретиться с ней в городе, но она не ходила в город уже много лет и выглядела как крестьянка. У нее были седые растрепанные волосы, а во рту не хватало передних зубов.

— Ты похожа на ведьму, мама, — говорила ей Азалия, когда приходила домой. — Почему ты не вставишь себе зубы?

Потом ложилась на красный диван в столовой, скидывала с ног туфли и говорила:

— Кофе.

Выпив кофе, который приносила мать, и немного подремав, она уходила. Моя мать говорила, что дети — это отрава и рожать их не надо. Целыми днями она проклинала своих детей, то одного, то другого. Когда мать была молодая, в нее влюбился какой-то служащий и увез в Милан. Ее не было несколько дней, потом она вернулась. Она все время рассказывала эту историю, но уверяла, что уехала одна, потому что устала от детей, а про служащего выдумали в деревне.

— Лучше бы я не возвращалась, — говорила она и пальцами вытирала слезы.

Моя мать только и делала, что говорила, но я ей не отвечала. Никто ей не отвечал. Один Нини ей иногда отвечал. Он был не такой, как мы, хотя мы и выросли вместе. Несмотря на то, что Нини приходился нам двоюродным братом, внешне он не был на нас похож. Его лицо всегда оставалось бледным, не загорало даже от яркого солнца, на глаза спадала длинная челка. Он постоянно носил в карманах газеты и книги и читал без остановки, даже за едой, а Джованни назло сбрасывал на пол его книжку. Нини поднимал ее и продолжал читать, запустив пальцы в волосы. А патефон все повторял:

Бархатные ру-у-у-уки,
Душистые ру-у-у-у-ки...

Малыши играли и дрались, и мать приходила навесить им оплеух, а потом цеплялась ко мне: почему я сижу на диване, вместо того чтобы помочь ей мыть посуду? Тогда отец говорил ей, что нужно было меня

лучше воспитывать. Мать принималась рыдать и жаловаться, что все с ней обращаются как с собакой, отец снимал с вешалки шляпу и уходил. Он работал электриком и фотографом и хотел, чтобы Джованни тоже выучился на электрика. Но Джованни все делал по-своему. Денег никогда не хватало, и отец был вечно злой и уставший. Он приходил домой на минуту и снова уходил, потому что, как он говорил, это был не дом, а психбольница. Еще он говорил, что это не наша вина, и в том, что мы выросли такими, виноваты он и мать. Отец выглядел довольно молодо, мать его ревновала. Он бриолинил волосы и перед тем как одеться тщательно мылся. Его я не стыдилась, когда встречала в городе. Нини тоже пристрастился мыться и воровал у отца бриолин, но бриолин не помогал, и челка по-прежнему лезла ему в глаза.

Однажды Джованни мне сказал:

— А Нини граппу пьет.

Я с удивлением посмотрела на него.

— Граппу? И часто?

— При первой возможности, — ответил он, — даже домой притащил бутылку. Он ее спрятал, а я нашел. Он мне дал попробовать. Вкусная.

"Нини пьет граппу", — повторила я про себя растерянно. Я пошла к Азалии. Она была дома одна и, сидя за столом, ела салат из помидоров, заправленных уксусом.

— Нини пьет граппу, — сказала я ей.

Она равнодушно пожала плечами:

— Нужно же что-то делать, чтобы не умереть от скуки.

— Да, такая тоска. Почему бывает так скучно? — спросила я.

— Потому что жизнь — глупая штука, — ответила она, отодвигая от себя тарелку. — А что поделать? Все так быстро надоедает.

— Почему тебе всегда скучно? — спросила я Нини, когда вечером мы возвращались домой.

— Кому скучно? Мне? Ничего подобного, — сказал он и, рассмеявшись, взял меня за руку. — А тебе что, скучно? Почему? Ведь все замечательно.

— Что замечательно? — спросила я его.

— Все, — ответил он, — все. Все вокруг мне нравится. Часа два назад я с удовольствием гулял по городу, там красиво, но ведь здесь тоже красиво.

Джованни шел чуть впереди. Он остановился и сказал:

— Он теперь поступает на завод.

— Выучусь на токаря, — сказал Нини, — буду зарабатывать деньги. Мне нельзя без денег. Без денег плохо. Для хорошего настроения хватит и пяти лир в кармане. Когда нужны деньги, их воруют или зарабатывают. Дома нам этого никто не объяснил. Только и знают, что ругать нас, делать им больше нечего. Никто ведь нам не сказал: иди работай! А стоило бы!

— Если бы мне кто-то сказал: иди работай, я бы его пинками из дома вышиб, — сказал Джованни.

По дороге мы встретили сына доктора: он со своей собакой возвращался с охоты. Он подстрелил семь или восемь перепелок и две подарил мне. Это был крепкий, коренастый парень с черными усами. Он учился на медицинском в университете. Они с Нини о чем-то заспорили, а Джованни потом мне сказал:

– Наш Нини-то докторского сынка за пояс заткнет. Нини, он особенный, даром что не учился нигде.

Я была на седьмом неба от подарка Джулио, от того, что он посмотрел на меня и сказал, что хорошо бы нам как-нибудь вдвоем прогуляться в город.

Началось лето, и мне захотелось сшить себе что-нибудь новенькое. Я сказала матери, что мне нужна голубая материя, а она меня спросила: уж не думаю ли я, будто у нее мешок денег? Тогда я сказала, чтобы она еще купила мне туфли на пробковой подошве, что они мне позарез нужны, и добавила: "И на черта тебя только мать родила!" За это я получила пощечину и целый день проплакала, закрывшись в своей комнате. Деньги я попросила у Азалии. Она, в свою очередь, попросила меня сходить на виа Дженова, дом двадцать, к Альберто, узнать, дома ли он. Альберто дома не оказалось, о чем я и сказала, вернувшись, Азалии, и она дала мне деньги. Несколько дней я просидела дома за шитьем и почти забыла, как выглядит город. Когда платье было готово, я его надела и пошла гулять. Сын доктора тут же ко мне подошел, купил два пирожных, и мы пошли их есть в пиниевую рощу. Он спросил, что я делала все это время, запершись дома. Я ответила, что мне не нравится, когда люди суют нос в мои дела. Тогда он сказал, чтобы я не вредничала, попытался меня поцеловать, и я убежала.

По утрам я лежала на балконе, чтобы загорели ноги. Теперь у меня были туфли на пробковой подошве, платье и сумка из плетеной соломки, ее мне подарила Азалия за то, что я отнесла письмо на виа Дженова, дом двадцать. Мои лицо, руки и ноги покрылись загаром. До матери дошли слухи, что Джулио, сын доктора, в меня влюбился и что его мамаша устраивает ему из-за этого скандалы. Моя мать внезапно повеселела и подобрела, теперь каждое утро она приносила мне гоголь-моголь, потому что, как она говорила, я в последнее время какая-то не такая. Докторша со своей прислугой стояла у окна и, когда меня видела, захлопывала его, словно по улице ползла змея. Джулио ухмылялся, но от меня не отходил и продолжал говорить со мной. О чем он говорил, я не слышала. Я думала о том, что скоро этот крепкий черноусый парень в высоких сапогах, который свистом подзывает свою собаку, станет моим женихом, и тогда все девчонки в деревне лопнут от зависти.

***

Пришел Джованни сказать, что меня зовет Азалия. Я давно уже не была в городе. Я пошла к Азалии в своем голубом платье, туфлях на пробковой подошве, с сумкой, в солнечных очках. У нее в доме царил беспорядок, даже кровати были не убраны. Оттавия рыдала, прислонившись к стене, за ее юбку цеплялись дети.

– Он ее бросил, – сообщила она мне, – он женится.

Азалия в одной комбинации сидела на постели, у нее на коленях лежала пачка писем. Ее широко открытые глаза блестели от слез.

– Он женится в сентябре, – сказала она.

– Нужно все спрятать, пока синьор не вернулся, – сказала Оттавия, собирая письма.

– Нет, их надо сжечь, – произнесла Азалия, – сожгите их. Чтобы я их больше никогда не видела! Чтобы никогда не видела этого лица, этого глупого, злого лица! – простонала она, разрывая фотографию улыбающегося офицера, и стала кричать, плакать, биться головой о спинку кровати.

— Сейчас у нее начнутся судороги, — прошептала мне Оттавия. — Так несколько раз было у моей матери. Нужно смочить ей живот холодной водой.

Азалия не разрешила мочить себе живот и сказала, что хочет остаться одна и что мы должны позвать ее мужа: она должна ему во всем признаться. Стоило большого труда убедить ее не делать этого. Письма мы сожгли на кухне, в плите. Перед тем как бросить их в огонь, Оттавия читала мне отрывки, а дети разносили по всему дому кружащийся в воздухе черный пепел. Когда пришел ее муж, я ему сказала, что Азалия плохо себя чувствует, что у нее температура, и он пошел за врачом.

Домой я вернулась поздно вечером, и отец спросил, где я была. Ходила к Азалии по ее просьбе, ответила я, и Джованни подтвердил, что это правда. Может, и правда, сказал отец, но верится с трудом, тем более ему говорили, будто я гуляю с докторским сынком, и если это в самом деле так, он мне всю физиономию расквасит. Я ответила, что мне на это наплевать, я живу как хочу, но потом на меня нашла такая злость, что я грохнула об пол тарелку с едой. Я заперлась в комнате и ревела там часа два или три, пока Джованни не крикнул мне из-за стенки, чтобы я заткнулась и дала им спать. Но я все равно плакала, и тогда Нини подошел к моей двери и сказал, что, если я ему открою, он угостит меня шоколадными конфетами. Ему я открыла. Нини подвел меня к зеркалу, чтобы я посмотрела, как распухло у меня лицо. Он действительно дал мне шоколадных конфет и сказал, что ему подарила их невеста. Я спросила, какая она из себя, его невеста, и почему он мне ее не показал. Он ответил, что она с хвостом и крыльями, а в волосах у нее гвоздика. Я сказала, что и у меня есть жених, сын доктора.

— Прекрасно, — ответил он, но лицо у него было какое-то странное. Он поднялся, собираясь уходить.

Тогда я спросила, где он прячет граппу. Он засмеялся, покраснел и сказал, что такие вещи не для девушек.

На следующий вечер Нини не пришел домой, не появился он и назавтра, и через день, и через два дня. В конце концов, при всей своей рассеянности, даже отец заметил его отсутствие. На вопрос, куда запропастился Нини, Джованни ответил, что у Нини все хорошо, но пока он поживет отдельно. Отец сказал:

— Живут с нами, пока не надоест, а найдут что-нибудь получше — и до свидания! Все они одинаковые, эти дети, что свои, что чужие.

Джованни мне потом сказал, что Нини сейчас живет со своей красоткой, она вдова, но молодая, ее зовут Антониетта.

Тогда я пошла в город, мне захотелось разыскать Нини и проверить, правда ли это. Я нашла его в кафе, где они с Джованни ели мороженое. Я подсела к ним, мне тоже принесли мороженое, мы посидели немного, послушали музыку, и Нини заплатил за всех, как настоящий синьор. Я его спросила про вдову, правда ли это. Он сказал, да, правда, и пригласил меня как-нибудь зайти к ним, в их маленькую квартирку, где он жил с Антониеттой и двумя ее детьми, сыном и дочкой. Еще он рассказал, что у Антониетты есть писчебумажный магазин, а значит, и деньги водятся.

— Так ты теперь у нее на содержании? — спросила я.

— На содержании? С чего ты взяла? Я ведь зарабатываю. — И он сказал, что рабочим на заводе платят прилично и скоро он пошлет немного денег домой.

Я рассказала про Нини Джулио, когда мы курили в пиниевой роще.
– Как-нибудь зайду к нему.
– Нечего тебе туда ходить, – ответил он.
– Почему?
– Ты многого не понимаешь, ты еще слишком маленькая.

Я ответила ему, что никакая я не маленькая и моя сестра Азалия в семнадцать лет вышла замуж. Но он опять стал говорить, будто я чего-то не понимаю и будто девушке не следует ходить в дом, где люди живут как муж и жена, хотя и не состоят в браке. В тот вечер я вернулась домой в плохом настроении и, пока раздевалась, собираясь лечь спать, думала о том, что Джулио водит меня в рощу, только чтобы целоваться: столько времени прошло, а он так и не сделал предложения. А мне не терпелось выйти замуж, только я бы хотела и замужем сохранить свободу и жить в свое удовольствие, а с Джулио вряд ли у меня это получится. Скорее всего, он поступит так же, как поступил его отец, который запер жену в четырех стенах, потому что, по его словам, женщина должна сидеть дома. Вот она и превратилась в старую зануду: целыми днями сидит у окна и пялится на проходящий народ.

Не знаю почему, но мне стало так грустно, что я не вижу больше в нашем доме Нини, вечно уткнувшегося в свои книжки, не вижу его свисающей на глаза челки и старенького рваного плаща; не слышу его наставлений, что я, дескать, должна помогать матери, и все такое. И вот однажды я решила сходить к нему, назло Джулио. Было воскресенье. Для меня накрыли красивой вышитой скатертью стол, угостили чаем с пирожными. Вдова, Антониетта, очень мне обрадовалась и поцеловала в щеку. Нарядно одетая, накрашенная, она была светловолосая, с худыми плечами и расплывшейся талией. Ее дети тоже оказались дома, они делали уроки. Нини сидел возле радиоприемника, у него в руках больше не было книжки, как прежде, когда он жил у нас. Мне показали всю квартиру. В ней была уборная, спальня и повсюду стояли горшки с цветами. Здесь было намного чище и светлее, чем у Азалии. Мы поболтали о том о сем, и они меня пригласили заходить к ним почаще.

Нини проводил меня немного. Я спросила его, почему он больше у нас не бывает, сказала, что без него дома мне стало совсем тоскливо, и заплакала. Он сел со мной на скамейку, обнял меня и, гладя мои руки, попросил, чтобы я перестала плакать, иначе у меня потекут ресницы. Я ответила ему, что я не Антониетта и не раскрашиваю себе лицо, как клоун, поэтому ничего у меня не потечет, и вообще, шел бы он домой. Нини сказал, что мне надо найти работу и переехать в город, тогда мы будем вместе ходить в кино. Он сказал, что мне нужно зарабатывать себе на жизнь, чтобы быть независимой. Еще он сказал, чтобы я не забивала себе голову всякими глупостями, что скоро я выйду за Джулио и мы переедем в город, потому что Джулио тоже не нравится жить в деревне. Так мы и расстались.

***

Я рассказала Джулио, что ходила к Нини, но он не рассердился. Сказал только, что его огорчает, когда я делаю вещи, которые ему не нравятся. Я рассказала ему об Антониетте, о квартире, и он спросил, хотелось бы и мне иметь такую квартиру. Потом он сказал, что, когда сдаст летнюю сессию, мы поженимся, а раньше этого сделать нельзя, поэтому я не должна на него дуться.

— А я и не дуюсь, — ответила я.

Он предложил сходить завтра на Фонте-Ле-Маккье. Фонте-Ле-Маккье высоко, нужно в гору лезть, а я не люблю по горам лазить, да и змей боюсь.

— Да нет там никаких змей, — возразил он, — наберем ежевики, а если устанешь, остановимся и отдохнем.

Я притворилась, будто ничего не понимаю, и сказала, пусть с нами еще пойдет Джованни, но он ответил, что Джованни нам не нужен и мы должны побыть вдвоем наедине.

До Фонте-Ле-Маккье мы не дошли, потому что я уселась посреди дороги на камень и сообщила ему, что дальше никуда не пойду. Он, чтобы меня напугать, закричал, что видит змею. Вот она, вот, честное слово! Он ее видел, она желтая и вся извивается. Я ему сказала, чтобы он оставил меня в покое, потому что я до смерти устала и ужасно хочу есть. Он достал из дорожной сумки съестное, у него еще там была походная фляга с вином, и он поил меня им, пока я окончательно не одурела и не свалилась на траву. Тогда и случилось то, чего я ждала.

Когда мы спустились обратно, было уже поздно. Я чувствовала себя такой разбитой, что мне приходилось останавливаться на каждом шагу, а когда мы добрались до рощи, он сказал, что побежит вперед, потому что уже сильно опаздывает и его мать будет волноваться. Одним словом, он бросил меня одну, и я поплелась домой, спотыкаясь обо все камни. Уже совсем стемнело, у меня очень болела коленка.

На следующий день к нам зашла Азалия. Я ее немного проводила и рассказала, что произошло. Сначала она мне не поверила, думала, я перед ней хвастаюсь, а потом вдруг остановилась на секунду и спросила:

— Это правда?

— Чистая правда, Азалия, — ответила я, и тогда она велела повторить все с самого начала.

Азалия так испугалась и разозлилась, что оторвала от своего пояса пряжку. Она расскажет мужу, а муж все расскажет отцу, сказала она. А я сказала, пусть только попробует, если уж на то пошло, и мне есть что рассказать ее мужу. Мы поругались, а на следующий день я специально пошла в город, чтобы с ней помириться, но она уже успокоилась. Я застала ее за примеркой нового вечернего платья: она была приглашена на какое-то торжество. Я могу делать все что угодно, сказала Азалия, ее это больше не касается, в конце концов, этот докторский сынок ей совсем не нравится, уж больно он неотесанный. Уходя от нее, я встретила Джованни, Нини и Антониетту, и мы вместе отправились на реку купаться. Одна Антониетта не умела плавать, и она осталась сидеть в лодке. Чтобы ее напугать, я подплыла к лодке и притворилась, будто хочу ее перевернуть. Но потом мне стало холодно, я залезла в лодку и стала грести. Антониетта принялась рассказывать о своем муже, о его болячках, долгах, которые от него остались, адвокатах и судебных тяжбах. Мне было скучно ее слушать, да и выглядела она глупо: на голове шляпка, в руках сумочка, сидит, сжав колени, чинно, словно в гостях.

В тот же вечер ко мне в комнату пришел Джованни. Он признался мне, что влюбился в Антониетту и не знает, сказать об этом Нини или нет, не знает, что делать и что теперь будет. Засунув руки в карманы, он ходил из угла в угол по комнате, я нагрубила ему, сказала, что сыта по

горло всеми этими любовными историями и пусть Азалия, Нини и он оставят меня в покое.

— И на черта тебя только мать родила! — сказал он и ушел, хлопнув дверью.

***

Джулио сказал мне, что и ходить купаться на реку, и гулять в городе, и развлекаться мы должны только вместе. И вот мы поплавали, поели мороженого, а потом он привел меня в номер настоящей гостиницы. Эту гостиницу он знал, она называлась "Луна" и находилась в самом конце старой улицы. Судя по закрытым ставням и безлюдному палисаднику, поначалу можно было подумать, что это какая-то заброшенная вилла. Но в номере были умывальник и зеркало, а на полу ковер. Я рассказывала Азалии, как мы ходили в эту гостиницу, а она сказала, что это добром не кончится. С тех пор я Азалию видела редко, потому что она себе нашла нового любовника. Он был студентом без гроша в кармане, и Азалии очень нравилось покупать ему перчатки, ботинки и приносить еду.

Однажды вечером ко мне в комнату вошел отец. Он бросил на кровать плащ и сказал:

— Я ведь предупреждал, что расквашу тебе физиономию?

Он схватил меня за волосы и начал бить по щекам, а я кричала: "Помогите! Помогите!", пока на мой крик не прибежала мать с картошкой в фартуке.

— Что случилось, Аттилио, что такое? — спросила она отца.

— Вот, полюбуйся, этого нам только не хватало, — сказал ей отец и, весь белый, опустился на кровать и обхватил руками голову.

Я еле держалась на ногах: голова у меня кружилась, из губы текла кровь, на шее остались красные отметины. Мать хотела вытереть мне кровь, но отец схватил ее за плечо и вытолкнул за дверь, потом он и сам ушел, я осталась одна. Отцовский плащ все еще лежал на моей кровати, я схватила его и вышвырнула на лестницу. Когда все сели ужинать, я убежала из дома.

Ночь была ясная, звездная. От переживаний и холода меня трясло, губа продолжала кровоточить, в крови было платье и даже чулки. Я пошла по дороге в город. Я сама не знала, куда иду. Сперва я сказала себе, что пойду к Азалии, но там был ее муж, который тут же бы начал задавать мне вопросы и читать наставления. Поэтому я пошла к Нини. Они сидели за столом в гостиной и играли в какую-то настольную игру. Нини и Антониетта испуганно уставились на меня, дети разревелись. Я плюхнулась на диван и заплакала. Антониетта принесла какое-то лекарство — продезинфицировать рану на губе, потом дала выпить чашку ромашкового отвара и постелила мне на раскладушке в передней. Нини меня попросил:

— Объясни, что случилось, Делия.

Я ему сказала, что на меня набросился отец, чуть не убил до смерти за то, что я встречаюсь с Джулио, и пусть они найдут мне работу и помогут перебраться в город: дома я жить больше не могу.

Нини сказал:

— Сейчас раздевайся и ложись в постель, я потом приду и вместе подумаем, что делать.

Они все ушли, а я разделась и залезла под одеяло в сиреневой ночной рубашке Антониетты. Нини вскоре вернулся, присел рядом и сказал:

— Если хочешь, я найду тебе место на фабрике, где сам работаю. Поначалу тебе, конечно, будет трудновато, ведь ты такая большая и толстая, а с детства ни к какой работе не приучена. Ну ничего, постепенно привыкнешь. Если не удастся тебя на фабрику устроить, пойдешь к кому-нибудь в домработницы.

Я ему ответила, что не хочу идти в домработницы, лучше уж работать на фабрике, а еще лучше цветочницей: сиди себе на ступеньках перед церковью и цветы продавай. Он сказал:

— Не пори чепухи. Что ты сможешь продать, когда даже считать толком не умеешь?

Тогда я сказала, что выйду замуж за Джулио после летней сессии.

— Выкини его из головы, — ответил он и рассказал, что у Джулио в городе есть невеста и все об этом знают, та самая тощая девица, что на машине ездит. Я снова расплакалась, а Нини сказал, чтобы я спала, и принес еще одну подушку, чтобы мне было удобнее.

На следующее утро я оделась, и мы с ним вместе вышли. Было еще свежо, на улицах — ни души. Мы дошли до реки и сели на берегу, дожидаясь, когда ему пора будет идти на фабрику. Он мне сказал, что все мечтает поехать в Милан и найти работу на каком-нибудь большом заводе.

— Но сперва тебе нужно избавиться от Антониетты.

— Ясное дело, не потащу же я ее с собой вместе с ее магазином и двумя малышами.

— Значит, ты ее не любишь, — сказала я.

— Почему же? Люблю по-своему. Мы будем жить вместе, пока нам это не разонравится, потом разойдемся мирно, и прости-прощай.

— Тогда передай ее Джованни. Он ведь по ней сохнет, — ответила я ему, а он рассмеялся.

— Правда? В конце концов, она не такая уж и плохая. Немного капризная, но не злая. Но, впрочем, я никогда не был в нее влюблен.

— А в кого ты влюблен? — спросила я, и мне вдруг пришло на ум, что, возможно, этот кто-то — я. Нини посмотрел на меня весело и спросил:

— Разве обязательно быть в кого-то влюбленным? И помимо любви есть много всего интересного.

От холода у меня зуб на зуб не попадал, в своем легком платье я продрогла до костей.

— Ты замерзла, милая, — сказал он и, сняв пиджак, набросил его мне на плечи.

— Какой ты заботливый, — сказала я.

— А почему бы мне о тебе не позаботиться? — ответил он, — Ты такая несчастная, на тебя просто смотреть жалко. Думаешь, я не знаю, что ты окончательно запуталась с этим Джулио? Этого можно было ожидать, ведь я тебя хорошо знаю, да и Азалия мне рассказала.

— Это неправда, — попыталась возразить я, но он сказал, что уж лучше б я помолчала, ведь он меня знает как облупленную, да и глаза у него есть.

Прогудели фабричные гудки, и Нини сказал, что ему пора на работу. Он хотел оставить мне пиджак, но я отказалась, потому что боялась, вдруг встречу кого-нибудь и буду по-дурацки выглядеть в этом мужском пиджаке. Мы распрощались, и я его спросила:

— Нини, почему ты перестал приходить домой?

Он пообещал заглянуть завтра, в воскресенье. Потом вдруг быстро наклонился и поцеловал меня в щеку. Я стояла и смотрела, как он уходит своей неторопливой походкой, засунув руки в карманы. Я так удивилась, что он меня поцеловал. Раньше он никогда этого не делал. А потом я пошла медленно-медленно, я думала обо всем сразу: о Нини, который меня поцеловал, о Джулио, у которого в городе есть невеста, а он от меня это скрыл, и еще я думала: "Какие странные все-таки люди. Никогда не знаешь, что у них на уме". Потом я подумала, что дома опять встречусь с отцом и он, наверно, меня опять поколотит, и мне стало грустно.

Но отец не сказал мне ни слова, он делал вид, будто я для него пустое место и все остальные тоже. Только мать принесла мне кофе с молоком и спросила, где я пропадала. Джулио в деревне не было видно: то ли он на охоту отправился, то ли в город.

На следующий день пришел довольный Нини, ему не терпелось сообщить мне, что он нашел для меня место, но не на фабрике, там ему наотрез отказали, а у одной слегка тронутой старухи, которой нужен кто-то, кто гулял бы с ней во второй половине дня. Каждый день мне придется находиться в городе с обеда до вечера. Зарплата поначалу небольшая, в городе на нее самой не прожить, но потом, конечно, прибавят, пообещал Нини. Эта старуха была знакомая Антониетты, она меня ей и порекомендовала. В то воскресенье дома никого не было, мы с Нини так и пробыли все время одни. Лежа под увитым зеленью навесом, мы смогли спокойно поболтать о чем хотели, как на берегу реки.

— На реке все-таки было лучше, — сказал он мне, — приходи как-нибудь утром на реку, искупаемся вместе. Ты не представляешь, как здорово купаться рано утром. Совсем не холодно, и такое ощущение, словно родился заново.

Но я опять стала допытываться, в кого он влюблен.

— Отстань, — сказал он, — что ты меня мучаешь, мне сегодня так хорошо.

— Ну скажи мне, Нини, скажи, я никому не проболтаюсь.

— Да какая тебе разница? — спросил он и принялся учить меня, чтобы я хорошенько помылась и надела темное платье, когда пойду к старухе.

Я ответила, что у меня нет темного платья, и раз от меня столько всего требуется, то лучше уж я вообще никуда не пойду. Он разозлился и ушел, даже не попрощался.

***

К старухе я пошла в своем голубом платье. Она уже была готова и ждала меня в шляпке, с напудренной рожей. На прогулке я должна быть любезной, поддерживать разговор, сказала мне ее дочка, потом проводить ее домой и читать ей вслух газету, пока она не начнет клевать носом. Мы шли маленькими шажками, и старуха, опершись о мою руку, все время жаловалась на что-то. То она ворчала, что я слишком высокая и ей неудобно держать меня под руку, то говорила, что я слишком быстро иду. Еще она ужасно боялась переходить улицу и начинала так причитать и трястись, что все на нас оборачивались. Однажды мы встретили Азалию. Она тогда еще не знала, что я работаю, и изумленно уставилась на меня.

Возвратившись домой, старуха выпивала чашку молока, как обычно делают люди в ее возрасте, а я в это время читала ей газету. Спустя немного времени она начинала дремать, и я бежала домой. Настроение у меня было хуже некуда, и мне уже не нравился город с его магазинами. Один раз вечером я решила сходить к Нини на фабрику. Он заметил меня издали, и лицо его оживилось от радости. Но когда он подошел ближе – старая выцветшая шляпа, рваные сношенные башмаки, спадавшие с ног при ходьбе, когда я увидела, какой он усталый и грязный, то почувствовала неловкость и пожалела, что пришла. Он это заметил и обиделся и вдобавок разозлился, потому что я ему сказала, что мне до смерти надоела старуха.

Но когда мы пришли на реку, он понемногу успокоился и стал мне рассказывать о том, что нашел в столе Антониетты фотографию Джованни с дарственной надписью на обороте.

– Может, оно и к лучшему, – вздохнул он.

– К лучшему? Это почему же?

– А ты хотела, чтобы я переживал?

– Да ты холодный как рыба. Фу, даже противно!

– Пусть я рыба, а ты тогда кто? – он посидел, глядя на меня, а потом добавил: – Бедная ты девочка.

– Почему это?

– Правда, что он тебя водил в "Луну"?

– Кто тебе сказал?

– Мой мальчик-с-пальчик, – отшутился он. – Ты ведь ходила туда, и не один раз?

– Не твое дело, – сказала я.

– Бедная девочка, бедная девочка, – повторил он словно про себя.

Я разозлилась и закрыла ему рот рукой. И тогда он обнял меня и, повалив на землю, стал целовать мне лицо, уши, волосы.

– Нини, ты с ума сошел! Что ты делаешь? – бормотала я, мне было и страшно, и смешно.

Он распрямился, пригладил волосы и сказал:

– Видишь, какая ты... Всякий с тобой может поразвлечься.

– И сейчас ты хотел проверить, правда ли это?

– Нет, не думай так, я просто пошутил.

Джулио в тот вечер поджидал меня на улице.

– Где ты пропадал все это время? – спросила я его.

– Валялся с температурой, – ответил он и хотел взять меня под руку, но я сказала, чтобы он убирался и оставил меня в покое, потому что я узнала, что у него есть невеста.

– Какая еще невеста?

– Такая, с автомобилем.

Он громко расхохотался, хлопая себя по колену:

– Тебе наплели всякой ерунды, а ты и поверила. Не будь дурочкой, приходи завтра после обеда в рощу.

Я ответила, что в это время я занята, и рассказала ему про старуху.

– Тогда приходи утром, – предложил он.

Я отвернулась. Мне не хотелось, чтобы он на меня смотрел. Я боялась, что он догадается, что меня целовал Нини.

На следующий день в роще он все допытывался, кто мне сказал про невесту.

— У меня много врагов, — сказал он, — в этом мире столько ненависти.

Так он тянул из меня душу, пока я не призналась, что была с Нини.

— Встречу Нини, скажу ему пару ласковых, — пообещал он, а потом, чтобы позлить, стал насмехаться надо мной, что я вожу гулять старуху.

Я опять пошла на фабрику, чтобы повидаться с Нини. А он на меня накинулся: в доме у старухи Антониетте нажаловались, что я вечно опаздываю.

— На тебя нельзя рассчитывать, — сказал он. — Если будешь и дальше так себя вести, многого ты добьешься в жизни! Хорошо еще, что я не устроил тебя на фабрику.

Я ответила, что старуха меня уже достала и больше я к ней не пойду.

— Ну хоть до конца месяца доработай, чтобы тебе заплатили. А деньги отдашь матери: малышам нужно купить ботинки.

— Лучше я возьму их себе, — ответила я.

— Ну вот и умница. Думай только о себе, накупи себе разных тряпок, нацепи их и развлекайся. В конечном счете, меня это не волнует.

Нини не захотел идти на реку и направился к дому. Мы встретили Антониетту, которая закрывала магазин. Она была злая и сказала, что если бы знала, какая я, никогда бы меня не порекомендовала. Да и вообще, что я себе позволяю? К старухе опаздываю, ухожу раньше времени, а когда читаю газету, все время хихикаю и нарочно коверкаю слова. И, едва кивнув мне на прощание, она ушла с Нини. Домой я возвращалась усталая, в плохом настроении. Мне уже несколько дней нездоровилось, я чувствовала какое-то недомогание. Ничего не могла есть, и даже от запаха еды меня мутило.

"В чем дело? Может, я беременна? — подумала я. — Что же мне тогда делать?" Я остановилась. Меня обступила тишина, город уже скрылся из виду, а до нашего дома было еще далеко. Я стояла одна на пустынной дороге, сердце испуганно замерло в груди. Ведь есть же девочки, они ходят в школу, летом ездят на море, танцуют, смеются над всякими пустяками. Почему я не одна из них? Почему у меня не такая жизнь?

Войдя к себе в комнату, я зажгла сигарету. У этой сигареты был какой-то неприятный вкус. Я вспомнила, что и Азалия, когда ждала ребенка, не могла курить. Значит, точно, я беременна. Когда отец узнает, он меня убьет.

"Умереть, оно даже лучше, — подумала я, — потому что все разом закончится".

Проснувшись утром, я почувствовала себя увереннее. Светило солнце. Вместе с малышами я пошла к навесу собирать виноград. Потом пошла с Джулио прогуляться по деревне. В этот день была ярмарка, и он мне купил кулон, который приносит счастье. На меня то и дело накатывал все тот же страх, но я заставляла себя не думать об этом. Джулио я ничего не сказала. На ярмарке я немного отвлеклась: вокруг галдеж, в плетеных клетках кудахчут куры, мальчишки дудят в дудочки. Но потом я вспомнила, что Нини на меня обиделся, и подумала, что нужно сходить к нему помириться.

День был праздничный, к старухе идти не надо, у Нини тоже выходной на фабрике. Я столкнулась с ним у кафе, он как раз выходил. Нини больше на меня не сердился, даже спросил, не угостить ли меня чем-нибудь. Я отказалась, и мы пошли на реку.

– Давай помиримся, – сказала я ему, когда мы уже сидели на берегу.

– Давай. Но учти, я спешу, мне надо к Антониетте.

– А мне с тобой нельзя? Антониетта все еще злится?

– Да. Говорит, ты ее даже не поблагодарила за все, что она для тебя сделала. А еще она ревнует.

– Ревнует тебя ко мне?

– Да, к тебе.

– Вот здорово!

– Радуйся, глупая ты мартышка. Тебе ведь нравится кого-нибудь помучить. Мне пора идти, но ужас как не хочется, – он лежал на траве, закинув руки за голову.

– Тебе со мной хорошо? Лучше, чем с Антониеттой?

– Лучше... Намного лучше.

– Почему?

– Не знаю, но это правда.

– Мне тоже с тобой хорошо. Намного лучше, чем с остальными.

– Даже чем с Джулио?

– Даже чем с Джулио.

– В самом деле? – спросил он и рассмеялся.

– Сама не знаю, – ответила я, и мне захотелось, чтобы он меня опять поцеловал. Но вокруг было полно народу. Вдруг я увидела, что к нам приближаются Джованни и Антониетта.

– Так я и знал, что вы здесь, – крикнул Джованни, а Антониетта посмотрела на меня холодно-холодно и ничего не сказала. Нини вяло поднялся, и мы все вместе пошли в город.

Вечером Джованни сказал мне:

– Ты все-таки странная. Теперь у тебя один Нини на уме, ходишь за ним как привязанная, куда он, туда и ты.

Это правда, я теперь все время была с Нини. Каждый вечер шла встречать его на фабрику и не могла дождаться, когда снова его увижу. Мне с ним нравилось. Когда я была с ним, то забывала о своих страхах. Мне нравилось, когда он говорил и когда он молчал, нравилось, как он грызет ногти, задумавшись о чем-то. Мне хотелось, чтобы он меня поцеловал, но он никогда этого не делал. Мы сидели в отдалении друг от друга, он ерошил свои волосы, а потом говорил:

– Ну ладно, теперь иди домой.

А мне не хотелось возвращаться домой. Мне никогда с ним не было скучно. Мне нравилось слушать, как он рассказывает о книгах, которые прочитал. Я не понимала, что он говорит, но делала вид, будто мне все понятно, и кивала головой.

– Могу поспорить, что ты ничего не поняла, – говорил он, похлопывая меня по щеке.

***

Однажды вечером, когда я раздевалась, мне стало плохо. Пришлось лечь на кровать и ждать, пока пройдет. Я вспотела, меня бил озноб. У Азалии тоже так было, вспомнила я. Завтра скажу Джулио. Ему надо об этом знать. Что же нам теперь делать? Что ему делать? Неужели такое со мной и вправду могло случиться. Да, могло, и я это знала. Мне никак не удавалось заснуть: я откидывала одеяло, садилась на кровати, сердце

у меня колотилось. Что скажет Нини, когда узнает? Один раз я чуть было не рассказала ему, но мне стало стыдно.

Джулио я встретила утром на улице. Мы поговорили на ходу, потому что он отправлялся с отцом на охоту.

— Плохо выглядишь, — заметил он.

— Я всю ночь не спала, — ответила я.

— Может, подстрелю здоровенного зайца, — сказал он. — Так хочется поразмять ноги в лесу.

Он взглянул на низкие облака, плывущие в сторону холма.

— Заячий сезон, — сказал он.

В тот день я не пошла к старухе. Поболталась немного по городу, потом решила навестить Азалию, но не застала ее дома. Оттавия в кухне гладила белье. На ней был белый передник, туфли вместо тапок. Все менялось в доме, когда у Азалии налаживались дела. Даже дети казались потолстевшими. Оттавия, водя утюгом по бюстгальтеру Азалии, рассказала, что теперь у Азалии все хорошо, она очень довольна. Студент — не то что прежний. Никогда не забывает ей звонить, делает все, что она хочет, без ее разрешения не осмеливается даже навестить родных, живущих где-то в деревне. Главное, старается, чтобы "синьор" ничего не заметил. Нужно все время быть начеку. Она попросила меня дождаться Азалию и сказать ей, чтобы та вела себя поосторожней.

Я подождала немного, но Азалии не было, и я ушла. В это время Нини как раз заканчивал работу на фабрике. Но я поплелась домой. Шел дождь. Я промокла и тут же легла в постель, с головой забравшись под простыню. Матери я сказала, что плохо себя чувствую и есть не буду.

— Ты, наверно, простыла, — решила она.

На следующее утро она пришла ко мне в комнату, потрогала лоб и сказала, что у меня нет температуры и чтобы я вставала и помогла ей мыть лестницу.

— Я не могу встать, — ответила я. — Мне плохо.

— Ах вот, значит, как, — сказала она, — теперь ты больной прикидываешься. Если кто и заболеет, так это я. Работаю с утра да вечера на вас, рук не покладаю. Сяду за стол и даже есть не могу — так устала. Да ты только рада будешь, если я подохну.

— Говорю тебе, не могу я встать. Плохо мне.

— Что с тобой? — спросила мать, стягивая простыню с моего лица, чтобы заглянуть мне в глаза. — Уж не случилось ли чего?

— Я беременна, — ответила я.

Сердце у меня колотилось, впервые в жизни я поняла, что со страхом жду того, что сейчас сделает моя мать. Но она даже не удивилась. Спокойно присела на кровать, подоткнула мне под ноги одеяло.

— Ты уверена? — спросила она.

Я кивнула головой и заплакала.

— Не плачь, — сказала мать, — вот увидишь, все будет хорошо. А парень, он-то знает?

Я отрицательно помотала головой.

— Ты должна была ему сказать, дуреха. Ну ничего, мы все уладим. Я сама к ним пойду, они у нас попляшут, бесстыжие!

Она надела на голову платок и ушла. Немного погодя вернулась, раскрасневшаяся, в веселом настроении.

— Ну и семейка! Ни стыда ни совести, — сказала она мне, — да не на тех напали. Придется только немного подождать. Парень должен сперва сдать экзамены. Они так хотят. Лишь бы Аттилио выдержал, не сорвался. Но об этом уж я позабочусь. Можешь на свою мать положиться. А пока лежи, грейся.

Она принесла мне чашку кофе. Потом взяла ведро с водой и пошла мыть лестницу, я слышала, как она чему-то посмеивается.

— Знаешь, а мне этот парень нравится, — сказала она, вдруг снова входя ко мне в комнату, — а вот мамаша у него противная. Отец, тот сразу был на все согласный, сказал, готов отвечать за сына, ему, дескать, скандал ни к чему, даже поднес мне стаканчик. А мамаша устроила настоящий дурдом. Набросилась на сына так, будто убить его хочет. Раскудахталась, как курица. Да только меня не испугаешь.

"Моей девочке, — говорю я ей, — всего семнадцать. Суд на вас управу найдет". Она побелела, уселась на стул и стала тише воды ниже травы. А сын ее там стоял потупившись, на меня ни разу глаз не поднял. Доктор за всех один говорил. Умолял, чтоб я шума не поднимала, а то его положение пострадает. А сам все по ковру ходил туда-сюда, туда-сюда. Видала бы ты, какие у них ковры. А какой дом! Не дом, полная чаша.

Но я отвернулась от нее, как будто бы спать хочу, чтобы она ушла. В конце концов я действительно заснула и проснулась, когда вернулся отец. Я прислушалась: он говорил с матерью в их комнате, потом вдруг заорал.

"Сейчас придет и убьет меня", — подумала я.

Но он не пришел, а вместо него пришел Джованни.

— Нини спрашивал, почему ты вчера за ним не пришла. Он тебя сегодня будет ждать.

— Ты что, не видишь, я лежу? Мне плохо.

— У тебя, наверно, скарлатина, — сказал он. — Сейчас у всех скарлатина. У Азалии дети заболели. У тебя лицо скоро будет как земляника.

— У меня не скарлатина, — сказала я ему, — у меня другое.

Но он не спросил что. Посмотрел в окно и сказал:

— Куда это он?

Я тоже посмотрела в окно и увидела, как мой отец вышел на улицу.

— Куда он? Даже не поел, — сказал Джованни.

Ближе к вечеру пришла Азалия. Она вошла в комнату вместе с матерью.

— А у нас в мае появится малыш, — сказала ей мать.

Азалия промолчала, села с мрачным видом и сняла с шеи лисью горжетку.

— Мама много болтает, — сказала она мне, когда мы остались наедине, — нет никаких гарантий, что он на тебе женится. Папа к ним ходил, они так ругались, чуть до драки не дошло. Они ему предлагали деньги, чтобы он помалкивал, а тебя отправил рожать куда-нибудь подальше отсюда. А что касается свадьбы, там видно будет, сказали. Папа кричал, что они его опозорили, что он в суд пойдет, если Джулио не поклянется, что женится на тебе. Когда папа ко мне пришел, на нем лица не было. Я тебя предупреждала, что этим все кончится. Теперь тебе придется сидеть взаперти: по деревне уже пошли слухи. Точно никто ничего не знает, но уже что-то разнюхали. Поздравляю.

Вечером снова пришел Джованни. Теперь и до него дошло. Он зло посмотрел на меня и сказал:

— Нини еще ничего не знает.

— Я не хочу, чтобы ты ему говорил.

— Не бойся, не скажу, — ответил он, — думаешь, большое удовольствие рассказывать о том, что ты натворила. Ну ты и вляпалась! Еще неизвестно, женится он на тебе или нет. Во всяком случае, пока он уехал, куда — неизвестно. Говорят, он уже обручен. А вообще, пошла ты к черту со своим отродьем, наплевать мне на тебя.

Я привстала и запустила в него стакан, который стоял на тумбочке. Он стал орать, кинулся на меня с кулаками, но пришла мать, взяла его за шкирку и выставила за дверь.

Мать не хотела, чтобы я спускалась на кухню и в нижние комнаты, — боялась, что я столкнусь с отцом. Джованни ей сказал, что отец поклялся: если я попадусь ему на глаза, он меня из дома выгонит. А я и не думала вылезать из постели. Утром я надела платье, чтобы не было холодно, натянула чулки и опять улеглась под одеяло. Мне было плохо. И с каждым днем становилось все хуже. Мать приносила мне на подносе еду, но я не ела. Однажды вечером Джованни принес мне книгу.

— Это тебе от Нини, — сказал он. — Он тебя по три часа дожидается у фабрики. Говорит, уже много дней подряд. А я ему говорю: "Она болеет".

Я попробовала читать, но потом бросила. В той книжке двое убивают девушку и закрывают ее в сундуке. Я бросила, потому что мне стало страшно и потому, что читать я не привыкла. Читаю, а то, что раньше прочла, забываю. Я ведь не Нини. Мне без разницы, как проводить время. Я попросила принести мне в комнату патефон и слушала, как хриплый голос повторяет:

Бархатные руки-и-и-и,
Душистые руки-и-и-и...

Мужчина поет или женщина? Не разобрать. Но я привыкла к этому голосу, и мне нравилось его слушать. Новые песни мне слушать не хотелось. Мне вообще ничего нового больше не хотелось. Каждое утро я надевала одно и то же старенькое платье, все штопаное-перештопанное. Платья меня тоже больше не интересовали.

***

Утром в воскресенье, когда мать ушла в церковь, появился Нини, но меня не обрадовало, что он пришел. Радостный, улыбающийся, он стоял передо мной с букетом цветов, с которого капала вода, с мокрыми от дождя волосами, я смотрела на него, как будто в первый раз вижу.

— Дверь закрой, — сказала я со злостью.

— Я тебя испугал, ты спала? Вот тебе цветы, — сказал он, присаживаясь около меня. — Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше? Что с тобой? У тебя такое странное лицо.

— Мне плохо, — сказала я, догадавшись, что он еще ничего не знает.

— У тебя лицо стало худое, некрасивое, — сказал он мне. — Вредно сидеть все время взаперти. Тебе надо гулять. Я тебя каждый день жду около фабрики. Думаю, может, сегодня ей станет лучше и она придет. Ты придешь ко мне, когда выздоровеешь?

— Не знаю.

— Что значит "не знаю"? И что это за тон? У тебя испортился характер. Скажи мне, ты придешь или нет?

— Меня не выпускают из дома, — ответила я.

— Почему не выпускают?

— Потому что не хотят, чтобы я встречалась с Джулио. И с тобой тоже. Они не хотят, чтобы я встречалась с парнями.

— Ладно, — сказал он, — ладно.

И зашагал по комнате.

— Ты мне тут наврала воз и маленькую тележку, — сказал он вдруг, — нужно быть последовательной, если хочешь послать меня ко всем чертям. Как же тебе нравится мучить меня! Как же тебе нравится! Я работать не могу, у меня все из рук валится. Целыми днями только о тебе и думаю. Ты этого хотела, да? Хотела мне жизнь отравить? — он посмотрел на меня злыми блестящими глазами. — У тебя это получилось.

— Я вовсе не хотела, чтобы ты мучился, — ответила я и села на кровати. — Может быть, когда-то давно так оно и было, как ты говоришь, но сейчас мне все равно. Сейчас мне о другом нужно думать. У меня будет ребенок.

— Вот как? — сказал он, и мне показалось, что он не очень удивился. Но голос у него потух. Он положил мне руку на плечо.

— Бедная девочка. Бедная девочка. Что же ты будешь делать?

— Не знаю, — ответила я.

— Он на тебе женится?

— Не знаю. Ничего я не знаю. С ним говорили об этом. Может быть, он на мне женится, когда закончит учиться.

— А ты знаешь, что я тебя люблю?

— Да.

— Может, и ты меня когда-нибудь полюбишь, постепенно, — сказал он. — Но сейчас нет смысла об этом говорить. От этих разговоров становится еще больнее. Все кончено. Видишь, я здесь, рядом с тобой, но мне нечего больше сказать. Мне бы так хотелось сделать что-то, чтобы помочь тебе, но я чувствую только желание уйти и больше никогда о тебе не слышать.

— Тогда иди, — сказала я и расплакалась.

— Я так радовался, я говорил себе, что, может быть, и ты меня постепенно полюбишь. И мне то верилось в это, то становилось страшно оттого, что я тебя слишком сильно люблю. Я говорил себе: она меня никогда не полюбит, ей нравится только смотреть, как люди мучаются. Какие же мы были дураки, мы оба.

Мы помолчали немного. У меня по лицу текли слезы.

— Может, он на мне женится, когда закончит учиться, — сказала я.

— Да, может быть, он на тебе женится. В конце концов, я тебе не подхожу. Слишком уж из-за тебя настрадался. Разные мы с тобой — ты и я.

И он ушел. Я слышала, как он спускался по лестнице, как разговаривал в огороде с матерью. Мать поднялась ко мне в комнату рассказать, что видела в церкви семью доктора, но Джулио с ними не было. Доктор к ней подошел и сказал, что отправил Джулио в город на некоторое время. А потом спросил, не сможет ли она прийти поговорить.

— Дело сделано, — сказала она, и я расплакалась.

В тот день доктор пришел сам, они с матерью закрылись в столовой и говорили о чем-то почти два часа. Потом мать пришла мне сказать, чтобы я не унывала, потому что они обо всем договорились, свадьба будет в феврале. Раньше нельзя, потому что Джулио должен спокойно заниматься, без лишних волнений, так что до дня свадьбы мы не увидимся. Еще, сказал доктор, мне надо поскорее уехать из деревни, чтобы люди не судачили. Моя мать думала отправить меня к тетке, которая жила неподалеку — в деревне, расположенной выше по склону. Мать боялась, что я откажусь, и поэтому расхваливала мне эту тетку изо всех сил, словно забыла, что они уже много лет в ссоре из-за какой-то мебели. Она мне и огород перед домом расписала, что он большой и красивый, я смогу гулять там, сколько мне захочется.

— Ты сидишь все время дома, как в тюрьме. Мне тяжело видеть это. Но люди такие злые.

Потом пришла Азалия. Они с матерью стали обсуждать день, когда я должна буду уехать, и мать хотела, чтобы Азалия попросила мужа взять у себя на работе машину, но Азалия об этом даже слышать не желала.

***

В деревню к тетке я отправилась на телеге. Меня повезла мать. Уезжали мы задами, чтобы никто меня не увидел. Азалия отдала мне свое пальто, потому что моя одежда мне уже не лезла и в талии была тесной. К вечеру добрались. Тетка была очень толстая женщина с глазами навыкате. Она носила голубой хлопчатобумажный передник, а на шее у нее висели ножницы: она работала портнихой. Они принялись ругаться с матерью из-за денег, которые я должна платить, пока буду у нее жить. Моя двоюродная сестра Санта принесла мне поесть, разожгла камин, подсела ко мне и рассказала, что она тоже надеялась рано выйти замуж, впрочем, ей-то спешить некуда, сказала она, и стала громко и долго смеяться. Ее жених — сын деревенского подесты, они обручены уже восемь лет. Сейчас он служит в армии и шлет ей открытки.

Теткин дом был большой, с высокими, пустыми и холодными комнатами. Повсюду стояли мешки с кукурузой и каштанами, а с потолка свисали связки лука. Всего у тетки было девять детей, но кто-то умер, кто-то ушел. В доме осталась только Санта, младшая, ей было двадцать четыре года. Тетка терпеть ее не могла и орала на нее с утра до ночи. Если Санта и не вышла замуж, то только из-за тетки, которая под разными предлогами отказывала ей в приданом. Тетке нравилось держать ее при себе и все время мучить. Санта боялась свою мать, но каждый раз, когда речь заходила о свадьбе, о том, чтобы оставить ее, она плакала. Санта очень удивилась, что я не расплакалась, когда моя мать уехала.

Она плакала всякий раз, когда ее мать уходила в город по делам, даже зная, что до вечера она вернется.

В городе Санта была всего раза два или три, однако говорила, что в деревне жить лучше. Хотя ее деревня была хуже нашей: вонь от навоза, грязные дети на ступеньках — и больше ничего. В домах не было света, за водой ходили к колодцу. Я написала матери, что больше не хочу оставаться у тетки и чтобы она меня забрала отсюда. Моя мать писать не любила, и поэтому ответа я не получила, но она передала через одного че-

ловека, который торговал углем, чтобы я терпела и жила, где живу, потому что по-другому нельзя.

Так я там и осталась. Свадьбу собирались играть лишь в феврале, а сейчас был только ноябрь. С тех пор как я призналась матери, что у меня родится ребенок, моя жизнь стала какой-то странной: почему-то меня надо было вечно прятать, будто я стала чем-то постыдным, чего никто не должен видеть. Я думала о своей прошлой жизни, о городе, куда ходила каждый день, о дороге в город, по которой ходила зимой и летом столько лет. Я хорошо помнила эту дорогу, кучки камней, изгороди, неожиданно открывавшуюся реку, множество людей на мосту, который вел к городской площади. В городе люди покупали соленый миндаль, мороженое, разглядывали витрины. Там был Нини, который выходил с фабрики, там была Антониетта, ругавшаяся с продавцом, Азалия, поджидавшая своего любовника, чтобы, возможно, пойти с ним в "Луну". Но и город, и "Луна", и Нини – все это казалось таким далеким, что даже не верилось, будто это было. Я думала о Джулио, который учится в городе и мне не пишет и не навещает меня, словно не помнит обо мне, словно не знает, что мы должны пожениться. Я думала о том, что не видела его с того времени, как он узнал, что у нас будет ребенок. Что он говорил? Он был или не был доволен тем, что мы должны пожениться?

Я проводила дни, сидя в кухне у тетки, все с теми же мыслями в голове, каминными щипцами в руке, кошкой на коленях, чтобы было теплее, и шерстяным платком на плечах. Время от времени приходили на примерку женщины. Тетка, на коленях, с булавками во рту, ругалась из-за формы воротника и рукавов и говорила, что, когда здесь жила графиня, она, тетка, каждый день ходила работать к ней на виллу. Графиня давно уже умерла, виллу продали, но тетка лила слезы всякий раз, когда о ней рассказывала.

– Как приятно было держать в руках все эти шелка, кружева, – говорила тетка. – Графиня, бедняжка, так меня любила! Все говорила: "Элидочка ты моя, пока я жива, ты ни в чем не будешь нуждаться". Да только и сама она умерла в нищете: дети и муж спустили все.

Женщины посматривали на меня с любопытством, а тетка рассказывала им, что приютила меня из жалости, потому что мои меня из дому выгнали из-за несчастья, которое со мной приключилось. Одна из женщин было собралась прочесть мне проповедь, но тетка ее оборвала, сказав:

– Что было, то было, а там кто знает, как повернется. Сколько раз случалось, человек думает: ну, натворил я дел, а потом все выходит как надо. Это с виду она дурочка, а на деле вон какая хитрая! Подцепила богача и все так повернула, что придется ему на ней жениться. Уж кто действительно дура, так это моя дочка, которая крутит любовь со своим уж восемь лет, а все никак не сумеет его на себе женить. Говорит, это я виновата, приданого ей не даю. Пусть они ей приданое справляют, у них денег побольше моего.

– Вот приду к тебе когда-нибудь с пузом, то-то ты обрадуешься, – огрызалась моя двоюродная сестра.

– Только попробуй, я тебе покажу пузо! – отвечала ей тетка. – Все зубы тебе повыбиваю, поговори мне еще. Нет, виданное ли дело, в моем доме! Из девяти детей у меня пять девок, но, истинная правда, им не в чем меня упрекнуть, я все для них делала. Ну-ка повтори, что сказала,

чучело! — обращалась она к Санте. Санту разбирал смех, и женщины смеялись вместе с ней, даже тетка смеялась, они долго не могли остановиться.

Тетка была сестрой моего отца. Хотя она не бывала в нашей деревне с давних пор и я ее почти не помнила, она все про всех знала и говорила о каждом так, словно всю жизнь с ним вместе прожила. Азалию она недолюбливала, говорила, та слишком заносчива.

— Кого она из себя корчит? Меховую шубу зимой наденет и считает себя барыней. У графини этих шуб целых три было, так она, когда входила, слуге их бросала, словно тряпку рваную. Но я-то знаю, сколько они стоили. Я в мехах хорошо разбираюсь. У Азалии шуба кроличья. От нее кроликом несет за километр.

— Чудной этот Нини, — в другой раз говорила она, — он мой племянник, как и ты, но я его почти не знаю. Один раз встретились с ним в городе — поздоровался и тут же дальше пошел. А я ведь его нянчила, заплаты на штаны ему пришивала, а то он вечно ходил оборванный. Говорят, он с женщиной сейчас живет.

— Он на фабрике работает, — сказала я.

— Хорошо еще хоть один работает. У меня все дети работают, а у вас никто ничего не делает. И выросли-то как сорная трава, подумать страшно. Ты ведь сколько здесь живешь, ни разу за собой кровать не заправила. Сидишь целыми днями у камина, задрав ноги.

— Я себя плохо чувствую, — отвечала я, — очень плохо, мне нельзя переутомляться.

— Ей и правда плохо, посмотри на нее, — говорила Санта, — лицо кислое, все ей не так. Это мы двужильные, потому что в деревне живем, а она недалеко от города выросла.

— Ясное дело, она все время торчала в городе. С самого малолетства туда убегала, вот стыд-то весь и растеряла. Девушке не положено одной в городе, только с матерью. Хотя и мать у нее какая-то полоумная. Я ее еще девчонкой помню, тоже ни капли гордости.

— Но если Делия выйдет замуж, то будет лучше всех жить, — говорила Санта, — небось, зазнается, как Азалия.

— Да уж. Если она замуж выскочит, то будет как сыр в масле кататься. Но мы еще посмотрим, будет ли свадьба. Я-то ей только добра желаю, но кто знает. Будем надеяться.

— Когда ты выйдешь замуж, я пойду к тебе в горничные, — говорила Санта, когда тетки не было рядом, — если сама замуж не выйду. А если выйду, придется работать в поле до седьмого пота, ходить в платке и деревянных башмаках, ездить на осле, ведь мой жених — крестьянин, у них земли полно, не говоря уж о винограднике, и коровы есть, и свиньи. Так что и у меня всего будет хватать.

— Какая радость! Мне от одной мысли об этом плохо становится, — говорила я.

— А тебе чуть что, сразу плохо становится, — обижалась Санта, нарезая капусту для супа. — Винченцо я люблю, я бы за него все равно пошла, даже если бы он был нищий, оборванец и мне бы пришлось с ним голодать. А у тебя времени не было подумать, любишь ли ты, не любишь, тебе так и так замуж выходить, в твоем-то положении. Да еще всю жизнь благодарить, что женился. Я работы не боюсь, если рядом человек, который меня любит.

Ужинали мы прямо у плиты, держа миску на коленях. Я никогда не доедала. Тетка выливала остатки себе в миску.

— Если не будешь есть, родишь мышонка, — говорила она.

— Я темноты боюсь. Когда темнеет, я от страха есть не хочу — здесь как в могиле.

— Ах, значит, ты без электричества есть не можешь? Такого я еще не слыхала. Электричество ей, видите ли, подавай.

После ужина Санта с теткой брали в руки спицы. Они вязали фуфайки. Меня клонило в сон, но я сидела с ними, потому что мне было страшно подниматься одной по лестнице. Мы все трое спали в одной постели, в комнате под чердаком. Утром я вставала последней. Тетка спускалась кормить кур, Санта причесывалась и рассказывала мне о своем женихе. Я наполовину спала, наполовину слушала, просила ее почистить мне туфли. Она чистила мои туфли, боясь, как бы не вошла тетка (потому что тетка не хотела, чтобы я заставляла кого-то себе прислуживать), и продолжала рассказывать мне свои истории. Она говорила:

— Меня зовут Санта, святая, но я вовсе не святая.

Она говорила, что она не святая, потому что жених ее обнимал, когда приезжал в отпуск, и они вместе гуляли.

Я несколько раз выходила в огород, потому что тетка говорила, что беременная женщина не должна все время сидеть. Она выпихивала меня насильно. Огород был обнесен стеной, на улицу вела деревянная калитка. Но я никогда эту калитку не открывала. Деревня и из окна нашей комнаты была видна, ничего интересного там не было. Так я и ходила: от калитки к дому, от дома к калитке. С одной стороны подпорки для помидоров, с другой — грядки с капустой. Приходилось смотреть под ноги, чтобы ничего не растоптать.

— Осторожно, там капуста! — кричала тетка, высунув голову из окна.

В огороде лежал снег, и у меня мерзли ноги. Какой сегодня день? Какой месяц? Что сейчас дома? Джулио все еще в городе? Я ничего не знала. Знала только, что тело мое росло, росло, и тетка уже дважды расставляла мне платье. И чем больше раздавалось, округлялось мое тело, тем меньше, измученнее и некрасивее делалось лицо. Я постоянно смотрелась в зеркало комода. И так странно было видеть, как изменилось мое лицо.

"Даже и лучше, что никто меня не видит", — думала я, но все равно было обидно, что Джулио мне не написал, ни разу не приехал навестить.

***

А вот один раз меня навестила Азалия. Она приехала после обеда. На ней была ее знаменитая шуба и очень странная шляпка с тремя перьями спереди. На кухне Санта учила девочек вязать крючком. Азалия, ни на кого не глядя, поднялась по лестнице и сказала мне, что хочет поговорить со мной наедине. Она открыла первую попавшуюся дверь, а там тетка легла вздремнуть, в нижней черной рубашке, с седой косой за спиной. Узнав Азалию, тетка переполошилась, вскочила и принялась осыпать ее комплиментами, словно забыв все, что сама же про нее говорила. Она хотела спуститься сварить ей кофе, но Азалия очень сухо ответила ей, что не хочет кофе и что ей нужно со мной поговорить на-

едине и сразу же ехать обратно. Тетка ушла, мы остались вдвоем, и Азалия начала спрашивать меня, очень ли мне здесь плохо.

— Как тебя разнесло! — сказала она мне. — Боюсь, к тому дню, когда тебя поведут в церковь, ты будешь похожа на шар.

Она рассказала, что еще раз приходил отец Джулио и предлагал деньги, чтобы и разговора больше не было про свадьбу. В доме началось светопреставление, и он испугался, стал уверять, что его неправильно поняли и он, наоборот, очень даже рад. Потом она сказала, что после свадьбы я останусь у тетки еще на какое-то время, пока не рожу, чтобы у нас в деревне поменьше болтали. И еще сказала, что мать Джулио — старая скряга, которая морит голодом прислугу и каждый день пересчитывает простыни, боится, как бы их у нее не украли, так что, если мне придется с ней жить, завидного мало.

— Но Джулио сказал, что мы будем жить в городе одни.

— Ну если одни, то хорошо, потому что, если с ней, крови она тебе попортит.

— Скажи Джованни, чтобы он меня навестил, — попросила я ее.

— Я ему передам, но не знаю, соберется ли он. У него женщина появилась.

— Антониетта?

— Не знаю, как ее зовут. Какая-то блондинка, с ней раньше Нини жил. Ходят в обнимочку по главной улице. Старуха! Что он в ней нашел?

— И Нини скажи, чтобы заехал, а то скучно.

— Нини давно уже не видно. Скажу, если встречу. Я еще приеду как-нибудь в другой раз, только не знаю когда, времени совсем нет. Он меня ни на минуту не оставляет в покое. Все время приходит, свистит под окнами, знаки мне подает. Просто скандал!

— Это все тот же студент? — спросила я.

— А ты что думаешь, я их каждый месяц меняю? — ответила она обиженно, застегивая перчатки. — Ну, я пошла, пока, — и, обняв, чмокнула меня в щеку.

Я удивилась и тоже поцеловала ее в холодную напудренную щеку.

— Пока, — повторила она, спускаясь по лестнице.

Я видела, как она твердой походкой шла по огороду, а за ней бежала тетка.

Тетка позвала меня есть оладьи. Она все никак не могла прийти в себя после визита Азалии. Она сказала мне, что попросила у Азалии старые туфли для Санты и для себя. Азалия обещала привезти их в следующий раз. Оладьи пахли жиром, и меня от них затошнило. Визит Азалии нагнал на меня тоску. Я жалела, что через нее попросила Нини приехать. Что будет, если он действительно приедет? Теперь я не такая, как была, сама на себя не похожа. Раньше я легко взбегала по лестнице, а сейчас походка стала тяжелой, звук моих шагов разносится по всему дому.

Джованни приехал повидаться со мной через несколько дней. На мотоцикле, ему друг одолжил. Первым делом продемонстрировал мне часы. Сказал, что купил их на комиссионные.

— Что это такое, "комиссионные"? — спросила я.

Он объяснил, что один тип поручил ему продать грузовичок. Раз плюнуть — и у него в кармане двести лир.

– Пусть такие идиоты, как Нини, гнут спину по восемь часов в день на фабрике. Тут деньги сами в руки плывут. Просто нужно уметь зубы заговаривать. Нини всегда урабатывается до полусмерти, в воскресенье отсыпается целый день. Да и пить он стал еще сильнее.

– Ты его часто видишь? – спросила я.

– Редко. Я теперь в другом месте живу, – ответил он.

– Ты больше не с Антониеттой?

– Нет.

Я хотела еще расспросить его про Нини, но он опять стал говорить про деньги, про проданный грузовик и еще про какие-то комиссионные, которые он, даст Бог, вот-вот получит. Он сидел в кухне, помогал Санте чистить каштаны и все хвалился, рассказывал о комиссионных и о том, что думает купить мотоцикл, когда у него будет достаточно денег. Санта пошла в церковь на благословение, и мы остались в кухне вдвоем.

– Тебе хорошо здесь? – спросил он меня.

– Скучно, – ответила я.

– Джулио в городе. Мы его с Антониеттой встретили в кафе. Он подсел к нам и заплатил за выпивку. Сказал, что до смерти устал учиться и ему некогда тебе написать.

– Нини там тоже был? – спросила я.

– Его не было. Они с Антониеттой последнее время жили как кошка с собакой. Антониетта говорит, что ругал ее на чем свет стоит, а потом взял и совсем ушел. Теперь он живет один в комнате, где повсюду навалены книжки, и когда возвращается с фабрики, утыкается в них носом, читает и пьет. Если прихожу я, он прячет бутылку. Даже жрать себе не покупает. Превратился в такую свинью, что смотреть страшно. Антониетта послала меня отнести ему книги, которые он оставил у нее.

"Я ее тебе дарю, Антониетту, – он мне сказал, – занимай мое место, живи с ней, тебе там будет лучше, чем дома. Готовит Антониетта хорошо, жаркое у нее – пальчики оближешь".

– К ней, значит, пойдешь?

– Я ж не дурак, – сказал он мне, – если я к ней пойду жить, все кончится тем, что она меня на себе женит. Я с ней, пока она мне нужна, а потом брошу ее, как Нини. Во-первых, когда она ненакрашенная, сразу понятно, сколько ей лет. А потом, она постоянно жалуется, мне надоело ее слушать.

Он остался на ужин и напугал Санту историей о призраке, который появляется на улице ночью. Я вышла с ним в огород.

– Прощай, – сказал он, усаживаясь на мотоцикл, – не грусти. Когда у тебя спереди больше не будет этого арбуза, свожу вас с Антониеттой в кино. Столько картин интересных! Я часто хожу, потому что хозяин кинотеатра – знакомый Антониетты, он нам скидку делает, – и уехал со страшным грохотом, оставив за собой облако дыма.

Тетка и Санта все продолжали говорить о призраке, весь вечер о нем говорили, и еще о монахе, который всегда появляется у фонтана и которого Санта однажды видела. Даже на меня страху нагнали. Лежа в кровати, я никак не могла заснуть и все думала о монахе. Я попробовала разбудить Санту, потянув ее за руку, но она что-то пробормотала и повернулась на другой бок. Я встала и босая подошла к окну. Я думала о Нини, который пьет в своей комнате, челка у него вся взъерошена, и он быстро убирает бутылку, когда входит Джованни. Мне захотелось пого-

ворить с Нини, рассказать ему, что я боюсь монаха и призраков, услышать в ответ, как когда-то, его смех, его шутки. Но, может, он уже разучился шутить? Может, он больше не смеется и помешался от питья? Мне захотелось плакать, и я, стоя посреди комнаты в одной рубашке, закрыла лицо руками и заплакала навзрыд. Тетка проснулась, вскочила с кровати, зажгла свечу и спросила меня, что случилось. Я ей ответила, что мне страшно. Она сказала, чтобы я не валяла дурочку, легла в постель и заснула.

Приехал на побывку жених Санты, высокий красномордый парень, он стеснялся разговаривать. Санта спросила меня, нравится ли мне ее жених.

— Нет, — ответила я.

— Наверно, тебе только усатые нравятся, — сказала она.

— Нет, — ответила я, — мне и без усов нравятся, — и я снова подумала о Нини, и мне так захотелось быть с ним, подальше от Санты и тетки, лежать на берегу реки, в голубом платье, которое у меня было летом. Мне так хотелось знать, любит ли он еще меня. Хотя сейчас я стала такая некрасивая и смешная, что постыдилась бы ему показаться на глаза. Мне даже перед женихом Санты было стыдно.

***

Санта на меня разозлилась, потому что я сказала, что мне не нравится ее жених, и несколько дней со мной не разговаривала. Когда мне понадобилась ее помощь, чтобы вымыть голову, я сама ее позвала и попросила прощения. Санта нагрела воды, принесла ее мне, поцеловала меня, растрогалась и сказала, что, когда я уеду, ей трудно будет привыкнуть, что меня нет рядом. И что она хочет, чтобы я обещала ей как-нибудь написать.

Светило неяркое солнце, я села в огороде с полотенцем на плечах, чтобы высушить волосы. Вдруг калитка открылась и вошел Нини.

— Привет, как ты? — сказал он.

Он был все такой же, в том же плаще, в той же помятой шляпе, шарф замотан вокруг шеи, но вид у него был потерянный и неопрятный, я не знала, о чем с ним говорить. И еще мне не нравилось, что он видит, во что я превратилась. Он предложил мне выйти за калитку и погулять по улице, потому что у него не было желания разговаривать с теткой. Я сняла с плеч полотенце и пошла за ним на улицу. Мы немного походили среди голых виноградников по твердому и холодному снегу.

— Сам-то ты как? — спросила я.

— Плохо, — ответил он. — Ты в феврале выходишь замуж?

— Да, в феврале.

— Джулио часто к тебе приезжает?

— Нет. Он вообще ко мне не приезжал.

— И ты переживаешь из-за того, что он у тебя не бывает?

Я промолчала в ответ, а он встал передо мной, пристально глядя мне в глаза.

— Да нет, ты ни капли не переживаешь. Тебе и до него никакого дела нет. Ты, должно быть, довольна. Мне бы радоваться, а я места себе не нахожу. Какие же все это глупости. Было бы из-за чего мучиться.

Он снова замолчал, ожидая, что я что-нибудь отвечу.

— Ты знаешь, что сейчас я живу один?

– Да, знаю.

– Одному хорошо. Целыми днями ни с кем словом не переброшусь. Ухожу с фабрики – и сразу к себе в комнату, там у меня книги, никто не приходит, не надоедает.

– Хорошая у тебя комната? – спросила я.

– Какое там...

Я поскользнулась, и он поддержал меня.

– Может быть, тебе интересно, влюблен ли я в тебя? Нет, думаю, что уже не влюблен.

– Очень рада, – сказала я. Но это было неправдой, и мне стало так грустно, что я еле удержалась, чтобы не разреветься.

– Когда я приходил к тебе в последний раз и мне сказали, что ты болеешь, я хотел спросить, выйдешь ли ты за меня. Не знаю, как мне в голову пришла такая глупость. Ты бы, конечно, ответила "нет", посмеялась бы или рассердилась, но тогда бы я так не мучился. Я страдаю оттого, что знаю: у тебя будет ребенок. Ты, с этим лицом, с этими волосами, с этим голосом, родишь ребенка и будешь его, наверно, любить и, наверно, постепенно изменишься, станешь совсем другой. А я? Тебе до меня не будет никакого дела. Моя жизнь останется прежней, я так и буду ходить на фабрику, купаться летом в реке, читать свои книги. Когда-то я был всем доволен, мне нравилось смотреть на женщин, нравилось болтаться по городу, покупать книги, – в общем, я думал о стольких вещах, и мне казалось, что я умный. Я был бы рад, если бы у нас с тобой был ребенок. Но я ни разу тебе не сказал, как тебя люблю. Я тебя боялся. Вот ведь глупость какая. Не плачь, – сказал он, увидев на моих глазах слезы. – Я злюсь, когда вижу, что ты плачешь. Я ведь знаю, что тебе на меня наплевать. Просто у тебя глаза на мокром месте.

– Но ведь и тебе теперь на меня наплевать, – сказала я.

– Нет, – ответил он.

Начало темнеть. Нини проводил меня до калитки.

– Прощай, – сказал он. – Зачем ты меня сюда позвала?

– Затем, что хотела тебя видеть.

– Хотела видеть, до чего я докатился? Да, хорош я стал, – сказал он, – совсем спился.

– Ты и раньше пил.

– Не как сейчас. Я тебе соврал. Я сказал, что не люблю тебя. Это неправда. Я еще тебя люблю.

– Даже сейчас, когда я такая страшная? – спросила я.

– Да, – сказал он и рассмеялся, – ты и вправду стала страшная. Ладно, мне пора. Прощай.

– Прощай, – сказала я.

Войдя в кухню, я застала Санту в слезах: Винченцо, когда уезжал, сказал ей, что его семья не разрешает ему на ней жениться. Они хотели, чтобы у него была другая невеста, с деньгами. Он обещал Санте, что все равно на ней женится, а тетка сказала: как же, держи карман шире. Потом она спросила, где я была. Я ответила, что ходила гулять с Нини.

– А, с Нини. Мог бы зайти поздороваться. Я ведь при его матери была, когда она умирала.

Санта отказалась ужинать.

– Ты просто дура, – сказала ей тетка. – К чему эта спешка со свадьбой? Дома у тебя есть все, что нужно. А замуж выйдешь, так начнется:

тут тебе и дети орут, и муж — возьми да обслужи, и свекор со свекровью кровь из тебя пьют. Ну пошла бы ты за Винченцо — мотыжила бы да жала в поле с утра до вечера. Крестьяне — они крестьяне и есть. Узнала бы ты, почем фунт лиха. Ты, девка, жизни не знаешь. Чем тебе плохо жить в доме с родной матерью?

— Да, ну а потом? — спросила Сандра, рыдая.

— Потом? Потом, то есть когда я умру? Не слишком ли торопишься увидеть меня в гробу? Я назло тебе девяносто лет проживу! — заорала тетка, швырнув ей в голову четки.

Санта вытирала слезы, а тетка тем временем продолжала:

— Вот с твоей двоюродной сестрой дело другое, с ней случилась беда. Ты-то со мной никогда такой штуки не выкинешь?

— Нет-нет, клянусь тебе.

— Уж я надеюсь. У меня в доме таких вещей отродясь не видывали. Но, как говорится, иной раз и на старуху бывает проруха. Если бы Делия была моей дочерью, я бы отвесила ей сегодня пару оплеух. Куда годится гулять с парнем в твоем-то положении, — сказала она мне, — как ты с Нини сегодня? Не важно, что вы вместе выросли. Не всем ведь это известно.

Я ей не ответила и принялась утешать Санту:

— Не отчаивайся, после того как я выйду замуж, найду и тебе мужа.

— Ну-ну, — сказала тетка. — Тебе самой пока рано радоваться. Мне сказали, что твой-то и не думает жениться на тебе, все разгуливает с какой-то барышней. Я это от многих слышала — значит, правда. Да и, в конце концов, почему он тебя не навестил ни разу? Все приходили, даже твой полоумный Нини приходил, а вот его здесь не было.

— Он должен учиться, — ответила я ей.

— Ну, не знаю. Говорю то, что слышала. Его видели с какой-то барышней, так мне сказали. Ты тут, дурочка, сидишь, ждешь, когда он придет и женится на тебе, а он, небось, и думать о тебе забыл.

— Неправда!

— А что бы тебе самой не пойти и не спросить у него, правда это или неправда? Пойди скажи ему, что он должен жениться на тебе теперь, когда тебя испортил, а если нет — поднимешь скандал. Мужиков надо напугать. Станет как шелковый, когда окажется с младенцем на руках и должен будет зарабатывать вам на жизнь. Потому что отец тебя больше в дом не пустит, я тебя уверяю.

Она ушла, и я осталась вдвоем с Сантой. Санта мне сказала:

— Какие мы несчастные, — и хотела обнять меня, чтобы вместе поплакать, но я не захотела. Я убежала к себе в комнату и закрылась на ключ. Я не плакала и молча смотрела в темноту.

Я думала, что он прав в том, что не хочет жениться на мне. Потому что теперь я стала такая страшная, и это сказал даже Нини. И потом, я Джулио не любила, он мне был совершенно безразличен.

"Лучше бы мне умереть, — подумала я. — Дура я несчастная, сама не знаю, чего хочу". Ну, может быть, только одного я хотела: стать такой, как прежде, носить голубое платье и каждый день убегать в город, искать там Нини и видеть, что он в меня влюблен, ходить с Джулио в рощу, но не ради замужества, а просто так. Однако все это кончилось и не может начаться заново. Да и когда моя жизнь была такой, я только и делала, что думала, как мне скучно, и ждала чего-то другого, надеялась,

что Джулио на мне женится и я смогу уйти из дома. Сейчас я не хотела больше выходить за него и вспоминала, сколько раз я скучала, слушая его разговоры, и сколько раз он меня раздражал.

"Но это уже не важно, — думала я, — все равно мы должны пожениться, а если он не захочет, моя жизнь навсегда будет загублена".

Когда на следующий день приехала моя мать, у меня был жар, как сказала ей тетка, я простудилась, потому что гуляла допоздна с Нини. В комнате было слишком холодно, и я сидела на кухне на своем обычном месте, чуть ли не засунув ноги в огонь. У меня стучали зубы, и я пожаловалась, что меня лихорадит. Мои мысли путались, и я плохо понимала, что говорит мать. Мать рассказывала, что опять была сцена между Джулио и моим отцом, потому что Джулио сказал, что ребенок, может, и не от него.

— Если бы ты вечно не таскалась повсюду, нам бы не пришлось такое выслушивать, — сказала мне мать.

— Правильно, — вмешалась в разговор тетка, — даже вчера пошла гулять с Нини, простудилась, и теперь у нее температура. Мне-то все равно, плохо только, что она у нас живет. А что, если дурная слава и к моей дочке прилипнет, кто ее от этой грязи отмоет?

Но я сказала, чтобы они все убирались и оставили меня в покое, потому что у меня все тело ломит. Тетка сказала матери, что я должна поговорить с Джулио, не передумал ли он, и мать тоже сказала, что я должна с ним поговорить и что он мне оставил свой адрес в городе, который держал от служанки в секрете. Потом она побежала на улицу, чтобы успеть домой до возвращения отца, потому что отец не хотел, чтобы она меня навещала, и сказал, что, даже умри я, он знать об этом не хочет.

***

И вот однажды, уже поправившись, я собралась в город, взяла деньги, которые мне оставила мать, узелок со сладостями, которые приготовила тетка (она хотела, чтобы я угостила ими Джулио), но эти сладости я отдала одной женщине, с которой ехала в почтовом фургоне. И пока я ехала, я только и думала, что о городе, которого уже сто лет не видела, и еще мне нравилось смотреть в окно, смотреть на людей, которые садились в фургон, и слушать, о чем они разговаривают. Все лучше, чем сидеть на кухне. Когда я оказалась среди людей, которые не знали ни меня, ни того, что со мной приключилось, грустные мысли куда-то исчезли. Мне стало весело оттого, что я вижу город, его портики, главную улицу; я высматривала, нет ли там случайно Нини, но в это время он должен был работать на фабрике. Я купила себе чулки и духи, которые назывались "Ноктюрн", а потом деньги у меня закончились. И тогда я пошла к Джулио. Хозяйка дома, с усиками, при ходьбе приволакивавшая ногу, мне сказала, что он спит и она не решается его потревожить, но, если я подожду немного, он проснется. Она отвела меня в гостиную, открыла ставни, села со мной и начала рассказывать о своей ноге, которая распухла после того, как она свалилась с лестницы. Она рассказала мне о лечении и о деньгах, которые на него уходили. Когда она вышла, чтобы открыть дверь молочнику, я быстренько сняла чулки и стала натягивать те новые, которые купила, а другие, рваные, свернула и засунула в сумку. И снова уселась ждать, когда хозяйка придет и позовет меня. Тут из своей комнаты вышел Джулио — босой и такой заспанный, что не

сразу понял, кто я такая. Потом он принялся искать галстук и пиджак, а я листала его книги на столе, но он мне сказал, чтобы я ничего не трогала.

— С чего это ты явилась? — спросил он. — У меня полно дел, мне некогда терять время. А потом, что скажут здесь, в доме? Придется объяснять, кто ты такая.

— Скажи, что мы должны пожениться, — ответила я ему, — или ты не хочешь, чтобы мы поженились?

— Боишься, что я сбегу? — спросил он со злостью. — Успокойся, теперь не сбегу.

— Слушай, — сказала я так спокойно и тихо, что мой голос показался мне чужим. — Слушай, я знаю, что я тебе безразлична. Ты мне тоже безразличен. Но ты должен на мне жениться, потому что, если нет, я брошусь в реку.

— О, — сказал он, — ты это прочитала в каком-то романе.

Но он немного испугался, велел, чтобы я не говорила больше таких глупостей, и крикнул хозяйке, чтобы та сварила кофе. После того как я выпила кофе, он унес чашки, закрыл дверь на ключ и сказал, что вместо того, чтобы болтать, мы можем провести время и получше.

Когда я увидела в окно, что уже стемнело, то сказала, что мой почтовый фургон, наверно, ушел, тогда он посмотрел на часы и сказал, чтобы я быстро одевалась, — может, еще успею.

— А куда мне тебя на ночь девать? — сказал он. — Здесь тебе нельзя оставаться, хромая по всему городу разнесет.

На остановке он разозлился на меня, потому что я не могла найти билет, а потом в спешке уронила сумку, и из нее вывалились чулки, которые я сняла в гостиной. Он мне сказал:

— Ну, ты как всегда. Никогда не научишься жить как люди.

***

Ночь перед свадьбой я проплакала, и, чтобы это было незаметно, тетка заставила меня два часа сидеть с холодными тряпками на глазах. Потом мне вымыли яйцом волосы и намазали кремом руки, потому что они были красными и потрескавшимися. Это был крем, которым всегда пользовалась графиня. Стоило со мной кому-нибудь заговорить, я начинала реветь и выглядела жалкой с еще мокрыми, торчащими во все стороны волосами, с глазами, опухшими от слез, и трясущимися губами.

Утром приехали на повозке отец с матерью, а чуть позже пришли пешком двое малышей в надежде поесть чего-нибудь вкусного. Но они были такие замызганные, что тетка не позволила им идти в церковь. Джованни не было, потому что он уже поехал в город, а Азалия была на море с детьми, выздоравливающими после болезни. Мне она написала письмо, в котором давала понять, что была там с любовником и у нее не было желания возвращаться. Потом приехали Джулио и его отец. Джулио меня не узнал из-за длинного пальто, перчаток, которые я держала в руке, и начищенных ботинок. Тетка одолжила стулья у соседей, потому что из ее стульев лезла солома.

В церкви я не поняла ни слова из того, что говорил священник. Мне было до смерти страшно; неожиданно от тревожного волнения и запаха ладана мне сделалось плохо. Церковь недавно белили, и она была такая голая и пустая, что и на церковь непохожа. Мать принесла с собой

грелку, тетка не сводила глаз с двери: мысли об обеде, что остался на плите, не давали ей покоя. Санта рыдала от обиды, что это не она выходит замуж, и я тоже плакала и никак не могла успокоиться. Я проплакала в течение всего обеда, который приготовила тетка. Все остальные притворились, что не замечают моих слез, начали говорить между собой о вещах, которые меня не касались.

Когда отец собрался домой, тетка подтолкнула меня к нему и велела попросить прощения за все неприятности, которые я ему доставила. Он смущенно поцеловал меня и отвернулся. Он очень изменился за эти месяцы, вид у него теперь был какой-то обиженный и несчастный. Сейчас, с очками на носу, он не был похож на моего прежнего отца, поколотившего меня из-за Джулио. Казалось, у него не осталось больше сил драться, кричать и ругаться. Он молча взглянул на меня сквозь очки, и мне показалось, что ему за меня стыдно.

После обеда все уехали, остался один Джулио. Мы поднялись в комнату, и он сказал мне, что я должна жить с теткой, пока не родится ребенок. Иногда он будет приезжать ко мне, но не очень часто. Потому что учеба его доконала, да и мне вредно волноваться: я должна думать о ребенке, ведь роды — дело нешуточное. Он сказал, чтобы я легла отдохнуть от всех треволнений, которые пережила в церкви, а сам пошел в кухню, где Санта вытирала стаканы.

Он приехал навестить меня в воскресенье. На нем был охотничий костюм, черные сапоги и куртка, расстегнутая на груди, как в тот день, когда я его встретила в деревне. Я спросила его, нашел ли он для нас дом.

— Какой дом? — спросил он. — Не нужно искать никакого дома, потому что мы будем жить с моими родителями, матушка уже приготовила нам комнату.

— Ах, вот как? — сказала я ему дрожащим от гнева голосом. — Но с твоей матушкой я жить не хочу. Я лучше умру, чем каждый день буду ее видеть.

— Я не разрешаю тебе так говорить, — сказал он мне. И еще сказал, что вскоре у него будут занятия в городе, но я должна жить в деревне со своими, потому что жизнь в городе слишком дорога и у нас нет средств, чтобы жить своей семьей.

— Тогда лучше было не жениться, — сказала я ему.

— Разумеется, было бы лучше, — сказал он, — но я на тебе женился, потому что мне тебя было жалко. Ты уже забыла, что хотела утопиться в реке?

Я внимательно посмотрела ему в лицо и пошла. Быстро прошла через огород, не отвечая тетке, которая меня спрашивала, куда это меня понесло, я шагала мимо виноградников, как в тот день с Нини, и долго так шла, руки в карманах, и ветер дул мне в лицо. Когда я вернулась, Джулио уже ушел.

— Ну ты и стерва, — сказала мне тетка, — знаешь, как заставить себя уважать. Я слышала, как вы ругались. Рановато вы ругаться начали. Ты ему покажешь, где раки зимуют, если так и дальше пойдет.

Джулио вернулся через несколько дней, привез отрезы ткани. Он хотел, чтобы я сшила себе одежду, и сказал, что хорошенько подумал насчет города.

— Я готов против своих родителей пойти, лишь бы угодить тебе, — сказал он, — но ты этого не заслуживаешь, ты слишком злая.

Тетка пришла посмотреть материал, вытащила журнал мод, сказала, что, как только я разрешусь от бремени, она начнет шить. Но Джулио ей ответил, что эти отрезы он хочет отвезти городской портнихе. Тетка покраснела, надулась и велела нам выйти из комнаты и идти в кухню, потому что ей надо разобраться в шкафу.

— Все-таки это мой дом, — сказала она нам.

Джулио сказал, что нужно быть элегантной, если я хочу жить в городе. Но добавил, что не хочет, чтобы я одевалась как Азалия, потому что Азалия одевалась довольно экстравагантно и, когда она шла по улице, все на нее оборачивались. Он не хотел, чтобы такое случилось и со мной. Он хотел, чтобы я была элегантной, да, элегантной, потому что неправильно, когда женщина за собой не следит, с ней и выйти неприятно. Санта, чтобы позлить его, сказала, что ткани он выбрал неправильно, что цвета у них немодные.

— Да уж, кто сидит посреди грядок, в моде лучше меня разбирается, — сказал Джулио.

— Модно, когда ты одеваешься как все, а не носишь медвежьи сапоги, на которые я без смеха взглянуть не могу, — ответила Санта.

Оба обиделись друг на друга, Джулио продолжил говорить со мною, как будто мы были одни. Он сказал мне, что, если я буду жить в городе, мне ко всему придется привыкать и иногда я буду себя чувствовать так, будто с луны свалилась. Я посмотрела на него, чтобы понять, думает ли он о "Луне", когда так говорит. Но он о ней даже и не вспомнил, и казалось, он напрочь забыл, как водил меня в "Луну", куда ходили одни проститутки. Казалось, он уже не помнит о том времени, когда мы не были женаты, о том, как он не хотел на мне жениться, о деньгах, которые я должна была взять, чтобы жить где-нибудь в другом месте с ребенком, его ребенком. Сейчас он часто говорил со мной о нашем ребенке, о том, каким представляет его лицо, и о новой модели складной коляски, которую он видел и которую обязательно надо купить.

***

Схватки начались ночью. Тетка встала, позвала акушерку и отослала Санту к крестной, потому что, как она говорила, не пристало девушке видеть, как рождаются дети. Санта же, напротив, хотела остаться: ей не терпелось поцеловать малыша и надеть ему на голову чепчик с голубыми лентами, который она вышила своими руками. Ближе к утру приехала мать, тоже с чепчиками и с лентами. Но я была вне себя от страха и боли, я уже два раза теряла сознание, и акушерка сказала, что меня срочно надо отвезти в город, в больницу.

Пока автомобиль мчался в город, моя мать смотрела на меня и плакала, а я смотрела на нее и думала, что скоро умру. Я царапала матери руки и кричала.

Я родила мальчика, и его тотчас окрестили: было похоже, что он не жилец. Но на следующее утро ему стало лучше. Я ослабела, меня лихорадило, и мне сказали, чтобы я не кормила ребенка грудью. В больнице после родов я пролежала месяц. За ребенком ухаживали монашки, кормили его молоком из бутылочки. Они приносили мне его время от времени, он был страшный как смерть, в чепчике, расшитом Сантой. Он медленно шевелил длинными пальцами с таинственным видом, погруженный в себя, как будто ему вот-вот должно открыться что-то.

На следующий после родов день ко мне пришла свекровь и тут же поругалась с монахиней из-за того, что ребенка плохо запеленали. Потом села, выпятив грудь, с сумкой в руках, лицо длинное, скорбное, и высказала мне, что, когда она рожала, страдала намного сильнее, чем я. Врачи ее хвалили за мужество. И, несмотря на мнение врачей, она настояла, чтобы кормить грудью. Сказала, что проплакала весь день, когда узнала, что я не даю ребенку грудь. Отыскала в сумке платок и вытерла слезы.

— Как печально, когда ребенку отказывают в грудном молоке, — сказала она мне. И добавила, что наверняка у меня и груди-то нет. И заглянула мне под рубашку. — С такой-то грудью ребенка не выкормишь.

Я взбесилась и сказала, что хочу спать, что я устала и у меня болит голова. Тогда она спросила, не обиделась ли я, погладила меня по лбу и добавила, что, может быть, она была со мной слишком откровенна. Она достала коробку с финиками и положила мне один за щеку.

— Зови меня мамой, — сказала она уходя.

Когда она ушла, я съела один за другим все финики, а коробку оставила, чтобы класть туда перчатки. Я стала думать о перчатках, которые куплю себе после больницы, о перчатках из белой кожи с черными швами, как у Азалии, а потом обо всех платьях и шляпках, которые хотела себе заказать, чтобы быть элегантной назло своей свекрови, которая скажет, что я транжирю деньги. Но мне было грустно из-за того, что у меня была свекровь, она никак не шла у меня из головы, и мне казалось, что ребенок похож на нее. Когда ребенка принесли и положили его на кровать рядом со мной, я сказала себе, что он действительно на нее похож и поэтому я его не люблю. Мне стало тоскливо оттого, что я родила ребенка, у которого подбородок острый, как у моей свекрови. Ребенок и на Джулио был похож, а моего в нем ничего не было.

"Если я люблю Джулио, то и его ребенка должна любить, — подумала я, — но я не могу". И все-таки что-то в его нежных влажных волосах, в его тельце и дыхании меня притягивало, я о нем не переставая думала, когда его уносили от меня. Ему не нужно было знать, люблю ли я его, грущу или радуюсь, его не интересовало, что я хочу себе купить, для него не имели значения мои мысли, и я не могла смотреть без жалости на то, какой он еще маленький и глупый. Как было бы здорово, если б он умел говорить. Он чихнул. Я накрыла его шалью. С удивлением я вспомнила, что он был во мне, жил у меня под одеждой столько времени — и когда я сидела на кухне с теткой, и когда приходил Нини и мы гуляли вместе. Почему Нини больше не показывался? Но то, что он не приходит, было даже лучше, потому что я была еще слишком слабой и усталой. Когда я двигалась или говорила, у меня болела голова. Еще сказал бы про ребенка какую-нибудь гадость.

Джулио всегда приходил ко мне ближе к вечеру, когда монашки молились в коридоре, а около моей кровати горела под шелковым абажуром лампа. Когда он приходил, я тут же начинала ему жаловаться на плохое самочувствие, на то, что все тело у меня болит, как будто меня побили и походили по мне, и это было правдой, но мне весело было его пугать. Потом я говорила, что он проводит со мной мало времени, даже часа не посидит, и что как-нибудь я сбегу в кино. Тогда он принимался меня умолять потерпеть, утешал меня и обещал подарить что-нибудь. Сейчас он стал нежным, говорил, что сделает для меня все, чтобы я была довольна, что он уже снял в городе квартиру в доме с лифтом и всеми удобствами.

Не то чтобы мне не нравилось находиться в больнице, мне это нравилось, потому что не нужно было ничего делать, а после выписки мне бы пришлось убаюкивать ребенка, разогревать молоко и мыть ему попу каждую минуту. Я и пеленать-то его как следует не умела, а потом, мне было страшно, когда он орал: он становился весь фиолетовый и, казалось, вот-вот лопнет. Иногда на меня находила злость, что я не могу встать, покрутиться перед зеркалом, нарядиться в разные платья и пойти в город теперь, когда у меня есть деньги. Случались и такие дни, когда все мне наскучивало, и тогда я принималась ждать, что кто-нибудь ко мне придет. Моя мать навещала меня очень редко, потому что у нее было полно забот, и потом, она слишком плохо одевалась, чтобы показываться в городе. Она уже не была так довольна моим замужеством и повздорила с Джулио, когда попросила у него денег в долг, а он отказал. Моя мать его не простила, а теперь и на меня дулась.

Как-то пришла Азалия, она только что вернулась с моря. Нос у нее облупился, а на ногах были сандалии. Она была невеселая, потому что у нее испортились отношения с любовником: он ее ревновал как сумасшедший, не пускал на танцы, они постоянно ссорились.

— Ну, как твой сынок? — спросила она.

Я спросила, хочет ли она на него посмотреть, но она сказала, что ей и своих хватает, а когда дети такие маленькие, то вызывают у нее отвращение.

— Ну а как ты с мужем? Ладишь? — спросила она. — Правильно сделала, что ему не уступила, потому что, живи вы с его мамочкой, не видать тебе ни сольдо. Всегда нужно добиваться своего с мужиками, а если поведешь себя как дура — отнимут и воздух, которым дышишь.

На следующий день она привела мне свою портниху, сколько я ей ни говорила, что та не сможет снять мерки, потому что мне нельзя вставать с кровати. Но Азалия уверяла, что портниха придет, просто чтобы познакомиться со мной, поговорить о том, что сейчас модно. Потом она начала настаивать, чтобы я поднялась, говоря, что у меня уже все прошло и я чувствую себя лучше ее.

Когда первый раз я встала на ноги и надела розовый халат с лебедем, который мне принесла Азалия, я почувствовала себя счастливой. Медленно-медленно я прохаживалась с Джулио по больничному коридору и глядела в окна, которые выходили на главную улицу. Может быть, по ней сейчас шел и Нини. Я сидела у этих окон и высматривала Нини, чтобы окликнуть его, сказать, чтоб он зашел ко мне, и мы вместе поболтаем и поругаемся немного. Сейчас-то он точно меня разлюбил, ведь прошло столько времени, да и если не разлюбил, все равно нечестно столько времени не показываться. Но его все не было, мне сделалось грустно, и я все время ругалась с монашками, которые хотели, чтобы я вернулась в постель.

***

Правду мне сказал Джованни, когда пришел подарить малышу игрушечную трубу, как будто тот уже мог на ней играть. В руке он держал кусочек кожи. Он рассказал, что сейчас занимается текстилем и вместе с одним коммерсантом торгует тканями. Но лицо у него было изнуренное и испуганное. Говорил он, размахивая руками и не глядя на меня, будто скрывал что-то.

"Антониетта его бросила", — подумала я и спросила, не случилось ли что.

— Ничего, — ответил он и все продолжал ходить, махать руками, а потом вдруг остановился у стены, ко мне спиной. — Нини... — сказал он, — умер.

Я опустила ребенка, которого держала на руках.

— Да, умер, — сказал он и расплакался, а я села на кровать без сил, мне не хватало воздуха.

Тогда он постепенно успокоился, вытер слезы и сказал, что ему велели мне не говорить, потому что я еще не поправилась, но он уже много дней назад умер. Умер от воспаления легких. А Антониетта говорила, что это я виновата. Говорила, что у меня злое сердце, потому что Нини уже давно меня любил, уже тогда любил, когда еще был с ней, а я его так мучила, вечно его разыскивала, даже тогда, когда уже знала, что беременна и должна выйти замуж. Вот он и потерял голову, отчаялся и стал жить как пропащий, в этой комнате, похожей на туалет, не ел, не спал, а только пил. Антониетта сказала, что, если когда-нибудь она меня встретит, ей стыдно будет со мной поздороваться прилюдно. Но Джованни сказал, что это все неправда, потому что Нини был человеком хладнокровным, женщины его не интересовали, ему нравилось только пить. Когда Джованни нашел его в бреду, он подумал, что у Нини белая горячка, и вылил на него кувшин воды, а Антониетта говорила, что от этого он еще сильнее заболел. Джованни пошел за Антониеттой, и та сразу сказала: похоже, у него воспаление легких. Они нашли врача, и три дня Антониетта готовила ему, как назначил врач, жидкие кашки, убиралась у него в комнате и приносила ему из своего дома одеяла. Но Нини дышал с трудом, бредил не переставая, все хотел спрыгнуть с кровати, и приходилось удерживать его силой, пока он не умер.

Когда вечером пришел Джулио, я все плакала и плакала, ходила по палате и не хотела ложиться в постель. На столе стоял ужин, который принесла мне монахиня, — остывший суп в тарелке, к которому я даже не притрагивалась.

— Что случилось? — спросил он.

— Нини умер, — сказала я. — Мне Джованни рассказал.

— Ну и свинья твой Джованни, — сказал он, — встречу — расквашу ему рожу.

Он взял меня за руку, сказал, что у меня температура, и попросил меня лечь в кровать. Я не ответила и все плакала, а он сказал мне, что стыдно так себя вести, что меня, полуголую, в расстегнутом спереди халате, могут увидеть монахини, что я схвачу воспаление легких и окажусь на том свете, как Нини. Он позвонил Азалии, чтобы та пришла, а сам уселся читать газету и на меня больше не взглянул.

Пришла Азалия и сказала ему, чтобы он поел в ресторане, он ушел, сказав, что оставляет нас одних наедине с нашими секретами, потому что ему нет до них дела, и вообще ему это все не интересно.

— Ревнует, — сказала Азалия, когда он ушел, — они все ревнуют.

— Нини умер, — сказала я.

— Это уже не новость. Да, он умер, — ответила она. — Я тоже плакала, когда узнала. А потом подумала, что так для него лучше. Скоро и со мной это случится. Я достаточно пожила.

— Это из-за меня он умер, — сказала я ей.

— Из-за тебя?

— Потому что он меня любил, — сказала я, — а я его мучила, мне нравилось смотреть, как он страдает, поэтому, когда он узнал, что я выхожу замуж, еще сильнее запил, сидел один в комнате, и на все ему стало наплевать.

Но Азалия мне не поверила, раздраженно посмотрела на меня и сказала:

— Когда кто-то умирает, вечно всякая ерунда в голову лезет. Он умер, потому что заболел, ты ничем не могла помочь, и нет смысла забивать себе голову всякими выдумками. Ты для него ничего не значила, он все время говорил, что ты дурочка, не умеешь дать мужикам отпор, и что ему тебя жалко.

— Он меня любил, — сказала я ей. — Он меня водил на реку, мы с ним разговаривали. Он читал мне свои книжки и объяснял, о чем в них написано. Один раз он меня поцеловал. И я его тоже любила. Но я этого не понимала и думала, что мне просто нравится хорошо проводить с ним время.

— Ну и что толку сейчас мечтать о нем? — спросила Азалия. — Нини или еще кто, есть ли разница? Просто нужно, чтобы кто-то был рядом. Женщине тяжело жить одной. Да, Нини был немного поумнее остальных, это правда, потом, у него были такие блестящие глаза, я до сих пор чувствую его взгляд, но в последнее время Нини стал скучным, и никогда нельзя было понять, о чем он думает. Я не удивляюсь тому, что он умер, он этой водкой уже насквозь пропитался, странно, что этого раньше не произошло.

Вернулся Джулио, и Азалия ушла, потому что было поздно, и муж должен был вернуться, а у Оттавии разболелись зубы, и она была не в состоянии готовить.

Ночью мне приснилось, что Нини пробрался в больницу, тайком взял ребенка и ушел с ним, а я бежала за Нини и спрашивала, куда он дел ребенка. Он достал его из-под куртки, но ребенок стал маленький-премаленький, как яблоко, а потом вдруг Нини бросился со всех ног вниз по лестнице, и еще там был Джованни, я звала, но никто мне не отвечал.

Я проснулась в холодном поту, задыхаясь, и увидела, что Джулио стоит у моей кровати, потому что уже настало утро и он пришел пораньше проведать меня. Я сказала, что мне приснилось, будто Нини украл ребенка.

— Никто его не крал, — сказал он, — это был сон, не бойся, никто его у тебя не украдет.

Но я все повторяла, что Нини стоял передо мной как живой, он дотрагивался до меня и говорил со мной. Я рыдала и никак не могла успокоиться. Он сказал мне, что я должна научиться держать себя в руках и перестать быть такой нервной.

***

Через несколько дней меня выписали из больницы, и я поселилась в своем новом доме. Для меня началась другая жизнь. Жизнь, в которой не было больше Нини, потому что он умер, и мне не нужно было думать о нем, потому что это было бесполезно; жизнь, в которой теперь были ребенок и Джулио, дом с новой мебелью, занавесками, светильниками,

служанкой, которую где-то откопала моя свекровь, и свекровью, которая все время у нас ошивалась. За ребенком присматривала служанка, а я отсыпалась почти до полудня в огромной супружеской кровати под оранжевым бархатным одеялом. Рядом с кроватью лежал коврик для ног и висел колокольчик, чтобы позвать служанку. Я поднималась с кровати и в халате начинала ходить по дому, рассматривая мебель и комнаты, медленно-медленно расчесывая волосы и попивая кофе. Я вспоминала дом моей матери, где пол был запачкан куриным пометом, на стенах проступали пятна сырости, а в столовой на лампе вместо абажура висел колпак из бумаги. Да и существует ли еще этот дом? Азалия говорила, что нам надо будет сходить туда как-нибудь вдвоем, но мне не хотелось. Мне стыдно было подумать, что когда-то я там жила, а потом, мне тяжело было бы увидеть комнату Джованни, в которой спал и Нини, когда мы жили все вместе. Когда я выходила в город, то старалась держаться подальше от реки и прохаживалась по самым многолюдным улицам, чтобы все видели меня в новой одежде и с накрашенными губами. Я чувствовала себя теперь такой красивой, все смотрелась в зеркало и не могла наглядеться, мне казалось, что ни одна женщина не была такой красавицей.

Когда приходила свекровь, она запиралась на кухне со служанкой и расспрашивала ее обо мне. Я стояла у двери, приложив ухо, и слушала. Служанка говорила, что я не люблю ребенка, никогда не подхожу к нему, когда он плачет, даже не интересуюсь, поел ли он, и ей приходится делать все самой: сидеть с ребенком, готовить, стирать, потому что я только гуляю, смотрюсь в зеркало и сплю и даже бульон сварить не умею. Свекровь шла жаловаться Джулио, но он отвечал, что это все неправда, что я в ребенке души не чаю, что с рук его не спускаю, а если и ухожу погулять, то в этом нет ничего плохого, ведь я молодая и должна как-то развлекаться, и это он сам мне велит ходить гулять. Джулио теперь так в меня влюбился, что плевать ему было и на мамашу, и на всех остальных. Она же ему повторяла, что он ведет себя глупо, что ничего не замечает, и что если однажды я наставлю ему рога, то он получит то, чего и заслуживает. Мне же она ничего не говорила, потому что меня побаивалась. Она разговаривала со мной улыбаясь, приглашала к себе в гости и больше не осмеливалась рыться у меня в столе, после того как я ей сказала, чтобы она не совала свой нос куда не следует.

"Когда ребенок вырастет, – думала я, – с ним будет интереснее. Будет кататься по дому на трехколесном велосипеде, я буду покупать ему игрушки и конфеты". Но сейчас он был все время одинаковый, и когда я смотрела на него, на его большую голову на подушке в детской кроватке, то немного погодя вдруг начинала злиться и уходила. Я никак не могла привыкнуть, что стоило выйти из дома – и я уже в городе, что не надо долго идти по пыльной дороге рядом с телегами и приходить в город растрепанной и усталой, а с наступлением темноты, когда начинается самое интересное, торопиться обратно. Я встречалась с Азалией, и мы шли с ней в кафе. Постепенно я начала жить как Азалия. Целыми днями валялась в кровати и вставала лишь к вечеру, красилась и шла гулять, накинув на плечи лисью горжетку. Гуляя, я посматривала по сторонам и вызывающе улыбалась, как всегда делала Азалия.

Один раз по дороге домой я встретила Джованни и Антониетту. Они шли в обнимку, поеживаясь, потому что моросил дождь, а у них не

было зонта. Я поздоровалась. Мы пошли в кафе. Я все ждала, что Антониетта сейчас на меня набросится и расцарапает мне лицо своими острыми блестящими ногтями, которые она так долго отращивала (да только не стоило ей так стараться, все равно она стала старая и страшная). Однако она, похоже, не собиралась меня царапать и, наверно, сама боялась, что я ей что-нибудь скажу. Когда мой взгляд падал на ее ноги, она прятала их под креслом. Она сказала, что видела моего ребенка в коляске, пока с ним гуляли в саду, что она хотела подойти поцеловать его, но побоялась служанки.

— Хорошо тебе, у тебя есть служанка, — сказала она, — а вот мне приходится делать все самой. Впрочем, не очень-то и много делать приходится — мужиков-то у меня в доме нет, только я и детишки.

Сказав это, она покраснела, шея у нее пошла красными пятнами. Мы сидели, молча смотрели друг на друга и думали об одном и том же. Но она снова начала расспрашивать о ребенке, о муже, о том, хожу ли я на танцы и интересная ли у меня жизнь.

— Домой совсем не заходишь, — сказал мне Джованни. И добавил, что там все по-прежнему, нам с Азалией повезло, что мы вырвались оттуда. Он попросил у меня взаймы денег, потому что, хотя он и работает, дома у него все эти деньги вытягивают, и он вечно без гроша в кармане.

Он проводил меня до дома и попрощался. Пока я раздевалась у себя в комнате, я думала о Джованни, как он, наверно, переходит сейчас через мост и идет домой по темной дороге, потому что с Антониеттой он жить не стал, чтобы она его на себе, случаем, не женила. Все то время, что мы просидели вместе в кафе, о Нини не было сказано ни слова. Как будто мы уже не помнили, что когда-то и ему нравилось ходить в кафе, курить, разговаривать, сидеть верхом на стуле, запустив пальцы в волосы и выпятив подбородок. Но думать о нем, о том, какое у него было лицо, о чем он все время говорил, становилось все труднее, и он казался мне уже таким далеким, что даже страшно было об этом подумать, потому что о мертвых думать страшно.

Лестница бытия, или Такая родная проза

Какая грустная вещь — маленькая повесть (или большая новелла?) Наталии Гинзбург "Дорога в город"!

То ли конец 20-х, то ли 30-е годы минувшего века... Итальянский городок — предместье — деревня.

История молодой провинциальной девушки Делии, рано и без особой даже страсти ставшей женщиной, устроившей переполох в своей бедной и несчастливой семье, перенесшей в домашней ссылке беременность, невольно погубившей и впрямь любящего ее юношу, а замуж вышедшей насильно и для себя, и для жениха — так, чтобы грех прикрыть...

Почти одновременно грядут в забытой Богом итальянской провинции времен фашизма (история лишь мерцает здесь на далеком фоне) два воистину могучих события: рождается у юной героини нежеланный сынок и, спившись с горя и буквально истаяв от тоски, умирает отодвинутый ею (верней, разворотом событий) друг Нини...

Сама писательница, творчески раскрепостившись, говорила о своей ранней "Дороге в город", что порою она кажется ей *легкомысленной и холодной*. Это не так.

Да, в интонации рассказчицы нет жара оценок, нет открыто философских трактовок, нет экзистенциальных выводов. И в этом сила, в этом органика ее повествования — жизнь явлена как есть, она, казалось бы, непритязательно разворачивает перед нами свою обыденную фабулу, она течет, плещется, спотыкается о бытийные пороги...

Как сказал один прекрасный питерский поэт наших дней: "Мой ангел, я люблю тебя, / а ты его, а он другую, / а та, платочек теребя, / меня. А я и в ус не дую..." Персонажи этой повести тоже не дуют в ус, но лишь до поры до времени.

Сравнение этой прозы с неореализмом в итальянском кинематографе лежит на поверхности. Будничный ритм, вспышки крупного плана, деталь за деталью, мелочь за мелочью, подробность за подробностью, но сквозь всю эту бесхитростную, казалось бы, сетку идут на вас тараном Рождение и Смерть, Юность и Старость... Одним словом — Жизнь собственной персоной и в полном объеме.

Недаром итальянская писательница Наталия Гинзбург так любила русского писателя Антона Чехова — ее ракурс близок и чеховской прозе, и его же драматургии. Казалось бы, ничего особенного не происходит — а тем временем происходят тектонические изменения и в судьбах, и в душах персонажей.

Никакого пафоса. Почти нет символов и метафор. Масса и хозяйственных, и ремесленных обстоятельств, прописанных с натуральной точностью и тщательностью.

На этом-то, почти документальном фоне с мистической выразительностью явлен *сон* героини, только что узнавшей о смерти буквально пропитавшегося водкой Нини: "Ночью мне приснилось, что Нини пробрался в больницу, тайком взял ребенка и ушел с ним, а я бежала за ним и спрашивала, куда он дел ребенка. Он достал его из-под куртки, но ребенок стал маленький-премаленький, как яблоко, а потом вдруг Нини бросился со всех ног вниз по лестнице..."

В этом сбивчивом, от первого лица, рассказе юной матери о своем больничном сновидении — вся не нравоучительная философия "Дороги в город": мотивы и пути бытия переплетены в сложнейший и не поддающийся рациональной логике узел. Мертвый человек может оказаться вдруг важней и значительнее живых, живой — уменьшиться в нашем восприятии не по своей воле, и вообще кто знает, куда в конце концов ведет всех нас крутая *лестница* бытия? Какие такие ружья выстрелят в нас самих в последнем акте выпавшей на нашу долю драмы?

У повестушки Наталии Гинзбург — эпиграф из самого Екклесиаста (знак читателю: масштаб этих, вроде бы периферийных, сюжетов гораздо крупней, чем может вам всем показаться!) и открытый финал, что делает ее прочтение поливариантным и, как ни странно, обнадеживающим.

...Думала-думала: какой бы эпитет подобрать к этой, неожиданно открывшейся мне и пришедшейся по душе (или, говоря скромнее, *впору*) прозе?

Поняла: это — родная проза.

Татьяна Бек

Абель Поссе
Страсти по Эвите[1]

Перевод с испанского Н. Беленькой

ДУМАЮ, ЭВА ЛЮБИЛА МЕНЯ ЗА ТО, ЧТО Я ХОРОШО ПЕЛА. Умение петь было незаменимым подспорьем и для работы в театре, и на радио. Самой ей медведь на ухо наступил. Не было у нее слуха, и все тут. Кроме того, я тоже приехала из провинции, из Кампаны, с пустыми руками (точнее, со мной были гитара да чемодан с кое-какой одеждой).

Так вот — в январе 1944-го, когда она познакомилась с Пероном, она была в расцвете. Ей исполнилось двадцать четыре, ему — сорок девять. Полистайте газеты и журналы тех лет, и вы увидите, что Перон — настоящий Гардель в военной форме. Белый китель, эполеты, ордена. Он всегда казался выше, чем был на самом деле. Чуть кривоватая надменная улыбка, как у Гарделя. Я знала, что он самый влиятельный человек в аргентинской политике, потому что его ругали все, начиная от солидных респектабельных газет и кончая студентами и интеллигенцией, чей гнев — лучший показатель политического успеха...

В луна-парке она была одета так же, как десять дней назад, когда со своими подружками зашла за мной, чтобы вытащить на вечеринку, которую устраивала Хардин Эредиа. В тот день они заявились ко мне в театр "Комедия", прямо в уборную. Я работала в труппе Али Салема де Барахи. Они собирались развлечься, и в один миг крошечная уборная наполнилась смехом и шутками. Я напела им танго, которое исполняла в пьесе, а она, то есть Эва, попросила меня спеть печальное старое танго "Моя боль" — думаю, в те времена только я одна его и пела.

И тогда я вдруг заметила, что Эва изменилась. Словно в ней наконец проснулась женщина, ожидавшая своего часа. На Эве было платье из черного шифона с короткими рукавами и длинные, до самых локтей, перчатки. Белые туфли на кожаной платформе с двумя пряжками на подъеме (тогда такие носили). И шляпка с белым пером. Она подошла к освещенному лампами зеркалу и, стоя к нам спиной, принялась подкрашиваться. Проводила по лицу пуховкой — и любовалась собой. Впервые я увидела в ней женщину, которая неожиданно проступила сквозь хрупкость и невзрачность. Да, у нее появилась фигура юной женщины, обворожительной женщины-кошки. Я подошла к ней сзади и обняла. В ней было что-то страшно притягательное, что-то от капризной распущенной девчонки. Она принялась отбиваться, размахивая напудренной пуховкой. А потом в том же платье явилась в луна-парк и уселась рядом с Пероном.

До того дня никто и вообразить не мог, что она знает смысл слова "политика".

1. Продолжение. Начало см. "ИЛ", 2005, № 1.

Это был расцвет Эвы — той Эвы, которая еще принадлежала только самой себе, то есть незадолго до встречи с Пероном. Природа наделила ее элегантностью, грацией. Она была как кошка — гибкая, легкая. В ней привлекало странное сочетание острого ума, убийственно меткого языка и печального взгляда живых сияющих глаз.

Женское очарование сохранялось в ней, как мне кажется, лишь пять лет. Последний раз она блистала на фестивале кино в Мар-дель-Плата[1] в 1950 году, затмив элегантностью красоток-гринго. Несомненно, она была прелестнее всех. Она любила одеваться, ей нравились шляпки, туфельки (как-то раз я сопровождала ее в "Перуджиа", самый изысканный дом моды).

Она не казалась слащавой, при посторонних вела себя сдержанно. Никогда не плакала, не жеманничала. В год работы на радио и в кино она не завела ни одной интрижки (хотя были, конечно, сплетни и статейки в журналах). Во всяком случае, никто не заметил настоящего романа, вот что я хочу сказать. У нее были свои планы.

Я ее поддерживала, она любила меня и, уже будучи у власти, мне помогала. Взгляните...

(Элена Лусена достала из папки партийный билет, казавшийся совсем новым. Она хранила его как реликвию. На корочке блестел значок перонистской партии.)

Наверное, я была членом партии номер один... Так вот, когда в 1944 году Эва сошлась с Пероном (он покинул свою квартиру на углу улиц Ареналес и Коронель Диас и перебрался в один из самых элегантных кварталов Буэнос-Айреса, на Посадас, в тот же дом, где снимала квартиру Эва), против нее началась тайная война. Во-первых, на Эву ополчились завистники из артистической среды, которые считали ее интриганкой (зато к Либертад Ламарк все относились как к святой мученице и "демократке"). Во-вторых, ее с самого начала возненавидели буэнос-айресские олигархи — это стало ясно 9 июля 1944 года, когда Перон, уже будучи вице-президентом, посадил ее рядом с собой в ложе театра "Колон", где проходил торжественный вечер. В фойе с ней здоровались подчеркнуто холодно. Там, кстати, и началось соревнование в элегантности. Своими украшениями и французскими нарядами Эва решила затмить светских дам, помещиц-аристократок. Думаю, что именно тогда, 9 июля, Эва задумала поразить всех — и два года спустя выписала для торжественного бала то невообразимое платье от Диора, самое роскошное из всех, какие когда-либо видел Буэнос-Айрес. Простите, что я останавливаюсь на подробностях, понятных только женщинам. Но сама Эва не раз говорила: "Я разобью их на их же поле, это будет война нарядов..."

"ПОЧЕМУ МНЕ ВИДИТСЯ ТАКИМ ДАЛЕКИМ то, что так близко, что случилось совсем недавно? Почему близкое кажется таким безвозвратно ушедшим?.. Скверный признак. Зловещий симптом". Так размышляет Эва в уютном тепле своего ложа.

Долгие октябрьские сумерки. На Буэнос-Айрес опускается ночь. Густой горячий воздух. Раскаленное дыхание города, предвестие грозы. Тяжелая одышка бетонных джунглей. Начинается бесконечная ночь

1. Мар-дель-Плата — курортный город на юге провинции Буэнос-Айрес. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1943 года. По Маипу в сторону Коррьентес по блестящей от сырости каменной мостовой проплывают черные спины огромных автомобилей — "паккардов", "бьюиков", "студебеккеров", "плимутов", "шевроле". Снова ночь, снова праздник в щедром гостеприимном Вавилоне.

Бары и рестораны готовятся к вечернему наплыву клиентов: "Килограммы, литры, специи, помидоры — целое море помидоров". Пианист в белом смокинге разминает пальцы, наигрывая первые такты "Сибоней".

Чьи-то мужья спешат по устланным коврами коридорам тайных приютов любви, где обитают очаровательные иностранки с печальными глазами — жертвы и предводительницы великого эротического похода, получившего однажды название "Дороги в Буэнос-Айрес"[1]. Фарфоровый кот и скромная коробочка из слоновой кости, где лежат конвертики с белым порошком. Граммофон, откуда доносятся протяжные танго Де Каро или Кобиана.

Адвокаты-землевладельцы, влиятельные депутаты, завсегдатаи "Жокей-клуба", высокие офицерские чины и молодые помещики обмениваются адресами, будто паролями в извечной и приятнейшей войне полов. Хункаль, 1224, Кальяо, 1326, Хунин, 1270... После вступления в силу нового закона посещение борделя приносит остроту ощущений, словно ты совершаешь подвиг: в столице запретили публичные дома. Странный мирок, в котором тучные провинциальные коммивояжеры и степенные маклеры бережно складывают брюки и вешают их на спинку стула. Бесстыдно хохочут женщины, сидя на биде; краснеют застенчивые клиенты, отваживаясь снять подтяжки только при погашенном свете.

Тайная машина любви, которая возобновила свою работу в сумерках вечернего Буэнос-Айреса — греховного, беззаботного и попирающего всех и вся. Мир шуршащего шелка, коротких нижних юбок, красного кружевного белья со шнуровкой и лилией, вышитой в самом низу. Черный дым шелковых чулок, скользящая прохлада атласных простынь. Ночной столик, шкатулка китайского фарфора с розовыми презервативами. А возле покрытого ледяным инеем ведерка, в котором охлаждается шампанское, пакетик с кокаином для изысканных ценителей.

К вечеру сутенеры, чопорные, будто сенаторы, выныривают из влажного жара полотенец и являют миру свои пылающие, безупречно выбритые физиономии. Толстые избалованные младенцы в жилетах и галстуках из итальянского шелка в крапинку или полоску на английский манер. Серьезные, ухоженные, точно лошади в похоронной процессии, пробуждаются они от сладкой дремоты, когда мальчишка в сдвинутой набок кепке и с заплатками на заднице выкрикивает с порога: "Критика", "Критика"!!! — и, значит, сейчас им расскажут подробности последнего преступления, совершенного в Аргентине или за ее пределами, которое изложено на четырех полосах с иллюстрациями художника Рохаса. Так узнают они о героизме женщин в блокадном Ленинграде, о жестоких боях в Эль-Аламейне, о депортации миллионов евреев и поляков, о бомбах, падающих на Лондон, о превращенных в огненное море улицах Гамбурга или Дрездена. Все это для них сопоставимо со смертью Крошки Польворы или убийством Ушастого Коротышки. Тихий парикмахер-итальянец проводит щеткой по лацканам пиджака, сдувает с шеи

1. Отсылка к упомянутой выше книге А. Лондра.

остатки талька и получает чаевые. Таков мир мужчин, придуманный мачо и для мачо.

Эва поймала огромный таксомотор и назвала адрес: Маипу, 820, — там ее поджидает Хардин Эредиа, чтобы вместе отправиться ужинать с друзьями-военными. Это был особняк, который предоставлял в распоряжение Хардин директор Ипотечного банка. Один из домов, чьи хозяева разорились, и покуда длился судебный процесс, они несколько месяцев пустовали, дожидаясь аукциона. Эва попросила таксиста подождать. Нажала на кнопку звонка, но ей никто не открыл. Она толкнула массивную дверь красного дерева с чугунным кольцом и пыльными стеклами. Вошла в выложенный мрамором холл. В прохладном полумраке стоял чуть затхлый запах, который встречается в родовых гнездах, пришедших в упадок.

В сумерках она шла мимо изысканных столиков и украшенных затейливой росписью китайских ваз. Запах разорения. Пыль и тишина покинутого слугами дома. Она стояла у подножья высокой лестницы, какие встречаются только в кино, — по такой лестнице могла бы спуститься Джинджер Роджерс[1], напевая свое "Хеллоу, Долли!". Внезапно Эва услышала дыхание — прерывистое, частое, как у альпиниста, из последних сил штурмующего вершину. Дыхание доносилось откуда-то сверху, скорее всего из спальни второго этажа. Вскоре раздались стоны и звуки любовной возни, неизменные спутники по-вагнеровски неистовой спальни.

Звонок в дверь показался неуместным и тревожным, и Эва почувствовала страх. Страх, которого не ведала ее подруга Хардин. Эва открыла дверь. Перед ней стоял седой господин — директор банка, которого она видела и раньше. Дверца ожидающего на улице "паккарда" была приоткрыта, мотор работал, и это немного успокоило Эву. Важный господин желал видеть Хардин.

— Она ждала вас, но ей пришлось уйти... Она просила передать, что поехала к кузине, у той внезапно начались роды...

Когда Эва вернулась в темный вестибюль, ей навстречу вышел сеньор Сантамарина, уже в плаще, благоухающий одеколоном "Ярдли", и скрылся за дверью.

Наверху раздался громкий хохот Хардин: несмотря на полумрак, она угадала растерянность Эвы.

— Нельзя относиться к мужчинам так серьезно, Эва! — Хардин, совершенно голая, стояла наверху у перил.

Ее смех и развязность поразили Эву. Одевшись, Хардин спустилась вниз.

— Прости меня, Эва... Все шло как обычно, и вдруг я влюбилась. Ну что тут поделаешь! Ты же знаешь, какова любовь: она такая внезапная — берет тебя в плен и длится иной раз больше часа!.. — Хардин снова захохотала. Они сели в такси, счетчик которого уже нащелкал порядочную сумму. — Поехали в "Посольский клуб", — сказала она, устраиваясь поудобнее.

На ней было короткое, словно у любительницы чарльстона, платье, расшитое разноцветными блестками, но и в нем она казалась обнаженной — и, может быть, еще более соблазнительной, чем там, возле перил.

1. Джинджер Роджерс (1911—1995) — американская танцовщица и актриса.

Голову украшала лента с фазаньим пером, а на шее бесстыдно сверкало ожерелье из фальшивого жемчуга.

Эва восхищалась Хардин, которая казалась ей воплощением женской свободы. Хардин любила разжигать в мужчинах желание, а потом закабалять их в угоду своей ненасытной жажды власти.

В клубе их ждали друзья. Рита Молина, Дорита Норви, офицеры, генерал Мартинес, подполковник Имберт, два молодых капитана...

"Тропический" оркестр "Санта Паула серенадерс". Маракасы, рубашки с голубыми и красными оборками. Самая изысканная публика Буэнос-Айреса, "grand cachet"[1] с напомаженными, старательно зачесанными назад волосами, с ног до головы в черном, словно британские дипломаты, пожелавшие развлечься после скучного и чопорного торжественного приема. Богатые и счастливые. Они подъезжали в роскошных автомобилях с откидным верхом, которые вошли в моду с октября (машины до рассвета ожидали своих хозяев, выстроившись от авениды Альвеар до Палермо). Макоко и Гонсало, Марсиаль в сопровождении очаровательных дам, достойных украсить обложки "Очага" или "Богемии". Завсегдатаи "Плазы", "Лондон-гриля", "Альвеара", "Жокей-клуба". Любимцы изменчивой моды, герои банальности, запутанных светских интриг.

Беззаботные и веселые труженики румбы исчезли, настал черед служителей танго. Они вышли на сцену в строгих смокингах и с белыми от грима лицами, напоминающими маски театра Кабуки. Мрачная ночь мятущейся души. Хардин танцевала с Имбертом, чувственно изгибаясь. Казалось, они сплелись в новом объятии после долгого любовного соития и теперь осторожно ступают по узкой дорожке, чтобы вскоре снова опуститься на шелковые простыни. "Моя жизнь". "Ветер пампы". "Перелетные птицы"...

Вскоре подполковник Имберт, вероятно желая показать приятелям-офицерам, что не так уж привязан к Хардин, пригласил на танец Эву. Танго "Какая ночь!". Властная рука Имберта легла на Эвину талию, и она почувствовала близость мужского тела, которое движется с осторожностью медведя, несущего цветок жасмина. На миг Эва целиком отдалась греховной стихии танго, покорилась сильной руке. Головокружительный поворот, остановка, пленительное наслаждение прильнуть к мужской груди, затем опять рывок и опять наступление.

В суматохе вечеринки, ужина, светских разговоров, сменяющихся музыкальных ритмов Эва внезапно заметила, что Хардин и Имберт испарились.

К Эве подошел генерал Мартинес. Они заговорили об Арриете, шурине Эвы, затем о хунинском гарнизоне. Генерал вспомнил всадников, скакавших на рассвете во время памятных маневров 1938 года.

Мартинес довез Эву до дома в автомобиле, за рулем которого сидел новобранец, серьезный, словно камикадзе. Они простились, договорившись увидеться в Министерстве обороны.

Как живо помнит Эва эти далекие времена (будто вечеринка была только накануне). Все это кажется ей теперь легким, безобидным, точно смех Хардин, безжалостной и насмешливой охотницы за мужчинами.

Жажда жизни. Ночь. Смех. В сумраке комнаты, в полудреме, прошлое вспоминается таким милым и безоблачным. Мир "до Перона". Ве-

1. Зд.: "изысканная публика" (*франц.*).

тер жизни, заблудившийся и стихший среди грез. Ибо грезы — далеки от реальности, как сводки новостей Карлоса Такини на радио "Эль Мундо".

Хардин. "Посольский клуб". Офицеры, серьезные, как нотариусы или касики из карнавального шествия. Элегантные помещики с прилизанными висками, напоминавшие Эве ящериц из Лос-Тольдоса.

ТАЙНА ЭВЫ — ГЛУХАЯ СТЕНА. Как любая настоящая тайна, она дает много ложных зацепок. Например, с января 1943 года Эва бесследно исчезла на несколько месяцев, а ведь это было очень важное время для ее карьеры, для ее становления как актрисы. Где провела она это время? Путешествовала? Лежала в больнице? Говорят, в тот год ее заметили в санатории Отаменди-и-Мироли.

На этот вопрос возможно несколько самых банальных ответов.

Кто только не рылся в ящиках ее будуара! Особенно постарались безжалостные ненавистники Эвиты — те военные, что готовили Освободительную революцию 1955 года и желали сделать из жены Перона пугало, они выставили в Резиденции на всеобщее обозрение плетеные бельевые корзины с дюжинами трусов, панталон, бюстгальтеров, нижних юбок, комбинаций и блузок Эвы. Чуть позже Резиденция Перонов была разорена, бульдозеры сровняли ее с землей (что походило на яростную и отчаянную борьбу с эпидемией, с вечно непобедимым призраком). Дикость, разумеется... К тому же эти идиоты все равно ничего не добились. Они грубо вторглись в ее жизнь, но так и не раскрыли так называемой "главной тайны" Эвы.

Если роковое событие произошло незадолго до встречи с Пероном (в те несколько месяцев 1943 года, оставшихся белым — или черным — пятном в ее биографии), тогда можно предположить, что в ту душную ночь 22 января 1944 года в луна-парке Эва была уже совершенно другим человеком, пережившим личную катастрофу, и поэтому она пыталась бежать от жизни, которую вела прежде и которая, видимо, стала казаться ей ужасающе пошлой.

Однако с этой версией никак не вяжется ее тогдашнее поведение: смех, лихие выходки или, скажем, веселый праздник, устроенный по случаю подписания в октябре 1943 года ее первого настоящего контракта на радио. И, главное, ее любовь, борьба и стремительное восхождение по политической лестнице — все, что стало для них с Пероном общим праздником, когда оба они в глазах аргентинских олигархов и военных стали чем-то вроде Бонни и Клайда[1].

Согласно моим разысканиям, загадочное событие в жизни Эвы относится к 1946 году. Эту версию подтверждает некий актер, который в беседе с доном Торкуато Лука де Тена, хозяином крупнейшей испанской газеты, признался, что Эва тогда была беременна и срок был немаленький. Известно, что актеришка, который хвастался тем, что прожил с Эвой несколько недель, хранил в Банке Уругвая какие-то таинственные бумаги в качестве "гарантии" собственной безопасности — на случай политических преследований. Сам он, надо сказать, говорил об этом уклончиво. Словно о чем-то тяжелом и горьком.

1. Бонни Паркер и Клайд Барроу — техасские бандиты, чья история легла в основу фильма А. Пенна "Бонни и Клайд" (1967).

Если его рассказ — правда, можно предположить, что путешествие агитационно-политического характера, спешно организованное Пероном для Эвы в 1947-м, было чем-то вроде шоковой терапии.

Позвольте мне выдвинуть еще несколько смелых предположений. Скажу заранее, что сам я совершенно убежден: тайна действительно существует и люди, знающие ее разгадку, по-прежнему живы. Однако о таких делах надо судить с предельной осторожностью, пустые догадки и сплетни могут далеко завести...

С определенного момента Эва выбирает для себя очень странный путь — абсолютно внеполитический. Это был путь человека, испытавшего озарение, "одинокой ведуньи" — так называлась одна из бульварных книжонок, которые любила читать Эва. Что же за неведомая сила, оторвав ее от политических игр и даже от самого Перона, направила по узкой, трагической и предназначенной только ей одной дороге, ведущей к самопожертвованию? Что я имею в виду? А то, что в январе 1950 года, спасаясь от мыслей о тяжелой болезни и от работы по двадцать часов в сутки, она целиком отдала себя милосердию, чему не могли воспрепятствовать ни Перон, ни близкие, ни друзья, которых, к слову сказать, было немного. Ее прямая помощь обездоленным — это ведь своего рода бегство (от чего? от кого?) и одновременно самоуничтожение. Осмелюсь предположить, что она выбрала путь святой, но вне церкви. Она ведь исступленно, фанатично занималась благотворительностью, даже когда ее подвергли мучительным процедурам лучевой терапии.

Был ли Перон каким-либо образом связан с этим решающим *событием*? Имело ли оно значение для его собственной судьбы и карьеры?

Уверяю вас, я бы никогда не рискнул коснуться столь скользкой темы, если бы не располагал важными и достоверными сведениями.

Я имею в виду исповедника Эвы. Точнее, ее последнюю исповедь, поскольку невозможно вообразить Эву смиренно исполняющей какой бы то ни было церковный обряд. В послании, написанном ее старшей сестре Бланке Дуарте де Альварес Родригес через тридцать лет после смерти Эвы, духовник упоминает о некоем "союзе посвященных в тайну". "Эту тайну никогда не узнает мир. Люди ничего и никогда не узнают. До нее не докопаются историки. Она умрет вместе с несколькими людьми — вами, Чичи (еще одна сестра Эвы), мною и, может быть, кем-нибудь еще".

Вас это удивляет? Поверьте, вряд ли кому придет в голову выдумать нечто подобное спустя три десятилетия... Далее в своем письме духовник вспоминает: глядя на лежащую в гробу Эву, он вдруг понял, что она принесла в дар Господу "великую жертву — неизмеримые страдания". "Вы отлично понимаете, о каких страданиях я говорю. Вы знаете, *кто* и как причинял их Эве. Они разрывали ей сердце. Они были хуже, куда хуже болезни... Эва прошла через чистилище, еще находясь в этом мире. Не боль изъеденного раком тела, а боль сердца, закаленного в горниле тягчайшей из пыток, преследовала Эву. Вы ведь понимаете, Бланка, что я имею в виду".

Обратите внимание: тягчайшая из пыток и *некто*, упомянутый вскользь...

Если это не страшный мучительный рак и не пытки тогдашних лечебных процедур, если это не смерть — тогда что?

Вы имеете право дать волю фантазии. Я же продолжу рассказ. На сегодняшний день существуют три человека, которым известна тайна

Эвы, не ведомая ни ее брату Хуану, ни матери, ни, скорее всего, даже самому Перону. Вероятно, падре Бенитес услышал ее на исповеди...

— Почему "вероятно"?

— Вспомните: все биографы Эвы (включая журнал "Антена") отмечают, что она отсутствовала большую часть 1943 года, с января по сентябрь.

Так вот, в триумфальный для нее 1944-й, когда появились деньги, квартира, собственная труппа, Эва переживает загадочный кризис, заставивший ее в отчаянии броситься на поиски священника, чью проповедь она случайно услышала по "Радио Бельграно". Знаете, кто это был? Падре Бенитес, священник кафедрального собора, блестящий оратор, принадлежавший к ордену иезуитов, преподаватель колледжа "Эль Сальвадор"...

Вспомните, кем была Эва в 1944-м — маленькой актрисой, которая только что покорила Буэнос-Айрес после нескольких лет нищеты. Ее нельзя было назвать ни католичкой, ни вообще верующей. Точнее, Эва была католичкой на аргентинский манер. Беззаботный аргентинец молится святому Иуде Леввею, когда ему нужно подписать контракт, или святой Варваре, когда он садится на пароход, идущий в Монтевидео (если не ошибаюсь, именно святая Варвара покровительствует путешественникам).

В таком случае что за "дело чрезвычайной важности" заставило Эвиту Дуарте искать встречи с падре Бенитесом? В одной из биографий рассказывается, что падре забыл об условленном часе. Они договорились увидеться в воскресенье в четыре часа пополудни. Эва отправилась в "Эль Сальвадор", но там ее никто не ждал... Несколько лет спустя, когда падре Бенитес встретился с Пероном, чтобы обсудить какие-то политические вопросы, Генерал решил познакомить его со своей второй супругой, с которой он недавно вступил в брак. Эва подала падре руку и со свойственной ей язвительностью бросила:

— Вы, святой отец, скорее всего, не помните обо мне. Как-то раз вы назначили мне встречу и не пришли. Понимаю... Я ведь не Анчорена[1].

Что привело к нему Эву? Какое тяжелое, страшное или трагическое происшествие заставило ее тогда, в 1944 году, обратиться за помощью к священнику?

— Все это не более чем предположения, хотя они имеют серьезный и достоверный источник. И все же позвольте усомниться: у человека, достигшего вершины власти и мировой славы, на мой взгляд, не может быть никакой личной тайны. Во всяком случае, мародеры, разгромившие Резиденцию в 1955 году, непременно бы ее разнюхали и использовали, чтобы нанести удар по авторитету Эвы, да и самого Перона. Но разве не осталось в живых таких людей, как Ренци или ее служанка, кого-то из близких?

— Вы не учитываете одну деталь, которая косвенно упоминается в знаменитом письме падре Бенитеса. Я имею в виду природу этой тайны.

— В каком смысле?

— Падре Бенитес утверждает, что существует некий эпизод, природа которого такова, что уже только этого было бы достаточно, чтобы назвать Эву избранницей Божьей, чуть ли не святой. Он куда важнее,

1. Томас Мануэль де Анчорена (1783—1847) — аргентинский политик, представлял Буэнос-Айрес на Тукуманском конгрессе (1816), где была провозглашена независимость страны.

чем вся ее благотворительная деятельность. И в то же время он связан с "величайшим страданием" (но речь идет вовсе не о раке).

— Ренци... Возможно ли, что человек такой доброты, такой беззаветной преданности, как Ренци, который не отходил от нее ни на шаг в течение последних трех лет, ничего не знал, ни о чем не догадывался? Послушайте, что рассказывал сам Ренци...

КОГДА ЭВА НАЧАЛА ЖИТЬ С ПЕРОНОМ, она по-прежнему неаккуратно выдавливала зубную пасту из тюбика и оставляла в мыльнице шпильки. Перон все терпел, как и многое другое, объясняя ее промахи обычной женской забывчивостью.

Я уже рассказывал вам про встречу в луна-парке. Перон в свои сорок девять лет принадлежал к тому типу мужчин, которые не станут охотиться за женщиной, если их одолевает лень, сомнения или есть более важные дела. Словом, он не был, что называется, homme à femmes[1].

Эва это чувствовала. Знала Эва и то, что ее тело, несмотря на изящество и хрупкость, не имело той притягательной силы, которой обладали актрисы, называемые секс-бомбами (в то время такими считались Сулли Морено и Фанни Наварро)... Сам Перон признался, что, когда он взглянул на Эву как на женщину, восторга она у него не вызвала. Вот его описание: "Фигура у нее была так себе — обычная худенькая креолка, ноги-палки, толстые щиколотки. Нет, она привлекла меня не своими внешними данными..." (Что касается толстых щиколоток, они и вправду были постоянной ее мукой. Она делала всевозможные упражнения и даже сидела на какой-то изысканной диете, от которой, как уверяли знатоки, худеют именно щиколотки.)

После встречи в Луна-парке и первого свидания Эва, как я уже упоминал, почувствовала равнодушие Перона. И тогда она взяла инициативу в свои руки — это было в ее характере. Он возвращался домой в самое разное время, часто поздно ночью (тогдашние мужчины отличались от нынешних мягкотелых баранов, охотно исполняющих роли нянек, кухарок, посудомоек). В тот вечер Эва поджидала Перона у дверей на улице Ареналес. Несмотря на усталость, Перон пригласил ее в кафе на углу улицы Санта-Фе. Но не домой. Это, конечно, удивило Эву; тогда-то она и сообразила, что Пиранья была не просто служанкой.

Я уже говорил, что Пиранья была девушкой из Мендосы, дочкой погонщика скота, который помогал войскам в горах. Перон привез ее в Буэнос-Айрес и называл то своей крестницей, то племянницей, то служанкой. У него частенько вылетало из головы, как он ее представил раньше: ему это было не важно, его не волновало, что говорят за его спиной. Так или иначе, Пиранья мешала захватническим планам Эвы. Известно, что однажды Перон вернулся домой и обнаружил поджидающую его в вестибюле Эву. Они заговорили как ни в чем не бывало. Потом Перон произнес:

— Я скажу Пиранье, чтобы она приготовила нам что-нибудь...

— Пираньи больше нет, я отправила ее в Мендосу.

Перон захохотал. (Таким он был.)

1. Зд.: бабник (*франц.*).

Как рассказывает падре Бенитес, Эва отправилась к другу и соратнику Перона подполковнику Мерканте и попросила помочь ей избавиться от Пираньи. Более правдоподобная версия гласит, что Эва просто позвонила в дверь и сказала Пиранье, чтобы та немедленно возвращалась в Мендосу – так желает ее семья. Она вручила девушке внушительную сумму, билет на ночной поезд "Эль Мендосино" и любезно упаковала Пиранье чемодан, куда положила аккуратно сложенный костюм Коломбины, который Перон подарил девушке на карнавал. И сама посадила ее на поезд, разумеется не для того, чтобы помочь, – просто она желала лично убедиться, что та уехала.

С той поры Эва вошла в жизнь Перона, и постепенно он смирился с тем, что ему вновь приходится сносить тревоги и неудобства любви. Он рассказывал, как с каждым днем обнаруживал все больше следов присутствия Эвы: пудра "Ле Санси" в аптечке, халат, висящий на двери ванной комнаты. В конце концов, чтобы сохранить в своей жизни суровый казарменный порядок, ему пришлось выделить Эве отдельный шкаф.

По-настоящему жить вместе они стали, когда Эва, при помощи своей подруги Хардин, нашла ему квартиру на улице Посадас – в том же доме, где жила сама. Вскоре Перон переехал.

Конечно, это была любовь. Эва как-то обмолвилась, что Перон напоминал ей дедушку, дона Диохенеса (дон Диохенес был единственным мужчиной, похожим на отца и порядочного человека, который встретился Эве до знакомства с Полковником). "Главное – тот же запах крепкого табака", – говорила она. Перон курил скверные папиросы "Кондал", затем перешел на "Партикуларес", которые были для него тем же, что "Давидофф" для изысканной публики. Перон между тем проникался все большим доверием к этой решительной женщине, которая пользовалась славой безжалостной авантюристки.

Я познакомился с ними и начал у них бывать как раз в тот безумный и чудесный год, когда изменились и Аргентина, и весь мир. Постепенно я убеди́лся в том, что Перон, этот великий ценитель одиночества, по-настоящему покорен Эвой. Она слушала его нескончаемые монологи об Аргентине, истории и мировой войне, внимая каждому слову с восторгом и благодарностью. Ее поведение удивляло Перона. Вскоре он обнаружил, что его рассуждения разбудили живой природный ум Эвы и неутолимую страсть к политике. Вот почему перед смертью Перон вспоминал "эти нервные руки и горящие глаза", жадно вбирающие его слова – всю премудрость одиночки, который делал вид, будто его интересуют мирские дела, а на самом деле так никогда и не покинул продуваемой всеми ветрами патагонской пустыни. Он привык возвращаться домой, зная, что его ждет Эва. Они ужинали вместе, и он рассказывал ей об аргентинской политике, о событиях в мире. Беседуя, оттачивал свои идеи. Он говорил как бы с самим собой. Воодушевлялся. Пророчествовал, убеждал сам себя. Изгонял собственные сомнения.

Перон чувствовал себя нагим и беззащитным перед грозными силами, вызванными им к жизни. Он был вице-президентом, военным министром, министром труда и социального обеспечения. Армия и члены Группы объединенных офицеров (ГОО), которую он возглавлял, полностью ему подчинялись. В то время Соединенные Штаты желали втянуть Аргентину в войну, но, несмотря на их давление, сделать это не удалось. В 1943-м в стране произошел военный переворот. Формально Аргенти-

на соблюдала нейтралитет, но среди военных были очень сильны прогерманские, профашистские, а отчасти и пронацистские настроения. Перона окружали заурядные люди — Рамирес, Фаррель, Джованнони и Авалос, — и он чувствовал себя одиноким. В июле 1943-го пал Муссолини (в тот самый месяц, когда в Аргентине произошел переворот и восторжествовали профашистские идеи!). Войска союзников прибыли в Анцио; 4 июня был занят Рим, а 6-го, в знаменитый "День Д", состоялась высадка англо-американских войск в Нормандии.

Перон, великолепно разбиравшийся в военных делах, знал, что разгром немцев под Сталинградом означал то же, что поражение Наполеона на Березине: это было не просто проигранное сражение, это был конец.

Представьте, сколько всего он теперь рассказывал Эве!

Перон всегда считал, что должен жить один (в крайнем случае возле могла существовать безропотная Пиранья). И вот теперь, в столь сложный период своей политической жизни, в самый долгий год за всю историю аргентинской политики (он завершился 17 октября 1945-го), Перон сошелся с Эвой. Вопреки его убеждениям (откровенно мачистским), он нашел в Эве опору. Она не только не была помехой, она стала союзником, вносила в его жизнь радость. Вот почему он остался с ней несмотря на то, что она осложнила его жизнь.

Они обедали и ужинали где-нибудь в городе. Иногда довольно поздно: государственные дела задерживали Перона. Жаркие летние вечера они обычно проводили в кафе "Мюнхен" на Костанере, которое любил Перон, или в немецкой пивной на углу Санта-Фе и Пуэйредон.

Перон рассуждал про Эль-Аламейн, про ошибки фон Паулюса и 6-й армии. Эва рассказывала ему о своих стычках с Янкелевичем, хозяином "Радио Бельграно", об игре Мечи Ортис. Я горжусь тем, что мои сценарии помогали им найти общие темы для бесед. Когда я приходил и мы приступали к работе, Перон появлялся в пижаме, присоединялся к нам и мы обсуждали утреннюю передачу под названием "К лучшему будущему", задуманную для того, чтобы поднять престиж военного правительства, но очень скоро превратившуюся в рупор идей Перона.

Чем сильнее Эвита влюблялась в Перона, тем лучше получалась передача. Я помог Эве избавиться от надрывных, излишне патетических ноток в голосе. Она училась выразительному мастерству, которое стало ее главным политическим оружием. Я сразу же понял, что хорошо получалось у нее лишь то, во что она верила. Если смысл от нее ускользал, текст звучал, выражаясь нашим профессиональным жаргоном, "тускло".

Перон говорил об истории. Особенно о героинях радиоспектаклей, принесших Эвите славу. Если речь шла о Марии Стюарт, он разносил в пух и прах англичан (и даже требовал, чтобы мы подняли тему Мальвинских островов). Если о мадам Линч, он битый час рассуждал о войне в Парагвае и бездарности дипломатической и военной политики Митре, "единственного генерала в истории, потерпевшего поражение во время парада". На самом деле это выражение принадлежало Нале Роксло, но оно так понравилось Перону, что он часто повторял его, имея в виду маневры во время показательных выступлений, позаимствованные Митре у прусской армии, которые привели к тому, что местные негры совершенно растерялись.

В эти напряженные дни Эва совсем ничего не готовила – кухня вообще всегда была ее слабым местом. "Я не умею готовить, зато умею правильно выбрать и довести блюдо до ума", – говорила Эва, разогревая полуфабрикаты, купленные в кулинарии на улице Айакучо: цыпленка allo spiedo[1] или тушеного с приправами молочного поросенка. Все подавалось с картошкой или русским салатом. На десерт Эва покупала бланманже или мороженое. Для Перона это был настоящий гастрономический праздник, потому что обычно он ел бифштекс из вырезки с парой вареных картофелин или венские сосиски то с пюре, то с немецким картофельным салатом. Эту нехитрую еду Перон предпочитал самым изысканным блюдам.

ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я ВСЕГДА ПОДОЗРЕВАЛ, что важную роль в любви Перона и Эвы сыграло то, что сексуальность у обоих была глубоко травмирована. Их роднило детство – безрадостное, пуританское, провинциальное, лишенное милых сельских радостей. В первую очередь это касалось Перона, который провел первые годы жизни в безлюдье патагонской равнины.

Как-то раз он рассказал нам о воскресном дне своего детства, когда он один-одинешенек слушал дикий вой ветра, извечного недруга жителей Патагонии, глядя на унылых серых птиц, которые летели над холодной равниной к морю (может, они хотели утопиться?). Бешеный ветер переворачивал камни, лопата пролетела по воздуху, словно голубь. Безлюдный, дикий Юг, навсегда завладевший его сердцем...

Кому ведома домашняя жизнь супружеской пары? Ее подъемы и спады, тайны взаимопонимания или охлаждения души и тела. Но даже со стороны можно уловить момент наивысшей гармонии, истинного слияния. Такими, как мне кажется, были для Эвы и Перона первые месяцы того долгого года.

Любовь застала врасплох обоих: Перон считал, что это нечто давно исчерпанное и забытое, а Эва просто никогда не испытывала ничего подобного.

Кроме того, как пишут в романах, их многое объединяло: оба вели борьбу, Перон – за власть, Эва – за положение в мире радио. Оба противостояли своему окружению и боролись с ним: Перон – с военными *его* армии, а Эва – с недооценивавшими ее коллегами. Как видно, борьба может сплотить больше, чем победа...

Война против "Перонов" (к этому времени Эва перестала быть Эвой Дуарте и превратилась в Эву Перон) началась 9 июля 1944 года, когда вице-президент Перон решил, что Эва будет его дамой на традиционном торжественном вечере в театре "Колон". Уже в фойе, когда мужчины приветствовали друг друга и целовали ручки дамам, генеральские и полковничьи жены явно продемонстрировали свое презрение к "актрисе, живущей с Пероном". На нее косились, как на самозванку: "Вот она, та женщина, которую Перон таскает к себе в Резиденцию в Кампо-де-Майо, отведенную ему как министру обороны..." Обвинение, надо заметить, было небезосновательным: чтобы миновать охрану и избежать сплетен, Перон иной раз прятал Эву на заднем сиденье автомо-

1. На вертеле (*итал.*).

биля... Они как сумасшедшие смеялись над этими приключениями, не сознавая, какую цену придется за них платить.

Однако вернемся к приему в "Колоне". Тогда же открытую ненависть к Эве продемонстрировали традиционные "хозяева" "Колона" — помещики-аристократы. После того как во времена Хусто депутаты, и социалисты и консерваторы, разработали и приняли ряд социальных законов, к Перону относились как к опасному разносчику коммунистических идей.

Остальное вам известно. Я уверен, что в тот вечер у Эвы возникло желание показать им всем — женам полковников, генералов и аристократов, — что очень скоро, хотят они того или нет, она станет самой влиятельной и самой элегантной дамой. Именно там, в театре, у Эвы родился план мести, который она осуществила два года спустя, на торжественном вечере 1946 года, появившись в знаменитом платье от Диора, доставленном по ее приказу из Парижа. Взбешенные столичные дамы назвали это платье "самой скандальной и бессовестно дорогой тряпкой за всю историю Аргентины".

"АХ, КАК ТЯЖКО ВСПОМИНАТЬ / ту любовь, что миновала, / тот восторг, что позади!" Это до боли грустное танго звучит в четыре часа пополудни. Особенно больно слышать его, когда ты выброшен на обочину и мимо проносятся машины... Я снова *вижу* сияние того утра, предвещавшего жаркий день, "Радио Бельграно". Мы прикатили на президентских автомобилях — я и два полковника, Перон и Имберт. Оба в безупречно отглаженной форме, на головах — фуражки. Янкелевич, встретивший нас в холле, сильно нервничал. На мне была шляпка с голубой лентой, платье в цветочек с широкой юбкой и туфли на высокой пробковой платформе с ремешками из белой кожи. Старик, отношения с которым у меня вконец испортились, рассыпался в любезностях. Перон и Имберт расхаживали по студии, я объясняла им тонкости нашей работы. Но запомнился именно этот утренний свет. Радость наступавшего дня. Я почувствовала всю полноту счастья.

Неужели те минуты, возникшие из тайников забвения, я вспоминаю с большей любовью, чем упоение властью и так называемой славой? Почему осталось то утро, свет, даже запах отделанного мозаикой холла в нашей студии? Ощущение полета, радости — оно как однодневный цветок. Что за тайна скрыта в механизмах памяти? Почему именно то утро, а не другое? Наверное, тогда я чувствовала затаенное торжество, наслаждение местью после бесконечных отговорок, всех этих "зайдите завтра", "сегодня мы вам заплатить не можем". Должно быть, нехорошо испытывать такие низменные чувства. Я, по крайней мере, им поддалась, падре. (Моя исповедь — это не "таинство", как вы говорите: я ведь говорю громко, не таясь.) Итак, продолжим: вела бы я себя так сейчас, "мстила" бы я сегодня старику Янкелевичу? Конечно же нет. А жаль. Так, может, это уже и не я?

Что за год! Вскоре мы запустили программу "К лучшему будущему", сценарии сочинял Муньос Аспири, который ни на минуту не расставался со своей пишущей машинкой. Шесть тысяч песо в месяц, подумать только! Я стала самой высокооплачиваемой актрисой на радио. (Трудно поверить, но все было именно так.)

Но потом, падре, началось кое-что очень неприятное: именно в тот год я впервые захотела быть сильной, хуже того, захотела, чтобы меня боялись. Страх чувствуется на расстоянии, и когда у человека появляется эта дрянная страстишка (завелась она и у меня), он играет властью. В то утро я узнала, что это такое. Покорность в глубине глаз несчастного Янкелевича. Искушение поиграть в палача и жертву или что-то в том же роде... Честно говоря, я слишком слаба в психоанализе, чтобы всерьез рассуждать о таких вещах... Мне попросту недоставало благородства — отсюда желание мстить. К счастью, оно так и осталось желанием. Здесь, падре, таится бесовское искушение: ведь был момент, когда я могла бы отдать приказ об убийстве... Во власти, честное слово, есть что-то дьявольское.

Сложнее объяснить другое — хорошее... Оно теряется в закоулках памяти или забвения. Ясное и свежее ощущение жизни — вот что было в то сияющее утро. И еще ветер. Но главное — свет. Пытаешься выразить чувства, но слова ускользают, и остается лишь молчание — непередаваемое, неизъяснимое.

Падре, счастье — в мелочах, в обыденном, в маленьких ежедневных сражениях. В скромных, никому не ведомых победах.

Я пережила ужасную окопную войну, напоминающую траншеи Первой мировой: крысы, голод, страх. Нет, я вовсе не собираюсь оправдываться.

Свою первую роль я получила в фильме "Цирковая кавалькада" с Либертад Ламарк и Уго дель Каррилем. Тридцать тысяч песо! А после "Цирковой кавалькады" дон Мигель Мачинандьярена дал мне главную роль в "Расточительнице". Полный провал — я играла отвратительно! Но самое скверное, что роль я отняла у той, которая наверняка сыграла бы лучше. Не обошлось без интриг, даже шантажа...

(Падре, вам не кажется, что мой рассказ звучит странно? Я говорю так, словно мне уже шестьдесят и все это случилось давным-давно!)

Я разговаривала по телефону с Министерством труда и профсоюзами. Съемочной группе приходилось подолгу меня ждать. Моя собачка заливалась лаем после того, как Софиччи, наш режиссер, объявлял: "Тишина!". Какой ужас!

Однажды я уселась — уже во второй раз — на стул Ламарк. Но это было не нарочно, клянусь вам. Ламарк не выдержала такой наглости. Она не понимала, что я уже не была прежней.

Вспыхнула жуткая ссора. Ламарк попыталась залепить мне пощечину. Кошмар, просто кошмар! В те времена я употребляла скверные словечки; я хотела выцарапать ей глаза. Отменное здоровье было у меня в ту пору! Но я не раскаиваюсь... Простите, падре, вы должны меня понять: сегодня и здесь, превратившись в полутруп, я мечтаю вновь перенестись туда, в студию, где тявкает собачка, где на меня кидается Ламарк, где кипит жизнь. Простите меня, пожалуйста.

Падре, почему бы вам не отпустить мне грехи сразу на несколько месяцев вперед — пусть это будет чем-то вроде проездного билета!

Я БЫЛ НА "РАДИО БЕЛЬГРАНО", когда она привела Перона. Мы все знали, что Янкелевич, хозяин "Бельграно", не ладит с Эвитой и даже грозится закрыть ее передачу. И вот впервые мы увидели надменную

улыбку Перона, почувствовали прусскую жесткость Имберта и поняли, какое могущество обретет Эва, окажись она у власти.

Я сделал несколько фотографий, не подумав, что этим профашистски настроенным офицерам не по душе свободная пресса. Ко мне обратился сам Перон:

— Эй, парень, фотографии нам ни к чему...

На следующий день меня вызвали в полицию, и пришлось отдать пленки.

Эти неприятные подробности отлично показывают, как они понимали демократию... Но на Эву я не в обиде, она наверняка не участвовала в играх с фотографиями, пропагандой и так далее.

Старик Янкелевич так перепугался, что заставил меня собрать все негативы, где была снята Эва во время работы в студии, и отнести их Перону. Это было еще до 17 октября.

Этот случай помогает понять ее характер: она хотела чувствовать себя на "Радио Бельграно" комфортно и показала Янкелевичу зубы, призвав на помощь друзей в военных сапогах...

На "Радио Бельграно" она превратилась в настоящую Пасионарию[1] военного правительства. Вернее, я не совсем точно выразился: она защищала то, что долго и старательно усваивала, — новую идеологию, которую Перон разрабатывал в своем Министерстве труда, социально-профсоюзную идеологию, в основе которой лежала борьба против классовой несправедливости. Перон и Эва создавали ее вместе вопреки всем и вся — наперекор консервативному фашизму военных, а также всемогущей олигархии (настолько сильной, что "консервы" стали приглашать на свои мероприятия коммунистов; так хозяин берет на руки надоедливую собачонку, чтобы она не мешала ему заниматься важными делами).

Она получила главную роль в фильме "Цирковая кавалькада", а потом Мигель Мачинандьярена, известный продюсер, сделал ее героиней "Расточительницы" и заплатил очень внушительную сумму.

Во время съемок "Кавалькады" Эву все время приходилось ждать: она уже занималась политикой. Как раз тогда она уселась на место Либертад Ламарк. В пылу ссоры "либералка" дала пощечину "милитаристке" (так всегда: либералы первыми набрасываются с кулаками, крича во всю глотку: "Смерть нетерпимым!").

Добавлю еще кое-что очень важное: Эва гордилась тем, что она зарабатывает больше своего возлюбленного. Разбогатев, она прикидывала, куда вложить деньги, и наконец приобрела небольшой двухэтажный особняк на улице Теодоро Гарсиа, который ей продал Людвиг Фройде, возглавлявший, как известно, немецкую разведку в Аргентине. Перон был человеком суровых привычек. Он купил себе за шесть тысяч песо кирпичный дом с десятью гектарами земли и назвал его "Усадьба Сан-Висенте".

Одним словом, я считаю, что этот период "триумфа" был самым неприятным и опасным годом в жизни Эвы. Когда же настало 17 октября 1945-го, важнейший момент в политической судьбе Аргентины нынешнего века, сравнимый лишь с приходом к власти Иригойена, Перон и Эва оказались в зените славы. Они мало походили на тех, чьи интересы

1. Пламенная (*исп.*) — так называли Долорес Ибаррури (1895—1989), одного из руководителей Коммунистической партии Испании.

защищали, — обездоленных и нищих. Они целеустремленно шли к вершине власти.

ПЕРОН ДЕНЬ И НОЧЬ ЗАСЕДАЛ вместе с другими членами зашедшего в тупик военного кабинета. Эва бегала по магазинам, покупая туфли и шляпки и наслаждаясь новым положением в мире радио и театра. Политикой до поры до времени она не интересовалась.

Мировых потрясений 1944—1945 годов Эва и Перон, по-моему, попросту не заметили. Они напоминали чаек, весело парящих на жестком штормовом ветру. Вряд ли они осознавали, что им придется сыграть в будущем такую важную роль.

Высадка союзников в Нормандии; покушение на Гитлера; героическое восстание в Варшаве... Советские войска выигрывали сражения одно за другим, и исход войны в Европе был предрешен: растревоженный медведь приближался к человеческому жилью, сея картечь и пламя. А в это время генерал фон дер Беке преспокойно жарил асадо на вилле в Кампо-де-Майо, разглагольствуя о неизбежной победе немецких войск, а полковник Имберт оживленно обсуждал неудачные, с его точки зрения, названия популярных танго. Например, "Одурманенные зельем" Кобиана было бы лучше называть "Утомленные" (чтобы не было намека на декадентское пристрастие к кокаину в грешном ночном Буэнос-Айресе), а "Старьевщика Де ла Круса" следовало переименовать в "Сборщика налогов". Виски таяло в офицерских бокалах.

Париж был освобожден, однако ударные дивизии Фау-1 и Фау-2 германских ракетных войск стирали с лица земли целые районы Лондона. Японцев разгромили на Лейте, Окинаве и в Маниле. Перед ужином Перон и Эва степенно прогуливались от улицы Сан-Мартина до Коррьентес и заходили в кинотеатр "Астор" или "Новедадес", узнавая о событиях в охваченном пожаром мире из программы новостей "No-Do", "UFA", "Deutsche Wochenschau", "Pathé" и "Movietone". Обнимаясь во мраке кинотеатра, они смотрели ожившие иллюстрации к Шпенглеру[1].

Как-то раз я поджидал Перона и Эву в ресторане "Александра". Они вошли, оживленно обсуждая ужасы, происходящие в Европе. Эва к тому времени уже несколько раз дала интервью "Синтонии", где к ней относились как к восходящей звезде. В интервью журналу "Антенна" она заявила: "Я мечтаю о долгом путешествии вокруг света, но только не простом, а необычном, опасном — например, на яхте".

"Синтониа" сообщала, что "Эвита Дуарте владеет испанским, английским и французским. Любит хорошие книги и музыку. Терпеть не может украшения, зато любит меха и духи. Она преподает актерское мастерство и имеет диплом бакалавра. Работает по пятнадцать часов в сутки: радио, кино, репетиции... Обожает яхты и верховую езду".

Перон был любимцем удачи. Она сама шла к нему в руки. Он напоминал школяра, который растерянно смотрит на учителя, вызвавшего его на уроке, тычет себе пальцем в грудь и удивленно переспрашивает: "Кого, меня?"

1. Освальд Шпенглер (1880—1936) — немецкий философ, историк; отсылка к "Закату Европы" (1918—1922).

Его приятели-военные, видевшие в нем только вице-президента и военного министра, не замечали, что он словно птица терутеру, которая хлопает крыльями у всех на виду, а сама потихоньку откладывает яйца. Он не придавал большого значения своим постам; вопреки программе ГОО и фашистской идеологии, готовил у себя в Министерстве труда новую революцию – революцию рабочую и профсоюзную. Он создавал новые профсоюзы. Разрабатывал новое законодательство (задуманное социалистами и положенное под сукно консерваторами из правительства Хусто). Это законодательство должно было стать залогом его победы и надежной опорой его власти – истинной, безграничной, не имевшей аналогов в истории.

Период 1944–1945 годов стал решающим. Вместе с Министерством труда Перон сумел нащупать верное направление для развития демократии в Аргентине, правда демократии особого рода.

Эвита начала принимать участие в его деятельности. Она лично организовала профсоюз актеров радиотеатра. Втянулась в политику, одновременно отдаляясь от честолюбивых замыслов, которые еще совсем недавно занимали в ее жизни важнейшее место. В конце концов Эва покинула свой мир и вошла в мир Перона. Остались позади "героини эфира" – леди Гамильтон, мадам Чан Кайши, Мария Стюарт, мадам Линч, пани Валевская. Сама того не ведая, Эва создавала новый женский тип, который со временем стал так же знаменит, как ее обожаемые героини.

Они разрабатывали план "законного" вхождения Эвы в жизнь Перона. Генералы направили к нему посланников, пытавшихся его образумить. Однако ничто не могло остановить Перона, хотя он понимал, что "личная жизнь" может больше повредить чести аргентинского офицера, чем поражение в гипотетическом бою.

Именно в те дни Эва впервые произнесла роковые слова: "Они меня ненавидят"; в будущем это убеждение превратилось в неотступную обиду. Перон не собирался разлучаться с Эвой или прятать ее от чужих глаз. Никто из нас, его сторонников, ни разу не почувствовал в нем сомнений. Он ее любил.

Перон не отличался слепой отвагой, он был осторожен, природный скепсис часто мешал действовать решительно. Эва открыла ему новый путь, уводящий от заурядной участи. Он и желал и не желал власти. Боялся сделать последний шаг. Для смелых действий ему отныне были необходимы два условия: чтобы своим восхищением и страстью Эва подталкивала его к власти и в то же время была его тылом на случай, если удастся бежать от судьбы и от власти. Сложно это понять, но все было именно так.

В квартире на Ареналес Перон принимал своих коллег и как ни в чем не бывало знакомил их с Эвитой. Большинство его друзей, полковники и даже один генерал, вернувшись домой, боялись признаться женам, что они побывали в гостях у Перона и его сожительницы Эвы...

Я был у них дома несколько раз, мы обсуждали вопросы, связанные с армией. Помню, Эва смеялась: Либертад Ламарк отправилась в Рио-де-Жанейро, чтобы петь для несчастных солдат, которых, словно сипаев[1], посылали сражаться с немцами под давлением Соединенных Штатов, а вот Аргентина их нажиму упорно сопротивлялась.

1. Сипаи – с середины XVIII в. и до 1947 г. наемные солдаты в Индии, вербовавшиеся в английскую колониальную армию из местных жителей.

Перон сказал:

– Попроси Ламарк, пусть запишет, скольких белых солдат увидит она среди новобранцев.

Перон очень любил Лугонеса, и Эва читала ему наизусть стихотворения о Рио-Секо, которые когда-то давно в Мендосе подарил ей влюбленный юноша. Но в тот день, стоя на пороге кухни, она прочла какое-то печальное стихотворение Беккера, где были слова: "Как тягостно мертвым в Успенье – одним!"[1].

Никогда не забуду странного сочетания иронии и грусти, звучавших в ее голосе.

ЗНАЕТЕ, КАК ДЕЙСТВОВАЛ ПЕРОН? Он рассудил совершенно справедливо: чтобы спасти Аргентину от распада и гибели, нужна сильная власть. Аргентина должна была оставаться одной из самых мощных держав мира. По-прежнему был "час меча", но сам меч изменился, как менялся и характер битвы, к которой Перон призывал своих товарищей. Он понял: во всем мире назревают социальные перемены, близится "час народа". Перон был гибок, умел маневрировать, тогда как его тупоумные коллеги действовали по-старому.

Перон выступил с важной речью перед нами, военными, утверждая, что понятие "меч", как я уже говорил, коренным образом изменилось. Мы собрались в университете Ла-Платы, стоял июнь 1944 года. Он поверг в изумление прогермански настроенную аудиторию, заявив, что Аргентине совершенно не важно, кто победит – союзники или "страны оси". Аргентина должна быть готова к суровой изоляции. Ей предстоит отыскать свое место в мире победителей – это сделают дипломаты, опирающиеся на сильную военную власть, которая будет контролировать все сферы жизни в стране.

Как неоднократно повторял Перон, все это когда-то предсказал великий поэт. Этим поэтом был Лугонес, который в 1923 году в Лиме произнес знаменитую речь: "Вновь пробил час меча на благо мира. Пацифизм, коллективизм, демократия – термины одного ряда. Это лишь орудия, отданные судьбой во власть избранному, кому дано право властвовать как лучшему из лучших, в рамках закона и вне их, ибо закон – воплощение могущества, и он неотделим от воли лидера". Эти великие слова Перон процитировал, когда мы уже вышли из университета, на обеде офицеров 7-го полка.

Затем неожиданно для всех нас он добавил, что ему сорок девять лет – столько же было Лугонесу в тот день, когда он произнес речь в Лиме. По-видимому, он имел в виду, что в нем возродился дух поэта. Он сказал, что "в наши дни меч уже не тот, что прежде: сегодня это всеми превозносимая – на первый взгляд, вялая и безобидная – форма власти под названием 'демократия', именно она побеждает на полях сражений в Европе". Великие державы, которые победят в этой войне, хотят видеть Аргентину в числе своих сторонников. На трупах миллионов вырастут новые империи. Необходимо подчиниться законам эволюции. Французская революция свергла власть аристократии, русская уничто-

1. Стихотворение испанского поэта Густаво Адольфо Беккера (1836–1870) "Глаза ей закрыли...". Перевод Павла Грушко.

жила буржуазное правительство. Сейчас наступает время народных масс. Если армия, единственная национальная элита, которая понимает, что такое государство, не устроит мирную социальную революцию, народ пойдет на кровавые бои.

"Мы должны подчиниться новым законам, перед нами новый образ меча. Нам предстоит 'проделать чужой путь, чтобы выйти на свою дорогу', как говорят иезуиты. Каков же он, *наш* путь? Неужели наша судьба – оппортунизм политиканов и привилегированных слоев? Не поддаться упадническому материализму, который грозит миру, – вот наша задача. Эта страна состоит из хрящей, а мы готовы подарить ей скелет, дать ей наши кости!" Вот что заявил Перон в своей речи.

Когда обед закончился и мы возвращались к автомобилям, я осторожно заметил, что в армии косо смотрят на то, что он повсюду демонстративно показывается с Эвой. Он ответил:

– И вы, Негро, о том же?

Обстоятельства сложились так, что больше мы не виделись. Я подал в отставку следом за Авалосом, после чего Перон ни разу мне не позвонил...

Он любил эту женщину. Я имею в виду Эву. Я понял это гораздо позже. В то время мне казалось, что он не может любить никого, кроме себя. Да и себя-то любит не очень...

Следующий шаг был неожиданным, и смысл его не всем остался понятен: 27 марта 1945 года Аргентина объявила войну Германии и Японии.

НОВОСТЬ О САМОУБИЙСТВЕ ГИТЛЕРА И ГЕББЕЛЬСА, опубликованная в "Критике" под заголовком на полстраницы, застала Эву и Перона на вечеринке у Хардин, которая показывала гостям новую квартиру и нового мужа. Теперь она жила на Эль-Молино. Газету передавали из рук в руки, обсуждая жуткий рисунок, сопровождавший статью. Это было 28 апреля 1945 года, и пока подавали пироги и молочных поросят, которых Хардин заказала поварам знаменитого кафе (она называла его "своей кухней"), Перон объявил, что Аргентина принята в только что созданную ООН. Грянули аплодисменты. Это была одна из немногих побед доморощенной аргентинской дипломатии: мы с достоинством отказались проливать кровь в чужой войне, в которую ввязалось столько стран, включая ту, что захватила наши Мальвинские острова, и, несмотря на давление и угрозы со стороны ряда держав, в 1945-м сделались полноправным членом ООН. Мы позволили себе роскошь стать единственной страной, не принявшей участия в бойкоте, объявленном Испании. Мы не отозвали из Испании своего посла и тем не менее возглавили Ассамблею ООН и Совет Безопасности!

Перон умел играть с лицемерами, наделенными мировой властью, этими двуличными "хозяевами морали": в 1945 году Соединенные Штаты поссорились с Россией из-за вступления Аргентины в ООН (Браден, американский посол в Аргентине, даже заболел). В 1947 году Сталин заявил, что из всех стран Латинской Америки главную роль в плане межгосударственных отношений и торговли он отводит именно Аргентине. Перон ответил остроумно: отправил к нему Федерико Кантони, консерватора из Сан-Хуана, окруженного мрачными телохрани-

телями со злодейскими физиономиями, напугавшими даже головорезов из КГБ.

На вечеринку к Хардин были приглашены офицеры, а также друзья Хардин и Эвы: Сантьяго Гандулья, Перальта Рамос, зануда Эредиа (бывший муж Хардин), Демаре, Сантамарина, Манси. Танцевали до рассвета. Музыка Тройло[1], Фреседо, диски "Лекуона кубан бойс".

Один из гостей, некто Арамбуру[2], пригласил Эву на танец.

Вероятно, этот офицер — по моде того времени столь же безупречно галантный, как Перон и Имберт, — подвел Эву к окну, чтобы полюбоваться предрассветными небесами, розовеющими над куполом Конгресса. Оба в тот миг наслаждались, находясь во Дворце жизни (по выражению Эвы). Была чудесная ночь, полная веселья, музыки и вина.

Всего через несколько лет Эва покинет Дворец с его лихорадочной круговертью, а этот человек станет президентом Военного правительства, свергнувшим в 1955 году Перона. А еще именно он осуществил хитроумный план: отправил в разные концы света сразу несколько гробов, чтобы спасти от фанатической ненависти — или ревности — своих товарищей настоящий гроб, где покоилось мумифицированное тело, хрупкое тело женщины, которая стояла в ту ночь с ним рядом, глядя, как над площадью Конгресса навстречу утренней заре взмывают голуби.

Один из этих гробов — настоящий, с телом Эвиты — будет захоронен под вымышленным именем на кладбище в Милане.

Всего лишь несколько дней назад падре Бенитес сказал мне, что генерал Арамбуру был единственным, кто позаботился о ее теле, потому что Перон отправился в изгнание, бросив его в здании Конфедерации труда ("Как тягостно мертвым в Успенье — одним!").

Да, странные вещи происходят в чудесном Дворце. И в этом его величайшая тайна, ведь и Арамбуру не знал, что наступит день, когда он будет предан пыткам, а потом убит бандой политических выродков, и следом исчезнет еще двадцать тысяч человек. Такие вот интриги плетут во Дворце жизни... Кто? То ли Бог, то ли Дьявол, ведя меж собой вечный и скучный поединок.

Я ПОНЯЛ, ЧТО "ПЕРОНИЗМ" ЭВЫ не только политического свойства. Это была любовь, преобразившаяся в политику, слепая страсть, абсолютная вера в правоту Перона. Я стал свидетелем первых шагов Эвы, когда она начала помогать Перону в Министерстве труда в тот решающий 1945 год. Эва и Перон еще не были женаты, но жили вместе, несмотря на сплетни и всеобщее осуждение.

Коммунисты из Профсоюза мясной промышленности были настроены против Перона. Да и вообще коммунистическая партия относилась к нему резко отрицательно. В тот период ею создавался "единый антифашистский фронт", к которому примкнуло все правое крыло, а также посол Браден, который недавно прибыл в Буэнос-Айрес с приказом приручить Перона или уничтожить.

1. Анибал Тройло (1914—1975) — аргентинский композитор, исполнитель танго.
2. Педро Эухенио Арамбуру (1903—1970) — аргентинский военный и политический деятель. В 1955—1958 гг. — президент Аргентины.

Представители антиперонистских сил явились к Эве и начали ругать и оскорблять Перона, называя его "фашистом и врагом рабочих". Эва пылала от гнева, у нее даже пропал голос. Она защищала Перона, умоляла, доказывала, спорила, стараясь убедить визитеров, что они с Пероном борются за истину, что их намерения серьезны.

Глава делегации стоял на своем. Тогда Эва вышла из себя и свалила на пол все, что лежало на письменном столе, разразившись отборной руганью, и набросилась на них, яростно размахивая портфелем. Двое делегатов-коммунистов попытались ответить. Тогда коллеги Эвы, наблюдавшие эту сцену, схватили их и выкинули в окно. Узнав о происшествии, Перон от души посмеялся, а потом заметил: "Их счастье, что кабинет Эвы на первом этаже..."

Эва просто обезумела, услышав, как оскорбляют Перона: она еще не знала, что значит разговаривать с воинствующим сталинистом, для которого существуют только приказы Партии. Любая "политика" и дипломатия были чужды Эве.

Несколько дней спустя я как руководитель Профсоюза мясной промышленности поспорил с ней: нелепо было ждать, что рабочие за одну ночь переметнутся на сторону Перона, который для большинства был лишь еще одним военным из военного правительства. Я сказал ей, что коммунисты моего профсоюза, а также других, готовят "всеобщее восстание". Но Эва требовала своего. Раздраженный ее тоном, я спросил:

— Если вы так смелы, почему бы вам не отправиться на собрание на улицу Сан-Мартина?

— Едем сейчас же. Проводите меня, я не знаю, где это.

Достаточно сказать, что на Эве было платье в цветочек и шляпка с голубой лентой (она недавно вернулась из театра или с радио). Мы сели в служебный автомобиль.

Собрание проходило в бараке. Люди были вооружены. Она с порога заявила: "Я Эва Дуарте, я работаю вместе с Пероном ради вас, рабочих". Они смотрели на нее растерянно, не веря своим глазам. Она прошла вперед, расталкивая мясников и пастухов. "Вы — коммунисты, вам приказано сражаться против нас... Но вы заблуждаетесь, вы слепо исполняете волю Москвы и отвергаете революцию, предложенную Пероном, революцию здесь и сейчас, земную и реальную. Перон говорит то же самое, что и ваш Маркс: рабочие должны сплотиться. Вы верите в какую-то нереальную революцию, вами руководят мечтатели, которые не имеют представления о настоящей власти, управляющей Аргентиной. Присоединяйтесь к нам, вслушайтесь в слова Перона, даже если вы хотите оставаться коммунистами! В этом платье и в такой шляпке я кажусь вам сейчас существом не от мира сего, но поверьте: это вы оторваны от действительности! Очнитесь, откажитесь от бессмысленной кровавой борьбы! Ваш коммунизм призывает разрушать, а не строить! Это мы настоящие революционеры! Перон стоит у власти, а с плохой жизнью может покончить только сильная власть! Вы отворачиваетесь от нас, а ведь даже Сталин принял Аргентину в ООН. Мир поделен, словно сыр, и у нас, на нашем куске сыра, вам не позволят устроить революцию! Присоединяйтесь к нам, поверьте в нас!"

Стояла гробовая тишина. Рабочие растерянно смотрели на Эву. Однако она не ждала ни ответа, ни одобрения. Она направилась к дверям

барака, где я поджидал ее вместе с Пичолой, ее посыльным. Она произнесла:

— Видите ли, Преста... Кто-нибудь из них поймет, что я говорила искренне, что я сказала правду. И не вздумайте докладывать Полковнику про то, что произошло...

ИТАК, К НАМ В АРГЕНТИНУ ПРИСЛАЛИ ПОСЛА БРАДЕНА. Они понимали, что движение военных, вспыхнувшее в 1943 году, направляет чья-то рука, направляет странным образом: Аргентина стала позволять себе строптивость, немыслимую для страны, которую большинство относило к лагерю тех, кто морально проиграл войну. Аргентина должна была покорно склонить голову, а она безрассудно рвалась в атаку.

Все "добропорядочные аргентинцы" сплотились против нарождавшегося перонизма.

Представьте себе, они отправили в Государственный департамент телеграммы, требуя "ускорить прибытие посла Брадена", несгибаемого Брадена. Под телеграммами стояли подписи таких известных людей, как Алисия Мореау де Хусто, сестры Грондона, Алехандро Себальос, Виктория Окампо, социалисты Солари и Гонсалес Ирамаин, Мария Роса Оливер, Бернардо Усай, будущий нобелевский лауреат[1].

Солоно пришлось этим утонченным интеллектуалам, воспитанным на французской культуре: очень скоро они вынуждены были томиться на бесконечных обедах и ужинах в обществе толстяка-миллионера, который разглагольствовал об истории и рассказывал анекдоты сомнительного вкуса. Будучи сыном человека, изо всех сил рвавшегося наверх (из тех, кто в своем стремлении к богатству заработал хроническую пневмонию), он и вел себя подобающим образом. Он владел корпорацией "Браден Куппер" и являл собой воплощение всего чужого, "антиаргентинского, антилатиноамериканского". Крепкий, приземистый, с выдающейся вперед квадратной челюстью, какие бывают у "крутых янки" (Рокфеллера, Никсона, Форда) и наличие которой сложно объяснить тем, что все они едят гамбургеры и бифштексы.

Превыше всего он ставил сильную власть, которую здесь представлял. Он был антидипломатом.

21 мая он вручил верительные грамоты. Затем после 1 июня состоялось несколько холодно-официальных встреч с Пероном, а 5-го произошла знаменитая размолвка, о которой впоследствии рассказал Атилио Брамулья. Случилось это в Министерстве обороны, на углу Кальяо и Виамонте.

Знаете, как все было? Злосчастный Браден, веривший в беспредельное могущество человека, по крайней мере североамериканца, сделав несколько неуклюжих намеков и попыток склонить Перона на свою сторону, втянул в себя почти весь воздух кабинета, чтобы придать внушительности и без того грузному телу, и заявил, что его уполномочили от лица правительства США сообщить об их готовности поддержать кандидатуру Перона и прекратить кампанию по его дискредитации в

1. Бернардо Альберто Усай (1887–1971) — аргентинский врач, биолог и физиолог, удостоенный Нобелевской премии в 1947 г.

международной политике, но с условием: Перон со своей стороны гарантирует режим исключительного благоприятствования американской компании "Стэндард ойл" в разработке нефтяных месторождений, и, кроме того, американцам передадут немецкие и японские предприятия, конфискованные "в связи с войной".

На что Перон, по словам Брамульи, заявил:

— Ваше предложение вполне приемлемо, но существуют препятствия, которые трудно преодолеть.

— Сложности с законом? У нас есть опыт, Полковник...

— Нет, это сложности иного характера. В нашей стране того, кто делает подобное предложение или его принимает, называют сукиным сыном, и в данном случае...

Браден смотрел на него выпучив глаза. Он не верил своим ушам. Этот солдафон в высоких сапогах, безупречно начищенных кремом "Арола", которым по его приказу пользовался адъютант, самбо Наипаул, не желал подчиняться требованиям всесильных американцев. Брамулья рассказывал, что тучный Браден побагровел так, словно его вот-вот хватит удар. Ему, Брадену, бросали в лицо son of a bitch[1]! И кто? Этот любитель мате, креол, полковник из послушной Южной Америки!

Выкрикивая проклятия, посол обрушился вниз по лестнице. Когда он уже залез в автомобиль, его нагнал ординарец и вручил забытые в припадке бешенства перчатки и шляпу — их любезно послал ему вдогонку Перон.

ВОЙНА БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА. Перон и Эва теперь уподобились Мартину Фьерро и гаучо Крусу[2]: их преследовали, повсюду поносили и оскорбляли.

Правительство генерала Фарреля переживало агонию, однако оставалось последнее живое звено, единственное место, где неустанно шла работа и до рассвета не гас свет. Это было Министерство труда и социального обеспечения, где без сна и отдыха готовили новые законы.

В тот день 5 июня я вместе с Эвой ждал Перона. Мы условились поужинать вместе. Перон вошел улыбаясь и обратился ко мне, словно ученый-историк к коллеге:

— Наконец-то! Итак, мы пересекли Рубикон. Все худшее позади. Как вам нравится, Муньос, лозунг "Браден или Перон"? Мне пришло это в голову, когда я ехал из министерства...

Начались лихорадочные дни. Перон пересмотрел все проекты социальных законов, томившиеся в ящиках всех политических партий Аргентины. Эва уже почти не думала об актерской карьере, а только о политике. Вместе с Америко Акоста Мачадо она превратила Профсоюз работников сцены в некое подобие ячейки заговорщиков... Политические идеи прочно овладевали ее умом... На рассвете она вместе с коллегами выходила на улицу и расклеивала лозунги и воззвания.

В среде аргентинских рабочих от профсоюза к профсоюзу прошел слух, что кто-то еще отстаивает их права. Это казалось невероятным.

1. Сукин сын (*англ.*).
2. Мартин Фьерро — гаучо и поэт, герой поэмы Хосе Эрнандеса "Гаучо Мартин Фьерро" (ч. 1, 1872; ч. 2, "Возвращение Мартина Фьерро", 1879); гаучо Крус — герой фильма "Ранчо гаучо Круса" (1938) аргентинского режиссера Леопольдо Торреса Риоса.

Тем более если речь шла о военном. Социалисты и коммунисты отказывались признать очевидное (их слепота длилась целых двадцать лет!). Однако правое крыло сразу разобралось что к чему: они объявили Перону настоящую войну во имя "демократии и антифашизма".

Сейчас, спустя столько лет, кажется поразительным, как Перону и Эве удалось проскользнуть сквозь нити паутины, сотканной оппозицией — правыми олигархами во главе с Робустиано Патроном Костасом[1] при поддержке Брадена; радикалами под предводительством Сабатини; разгневанными военными, которые называли Перона и Эву не иначе как фашистскими агентами, ставленниками тех, кто сверг в 1930 году Иригойена. Стычки происходили ежедневно. Телефон не умолкал.

Иногда мы видели, как в сопровождении эскорта подъезжает автомобиль Перона. Полковник заезжал за Эвой в студию Байреса, и они оба отправлялись перекусить в ресторанчик "Майер", к дону Торкуато. Приходилось прерывать съемки. Возмущение, крики... Эва кричала громче всех.

Манифестации студентов и состоятельных дам. Улица Флорида сияющим сентябрьским утром. Все поют. Ругают Перона. Требуют, чтобы власть передали Верховному совету. Браден, имперский посол, возвращается из агитационной поездки в Санта-Фе; в Ретиро его ожидает толпа "передовой общественности". Вся "мыслящая" Аргентина подписывает письмо в поддержку Брадена. Сотни и сотни подписей, даже сегодня поражаешься их количеству. Коммунисты из Профсоюза мясной промышленности требуют улучшить условия труда рабочих на холодильных установках. Браден принимает их у входа в посольство перед объективами фотокамер. Хакаранда́[2] в цвету: голубые ковры на улицах Буэнос-Айреса. С часу на час обещают "выход генерала Авалоса" из Кампо-де-Майо, цель — передать власть Кортесам и арестовать Перона.

Голубые ковры из цветов хакаранды, на них сине-белые листовки, отпечатанные в типографии Конгресса, на которых красуется однаединственная надпись: "Браден или Перон".

Генерал Джованнони от имени высокопоставленных военных официально докладывает Перону о недовольстве армии тем, что он открыто появляется со своей "сожительницей или любовницей". Перон как всегда смеется.

— Да ладно вам, ведь это, по крайней мере, женщина, а не мужчина, — говорит он напыщенному поборнику нравственности, который, выполнив свою "предупредительную миссию", возвращается вне себя от гнева.

Их запугивают. За жизнью в квартире на Посадас постоянно кто-то наблюдает. Поговаривают о группе молодых офицеров, которые собираются застрелить Перона.

Эва обратилась ко мне за помощью. Она попросила "перевезти ее чемоданы". Сперва я решил, что ее испугали угрозы и слухи. Она не плакала, поскольку не плакала никогда, однако была угнетена:

1. Робустиано Патрон Костас — богатый землевладелец, кандидат на пост президента от консервативной партии.
2. Хакаранда́ — дерево с сиренево-голубыми цветами.

— Вы и без меня все знаете: единственный враг страны — это я. Ненависть, которую испытывают ко мне, не должна испортить карьеру Перону.

К счастью, в этот момент появилась ее подруга Хардин, и совместными усилиями нам удалось объяснить Эве, что ни о какой "карьере" речь уже не идет и Перон нуждается в ней, как ни в ком другом. (Мы думали, что жребий Перона брошен: его ожидают серьезные неприятности, а затем — тихая отставка.) В своем искреннем заблуждении мы были уверены, что именно она... Кроме того, суровый одиночка Перон действительно любил Эву, она была ему нужна. Он никому не доверял так, как ей. И их беспечный смех поздней ночью в "Мюнхене" на Костанере был для него единственной и столь необходимой разрядкой.

19 сентября состоялся знаменитый Марш во имя конституции и свободы. На улицу вышло почти полмиллиона пламенных демократов, либералов, антифашистов и сторонников Соединенных Штатов. К ним присоединились убежденные сталинисты, такие, как Родольфо Гиолди, Джудиче, социалисты с красными знаменами, средний класс, поднятый Браденом и лидерами консерваторов — Антонио Сантамариной и Томасом де Анчореной, которых сопровождали рабочие-социалисты во главе с Репетто и Америко Гиолди. Как всегда, были там и бедные радикалы в мятых костюмах, и жалкие клерки с высокими идеями, смущенные ароматом французских духов, исходившим от светских дам, восставших аристократок, а также ропотом и злобными взглядами коммунистов, считающих, что они выполняют "задание" Сталина и Молотова.

Перон наблюдал за манифестацией с пятого этажа Министерства обороны. К вечеру, переодевшись, он отправился в Министерство труда, чтобы вновь заняться работой над законами вместе с опытным Хосе Фигеролой.

Это был решающий месяц. На виду — толпы горожан, благоухающие духами дамы распевали "Марсельезу" на французском, достойном сторонниц Альянса. В глубине — темная униженная Аргентина, о которой забыли в своей Теории социалисты и коммунисты.

Разумеется, Эва забросила работу на радио. Назревал скандал. Мне приходилось выслушивать гневные вопли администраторов, продюсеров и импресарио. Однажды Эва решила "отблагодарить" своего земляка, друга матери, познакомившего ее некогда с Имбертом. Под ее нажимом Перон пошел на шаг, вызвавший крайнее раздражение: назначил Оскара Николини директором Департамента почты и телеграфа.

Армия потребовала снять Перона со всех занимаемых должностей.

События развивались с головокружительной быстротой. 9 октября армия повторила свои требования. У себя в квартире на Посадас Перон и Эва построили настоящие баррикады из придвинутого к дверям гардероба и матрасов (им сообщили, что из Кампо-де-Майо вышел отряд офицеров). Петтинато, их верный друг, сделал запас провизии на случай осады, которая могла продлиться несколько дней. Хардин, стоя на углу Посадас и Айакучо, подавала им условные сигналы с помощью разноцветных платков.

Дело принимало дурной оборот, и к вечеру они бежали из столицы на автомобиле, принадлежащем Руди Фройде, сыну их немецкого друга, решив укрыться в доме Элисы Дуарте в провинции Флорида. На следу-

ющее утро они прибыли в поместье Остенде, принадлежащее Фройде, в местечке Трес-Бокас, где когда-то покончил с собой поэт Лугонес. (Зловещее совпадение: покончивший с собой поэт и герой "часа меча", который решил, что дело его безнадежно проиграно.)

Там Перон и Эва приходят к мысли, что все внешние события и закрутивший их политический водоворот — пустая суета. Они решают отказаться от борьбы. На третий день, 13 октября к вечеру, Перона арестовал отряд военных. В сопровождении подполковника Миттельбаха, а также Мерканте, верного союзника Перона, они вернулись в Буэнос-Айрес. Задержанному разрешили посетить свою квартиру на Посадас. В ту же ночь он был отправлен на остров Мартин-Гарсиа на артиллерийском катере, ожидавшем их в Новом порту.

ДОРОГАЯ ВЕРА, Я ЗНАЮ, что однажды ты обо мне напишешь. Ты превосходный журналист, и тебе многое известно о моей жизни в Хунине.

Поверь, в событиях, достигших своей кульминации 17 октября, я не значила ровным счетом ничего. Я бы вздохнула с облегчением, если бы выдумки историков и репортеров из Чикаго и Лондона оказались правдой. Кто-то сказал, что в ту ужасную ночь 13 октября, когда арестовали Хуана, я чертыхалась, плевалась, билась в истерике и оскорбляла подполковника Миттельбаха. Как жаль, что я этого не сделала! Кроме того, говорят, что я развила немыслимую деятельность с присущей мне дьявольской энергией: наняла сотню грузовиков и автобусов и отправила их в столицу. Все это болтовня гринго. Я была сломлена, раздавлена. Для Перона я превратилась в обузу. В один прекрасный день я принялась собирать чемоданы, чтобы бежать в некое потаенное место в провинции Буэнос-Айрес и исчезнуть навсегда.

Да, я действительно хлопотала о назначении нашего друга Николини: это было каплей, переполнившей чашу. В Кампо-де-Майо меня ненавидели за то, что я открыто появлялась с Пероном, подобно проституткам, которых они сами приводили из публичных домов Сан-Фернандо. Назначение Николини окончательно доказывало, что я помыкаю их Полковником.

Я вела себя опрометчиво и чувствовала себя виноватой. Никто больше не пытался разубедить меня в том, что я враг. Враг номер один.

По дороге из Тигре я плакала. И когда поздно ночью мы останавливались у переезда, мои рыдания были слышны. Ужасное малодушие! Едва ли я тогда сознавала, какие силы пришли в движение.

Мне было по-настоящему страшно. Я отчетливо помню, что чувство вины притупляла глухая и грозная сила страха. Я знала, что Хуана разыскивают, чтобы убить, у нас имелись достоверные сведения.

Я поняла, что трагедии, которые я разыгрывала в радиоспектаклях, — говорят, у меня это получалось не так уж плохо, — теперь обрушились на меня саму. Я тихо рыдала, вдыхая запах крепкого табака, которым пропитались руки Хуана, гладившего в темноте мои волосы. Если бы я заговорила, мне на помощь пришли бы слова мадам Линч или пани Валевской, когда весь мир ополчился против Наполеона.

Я прекрасно понимаю, почему в то время так писали и говорили: никто не верит, что враг может любить или испытывать так называемые человеческие чувства. Для всех я была авантюристкой, самозван-

кой, значит, у меня не могло быть иных чувств, кроме жажды власти. Власти, чтобы мстить...

Когда до прибытия подполковника Миттельбаха, собиравшегося нас арестовать, оставалось два часа, мы, сидя на деревянной пристани в поместье Остенде, дали друг другу клятву бежать от прошлого. Тогда Хуан впервые сказал, что хочет "немедленно" жениться на мне. Мы решили уехать в Чубут.

Страх и любовь были так велики, что жизнь в глуши казалась раем. Хуан мечтал о просторах пампы. Он презирал человеческий, точнее, нечеловеческий мир, в котором нам приходилось жить.

Мы никогда не целовались так страстно, как на той деревянной пристани в жаркий октябрьский вечер. До нас доносился лишь плеск воды. Это было не просто соприкосновение губ: в поцелуях сливались наши души. И я почувствовала, что моя любовь дает Хуану живительные силы, надежду, чувство опоры, вместе мы сможем избежать опасности, забыть о подлости, окружавшей нашу любовь.

Вместе мы делались сильнее. Но вскоре краткое мгновение счастья сменилось отчаянием: мы увидели приближающихся к нам вооруженных офицеров.

На Посадас кошмар продолжался. Мы прощались. И разлучил нас Мерканте, наш задушевный друг. Да, я плакала. Плакала навзрыд. Я вся промокла от глупых малодушных слез. Волосы на висках тоже намокли, и я подумала, что потечет золотистая краска, которой выкрашены мои волосы. Белокурой я впервые предстала на фотографиях Аннемари Хайнрих и Оссиаса Вилевски, рекламирующих фильм "Расточительница".

Моя душа билась в агонии. Квартира на Посадас казалась мертвой. Я вошла в ванную: на двери как обычно висел темно-синий халат Перона. Я разрыдалась. К счастью, рядом со мною был Хуан, мой брат. Он отвел меня к себе, потому что оставаться на Посадас было опасно.

Пойми, Вера, я совершенно не годилась для политики. Любовь сделала меня никчемной. Это обо мне говорил Мартин Фьерро: "Глупеет человек, когда любовь им владеет".

О, если бы в моей власти было направить на столицу грузовики, автобусы, такси с торчащими из салона пулеметами или хотя бы старые ржавые танки, как генерал Менендес! Куда там! Только слезы и причитания. Скандал с доктором Брамульей, который отказался предъявить решение суда на арест Перона. У него были на то основания, которых я, полная бессильной ярости влюбленная женщина, в то утро не понимала: если бы прозвучали официальные обвинения, Хуана выслали бы из страны.

Теперь ты все знаешь. Это будет самая шокирующая глава книги, которую (я в этом не сомневаюсь) ты когда-нибудь напишешь. Эта глава представит меня в самом жалком виде и никак не вяжется с тем, что писали журналисты-гринго.

Как бы я хотела, чтобы их ложь оказалась правдой!

Запиши еще кое-что. В "Смысле-бессмыслице моей жизни" я сказала, что 17 октября народ нас поддержал. Да, это так. Однако необходимо назвать следующие имена: полковник Мерканте, Исабель Эрнст (с которой позднее мы разошлись), майор Эстрада, капитан Мацца. Но главное — капитан Руссо, который работал с нами в Министерстве

труда: это он сообщил об аресте Перона поддерживающим нас профсоюзам. Первым отозвался (пометь это тоже) Профсоюз сахарной промышленности, люди из Тукумана; именно там, как и независимость 1816 года, родился революционный перонизм, хустисиализм и движение за социальные преобразования. Обязательно отметь также наших товарищей, вот их имена: Гай, Тедеско, Либертарио Феррари, Преста, Сиприано Рейес (да, и его тоже), Хосе Арганья, Монтьель, железнодорожник Рамон Техада, Перельман. Ни в коем случае не пропусти Сиприано Рейеса, Луиса Гая и Луиса Монсальво. Я никогда не забуду никого из них...

Спасибо за то, что навестила меня, за цветы. Наверное, операция будет в первой половине ноября. Здесь, на задворках жизни, меня уже к ней готовят.

Как вы там? Как дела в Хунине? Ты с кем-нибудь видишься?

ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ, – РАССКАЗЫВАЕТ ФЕЛИКС ЛУНА, – именно мне, радикалу, ярому противнику перонизма, пришлось опубликовать письмо, которое незадолго до смерти передал мне полковник Мерканте. Пожалуй, это самое человечное письмо, написанное Пероном, потерявшим голову от любви, готовым уйти с политической сцены, оставить карьеру ради женщины, ради Эвы, подобно герцогу Виндзорскому.

Вероятно, письмо было для Перона главным, оно было написано в то бессонное утро 14 октября, когда военный катер пришвартовался на острове Мартин-Гарсиа, где находится тюрьма. Это письмо стало для Перона важнее политики, честолюбивых надежд и даже самого страха.

Сеньорите Эвите Дуарте, Буэнос-Айрес

Мартин-Гарсиа, 14 октября 1945 года

Мое бесценное сокровище!

Только вдали от тех, кого мы любим, мы осознаем, как велика наша нежность и любовь. С того дня, как я тебя покинул, я чувствую боль, которую ты себе не представляешь. Ничто не может утешить мое сердце. Только сейчас я понял, как люблю тебя. Я не могу без тебя жить. Мое бесконечное одиночество наполнено воспоминаниями. Сегодня я написал Фаррелю, прося ускорить мою отставку: как только я окажусь на свободе, мы поженимся и уедем куда-нибудь, где сможем жить спокойно.

Сейчас, когда я от тебя далеко, ты должна меньше волноваться и следить за своим здоровьем, чтобы порадовать меня, когда я вернусь. Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что ты вне опасности и чувствуешь себя хорошо.

Постарайся не волноваться, Мацца расскажет тебе, как обстоят дела. При малейшей возможности я вернусь в Буэнос-Айрес, так что спокойно занимайся своим здоровьем. Если моя отставка состоится, мы поженимся на следующий день, в противном случае я непременно найду способ, как все уладить.

Милая моя, здесь со мной твои фотографии, и я их все время перебираю со слезами на глазах. Береги себя. Если с тобой что-нибудь случится, моя жизнь кончена. Заботься о своем здоровье и не беспокойся обо мне. Люби меня. Сейчас мне это нужно, как никогда прежде.

Сокровище мое, будь спокойна и учись терпению. Все это когда-нибудь кончится, и настанет наш час. История меня оправдает, время покажет, что я был прав.

Самое большое зло, от которого страдает мир и в особенности наша страна, — человеческая глупость, ты ведь сама отлично знаешь, что дурак хуже злодея.

Душа моя, я хотел бы писать это письмо весь день, но сегодня приедет Мацца и расскажет тебе обо всем гораздо лучше меня. Через полчаса причалит катер.

Заканчивая письмо, я еще раз хотел бы успокоить и утешить тебя. Крепкий-крепкий поцелуй моей милой девочке.

Перон

КАК СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО УКАЗАЛА ЭВА, 17 октября начались стихийные волнения. Грозные волнения народных масс. Кто начал первым — пеоны с тростниковых плантаций Тукумана или работники боен, — сейчас уже не важно.

Военные власти арестовали Перона, однако против них выступили "демократические и антифашистские силы", вдохновляемые Браденом и одним из отделов Государственного департамента.

Адмирал Верненго Лима, главный реакционер, не мог справиться с толпой студентов и благоухающих дам. У входа в Военный клуб пытались вздернуть майора Молинуэво. Беготня, слезоточивый газ. Конные полицейские, защищавшие правительство и отныне называвшие себя перонистами, громили коммунистов и "студентов-демократов" на площади Сан-Мартина. Огромные лошади наступали на стеклянные шарики, которые разбрасывали студенты, чтобы помешать их продвижению, и скользили вниз по улице Ареналес мимо пивной "Адам". Савала Ортис, Мануэль Ордоньес, Перес Лейрос созерцали это дикое побоище, прихлебывая виски. За одним из столиков пивной расположился "повстанческий комитет" компартии во главе с Джудичи. В глубине — вспомните этот славный кабачок с развешанными на стенах оленьими рогами и часами с кукушкой — сидел Томас де Анчорена и угощал желающих шампанским с бутербродами. "Добрый день, сеньор Альфредо. Здравствуйте, Виктория. Пожалуйста, Мигель Анхель".

Здесь была представлена вся убогая палитра аргентинской идеологии, детища самых нелепых случек, своего рода краткая энциклопедия местной политической мысли. Коммунисты, которыми руководили потомственные рабочие, хотя практическую работу вели студенты-евреи с факультетов права и психологии. Горстка революционеров-троцкистов. Либеральные демократы, помещики-феодалы образца XIX века. Социалисты, боровшиеся против курения, алкоголизма и венерических заболеваний, за гигиену и здоровый образ жизни.

К вечеру стихийные потасовки приняли опасный оборот. Между полицией и вооруженными отрядами завязалась перестрелка. Спасая раненого, погиб прекрасный человек, доктор Оттоленджи. В больницы были доставлены пятьдесят пострадавших с пулевыми ранениями.

Звучали требования, чтобы правительство немедленно передало полномочия Кортесам. Военные, которым было известно, что творится за пределами Северного квартала, знали: по всей стране покатился

грозный гул, о котором до поры до времени не ведало беззаботное аргентинское общество, — стихийные протесты рабочих.

Озлобленное правительство совершило неразумный и губительный шаг: из зарплаты рабочих вычли праздничный день 12 октября[1], который Перон приказал оплатить полностью. Говорят, это было главной причиной, заставившей большинство профсоюзов примкнуть к перонистам. С другой стороны, существует мнение, что попытка линчевать Молинуэво, а также оскорбления и угрозы в адрес президента Фарреля и правящей верхушки доказали военному руководству, что без Перона удержать власть до выборов невозможно и беспорядки могут перерасти в гражданскую войну и анархию.

Складывалась комичная ситуация: страна кипела, но никто не знал, как обуздать и куда направить бушующие силы. Военные без Перона напоминали бильярдные шары без кия. Правые силы догадывались, что некто — возможно, сам Перон — спровоцировал переворот, его осуществили профсоюзы под руководством излюбленного детища Перона — Министерства труда и социального обеспечения. Несчастные коммунисты, несмотря на свои "мятежные настроения", не знали, что делать дальше: не было получено ясных инструкций от Сталина (говорят, Кодовилья[2] в отчаянии пытался добиться их через Коммунистическую партию Франции. Как будто он не знал о ялтинском соглашении).

Радикалы и социалисты притихли. Потерпела крах их благородная, но утопическая демократия, задуманная как подарок "правящих сил" (такова была идея лидера радикалов Амадео Сабаттини). Возвращение Перона виделось как единственный выход, хотя никто не произносил этого вслух.

События 17 октября удивили всех, даже самого Перона, который к этому времени окончательно пал духом и мечтал лишь об одном — отправиться с Эвой на юг. Однако в семь часов вечера того душного дня он спросил эмиссара правительства, явившегося в Военный госпиталь, и в голосе его слышались скепсис и затаенная ирония:

— Серьезно, че, люди вышли на улицу? Столько людей?

ОНА ЗАХОДИЛА КО МНЕ ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ, когда я возвращалась после спектакля. Но не позже часа, потом я ложилась спать. Я ее жалела. Мир вокруг нее рушился. Она не могла уснуть в квартире на Посадас и не хотела оставаться у своего брата Хуана. Она старалась взять себя в руки. Разговоры о ее "политической активности" — пустая болтовня. Она была всего лишь влюбленной женщиной, доведенной до полного отчаяния. Она желала только одного — чтобы Перона освободили и они вместе уехали куда-нибудь подальше, бросив все, даже театр и кино, где она после невообразимой борьбы добилась заметного положения. Помните, я рассказывала вам, как поила ее мате с молоком, чтобы хоть как-то поддержать?

Она заходила ко мне шикарно одетая. Но у нее появился еще один повод для отчаяния. Она боялась, что существует заговор и Перона убь-

1. 12 октября 1492 г. — День открытия Колумбом Латинской Америки; национальный праздник.
2. Викторио Кодовилья (1894—1970) — лидер аргентинского коммунистического движения.

ют. Она не плакала, только заламывала руки от отчаяния. Потом я ложилась спать, а она молча сидела еще некоторое время, обдумывая свои наивные планы. Ведь все решалось на совсем другом уровне, и от нее ничего не зависело.

Она разговаривала с Мерканте, с капитаном Руссо, с профсоюзными лидерами. Просила аудиенций и подолгу ждала в приемных. До 16 октября все мы считали, что Перон — политический труп. Представьте себе, Эва хотела спасти его с помощью habeas corpus[1]! Смешно! Кто-то навел ее на эту мысль, и она считала, что нашла надежное оружие.

Она суетилась, хлопотала... Но за этим, повторяю, стояла единственная цель, далекая от политики: она вела себя как влюбленная женщина.

Я НЕ МОГЛА ДОПУСТИТЬ, чтобы Пенелья де Сильва превратил "Бессмыслицу" в героическую официальную биографию. Меня возмутили "факты", которые предоставил ему идиот Рауль Менде. Я все зачеркнула и написала взамен несколько правдивых слов. (Как покорно верят люди в собственную ложь!)

В те октябрьские дни я металась по городу, гонимая отчаянием. Я читала сомнение на лицах, видела лицемерие бывших друзей, угадывала молчаливый приговор скептиков.

16-го, после ссоры с Брамульей, мое такси остановилось на углу Кальяо и Лас-Эрас, и какие-то студенты, узнав меня, принялись оскорблять. Шофер не шелохнулся. Пару раз меня ударили кулаком по лицу. Я никогда не чувствовала себя такой крошечной, такой беспомощной, как в те незабываемые дни.

Гай и Руссо убеждали меня, что еще не все потеряно. Рабочие поднимались даже в самых далеких провинциях. Мне тогда не верилось, что нищие одолеют военных, в руках у которых вся власть. Трудно было в это поверить. Но я поддерживала их как могла. И когда люди вышли на улицу, мы уселись в машину Кончиты, которую вел мой брат Хуан, и поехали встречать первые колонны — они двигались со стороны моста Альсина и Боки.

И тогда во мне возродилась надежда. 17 октября на рассвете с острова Мартин-Гарсиа привезли Хуана и поместили в Военный госпиталь на Луис Мария Кампос. Мы немедленно помчались туда все на той же машине. Там я дала волю слезам. Мне казалось, что с Хуаном что-то сделали: не то избили, не то попытались отравить...

Меня к нему не допустили, но я поговорила с ним по телефону из приемного отделения. Он успокоил меня... Его голос дрожал. Он убедил меня, что его не убьют и дело выиграно. Фаррель, Авалос и консерваторы созовут выборы. Я умоляла:

— Хуан, не вмешивайся в их дела, пусть разбираются сами...

Он приказал мне вернуться на Посадас и слушать радио. И пообещал приехать туда через пару дней.

Висевший на двери в ванной комнате халат, который еще совсем недавно казался мне грозным призраком повешенного, будто ожил. Я

1. Начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г.; один из основных конституционных актов, устанавливающий процессуальные права граждан, правила ареста и привлечения обвиняемого к суду.

схватила его и целовала, чувствуя смутный аромат одеколона "Аткинсонс", который когда-то ему подарила.

В те дни, в те часы я испытывала к Хуану какое-то странное чувство. Хотелось защитить его, спрятать, это была материнская любовь. Он казался мне беспомощным, одиноким мальчиком из Чубута, на долю которого выпало очень печальное, несчастливое детство. Мальчиком, который зимним воскресным вечером грустно смотрел, как серые птицы летят к морю.

Потом я обнаружила, что плачу от счастья: Хуан не погиб, он вот-вот вернется, и тогда мы бежим от этой ужасной политики в бесхитростный мир, где существуют только двое влюбленных.

Я приняла ванну, проглотила две таблетки аспирина и сказала брату, что мы не поедем на Пласа-де-Майо, я останусь дома слушать радио. Кажется, я уснула, сраженная неожиданно навалившейся усталостью, и проспала часов до одиннадцати вечера. И тогда, проснувшись, я впервые в жизни услышала грозный ропот — голос народа, *нашего* народа, поднявшегося на борьбу за истинную демократию, демократию справедливости... Этот гул казался мне самой дивной музыкой, которую только может себе представить человек.

СОБЫТИЯ ТОГО ЗНОЙНОГО ДНЯ невозможно пересказать без иронии. Он обернулся катастрофой для тех, кто считал, что власть всецело и по праву принадлежит им; произошел неожиданный перелом: восторжествовала настоящая народная власть (которая с таким трудом побеждает и с такой легкостью теряет завоеванное...).

На рассвете Перона забрали из тюрьмы на Мартин-Гарсиа и посадили в лодку, которая пересекла залив Ла-Плата и причалила в Буэнос-Айресе. Верный своей натуре, Перон спросил:

— Скажите, капитан, куда меня везут — на расстрел или в мою квартиру на Посадас?

Капитан улыбнулся:

— Помилуйте, Полковник! Думаю, вы без пяти минут на свободе. Мне приказано доставить вас в Военный госпиталь по личному требованию генералов Фарреля и Авалоса. В интересах вашей же безопасности...

— Как меня ценят! Забавно, не правда ли?

В половине седьмого утра они причалили к пристани яхт-клуба. Перон попросил Маццу немедленно позвонить Эве и доставить президенту Фаррелю письмо с повторным требованием об отставке.

По пути из порта недалеко от площади Сан-Мартина они увидели отряды конной полиции.

— Со вчерашнего вечера к нам отовсюду стекаются рабочие. Они требуют вашего освобождения, Полковник...

— Серьезно, че, люди вышли на улицу? И что же, их много?

— Нет, Полковник. Их не очень много. Был отдан приказ поднять мосты в районе Бока... Вчера вечером адмирал Верненго Лима призвал на помощь студентов ФСБА. Они устроили собрание. Хотят организовывать отряды, чтобы разогнать рабочих.

Стоял невыносимо жаркий день. Мы оставили Перона на пятом этаже Военного госпиталя.

Что было дальше, вы знаете. Военные один за другим приходили в госпиталь, чтобы поговорить с человеком в голубой пижаме, который жаловался на жару. По слухам, этот человек обладал чудесными способностями укротителя народных масс, хотя был так же далек от взбунтовавшихся пролетариев, как и они сами.

Он хотел одного — "спокойно уйти в отставку", каждые полчаса говорил по телефону со своей любовницей актрисой Эвитой Дуарте и просил минеральной воды.

В семь часов вечера президент Фаррель захотел побеседовать с ним в своей Резиденции. Именно тогда адмирал Верненго Лима понял, что слона невозможно убить из винтовки двадцать второго калибра. Толпа, похожая на потоки, вытекавшие наружу из всех канав и клоак Буэнос-Айреса, — слишком крупный зверь даже для танков и его любимых пехотинцев из военно-морских сил, которые ежегодно 9 июля так славно маршируют на параде.

Поздним вечером Перон приехал в госпиталь на "сьюте", принадлежащем капеллану. Пока он надевал пижаму, я вышел. В лодке его укачало. Никакого лекарства я ему не дал.

Пласу-де-Майо постепенно наполняли толпы самого простого люда. Таких редко встретишь в Буэнос-Айресе. Жара стояла невыносимая — влажная, липкая, и они мыли лицо и ноги в фонтанах, украшающих площадь. В таком историческом месте поведение их казалось кощунством.

В полдень объявили, что людей собралось около пятнадцати тысяч. На самом деле их было намного больше. По Ривадавиа прибывали переполненные грузовики. Рабочие шумели, требуя вернуть им Перона. Но вели себя смирно: стекол не били, ничего не крушили.

К вечеру военные, собравшиеся в Доме правительства, поняли: рабочих уже столько, что с ними не справятся ни конные полицейские, ни студенты ФСБА, ни "передовая общественность" с площади Сан-Мартина. Я видел лицо адмирала Верненго Лимы, беседовавшего с генералом Авалосом. Оба казались растерянными. В политическую жизнь страны неожиданно вторглась та часть населения, которую никто никогда не принимал в расчет, — народные массы, безгласные обитатели предместий и провинций.

Перон как ни в чем не бывало беседовал с Фаррелем. Он дал совет:

— Президент, немедленно назначьте выборы, и люди спокойно разойдутся. Это единственный выход. Вы вели себя глупо. А я... Я хочу мирно уйти в отставку...

— Решение уже принято.

— Хорошо, тогда я еду домой, — сказал Перон.

Фаррель побледнел, взял "укротителя" за руку и сказал:

— Ни в коем случае. Что вы такое говорите! Останьтесь, черт возьми! Эти люди обезумели, они сожгут Дом правительства! Они уже выломали решетки в воротах и ворвались на территорию Министерства морского флота! Поговорите с ними. Вы просто обязаны поговорить с ними!

Воздух обжигал, как дыхание охваченного лихорадкой тропического чудища. Предгрозовая духота, не сулившая дождя. Невыносимый зной.

Это был великий миг торжества: стало понятно, что, собственно, такое демократия и зачем она нужна. Пусть она и не обходится без предвыборных интриг, бездарной демагогии, подлости карьеристов и так далее.

Состоялся великий акт любви, где слились две силы — народ, требующий *своей* свободы, *своей* справедливости, *своего* права на существование, и лидер, которому предстояло исполнить эту волю, который станет ее *священным* орудием.

В ту ночь Перон увидел самое многочисленное скопление народа за всю нашу скромную историю. Неудержимое пламя. Дикая вспышка. Святое политическое варварство. Единственная сила, способная изменить историю, тогда как механизмы формальной демократии направлены лишь на то, чтобы сохранить достигнутую расстановку сил, не позволить ничего менять.

Перон растерялся. Перед ним бушевало море — море преданности и веры. Оно терялось в ночных сумерках далеко за пределами площади. Он предложил спеть государственный гимн.

Рождалось нечто хрупкое: на миг явила себя "власть без изъянов". Истинная власть, которая, как все истинное, немыслима без любви. В тот вечер Перон участвовал в необычном любовном слиянии, которое определило политическую жизнь страны на целые пятьдесят лет вперед (вплоть до самоубийственного "рыночного перонизма").

17 октября произошел любовный акт, великое торжество любви. Перон, человек холодный и по-макиавеллевски хитрый, неожиданно принял крещение, погрузившись в чистейшие воды народной любви. Толпа забыла о революционной ненависти ради самой справедливой из всех надежд — суметь выжить.

Как в настоящем любовном соитии, здесь было больше тайны и чувства, нежели стратегии и идеологии.

Никто не способен предвидеть, какие силы породит душа народа и что будет дальше — реформы или революция.

Вопреки "здравому смыслу" "благополучной" Аргентины, силы эти приблизились к власти вопреки исторической логике. Наверное, без возвращения пресловутой дикости времен Факундо.

Был второй час ночи. Эва услышала, как Перон повернул ключ в замочной скважине. Они обнялись. У Эвы был готов "фирменный ужин" из кулинарии "Айакучо".

— Итак, прощай, Чубут, — произнес Перон. — Пожалуй, скоро мы переберемся поближе к Пласе-де-Майо...

В ту же ночь, опасаясь нападения офицеров, сторонников Верненго Лимы и группы из Кампо-де-Майо, Перон и Эва в сопровождении Романа Субисы отправились в поместье "Сан-Николас".

Они уехали, но Перон оставил Фаррелю документ исключительной важности — он положил начало социальным преобразованиям в Аргентине. Это был Декрет № 33 302: оплачиваемый отпуск, денежные вознаграждения в конце года, государственный институт заработной платы, повсеместное повышение оплаты труда, компенсация при увольнении... Сокрушительный удар по аргентинскому феодализму.

Я БЫЛ УБЕЖДЕННЫМ ПРОТИВНИКОМ прихода к власти Перона и Эвы. Я слушал Перона с величайшим вниманием, но рассуждения о "де-

сятилетии бесчестья" казались мне выдумкой вечно недовольных всем и вся интеллектуалов. Одни считали, что этот период начался в 30-е годы вместе с революцией Урибуру, — другие, что он начался, когда губернаторствовал консерватор Фреско. Это не столь важно, поскольку ущербна сама идея. Аргентина — страна, в которой никогда ничего не происходило, не было и пресловутого "десятилетия бесчестья". Что такое бесчестье в понимании аргентинцев? То же, что в глазах избалованного ребенка. Оно наивно, провинциально, банально (к счастью, они до сих пор не знают, что такое на самом деле историческое бесчестье). Аргентина всегда жила припеваючи благодаря своему географическому положению, а также равнодушию иммигрантов к войнам и пожарам, полыхающим во внешнем мире. Между прочим, аргентинцев не затронули две великие катастрофы XX века — ни Первая, ни Вторая мировая войны. Эти страшные годы они прожили в своей колониально-католическо-иберийской скорлупе. Им не довелось испытать того, что выпало на долю китайцам, русским, японцам, немцам, испанцам. Они и вообразить себе не могут, что такое *миллионы* погибших, газовые печи, погромы, ГУЛАГ, Хиросима...

Мне всегда казалось, что аргентинская история — это выдумка, призванная занять воображение и сделать более увлекательной газетную передовицу. Приняв ванну, надев свежевыглаженную пижаму, попивая аперитив, ждет буэнос-айресский обыватель разносчика газет с ежедневной порцией забавных ужасов. Бомбардировка Лондона или битва при Мидвее, бойня на Эбро, массовое побоище в Нанкине. Даже десять тысяч убитых — "пропавших без вести" — нельзя сравнить с адом концентрационных лагерей. Да, это было трагично, ужасно, преступно, но, по большому счету, осталось лишь случайным эпизодом.

Нет, с аргентинцами никогда не происходило ничего такого, что бы позволило им занять важное место в рейтинге человеческих страданий. Именно поэтому они возмущаются, хнычут, устраивают конференции. Придумывают никогда не существовавшие трагедии, наподобие "десятилетия бесчестья". Возмутительно, когда пациент, больной гриппом, ноет и жалуется громче, чем прокаженный. Разве не абсурд — за десять лет "второй диктатуры" и нарушений прав человека двое аргентинцев были убиты полицейскими и одному студенту вывихнули безымянный палец (сегодня он стал доктором Браво). Сравните: только в Бадахосе в июне 1937-го генерал Кейпо де Льяно за два дня приказал расстрелять десять тысяч человек на арене для боя быков — самой кровавой арене Европы.

Вспомните этих двух диктаторов, Перона и его Эвиту. Аргентина консерваторов дала им все, что они имели наглость потребовать, и даже более того. Но они повели себя точно так же, как интеллигентишки или студенты из среднего класса, которых они так ненавидели: убедили народ в том, что Аргентина погружена в "бесчестье", что народ — пресловутый козел отпущения. При этом биография обоих — а они ведь вышли из весьма скромных семей — доказывает обратное. Возьмите, к примеру, Эвиту: она родом из Лос-Тольдоса, и ее единственным университетом стал школьный театр в Хунине. В пятнадцать лет она отправилась в Буэнос-Айрес, чтобы воплотить в жизнь свой каприз или призвание. На самом же деле она просто хотела стать актрисой, избежать унылой обывательской жизни. А ведь могла выйти замуж за офицера, фермера или

адвоката, как ее сестры. И добилась своего — стала актрисой и даже, несмотря на весьма скромные дарования, известной актрисой.

А Перон? Бедное, несчастное детство... Но сумел же он окончить военный колледж, словно ведомый за руку пресловутой "системой". Получил звание поручика и постепенно превратился в любимца армии. Стал майором, делал все, что ему заблагорассудится, а дослужившись до подполковника, командовал генералами, создавал тайные организации. Затем он прослыл интеллектуалом и занялся преподаванием. Помню его с саблей или рапирой в руках в "Жокей-клубе" или Оружейном обществе вместе с Анчореной, Тесаносом Пинто и tutti quanti[1]...

Заметьте: унижения и лишения, пережитые Эвитой между 1935-м и 1939 годами, являлись, как сказал бы Сартр, ее собственным выбором. Платой за роскошь жить по-своему — вырваться из захолустья. Повторяю: с аргентинцами никогда ничего плохого не случалось. Мы ускользаем от невзгод, у нас высочайший, несравненный уровень жизни. Меня глубоко возмутил гнусный план Перона, который он изложил в своей знаменитой речи в университете Ла-Платы. Он сказал, что хочет поставить с ног на голову всю Аргентину, и это ему удалось. Зачем, скажите на милость?

Макс Шелер[2] исследовал, как влияют на историю витальные влечения, чувства недовольства и обиды. Перон и Эва были двумя недовольными, хотя Шелер не был с ними знаком и не мог использовать их судьбу в качестве примера.

Простите за резкость, но я считаю, что нам необходимо покончить с ностальгическим преклонением перед ними и взглянуть правде в лицо... Я был одним из тех офицеров, кто в 1955 году сверг Перона...

Осталось только 272 дня.
В эти дни, переполненные
воспоминаниями, ожившим прошлым,
печалью, время замедляет свой бег.
Но, так или иначе, это считанные дни.
И осталось их всего лишь 272!

СЕНЬОРА ГНЕВАЛАСЬ С САМОГО УТРА. Наступило 17 октября 1951 года — последнее 17 октября в ее жизни, и она, казалось, это предчувствовала.

Я заметил, что ей плохо — гораздо хуже, чем она показывала. Я вошел на цыпочках — принес свежие газеты и увидел, что она стоит, прислонившись к дверному косяку у ванной комнаты. У нее кружилась голова. Она легла, но через пять минут снова встала — на этот раз ее движения были порывисты и энергичны, словно ей хотелось самой себе доказать, что тело столь же несокрушимо, как дух.

Она сама причесалась и оделась.

— Ренци, — обратилась она ко мне, — сегодня у нас очень напряженный день. Я хочу, чтобы он стал настоящим 17 октября! Сам видишь: все идет кувырком. Генерала Менендеса Перон даже не лишил звания. А следовало пристрелить (разве в Конституции не упоминаются "измен-

1. Все прочие (*итал.*).
2. Макс Шелер (1874—1928) — немецкий философ, один из основоположников философской антропологии, аксиологии, социологии познания.

ники и предатели Родины"?)... Старик, как и прежде, получает пенсию, только сидит под домашним арестом!

В следующий раз незваные гости пожалуют за нами не на ржавых танках Менендеса, а на такси с площади Конститусьон!

За дело! Вызови Сосу Молину и прикажи моему брату, чтобы принес отчет о работе, которую ведут офицеры с руководителями профсоюзов по плану генерала "Фон Ф.". Я должна быть в курсе всех дел. Медлить нельзя! Срочно покажите мне бумаги о закупке оружия.

– Все в порядке, Сеньора. Я лично побывал в Центральном банке. Поверенный принца предоставил кредитные письма, как мы и условились. Консульство в Антверпене получило специальные инструкции, и нам уже подтвердили, что трюмы готовы взять груз.

– Хорошо хоть так! Не хватало только назначить Верненго Лиму министром морского флота! Кстати, мне нужно еще раз просмотреть мою речь... С сегодняшнего дня я буду часто выступать. Говорить надо очень доходчиво, очень сильно, чтобы люди нас поддержали.

Я заметил, что у нее опять кружится голова. Она делала усилие, чтобы не ухватиться за гардину.

– Нет, Ренци, я не умру. Я расправлюсь с этой проклятой болезнью, как следовало бы расправиться с Менендесом! А голова у меня кружится из-за анемии. Не обращай внимания. Пусть мне принесут чай и шоколад "Долька" или "Аэро"... Совещание будет в полдень, и я должна лично видеть документы, связанные с закупкой оружия! Я хочу все подготовить заранее, прежде чем меня положат в больницу. Наша задача, Ренци, объявить войну "внутреннему заговору", и мы обязательно выиграем!

Сеньора отдышалась. Когда я вернулся вместе со служанкой, которая принесла чай и шоколад, она сидела за китайским столиком в библиотеке и сосредоточенно просматривала конспект речи, которую ей предстояло произнести на большом митинге.

(Генерал поднял всю страну, людей из глубинки привозили в столицу на специальных поездах. Такое происходило впервые. Генерал хотел устроить Сеньоре настоящее торжество. Мне кажется, она заранее это предвидела и, вместо того чтобы наслаждаться почестями и славой, хотела использовать митинг, чтобы обратиться к собравшимся людям, предупредить их об опасности. Она бушевала. Ей казалось, что все рушится из-за пассивности руководства, на что усталый Перон смотрел сквозь пальцы.)

В ТО УТРО, ПОДПРАВИВ КОНСПЕКТ РЕЧИ, я проскользнула в комнату Хуана. Он брился. На комоде, где Хуан обычно оставлял ключи, лежало письмо, которое, как я поняла, он хотел от меня скрыть. Я поспешно вскрыла конверт и прочла: "Маточно-влагалищный рак с обширными метастазами". Дальше можно было не читать. Письмо прислали из лаборатории. Оно было кратким, как приговор. Я вернулась к себе. У меня опять кружилась голова. На самом деле ничего ужасного не сообщалось: всего-навсего "обширные метастазы", однако ни слова о том, что эти метастазы смертельны или неизлечимы...

На совещании в полдень я никому не дала спуску. Потребовала безукоризненного выполнения всех распоряжений. Приказала профсоюзным лидерам, в особенности Сото и Сантине, отнестись к военной под-

готовке их людей как к заданию первостепенной важности. Пообещала заранее, что в ближайшем будущем, как только будут созданы и официально признаны отряды рабочей милиции, им дадут звание генералов. Заявила, что армия, как и 17 октября 1945-го, поражена злокачественной опухолью заговоров, которую не сумели вырезать вовремя. Роковая историческая ошибка. Еще я сказала, что нам предстоит решающая схватка и что они должны будут бороться против главенствующей роли военных в обществе, заручившись поддержкой здоровой и надежной части армии. Особое внимание я уделила Приказу № 1. Потребовала списки с именами политиков, начальников различного рода, которые вместе с военными участвовали в заговоре. Необходимо иметь их адреса, следить за каждым их шагом, чтобы в случае чего действовать молниеносно.

Я добавила, что сегодня состоится большой митинг, и я призову народ к бдительности и сплоченности.

Когда из библиотеки все вышли, я немедленно вернулась в спальню, мои силы иссякли: лампы, китайский столик и лица Сото и Сантины, словно обезглавленных олигархами, плыли у меня перед глазами.

Я оделась в черное, этот цвет стройнит. Все решат, что мне стало лучше и я за себя не боюсь, раз не стараюсь скрыть болезнь за яркими цветами.

В машине я мерзла, хотя температура была почти такая, как 17 октября 1945-го. Только влажность выше. Холод шел из моего тела, его порождала болезнь. Она изнуряла то жаром лихорадки, то зловещим ознобом, предвестником могильного холода.

Нас ожидал народ — тот самый народ, поддержавший Перона 17 октября 1945 года. Сегодня людей собралось намного больше. За минувшие пять лет мы выполнили свои обещания. Сегодняшняя Аргентина, бесспорно, самая социально стабильная страна Латинской Америки.

Разумеется, я не имела права плакать ни перед многотысячной толпой, которая скандировала мое имя, ни потом, после прощания. Я обязана была выполнить свой долг: призвать людей к бдительности. На слабость я не имею права. Я должна являть собой воплощение здоровья и боевого духа. Мой голос должен быть сильным, как во время выступлений на "Радио Бельграно", когда Екатерина Вторая призывала народ выступить против произвола бояр.

Пока шли овации, я держалась молодцом, но когда Перон стал заканчивать свою речь — а это были слова самой горячей благодарности, какие только может услышать женщина, всю душу отдавшая беднякам, — я вдруг раскисла. Из глаз потекли слезы... Я обняла Перона, мне хотелось с ним слиться. Но резкая боль внизу живота (несмотря на огромное количество впрыснутого обезболивающего) отрезвила меня, я разозлилась, взяла себя в руки и шагнула к микрофону.

Все, что у меня есть, все, чего я добилась, все, чем я живу, мне не принадлежит: это дал мне Перон. Я здесь, чтобы поблагодарить ВКТ, который организовал сегодняшний митинг в мою честь, — отныне он будет для меня самым дорогим воспоминанием об аргентинских тружениках.

Но сегодня я должна напомнить вам, как важно сохранять бдительность на всех участках нашей борьбы. Нам по-прежнему угрожает опасность. Каж-

дый аргентинский рабочий должен быть начеку, потому что враг действует исподтишка, предательство часто скрывается за улыбкой и дружески протянутой рукой. Враги народа, Перона и Родины давно знают, что Перон и Эва Перон готовы умереть за свой народ. Теперь им известно также и другое: народ готов умереть за Перона.

Сегодня, товарищи, я прошу вас об одном: мы должны здесь же поклясться, что будем защищать Перона и бороться за него до самой смерти. Клятва наша будет такова: в течение минуты мы будем кричать: "Умрем за Перона".

(Это продолжалось дольше минуты. Я ни разу не слышала столь страстного отклика на свой призыв, на отчаянный зов. Они все чувствовали...)

И в этот миг я начала терять контроль над собой. Мой голос словно тонул в водовороте чувств. Слова как будто уносили меня в зыбкую топь, в молочно-белый туман, предвещавший смерть:

Даже если моя жизнь оборвется на полпути, я знаю, что вы подхватите мое имя и понесете его навстречу победе как знамя. Я знаю, что Бог с нами, потому что он защищает униженных и ненавидит высокомерие олигархов. Вот почему победа будет за нами. Рано или поздно мы добьемся ее, мы готовы на *любые потери, любые жертвы.*

Мои милые бедняки, я прошу вас только об одном: я уверена, что скоро присоединюсь к вам, но если здоровье подведет меня, берегите Генерала, оставайтесь верны Перону, как были верны до сих пор, потому что это значит верность Родине и себе самим. Я всех вас крепко прижимаю к своему сердцу и очень хочу, чтобы вы поняли, как я вас люблю...

Произнося последние слова, я рыдала, словно актриса Йайа Суарес Корво на "Радио Прието", когда она в роли Магдалины получила весть о том, что Христа распяли.

Стыд и позор. А потом я малодушно, по-женски, прильнула к Перону, бессильно уткнулась лицом в его грудь, его рубашка и галстук намокли от моих слез. Перон утешал меня так, как позволял себе когда-то лишь в сумерках кинозала.

Это было ужасно. Я выполнила свой долг, предупредила народ. И все-таки это было ужасно. Словно мы перенеслись в тот 1945 год, когда все внешние силы обрушились на нас. Как жаль, что мы лишены твердости Сталина или Мао Цзэдуна!

"АРГЕНТИНА, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА В МИРЕ, где простым людям снятся заснеженные равнины". Так звучал один из афоризмов Перона, которыми он развлекал нас в те долгие дни, проведенные у меня в усадьбе "Сан-Николас" или у него на вилле "Сан-Висенте", где мы готовили избирательную кампанию, после того как народ поддержал его 17 октября.

Улыбнувшись этим словам, мы задумались. Перон говорил об отсутствии чувства реальности у народа, которым собирался править (которым *мы собирались* править, потому что я готовился стать министром политики, а Эву ждала самая несокрушимая и тонкая из всех форм власти — ее порождает харизма личности; такой власти не дает ни одна государ-

ственная должность, ни один пост, и она будет нести свою ношу со страстью и самоотверженностью посланного на землю ангела).

В эти чудные ноябрьские дни Эва окончательно отказалась от актерской карьеры и покорно выслушивала бесконечные монологи своего наставника, который с явным удовольствием рассуждал об аргентинской истории и социологии. А мы внимали ему, особенно Эвита, которая тогда была для нас загадкой и чей интеллект казался еще более скромным и хрупким, чем тело.

Мы занимались подготовкой к мартовским выборам, обсуждали план преобразования государства. После обеда подолгу не вставали из-за стола, беседуя о философии и политике.

Перон и Эва ни разу не усомнились в своей победе на выборах, несмотря на то что их противники чувствовали за собой огромную силу: власть прессы, радио, международную поддержку, на которую могли рассчитывать так называемые традиционалисты, или, как сейчас говорят, Система.

Как-то раз вечером полковник Мерканте, обычно приезжавший вместе со своей приятельницей Элизабет Эрнст, спросил Перона:

— Хуан, а что, если победит их Демократический союз, который, по-видимому, поддерживает большинство избирателей?

На что Перон ответил:

— Тогда нам придется уехать из страны; бегством в Чубут дело не обойдется, они не простят нам заваруху 17 октября... Тем не менее все проголосуют за нас — социалисты, радикалы, консерваторы, коммунисты... На сегодняшний день уже половина из них примкнула к перонистам, а за ними последуют все те, кому в прошлый раз пришлось продать свой голос, чтобы поесть асадо с пирогом... Эти люди ничего не забывают, че.

В политике Перон был политеистом. В качестве преподавателя военной истории он всегда защищал империи. Но в глубине души оставался истинным креолом и, как житель пампы, питал неприязнь ко всему заграничному, к влиянию внешнего мира. В демократиях англосаксонского типа, только что выигравших войну, он видел нездоровое, смертельно опасное начало. По его мнению, теперь всем правили деньги, невежество и эгоизм. Перону были близки аристократические понятия об иерархии. Он всегда оставался консерватором (хотя был бы очень недоволен, если бы ему об этом сказали). Он не мог представить будущего, когда торговцы и дельцы, во имя погони за продуктивностью, во имя свободы и прогресса создадут общество, в котором каста вайшиев[1] встанет выше брахманов, ученых и воинов.

Сейчас не время подробно объяснять политическую доктрину Перона. Она всем известна: достаточно прочесть его труд под названием "Организованное сообщество". Вероятно, вам было бы интереснее услышать кое-какие остроумные наблюдения, которыми он делился в кругу близких друзей-политиков, никогда не повторяя их во всеуслышание, поскольку был мудр и дальновиден и с недоверием относился к умственным забавам. Приведу некоторые его высказывания, записанные мною в тетрадь, которую я назвал "Дневник из 'Сан-Николаса'":

1. Вайшии (*санскр.*) — члены одной из 4-х варн Древней Индии, сначала объединявшей земледельцев, скотоводов, торговцев и некоторых ремесленников. В Средние века — только торговцев.

В период упадка к власти приходит кастрированная, унылая демократия, лишенная героического духа. Это демократия обывателей, которая обращается к гражданам один раз в пять или шесть лет по вопросам желудочного или физиологического характера. Вот почему англосаксы, победившие в этой войне, возродили именно такую демократию. (Даже нищим готтентотам в Новой Гвинее пришлось завести две палаты — касиков и простых негров без татуировок!) Негров, бедных южноамериканцев, радикалов и некурящих социалистов заставляют поверить, что они свободные индивидуумы и имеют право выбирать то, чего хотят. И что 'независимые нации', которые они представляют, свободны и уважаемы так же, как и великие державы мира: Англия, Уганда, Швеция, Уругвай, Соединенные Штаты, Боливия... Все равны в этом лучшем из миров.

Знаете, Субиса, когда наступает упадок? Когда тот, кто знает правду, скрывает ее во имя толерантности. Вот почему — и практически только поэтому — демократия является главной причиной распада и загнивания. Ведь герой сам себя посрамляет. Боливар спорит с Бальбином и Энрике Дикманом[1]. Вам не кажется, что это абсурд? То же самое касается и веры: сегодняшний наш католицизм — это религия старушек и жалостливых английских домохозяек, потому что уже никто не способен насаждать огнем и мечом правду Христову.

Такова политика: даже к преданнейшему другу лучше приставить кого-нибудь, кто бы глаз с него не спускал.

После этой войны, выигранной туповатыми англосаксами, мир на долгие годы попадет в лапы алчного капитализма. В истории много примеров тому, как труп мертвой идеи распространяет зловоние еще лет сорок, а то и пятьдесят. С этим приходится мириться, однако необходима духовная защита: идея капитализма переживает агонию. Он похож на старую шлюху, встречающую свой последний рассвет на панели под проливным дождем.

Мерканте частенько показывал нам вырезки из "Нью-Йорк таймс" и других американских газет — все они источают ложь и желчь, но главные их враги — Эвита и Перон.

Не расстраивайся, Мерканте. Трудности у хустисиализма начнутся тогда, когда эти газеты, считающие себя властителями мирового общественного мнения, примутся нас превозносить. Вот тогда нам точно крышка, и никакие выборы мы уже ни за что не выиграем. Вспомни о Брадене... Представь: будь он на нашей стороне, было бы у нас 17 октября?

Все эти левые аргентинские либералы с площади Сан-Мартина — зубные техники с квартирами на улице Санта-Фе и еврейские адвокаты — упорно отстаивают национальные интересы "серьезных" стран, выигравших Вторую мировую, — Соединенных Штатов, Англии, Франции, России. Они ведут себя с ними, как сипаи[2]: будучи людьми образованными, видят в идеологических и

1. Симон Боливар (1783—1830) — государственный деятель, один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Южной Америке; Децим Целий Бальбин (178—238) — римский император в 238 г.; Энрике Дикман (1894—1980) — аргентинский депутат-социалист.

1. В Аргентине так пренебрежительно называют политиков, служащих интересам иностранных компаний.

научных открытиях этих держав несомненное превосходство — и принимают его с энтузиазмом. Они как бабуины, которые усердно предлагают сильным самцам своих самок, а потом и сами охотно подставляют им свои лысые зады.

Перон мыслил скорее как правитель-теоретик, нежели как правитель-практик. Главной его целью была социальная демократизация Аргентины. Как он часто повторял, консерваторы создали страну почти из ничего; Иригойен установил избирательную демократию, систему всеобщего тайного голосования; нам же достались именно *социальные* преобразования.

Аргентинская демократия начала разлагаться, не успев пройти основные стадии своего развития. Демократический союз, главный противник Перона на выборах, образец разложения и безволия, намеревался объединить феодальные интересы Робустиано Патрона Костаса и революционные идеи коммунистов Кодовильи и Гиолди...

В те дни в "Сан-Николасе" мы, собеседники Перона, видели в нем последний оплот Аргентины как независимой страны. Удивительное стечение исторических обстоятельств позволило построить государство в пустыне и за сорок лет превратить эту пустыню — землю одичавших собак и степных филинов — в шестую экономическую державу мира (я имею в виду 1929—1930 годы) с высочайшим уровнем жизни и огромным потенциалом.

Но Перон отлично знал предел своих возможностей. Мы были огромной развивающейся страной, и народ у нас умный, но его ничтожно мало. Вот что было нашей ахиллесовой пятой. Как-то раз Эва попыталась поспорить с ним, на что он ответил: "Видишь ли, Эвита, несмотря на весь твой энтузиазм, мы, аргентинцы, не в силах оказать существенное влияние на мировые события. Наша революция может рассчитывать на духовные и политические преобразования только в рамках Латинской Америки. Нас всего-навсего шестнадцать миллионов. Это ничтожная цифра. Наша ошибка в том, что мы не последовали призыву Альберди[1] 'Править значит населять'. Сейчас мы имеем дело с анархией, но постепенно мы создадим модель независимости, которая будет примером для всего латиноамериканского общества. Мы так малочисленны, у нас такой незначительный прирост населения, что скоро у Аргентины не останется другого выхода, как примкнуть к Бразилии.

Для выполнения столь важных задач нашей стране необходима железная власть, сильное Государство, какое было в свое время у консерваторов. Это страна первосортных бастардов, которые съехались со всего света и образовали беспорядочную смесь. Это не единый народ, а пестрая толпа, и только Государство способно воспитать эту массу и превратить ее в настоящий народ. Что и понял великий Лугонес, хоть он и остался под конец жизни в одиночестве".

В такой вот солнечный и жаркий день Перона и Эвиту обвенчали в приходской церкви Ла-Платы. Пригласили только несколько друзей, мать Перона, Хуану Ибаргурен и сестру Эвы. Потом мы скромно отметили это событие в кондитерской "Париж".

1. Хуан Баутиста Альберди (1810—1894) — аргентинский политический и общественный деятель, философ, писатель, экономист.

Предвыборная кампания Перона была почти незаметной. Вся пресса, каналы распространения информации, университеты, "передовая общественность" и основные партии решительно объединились против него под формулой "Тамборини–Моска"[1]. Однако Перон знал, что в его защиту поднимается глубинная, "подземная" Аргентина. Во время своих немногочисленных выступлений он *неожиданно* оказывался в окружении несметной толпы. Словно у народа имелась своя тайная сигнальная система – очень простая, но превосходно отлаженная, наподобие барабанов, чей бой достигает самых отдаленных уголков джунглей.

Перону и Эве пришло в голову проехать на поезде по самым удаленным уголкам Аргентины – таков был основной принцип их политической кампании, предварявшей мартовские выборы. Поездки организовал некий Альварес, новый приятель Хардин, инспектор железнодорожных компаний и главный устроитель праздников на Эль-Молино. Арамбуру, один из тех, кто в 1955 году сверг Перона, в свое время вспомнил "эти пирушки" и отблагодарил Альвареса, назначив его консулом в Италии. Сама же Хардин после путешествия в раскаленных вагонах по Центральной Аргентине навсегда исчезла из окружения Эвы. Поговаривали, что она пыталась сблизиться с Пероном, но Эва эти попытки решительно пресекла.

В вагонах были оборудованы настоящие квартиры, и, несмотря на зной, "политические гастроли" удались. Поезд останавливался на крошечных полустанках, где его неизменно встречали толпы "забытых" – они приезжали на эту встречу из далеких, иссушенных солнцем полей. Перон и Эвита приветствовали каждого. Всем жали руки (такого отсталые креолы никогда не видели). Иногда сил уже не хватало, а люди все прибывали, стояли вдоль путей даже ночью, так что толпу встречали Альварес и Хардин, пользуясь отдаленным сходством с едва ли знакомыми креольским крестьянам Пероном и Эвитой, которые в это время отсыпались в прохладе под вентиляторами, тихо жужжавшими в старых английских вагонах.

В Тукумане их поджидала огромная, невиданная манифестация. Многие погибли в давке. По настоянию Эвы они с Пероном посетили местный морг. Там Эва потеряла сознание. А придя в себя, торжественно попрощалась с каждым из погибших единомышленников, затоптанных и задавленных восторженной толпой.

Все это возымело неожиданный резонанс. Ничего подобного Аргентина не знала. Настоящий всплеск до поры до времени затаенных народных сил, своего рода цепная реакция.

Как вы уже знаете – таков исторический факт, – вопреки прогнозам и здравому смыслу сторонников Системы, Перон и Эва победили на выборах. Сами выборы, как и предсказывал Перон, были лишь формальным актом, увенчавшим брачный союз народа и лидера, заключенный в незабываемый день 17 октября 1945 года.

НЕПРОСТОЙ ВОПРОС... Признаюсь, за всю нашу совместную жизнь я ни разу не ревновала по-настоящему. Казалось, Хуан и я поднялись выше обычных любовных отношений. Так было с самого начала; позже

1. "Тамборини–Моска" – Хосе Тамборини и Энрике Моска – члены партии радикалов, были выдвинуты на посты президента и вице-президента, соответственно (1946).

это чувствовалось сильнее, потому что власть, государственная деятельность и работа в Фонде поглотили нас полностью, не оставляя сил для подобных развлечений.

Но когда-то давно, еще в самом начале, произошла та история с Хардин, моей подругой. Я ни в чем не могу ее обвинить. Более того, я неизменно думаю о Хардин с симпатией, потому что у меня с ней связаны воспоминания о самых беззаботных днях моей жизни, когда я, представьте, воображала себя талантливой актрисой.

Кроме того, это было существо, к которому невозможно предъявить иск, как говорят судьи. Для нее секс и любовь были всего лишь забавой, а мужчины — куклами, марионетками. Перон тоже мог оказаться в этой роли...

Хардин была — и весьма вероятно, остается поныне — необычайно живым существом. Такие люди, как она, всю жизнь убегают от печали, трагедии, разыгравшейся когда-то в детстве. Она была дочерью губернатора и происходила из разорившейся семьи, некогда известной в провинции Санта-Фе. В ее гардеробе среди платьев и нижних юбок хранилась бедренная кость ее деда, который, как она уверяла, оберегал ее с того света. Ей довелось присутствовать при перезахоронении его останков на кладбище в Санта-Фе, — вероятно, их собирались перенести в часовню, — и она стащила кость, спрятав ее под плащ. У нее были ужасающие ссоры с мужем — тукуманцем, журналистом "Фотоновостей" занудой Эредиа, — и легендарная кость превращалась в орудие нападения. В газетах не раз появлялись заметки об этих побоищах. Причиной ссор чаще всего становились азартные игры: иногда они проигрывали друг другу все свое жалованье. Хардин уверяла, что Эредиа бессовестно мухлюет.

Она заходила ко мне в гости и приносила с собой пирожки, купленные в баре "Какуи" на авениде Де Майо, недалеко от Конгресса. Это было самое щедрое, легкомысленное, взбалмошное, сексуальное и свободное создание, какое я когда-либо знала. Я рассказываю тебе эти подробности, чтобы ты понял — речь идет о человеке необычном.

А потом произошло вот что. Думаю, ты меня поймешь: самую жгучую ревность вызывает тот, кто умеет рассмешить человека, которого мы любим. Уметь рассмешить — почти то же самое, что уметь заниматься любовью. Это способ овладеть другим, овладеть через смех, доставить ему особый вид удовольствия.

Во время нашего путешествия на север — великого "крестьянского похода", как назвал его Перон, — поезд останавливался на любом полустанке, и мы здоровались со всеми, каждому подавая руку, а Хардин развлекала нас всевозможными затеями. Она была редким заводилой. Выпрыгивала из поезда на выжженные поля Ла-Банды и покупала козий сыр, который подавала нам с вареньем. Пекла тамали[1] у огня паровозной топки. С ловкостью канатоходца шла по подножке, тянувшейся вдоль вагонов, до самого локомотива, а потом возвращалась обратно, неся в руках миску обгоревших тамалей. Мы наблюдали за ней из окон затаив дыхание. Она смешила всех: Перона, своего нового мужа Альвареса, машиниста, инспектора и даже меня, хотя ее забавные проделки постепенно пробуждали во мне ревность.

1. Тамаль — пирог из кукурузной муки с мясом и специями.

Хардин была сама непринужденность. Если бы в поезде ехали Робустьяно Патрон Костас и Демократический союз, она вела бы себя точно так же. Она была свободна; пожалуй, это был единственный почти до умопомрачения свободный человек из всех, кого я когда-либо знала. Гибкое, невесомое тело, довольно-таки откровенные наряды. Она не ведала ни стыда, ни страха. Никогда не забуду старинный особняк на улице Маипу, где я пришла в ярость, столкнувшись с ее любовниками — Сантамариной, спускавшимся из спальни, и почтенным директором банка, который собирался войти. А она, совершенно голая, стояла у перил лестницы, смеясь над моим гневом...

Да, в том поезде, весело летевшем по раскаленному северу, я ревновала. У Хардин была такая же прическа, что и у меня (мы вообще были чем-то похожи), и иногда она вместе с Пероном приветствовала народ, пока я отдыхала после бесчисленных рукопожатий.

Мне не понравилось, когда однажды она под каким-то предлогом вошла в наше купе в одной нижней юбке, усыпанной кокетливыми бантиками: должно быть, эту юбку подарил ей директор банка.

Бедняжка Хардин. Я высадила ее в Тукумане и сделала это, признаюсь, довольно грубо. Обидно, когда приходится принимать особые меры к тому, кто не совершил ничего особо дурного...

Другим человеком, который вызвал во мне чувство, похожее на ревность, была Фанни Наварро, актриса. Она неплохо играла, и у нее было великолепное смуглое и гибкое, почти как у мулатки, тело, какого нет у меня. Она была, что называется, сексапильна. В случае с Фанни я вела себя странно. Вместо того чтобы отдалить, я ее приблизила и обращалась с ней так, что в моем поведении никто бы не заметил подвоха или злого умысла. Я чувствовала к ней симпатию и даже давала поносить драгоценности, которые великолепно на ней смотрелись. Может быть, это был своеобразный вызов: любопытно увидеть, что произойдет, если впустить опасность в свой дом. К тому же я чувствовала, что она меня очень любит. Поговаривали — я сама это слышала от одного из моих бесчисленных завистников, — что, если я вдруг исчезну, если умру, Фанни почти наверняка займет мое место. Однако ни у Фанни, ни у Хардин политическая жизнь не вызывала ни малейшего интереса. Бедняжки были всего лишь женщинами, настоящими женщинами. Фанни была великолепна, ее опьяняло желание, которое она разжигала в мужчинах. Понятное дело, к страданиям других она оставалась совершенно равнодушна. Вполне довольствовалась своей жизнью, которая для нее означала жизнь тела — роскошного тела со смуглыми покатыми плечами. Ей не приходило в голову, что для мужчины, подобного Перону, политика имеет решающее значение.

Войдя в наш круг, она вскоре сделалась любовницей моего брата Хуана, который подыскал ей такую же роскошную квартиру, как та, что он снимал для другой своей подружки, тоже актрисы.

Когда я узнала об ужасной болезни Хуана, заставившей его отправиться на лечение в Соединенные Штаты, мне пришлось позвонить ей и сообщить, что у моего брата сифилис в особо тяжелой форме. Он подхватил его во время оргий с проститутками в Альбаисине, в Гранаде, когда мы были в Испании. Эти безобразные оргии вызвали негодование чистоплюя и ревностного католика Мартина Артахо, премьер-министра Франко.

Фанни наделена сексуальной притягательностью здоровой жизнерадостной самки. Я и вправду считала, что она способна обольстить Перона. Но я ошибалась, ничего подобного произойти не могло. Жизнь Перона протекает в глубине, в полумраке, куда не проникают лучи, скользящие по поверхности. У этого человека было тяжелое, очень печальное детство. Только я одна об этом знаю.

Я УБЕЖДЕН, ЧТО САМЫМ ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ в совместной жизни этой супружеской четы были дни, проведенные в "Сан-Висенте", скромном поместье Перона. Одиннадцать гектаров земли да невзрачный домишко — вот что представляло собой поместье. Перон приказал соорудить закрытую веранду, выложить камнем пол и держал там лошадей, за которыми ухаживал живописный самбо Наипаул, которого выгнали из армии за мелкие кражи. Среди лошадей был и тот пегий жеребец — на нем Перон производил смотр войск, вызывая негодование толстозадых чиновников из Буэнос-Айреса, решивших, что подобное мальчишество недостойно президента.

В те недолгие дни — до и после прихода к власти, в июне 1946 года — они переживали самый острый, насыщенный и гармоничный период своего романа.

Эва все глубже вникала в политику. Перон объяснял ей свою теорию. Рассуждал, чтобы убедить самого себя, отшлифовать собственные идеи и проекты. Так на свет появился хустисиализм, а по пятницам и субботам Перон готовил асадо, которым угощал профсоюзных лидеров — Сиприано Рейеса, Гая и многих других. Бывала у них и супружеская чета Гуардо, появлялись Мерканте, Субиса и незаменимый Фигерола, сделавший огромный вклад в создание единого перонистского государства.

Я тоже частенько их навещал. Знаете, что сказала Эва в первый день, когда я приехал в "Сан-Висенте"?

— Падре, вы приехали сюда как друг. Чувствуйте себя как дома, а сутану повесьте в шкаф.

— Не могу, Эва.

— Еще как можете — в Аргентине дружба куда важнее религии.

Перон трудился дни напролет. В одиннадцать он давал Эве уроки верховой езды на английский манер, в дамском седле.

Затем переходил к своим ритуальным обязанностям — готовил асадо.

На моих глазах рождался, рос и набирал силу народный социализм, основанный на социальной справедливости. В перонизме никогда не было ничего революционного, например, экспроприации земель, скота или фабрик. Его главная идея — крепкая экономическая централизация государства.

Самодовольный капитализм англичан и североамериканцев, победивших в войне, Перон считал худшим из зол, источником всех пороков. Перон, как следовало из его монологов, верил в греко-латинский, средиземноморский Запад. Все остальное казалось ему чистейшим варварством, скрытым под привлекательной маской технологического прогресса и военной мощи.

Образцом он считал Италию, а предметом восхищения для него служил Муссолини.

В те дни он казался мне одиночкой, который заботится о судьбе государства, в то время как окружавшие его полуграмотные военные больше интересовались лошадьми и блеском сапог.

Невероятно: двух одиноких людей, попивавших мате возле загона с лошадьми, народ единодушно избрал хозяевами политической судьбы Аргентины. Поистине, королевская чета в альпаргатах[1].

Часов в пять вечера Наипаул запрягал лошадь и отправлялся в пекарню, откуда привозил печенье или пирожные с кремом для вечернего мате.

День за днем Эва училась политике. Я не верю рассказам Сереихо, который занимал в ту пору должность министра экономики и помог организовать Фонд, что Перон якобы заставлял Эвиту делать записи в тетрадь, а затем проверял конспекты, как школьный учитель. Сереихо утверждает, будто видел эти тетради собственными глазами.

Вечера были долгими. Спасаясь от зноя, ужинали в тени вязов и ветел, где стоял длинный дощатый стол, во главе которого восседал сам Перон. Его верный слуга Наипаул не отходил от него ни на шаг, исполняя малейшее пожелание хозяина.

Эва готовила свои фирменные блюда: помидоры, фаршированные тунцом с майонезом, отбивные по-неаполитански, куриное филе. Пили белый игристый леон или васкито из литровых бутылок. Вино наливали в высокие стаканы, куда Наипаул добавлял минеральную воду и лед. Время от времени раздавался голос Перона:

— Ну-ка, Негрито, подлей гостям еще шампанского.

ДА, ВЫ СОВЕРШЕННО ПРАВЫ: для Эвы это был период безмятежного счастья и настоящей любви. Перона привлекали юные девушки, женщины-девочки. Неискушенное податливое тело, чистая душа... Осмелюсь предположить, что хрупкая Эвита, которая к тому же была вдвое его младше, принадлежала к тому же типу женщин, что и Пиранья или девушка из Студенческого союза, которую после смерти Эвы Перон увез с собой в Оливос.

Поймите, Перон был детищем казармы. Одиноким суровым мачо. Настоящим milites chubutensis[2]. Он считал, что ни одна женщина не может задержаться в его жизни надолго. Его идеал "совместной жизни" был похоронен вместе с Аурелией Тисон, которую он очень любил и уважал. Она происходила из хорошей семьи среднего класса и была из тех женщин, которые с детства обучаются фортепьяно и французскому, а по субботам покупают билеты на вечерний воскресный сеанс в "Идеал" на улице Суипача.

В те дни в "Сан-Висенте" Эва была просто обворожительна: распущенные волосы, смех, доносившийся из двуколки, на которой они ездили в поселок. Я видел, как обнявшись они возвращаются по окаменевшей от солнца проселочной дороге. Они словно предчувствовали, что скоро на их плечи ляжет бремя власти, и наслаждались любовью, как двое подростков, которые знают, что подходят к концу чудесные летние каникулы.

1. Альпаргаты — обувь с подошвой из дрока или пеньки.
2. Воин чубутский (*лат.*). Чубут — провинция на Юге Аргентины.

Они обвенчались, но их связь по-прежнему носила оттенок чего-то запретного. Таинство венчания не повлияло ни на их повадки тайных влюбленных, ни на отношение к ним друзей, которые чувствовали себя невольными сообщниками и долго еще воспринимали Перона и Эву как любовников.

Совсем скоро, в середине 46-го, они пришли к власти, и Эва превратилась в "Глубокоуважаемую Марию Эву Дуарте де Перон", которую все, за исключением бедняков, обязаны были величать "Сеньора".

Думаю, эта подробность покажется вам интересной. Со мной же, священнослужителем, они старались не слишком подчеркивать свои пылкие чувства.

Как они обращались друг с другом? Думаю, вы меня поймете, если я скажу, что оба воспитывались в креольской среде. Они выросли в одиночестве и нищете. У них никогда не было ссор или бурных сцен. Ужасающие выходки Эвиты, ее скверные словечки и ругань всегда были адресованы кому угодно, но только не Перону. Между ними ничего подобного не случалось. Они друг друга уважали. Но тогда, в тот долгий победный год, они походили на двух любовников, вечных беглецов, чье прошлое было лишь подготовкой к этому побегу. (Лишь много позже, незадолго до смерти Эвы, мне вдруг пришло в голову, что Перон, который никогда не отличался храбростью, боялся Эвиту, словно карающего ангела или землетрясения. Казалось, Перон считал, что по сравнению с ней он занимает более низкую ступень духовного развития. Может, я ошибаюсь...)

Тем не менее Эва постоянно повторяла, что ей не хотелось быть просто "супругой президента". Думаю, что понятие "супруга", как порождение буржуазного общества, вызывало у нее неприязнь, равно как и другое распространенное выражение – "женщина легкого поведения", казавшееся ей обратной стороной того же мачистского штампа. На этот счет у Эвы не было "определенных позиций". Просто у нее вызывало протест место, отведенное женщине в то время в обществе. Поэтому она постепенно стала отождествлять себя с женщинами особой судьбы, с героинями радиоспектаклей, в которых играла.

Мне кажется очевидным, что Эва презрительно относилась к "мачистскому феминизму", видевшему свою задачу в том, чтобы "освободить" женщину, позволив ей занять место, предназначенное мужчинам, и исполнять их обязанности. Она смеялась как над обществом, где правили мужчины, так и над всей прагматичной цивилизацией, созданной мачо.

Позднее, в боях за право женщины на участие в голосовании, а также в ходе выступлений в женском крыле партии хустисиалистов, ее идеи приобрели более четкие очертания.

Правду сказать, Эве действительно удалось изменить положение женщины в Аргентине. Представьте себе, до нее единственным примером свободной женщины считалась Виктория Окампо, которая больше сорока лет скрывала связь со своим старым любовником, чтобы ее папочка не узнал об этом и не огорчился.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ВРЕМЯ ВЛЮБЛЕННОСТИ И ЕДИНСТВА продолжалось до 1948 года. Затем власть и политические страсти развели их по двум параллельным, но тем не менее различным дорогам.

В прошлом остался "Сан-Висенте", где в тени вязов подавалось асадо, а Наипаул разливал по бокалам шампанское. Появился современный загородный особняк, а старый кирпичный дом превратили в часовню.

Придя к власти, они первое время жили у Эвы на улице Теодоро Гарсиа, а затем перебрались в Дом президента — в злосчастный дворец Унцуэ, который с тех пор напоминает о ее долгой мучительной смерти.

В Резиденции была широкая лестница с перилами. Приехав туда, я застал их за странным занятием: они наперегонки спускались по перилам со второго этажа. Эва попросила меня проследить, чтобы Перон не мошенничал.

Уже в 1949-м стало ясно, что их жизненные пути параллельны, но различны. И Перон, и Эва имели огромное политическое влияние: Перон решительно строил государство, а в Эве стремительно росла эмоциональная сила, страсть и вера в социальную справедливость, которая поглощала все ее время.

Их день строился по-разному. Перон просыпался в пять утра и в шесть был уже в Доме правительства. Возвращался домой пообедать и вздремнуть пару часов. Спать ложился в десять. Эва работала с девяти утра до двух или трех часов ночи. Иногда она сталкивалась с Пероном, когда он отправлялся в Дом правительства. Приходила домой потихоньку, на цыпочках, словно ночной гуляка. Когда Перон интересовался, в котором часу она пришла, Эва обманывала его, словно опытная прелюбодейка, которой не доверяют: "Вчера я вернулась в час. Да, точно, пробил ровно час!"

Дело в том, что Эва постепенно избрала для себя иное направление. Она отправилась в самостоятельный полет, к чему мудрый и дальновидный Перон относился с уважением. Это была околополитическая или, может быть, надполитическая деятельность — позвольте употребить эти малопонятные, но правильные слова. Постепенно Эва создала территорию параллельной власти — сугубо *женской*, идущей от сердца, неожиданной и очень прочной. Эта власть держалась на силе чувств, проснувшихся в душе народа. Люди понимали, что Эва употребляла ее *во имя общего блага*, в прямом соответствии с аристотелевской теорией. Возможно, неимущие не собирались отдавать жизнь за Перона, как они неистово кричали 17 октября 1951 года, однако я не сомневаюсь, что они без колебаний умерли бы за Эвиту Перон. Власть, построенная на интригах, деньгах и корыстных интересах, была ей совершенно чужда. Более того, она эту власть презирала и ненавидела. Народ понимал, что Эва смирилась с возложенным на нее игом власти как с трагической неизбежностью; приняв его как долг, она была обязана *спасать*, *разделять* чужую боль и страдания.

Да, Эва чувствовала боль народа.

Она отдавала всю себя. Как святая.

— Почему "как"? Разве это не было святостью?

— Я не имею права так говорить, простите меня. У меня на это есть основания.

— Падре, может быть, здесь замешана та самая "тайна"?

— Нет и нет! Если бы эта "тайна" и на самом деле существовала, она возвысила бы ее больше, чем все дела на благо общества — безусловно оцененные и миром, и, разумеется, Господом...

МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ХОСЕ МАРИЕЙ ДЕ АРЕИЛЬСОЙ (графом Де Мотрико и послом Франко в Аргентине в период славного правления Перона) в Пасо-де-Мариньян, в Галисии.

Эва в шутку называла меня "цыганским послом". Когда я вручал верительные грамоты, Перон лично беседовал со мной два часа. С самого начала он хотел доказать, что, несмотря на поражение стран "оси" в войне, Испания оставалась для Аргентины чем-то святым. Аргентина оказалась единственной страной, которая в 1946 году ослушалась приказа победителей отозвать послов из Испании. Там остался только аргентинский посол. Кроме того, Перон не поддержал международный бойкот, и груженные зерном суда под аргентинским флагом, как и прежде, следовали к берегам Испании. Такое не забывается. Подобные проявления мужества и отваги возрождают надежду на то, что в международной политике есть место порядочности.

В какое удивительное время я оказался в Буэнос-Айресе! С кем только не доводилось мне встречаться: Гомес де ла Серна, Агустин де Фоща, Ара, Эухенио д'Орс, Санчес Альборнос[1]. (Мы, насколько это возможно, старались забыть разобщающие последствия нашей бесчеловечной гражданской войны. Представьте себе только: секретарем в испанском посольстве был Агустин де Фоща! Человек исключительного таланта! Но самой большой наградой было наблюдать воочию за удивительным революционным возрождением Аргентины, которое стало возможным благодаря союзу Перона и Эвы.)

Частенько они приглашали меня к себе в Резиденцию. Иногда мы втроем обедали за круглым столиком в гостиной — ее называли "маленькой столовой". Внизу имелась полочка, скрытая скатертью, где Перон держал бутылки ужасного приторно-сладкого вина, которое с восторгом предлагал отведать гостям.

Эва обращалась ко мне на ты. Она обращалась на ты ко всем послам, генералам, чиновникам высокого ранга, предпринимателям. Таков был неписаный закон. Из тех, которые нам, дипломатам, не понять. Иногда к какому-нибудь министру Эва обращалась на вы, а кому-то сидевшему тут же говорила: "Че, поди сюда, ты мне нужен!" Генерала Сосу Молину она уважала и обращалась к нему на вы. Как-то раз мне довелось присутствовать на приеме, где я с ужасом услышал, как она, не зная, куда девать меховое манто, обратилась к капитану военного флота, который сидел рядом со мной: "Слушай, будь добр, подержи его..." "С радостью, Сеньора", — ответил он. Это был будущий адмирал Рохас.

Зато у нее был приближенный, посыльный, работавший при ней в Фонде, некий Пичола, который перед всей честной публикой, при послах и министрах, спрашивал ее: "Эвита, хочешь еще кофейку?" Обращение на вы к какому-нибудь профсоюзному деятелю или члену перонистской партии означало неминуемую гибель его политической карьеры.

Весь дипломатический корпус без конца обсуждал эти необычные проявления власти, не менее хитроумные, чем в Кремле.

1. Рамон Гомес де ла Серна (1888—1963) — испанский писатель и журналист; Агустин де Фоща (1903—1959) — испанский писатель, поэт, дипломат; Эухенио д'Орс (1881—1954) — католонский писатель и журналист; Клаудио Санчес Альборнос (1893—1984) — испанский историк-медиевист.

Несколько раз мне пришлось посетить Фонд, где она ежедневно принимала сотни бедняков.

"Оборванцы" по очереди поднимались к ней на помост, на котором сидели ректор университета, какой-нибудь епископ, известная киноактриса, приглашенная в Аргентину, и так далее — лица каждый день были новые. Представление казалось бесконечным. Просители сменяли друг друга в огромной гостиной с мозаичным полом. Иногда там стоял невыносимый запах, потому что дети, прождав четыре-пять часов, чтобы "пробиться к Эвите", справляли нужду в штаны...

Послу Израиля Тсуру и мне посещение Фонда обошлось дорого в прямом смысле слова. Внезапно Эва обернулась к нам и произнесла:

— Эй, хотите испытать новые и ни с чем не сравнимые ощущения? Давайте сюда ваши бумажники.

Мы послушались, и Эва раздала наши деньги четырем или пяти семьям, поднявшимся на помост. Затем она вернула нам пустые бумажники и сказала:

— Представь: ты возвращаешься домой в "линкольне", зная, что эти люди покупают на твои деньги одежду и еду. Запомни: ты почувствуешь глубокое волнение, ни с чем не сравнимое...

Все это звучало очень любезно. Но в глубине глаз Эвы мерцал недобрый насмешливый огонек.

Эва царила в этом дворе чудес в деловых костюмах, заказанных в самых элегантных домах моды Буэнос-Айреса и Парижа. Чудесные шляпки, драгоценности от Рикьярди...

Несносный Агустин де Фоща посоветовал нам ни в коем случае не опаздывать и "занять место не далее чем в двух метрах от Эвы, чтобы оказаться под защитой аромата ее духов 'Амур, амур'".

В те сложные для дипломатов годы мировых перемен мы работали сообща. Мы вместе взошли на корабль и вместе прибыли в нужный порт: я имею в виду невероятное путешествие Эвы в Испанию и по Европе, подобное сказкам "Тысячи и одной ночи". Правда, закончилась наша дружба печально. У нее было больное место, прикосновения к которому она не прощала.

Однажды Эва, жившая неподалеку от испанского посольства, увидела припаркованные возле наших ворот машины "олигархов" (так она их называла). Она немедленно набрала мой номер:

— Скажи мне, цыганский посол, с какой стати вы приглашаете олигархов к себе обедать, вместо того чтобы доходчиво объяснить им, что такое голод? Берегись, ведь я могу приказать нашим кораблям с пшеницей, обещанной Испании, повернуть назад!

Она не могла понять, что кроме их правительства и ее друзей существует еще и другая Аргентина, которую мы тоже обязаны были приглашать на приемы — по крайней мере 12 октября. Словно капризный эгоистичный ребенок, она требовала безоговорочной преданности. "Со мной или против меня" — таков был ее девиз.

Слушая эти зловещие шутки, невозможно было чувствовать себя спокойно. Эва обладала огромной, безграничной властью. Благодаря этой власти она могла добиться всего, чего желала, не прибегая к открытому давлению.

"Она — самая влиятельная женщина в мире после покойной китайской императрицы-регентши", — говорил про нее Фоща. И был прав.

Власть подобна силе притяжения: ее чувствуют, она почти материальна. Аргентина стала в те времена третьей в мире финансовой державой (в голодные послевоенные годы за пшеницу и мясо большинство стран щедро расплачивалось золотом).

Как-то раз Эва заговорила со мной об "испанском народе", намеренно подчеркивая, что он существует отдельно от правительства. К тому времени ее разочаровали Франко, его супруга и, главное, франкизм, который Перон до поездки Эвы в Испанию так усердно превозносил. Во время путешествия она внимательно изучала все вокруг и делала резкие замечания о бедности и плачевном положении народа. Принимаясь рассуждать о народе, она входила в такой раж, что становилась похожей на Эль Кампесино, Дуррути[1] или Пасионарию. Она делалась агрессивной.

Спустя несколько месяцев после визита Эвы в Испанию испортились наши с ней отношения. Ты, наверное, поймешь: настал момент, когда мне пришлось напомнить ей, что помимо Франко, а также моей дружбы с ними, Эвой и Пероном, я прежде всего испанский посол в Латинской Америке. Как-то раз, желая хорошенько проучить меня за непослушание и связи с некоторыми "олигархами", пригласившими меня в свое поместье, она назначила мне встречу в Фонде, где я прождал приема целый час. Когда мое терпение лопнуло, я подошел к секретарше и попросил передать Сеньоре, что давно уже сижу возле ее кабинета. Дверь была приоткрыта, и Эва произнесла (достаточно громко, чтобы я мог услышать):

— Скажи этому дерьмовому испанцу, чтобы еще подождал.

Когда раздраженная секретарша вновь появилась передо мной, я ответил (также достаточно громко, чтобы Эва могла меня слышать):

— Передайте Сеньоре, что испанец ушел, а дерьмо осталось.

Разумеется, я немедленно уехал. Думаю, именно с того дня, когда я впервые общался с ней как "сильный с сильным", она меня зауважала.

ЗАВТРА НАСТУПИТ ЧАС РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ с моим собственным Менендесом. Мне пришла в голову необычная идея: я приказала принести платье от Диора — то самое, которое было на мне тогда, в театре "Колон", и которое произвело настоящий фурор. В нем я запечатлена на самых известных фотографиях. Я потребовала платье, чтобы поднять себе настроение, чтобы пережить часы, тянувшиеся бесконечно. Платье было натянуто на манекен, который наделен своим неповторимым характером, своей таинственной жизнью (вот почему меня так пугали неподвижные средневековые доспехи, которые словно следили за нами из полумрака гостиных там, в Испании). Я попросила поставить его в ванной комнате — под безжизненными неоновыми лампами на белом фоне кафельных плиток. Белизна операционной (безобразное слово: "операционная"). Нельзя представить себе более неподобающего места для праздничного наряда — дарящего удовольствие, радость.

На фоне кафеля платье стоит прямо на своем плетеном остове. В Аргентину манекен с платьем доставил пилот Акоста: "Сеньора, полет

1. Эль Кампесино (букв.: крестьянин; наст. фамилия Гонсалес) — испанский коммунист; Буэнавентура Дуррути (1896—1936) — испанский революционер-анархист.

прошел идеально, на платье ни единой морщинки". Я специально позвонила пилоту президентского самолета и попросила, чтобы он вез его из Парижа как можно осторожнее, установив в центре салона и надежно привязав.

Я объяснила Акосте — такой уж я была тогда сумасбродкой, — что задание имеет важнейшее политическое значение. В этом великолепном платье я собью спесь с буржуев и олигархов прямо в их законных владениях — в театре "Колон". "Будьте осторожны, Акоста, — повторяла я, — в заливе Святой Екатерины бывают сильные бури, постарайтесь их обойти. Платье должно прибыть в целости и сохранности".

Я остаюсь наедине с Ирмой и собачкой. Ирма и собачка Канела, которая уселась напротив ванной, с удивлением глядя на меня сквозь прикрывающую глаза челку. Я собственноручно расстегиваю застежки на спинке платья — этого неповторимого роскошного творения. В таком платье Екатерина Вторая могла бы спуститься по мраморным ступеням к царскому трону, где ее ждал Потемкин в золотых гусарских эполетах.

Ирма расчесывает мне волосы и прикалывает шиньон — именно так я была причесана в театре "Колон". Но лицо стало худым, узким. Только точеный — как у Дамы с камелиями — профиль под матовым блеском волос цвета старинного золота. Ноги мои тоже высохли, стали пергаментно-желтыми, модельные туфельки на высоких каблуках, те самые, которые я обула в тот вечер, теперь мне велики.

Я пристально разглядываю сказочное платье и внезапно замечаю на юбке бледное, едва различимое желтоватое пятно. Оно сохранилось. Я пытаюсь отскрести его ногтем. Вечером 9 июля я одевалась в президентских покоях; мне помогал модельер Хамандреу. У меня было скверное настроение, и я спросила: "Сколько сегодня отделений?" "Три, — ответил Хамандреу. — Это опера". "Какой ужас! — воскликнула я. — Немедленно ступайте в бар и закажите мне яичницу из двух яиц с ветчиной". Уже одетая, я опустила тарелку на колени — вот откуда пятно. К счастью, его прикрывает складка... Видишь, Ирма? Хамандреу, вопя от отчаяния, притащил из бара полную бутылку содовой и принялся отчищать пятно, но в это время прозвенел последний звонок и вошел Хуан в синем торжественном костюме с президентской лентой и жезлом. И вот у подножия широкой лестницы на глазах у знаменитостей и разодетых буэнос-айресских модников, смотревших на нас сверху, мы позировали фотографу, и потом эта фотография обошла весь мир, появилась во всех газетах и журналах. Я слышала, что ее до сих пор печатают на календарях, которые дарят перед Новым годом в овощных лавках и на рынках...

— Видишь это пятно, Ирма? Это крошечный бледный призрак, заблудившийся в прошлом.

Облачаюсь в платье, словно рыцарь в доспехи. Ирма, восторженно щебеча, застегивает крючки на спине. Мне становится не по себе: внутри платья могла бы поместиться еще одна такая же Эвита. Ирма расправляет складки на юбке. Все ясно: я превратилась в ту девчушку, которая, прибыв в столицу с картонным чемоданом, в растерянности остановилась на углу проспекта Альвеар. В ту, что подкладывала в лифчик скомканные муслиновые чулки, перед тем как выйти на сцену.

— Однажды ты спросила, каковы симптомы моей болезни, что я чувствую. Сейчас могу точно ответить на этот вопрос: уныние — вот самое подходящее слово. Уныние, полный упадок духа. Руки и ноги словно на-

литы свинцом бесконечной усталости. От этой усталости не спасают ни сон, ни отдых в постели... Невыносимо сознавать, что это платье, словно впитавшее в себя радость и торжество того вечера, теперь навсегда, навсегда превратилось в призрак ушедшей жизни...

Я нетерпеливо прошу Ирму расстегнуть платье, избавить меня поскорее от этой давящей скорлупы.

— Какой ужас! Я совсем другая...

Прискорбно видеть, что на манекене платье сидит куда лучше, чем на мне. Оно вновь превращается в шедевр портняжного искусства. Надетое на плетеный остов, оно украсит самые нарядные и изысканные гостиные, а содержимое, в конце концов, не так уж важно.

Пусть его поскорее унесут. Пусть спрячут на чердаке. Я больше не хочу его видеть. Глупая затея.

Болезнь отняла у меня вчерашний день, похитила прошлое. Во всем виновата она — Ее Величество Болезнь. Прошлое здесь, совсем рядом, его отделяют от меня какие-то жалкие два года. Оно, как говорится, только что скрылось за углом. Чьи-то злые чары отняли его у меня, и оно исчезло навеки за покрытым испариной зимним окном.

Окончание следует

Вольфганг Ланге

"Элементарные частицы" Уэльбека и мениппова сатира[1]

О литературе и цинизме

Перевод с немецкого Е. Драйтовой

Что может быть для писателя хуже, чем прослыть циником? Ничего, и Мишель Уэльбек испытал это на собственной шкуре. После того как его второй большой роман "Элементарные частицы" вышел в Париже в 1998 году и изрядно смутил общественность, нашлось немало людей, которые стали ругать книгу, усмотрев в ней склонность к цинизму. Возмущаясь в первую очередь тем, что в книге содержится критика в адрес движения 1968 года и его последствий, они беззастенчиво окрестили ее халтурной подделкой, порождением деградировавшего сознания; Уэльбека обзывали грубияном, подлым и бессовестным циником, а на роман навешивали уничижительные ярлыки: "антифеминистский", "бесчеловечный", "расистский", "фашистский" и "реакционный"...

Уэльбек такие обвинения не принимает: "Я не циник и не подлец — я категорически отрицаю это, меня неправильно поняли". Немцы, со своей стороны, несколько прикрыли его тылы, в Германии критики все же попытались организовать обсуждение. Они подчеркивали литературные достоинства прозы Уэльбека и спорили, как правильнее квалифицировать с воодушевлением принятую здесь книгу: как "роман-манифест", "роман идей" или "роман-дискуссию", либо — проще — как "визионерский социальный роман". При этом отмечалось, что трудно назвать этого нерешительного маленького человека, чья жизнь была изуродована в юности, прожженным циником. Несомненно, образ Мишеля Уэльбека не соответствует расхожим представлениям о цинике — человеке с холодным взглядом, ледяной улыбкой и самоуверенностью, которую не могут поколебать никакие общественные катаклизмы. Уэльбек скорее производит впечатление неудачника — набившего себе шишек, отчаявшегося, немолодого уже мужчины, вечно остающегося в проигрыше — представителя так называемого *поколения одиночек*, если воспользоваться модным журналистским термином.

Но поскольку циники (или кинники) впервые появились в Древней Греции, напрашивается вопрос: нельзя ли обнаружить какую-то связь между Уэльбеком и античным цинизмом? Могу сказать, что в те дни, когда на книжном рынке начался бум вокруг "Элементарных частиц", автор этого романа действительно напоминал своим внешним обликом Антисфена, Диогена или Кратета[1] — по крайней мере, издали. И не

© Gert Theile Verlag, München, 2003
© Е. Драйтова. Перевод, 2005

1. Статья печатается с небольшими сокращениями.

1. Антисфен Афинский (ок. 445 — ок. 360 до н. э.) — основатель кинической школы, одним из первых воплотивший свою философскую систему в собственном образе жизни, поведении, речи. Был другом и учеником Сократа. Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.) — наиболее известный киник, одно время был учеником Антисфена. Кратет Фиванский — киник, живший в IV в. до н. э. Проповедовал более мягкий вариант кинизма, провозгласив своим главным лозунгом "любовь к человеку". (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

важно, что у него не было странического посоха — зато во рту постоянно торчала сигарета; что вместо "плаща на все времена года" он носил — в немыслимом сочетании — разрозненные части костюмов от разных фирм, а суму нищего ему заменял обычный пластиковый пакет. Важнее, что в таком непрезентабельном виде Уэльбека можно было встретить и на престижных приемах в литературных клубах, и в радио- и телестудиях различных европейских стран. Разумеется, судить о внутренней сути человека по его внешности затруднительно и рискованно, но в данном, нестандартном случае мы все же отважимся на такое заключение: Мишель Уэльбек — вновь явившийся в современном мире представитель кинизма, наш пост- (или: поздне-) модернистский Диоген. <...>

Размышляя о смерти, Уэльбек откровенно говорит: "Я буду животным; животным, которое до конца терпит свою жизнь и борется за нее"[1]. Такое утверждение — чистой воды цинизм, любовь к жизни, какова она есть, даже если жизнь эта не оставляет человеку иного выбора, кроме как пожирать других или быть пожранным другими. Вникать в подобное мироощущение не особенно приятно. И все же тот, кто хочет знать, как выглядит порядок вещей с цинической точки зрения, не станет шарахаться от "грязных" истин Мишеля Уэльбека. Тем более что для размышлений о цинизме и том влиянии, которое он оказал и оказывает на европейскую литературу, нам не найти более подходящего примера, чем "Элементарные частицы". В романе Уэльбека с колоссальной взрывной силой воплощено то, что Сиоран считал сутью цинического сознания, — "утробная боязнь стать человеком, стать посмешищем"[2].

1. Интервью Мишеля Уэльбека журналу "Zeit", цит. по: Thomas Steinfeld (Hrsg.). Das Phänomen Houellebecq. — Köln, 2001. (*Прим. автора.*)
2. "О разложении основ", в кн.: Сиоран. Искушение существованием / Перев. В. А. Никитина. — М., 2003. С. 61.

I

Цинизм не следует отождествлять с теми клише, которые связываются с ним в массовом сознании. Панегирик Диогену — "небесной собаке"[1] — у Сиорана и само это прозвище греческого философа направляют наши мысли по другому пути. Циники демонстрировали не столько обычную спесь или желание обесценить все ценности, сколько инстинктивное отвращение и страх перед абсурдностью человеческого бытия, пресыщенность этим бытием, презрение к нелепой комедии, которую вынужден играть человек. По мнению Сиорана, самым неподражаемым образом это высказано в письме Георга Бюхнера, написанном его брату Вильгельму из Страсбурга 2 сентября 1836 года: "У меня очень хорошо на душе, кроме тех дней, когда у нас тут обложной дождь или северо-западный ветер. Тогда я превращаюсь в человека, который вечером, перед тем как лечь в постель, сняв один носок, размышляет, не повеситься ли ему на собственной двери: уж очень трудно снять второй..."[2] Циники — это моралисты, обладающие склонностью к фарсу, комедианты, зараженные меланхолией. Ими движет не какая-то идея или озарение, а чистое отвращение. Именно оно определяет угол зрения, под которым циники рассматривают жизнь: свойственный им особый настрой чувств заставляет их в первую очередь замечать в человеке все то, что противоречит его достоинству, все неприятное, отталкивающее, отвратительное — смеш-

1. "Небесной собакой" Диоген именуется в "Мелиямбах" Керкида из Мегалополя и в произведениях других античных авторов. (*Прим. автора.*)
2. Георг Бюхнер. Пьесы. Проза. Письма / Перев. Ю. Архипова. — М., 1972. С. 315. Ср. "Смерть Дантона" (II, 1): "Какая все-таки скука — каждый раз сначала натягивать рубаху, а потом штаны, вечером заползать в кровать, а утром выползать из нее, всегда ставить одну ногу перед другой — и никакой надежды на перемену". (Там же. С. 100, перев. А. Карельского). (*Прим. автора.*)

ные и гротескные черты человеческого бытия. Черный юмор, к которому прибегали Бюхнер и другие циники, есть выражение отвращения; злые выходки, которые они себе позволяли, суть средства защиты или отдушина, необходимая им, чтобы не задохнуться от негодования по поводу conditio humana[1].

Согласно Сиорану, в мировоззрении циников перемешиваются "мудрость, горечь и фарс"[2]. В дошедших до нас древних анекдотах о Диогене эти три составляющие образуют такую смесь, которая кажется одновременно и саркастичной, и забавной, и поучительной, и провокационной. <...> Если проанализировать, на что в конечном счете обращено презрение циника, мы поймем, что оно направлено против самого презрения, а точнее — против надменной самонадеянности, против неуважения к ближнему. Отвращение циника редко оборачивается ненавистью, его гордость способна сжалиться над презираемым существом, он высмеивает насмешку — особенно такую, которую человек образованный позволяет себе в отношении "невежд". "Аристократизм, — пишет Бюхнер, оправдывая свою надменность, в которой его обвиняли товарищи по университету, — позорнейшее презрение к духу святому, который есть в каждом человеке; я сражаюсь с ним его собственным оружием: высокомерием и насмешкой"[3]. Только оказывая сопротивление своему "я" и его нарциссическим склонностям, циник становится тем, чем он и должен быть: вступая в союз с униженными и оскорбленными, принимая на себя функцию их рупора, он оберегает свою независимость, сохраняет достойную дистанцию по отношению к богатым и могущественным, к общепринятым условностям и господствующим идеям. Вот пример: когда Диогена пригласили осмотреть только что построенную роскошную виллу и ее хозяин, беспокоившийся о своем имуществе, попросил философа не плевать на пол, тот, откашлявшись, "плюнул ему в лицо, крикнув, что это единственное грязное место во всем доме, где он смог удовлетворить свое желание"[1]. Можно ли сделать более учтивый и вместе с тем оскорбительный комплимент? Конечно, это наглость, но подкупающе остроумная — и потому афиняне гордились тем, что Диоген живет в стенах их города. Когда какой-то мальчишка разбил бочку Диогена, провинившегося подростка высекли, а Диогену дали новую бочку.

Сиорановский портрет Диогена следует считать первым приближением к правильному пониманию цинизма, а также противоядием от излишнего увлечения его упрощенной версией, свойственного — после крушения социально-политических утопий — значительной части левой интеллигенции, например Петеру Слотердайку и Мишелю Онфре[2]. Оба они считают, что с культурологической точки зрения кинизм древности радикальным образом отличается от современного цинизма: первый-де разрушительно критичен и несет в себе освободительный заряд, второй — консервативен, авторитарен и репрессивен. Однако ситуация на самом деле не так однозначна. Андре Глюксман лучше это понял:

Тому, кто пытается свести тяготеющее над Западом проклятие к цинизму господ, не хватает широты исторического кругозора, конкретных знаний о разрушительных тенденциях, которые редко возникали в среде сильных мира сего. Цинизм начинается с маленьких людей. Он, как тень, следует за респуб-

1. Удела человеческого (*лат.*).
2. Сиоран, op. cit.
3. Письмо родным, февраль 1834 г. В кн.: Георг Бюхнер. Пьесы. Проза. Письма / Перев. Ю. Архипова. С. 277.

1. Диоген Лаэртский, цит. по: Сиоран. Искушение существованием. С. 61.
2. Петер Слотердайк (р. 1947) — немецкий философ и литератор, автор книги "Критика цинического разума" (1983, рус. перев. 2001); Мишель Онфре (р. 1959) — французский философ, автор книги "Философ как собака. О происхождении субверсивного мышления у киников" (1991).

ликанскими обычаями. <...> Сторонники черно-белого видения морали утверждают: человек либо циник, либо нет, на одной стороне — цинизм, на другой — нравственная чистота. Такое представление — признак авторитарного мышления. На самом деле цинизм есть продукт рыночной площади, он появляется одновременно с демократией, когда власть разделяется на множество ветвей[1].

Не обязательно полностью разделять взгляды Глюксмана (скажем, соглашаться с теорией заговоров), чтобы воспользоваться некоторыми из его наблюдений. Вряд ли, например, можно оспорить утверждение, что циническое мышление неразрывно связано с историей европейского духа. Софисты, либертины и нигилисты (если назвать только главные из порожденных этим мышлением течений) трудно представимы за пределами западной культуры — во всяком случае, я не мог бы назвать ни одной другой культуры, где цинизму отводилось бы сравнимое по значимости место. Как указывал Георг Зиммель, цинизм становится востребованным при капитализме — этой зависимой от рынка и его законов экономической и идеологической формации, в рамках которой деньги почитаются как ценность и значение их никак не исчерпывается тем, что они являются средством оплаты и товарным эквивалентом:

Благодатной почвой для расцвета цинизма становятся... места крупного, а именно биржевого оборота, в которых деньги присутствуют в огромных количествах и легко переходят от одного хозяина к другому. Чем в большей степени здесь все интересы концентрируются на деньгах, тем в большей степени заметно, как на них обмениваются честь и убеждения, талант и добродетель, красота и здоровье души, и тем более насмешливый и легкомысленный настрой будет возникать по отношению к этим высшим ценностям жизни, которые продаются, так же обладая ценностью, как и товары на воскресном базаре. Применимость понятия рыночной цены к ценностям, которые по самой сути своей не подлежат никакой иной оценке, кроме оценки, связанной с их категориями и идеалами, есть завершенное объективирование того, что представляет собой цинизм в субъективном отражении[1].

Не случайно именно Англия — отнюдь не только из-за своего островного положения и плохого климата — стала в Новое время родиной черного юмора. Ведь цинизм всегда представлял собой оборотную сторону либерализма, его тень, его второй — не признаваемый официально, но не отторжимый от него — лик. <...>

II

<...> При ближайшем рассмотрении циники оказываются специалистами в вопросах тривиального, экспертами в области профанного. Они умеют интеллигентно, то есть нетривиально, обходиться с тем, что в данной культуре считается безвкусным, банальным и незначительным. Они предлагают тривиальное взамен прекрасного, истинного и доброго, смешивают высокое и низкое, каждый раз показывая, что великое отстоит от смешного лишь на один маленький шаг. Таков Диоген, когда он является в Академию с общипанным петухом в руках, чтобы продемонстрировать, чего стоит платоновское определение человека как животного о двух ногах, лишенного перьев; или когда, в ответ на предложеиие Александра Великого исполнить любое его желание, сухо отвечает: "Отойди, не заслоняй мне солнце!"

1. André Glucksmann. Vom Eros des Westens. Eine Philosophie. — Stuttgart, 1988. S. 116.

1. Георг Зиммель. Философия денег, 1912; цит. по кн.: Петер Слотердайк. Критика цинического разума / Перев. А. Перцева. — Екатеринбург, 2001. С. 353.

Циники не боятся сделать что-нибудь "низкое" или намеренно глупое, чтобы надолго подорвать авторитет знания или власти. Профессиональные фальшивомонетчики (как Диоген), они хорошо понимают законы формирования культурных ценностей — и знают толк в переоценке тех из них, что становятся расхожими. Всякая номинальная ценность является в их глазах фиктивной, следовательно, подлежащей манипуляциям величиной, которая зависит от выбранной точки зрения и стоящих за ней интересов. Отношение к подобным величинам изменчиво, то есть является продуктом произвола и привычки, и ни одна граница между понятиями не бывает столь жесткой и непреодолимой, чтобы при желании ее нельзя было передвинуть. С помощью определенных уловок тривиальное можно облагородить, а благородное сделать тривиальным. Искусство или стратегия циников в значительной мере основывается на том, чтобы самым беззастенчивым образом сделать это очевидным для всех. <...>

В эпоху античности уже было предвосхищено то, что Уэльбек предлагает человеку в качестве девиза: "Будьте по-настоящему гнусны, и тогда вы будете правдивы"[1]. Циники — всегда скандалисты, если судить по Томасу Бернхарду, мастеру "искусства не знать меры"[2]. Можно сказать, это провокаторы на службе неприкрашенной правды. Отсюда дурная репутация, которой они обычно пользуются в кругах, задающих тон в обществе. Они мешают привычному ходу вещей, возмущают здравый смысл, выворачивают наизнанку знакомый мир. При этом циники всегда больше интересуются деньгами, материальными благами и сексом, нежели вопросами метафизического характера. Вместо того чтобы посвятить себя царству идей, любой Диоген или аббат Галиани[1] предпочитает поддерживать тесную связь с миром тривиального. Именно этот мир является питательной средой для их размышлений, сокровищницей, из которой они черпают материал для своих воззрений и аргументов. В данном случае "тривиальное" следует понимать как сферу, диаметрально противоположную сфере сакрального или культурно облагороженного, как ее антипод. Границы этой сферы легче всего определить, рассмотрев значение слова "тривиальный". Со времен античности тривиальным называют все вульгарное или низкое, то есть низшие слои культуры, повседневность со всеми ее атрибутами: суету жизни, торговлю и деловые сделки, судебные тяжбы и тому подобное. С точки зрения государственной власти, а также философского идеализма, то, что происходит в повседневности, является безобразным или же низким, то есть малозначимым, примитивным и поверхностным. <...> В архивах знания и власти для "тривиальностей" почти не находится места, с ними обращаются как с отбросами и грязью, как с чем-то, что не стоит внимания, не заслуживает обсуждения, поскольку повторяется изо дня в день. Судьба "тривиального", или "банального", заранее предрешена: оно должно оказаться на свалке, в помойном ведре истории.

1. "Подумайте об идентичности Истины, Красоты и Добра. // Цель общества, в котором вы живете, — уничтожить вас. Вы находитесь в его власти. Оружие, которым оно воспользуется, это равнодушие. Вы не имеете права занимать такую же позицию. Переходите в наступление! // У каждого общества есть свои уязвимые точки, свои раны. Прижмите к ране палец и как следует надавите. // Поднимайте вопросы, о которых никто не желает ничего слышать. Показывайте неприглядную сторону приукрашенного. Напирайте на болезнь, агонию, уродство. Говорите о смерти и о забвении. О ревности, о безразличии, об отсутствии любви. Будьте по-настоящему гнусны, и тогда вы будете правдивы". Michel Houellebecq. Rester vivant et autres textes. — Paris, 2001. P. 26. (*Прим. автора.*). Эссе публиковалось в "ИЛ" (2001, № 5).

2. Thomas Bernhard. Auslöschung. Ein Zerfall. — Frankfurt am Main, 1986. S. 611, 128 etc.

1. Аббат Фердинанд Галиани (1728—1787) — итальянский ученый и литератор. Автор ряда сатирических диалогов, прославившийся также эксцентричностью своего внешнего вида и поведения.

Переворот, совершаемый цинизмом, заключается в том, что циники умеют разглядеть в этих отбросах, свидетельствующих о ничтожности человеческого бытия, решающий фактор жизни — и сделать его критерием истинности. Тривиальное поднимается циниками до уровня достойного предмета размышлений: те хитрости, к которым прибегают в торговле и денежных делах, говорят им о природе человека больше, чем любые философские теории. Наблюдая за повышениями и понижениями цен, они обнаруживают, что алчность есть "мать всех зол" и что не существует никаких идеалов, принципов, законов, которые были бы независимы от спроса и предложения. Если цинизм — "наикратчайший путь к добродетели", то тривиальное — область, через которую этот путь пролегает. <...>

Мысль о тесной связи циников с "тривиальным" находит подтверждение и в лингвистике. Латинское слово trivialis происходит от trivium, что означает "перекресток трех дорог", "распутье", просто "перекресток", "ответвление улицы", а также "публичное место". Таким образом, это слово точно охватывает все те места, в которых, как утверждают дошедшие до нас источники, чаще всего можно было встретить циников: не в центре города, не в храмах и во дворцах, не на агоре или в театре, а на периферии — там, где улицы становились запутанными, опасными и анархичными. Римляне называли тривиальным все, что было "общедоступным", "общеизвестным", "обыкновенным" — и потому, с официальной точки зрения, отвергалось как "дурное", "низкое", "ничтожное", "подлое", как второ- и третьесортное по сравнению с тем, что рассматривалось как значимые и непреходящие ценности.

У греков ситуация была почти такой же. Слову trivium здесь соответствовало слово τρίοδος — "перекресток трех дорог", "трехдорожье"... то есть как раз то место, где толклись гадалки и бездельники, причем слово τριοδίτυς встречается как обозначение проститутки и сравнимо с нашим выражением "уличная девка". Мимоходом заметим, что циники не чурались общения с темными личностями, даже предпочитали иметь дело с ними, а не с правителями или знатью. <...> Интереснее же всего для нас то, что у греков отвлеченное слово "тривиальное" — τριοδίτις — тоже происходит от обозначения пользовавшихся дурной репутацией мест, где процветали проституция и другие сомнительные занятия. Если проследить жизненный путь отдельных циников, то становится ясно, что среди них вряд ли найдется хоть один, в чьей судьбе проститутки не играли бы значительной роли; возникает даже искушение причислить шлюх, куртизанок и потаскух к их постоянной свите. <...> Так что Уэльбек с его приверженностью к "грязной" стороне секса оказывается в недурной компании. <...>

III

Как бы мы ни относились к цинизму: вслед за Гегелем считая его лишь маргинальным течением в истории философии; либо, подобно Глюксману, вообще отвергая как нечто банальное и антиинтеллектуальное, в духе доктора Калигари[1]; либо, вместе со Слотердайком и Онфре, пытаясь оправдать его с утопической или культурологической точки зрения, — нас в данном случае интересует не столько этико-философское значение этого образа мышления, сколько его влияние на литературу. В этой связи следует прежде всего вспомнить, что уже на заре своего существования цинизм был не только философским, но и литературным явлением. <...> Тем, что нам из-

1. В популярном фильме "Кабинет доктора Калигари" (реж. Р. Вине, 1919) рассказывалось о враче-маньяке, который заставлял своих психически больных пациентов под гипнозом совершать преступления.

вестно об античном цинизме, мы обязаны в первую очередь рассказам и анекдотам, которые донесла до нас молва, а изначально, возможно, они были пущены в оборот самими киниками.

Стимулирующее воздействие этих рассказов на развитие литературы трудно переоценить. Молодой Ницше понимал это и (по поводу источников Диогена Лаэртского) писал: "Киники также оказали влияние на греческую литературу: они осмелились заботиться о форме для αδιαφορον[1] и смешивать стили; кроме того, они добились создания литературного образца "безумствующего Сократа": божественного духа, заключенного в оболочку сатира"[2]. Конкретно Ницше имел в виду менипову сатиру — жанр, который лучше всего известен по римской литературе и основоположником которого считается один из киников второго поколения, Менипп из Гадары. <...>

Как полагал Михаил Бахтин[3], радиус действия Менипповой сатиры не ограничивается античной литературой: она была распространена и в Средневековье, и во времена Просвещения, и в период модерна и, можем мы добавить, продолжает существовать в наши дни. Если говорить о генеалогии, то прослеживаются две ее линии — восточная и западная. По Бахтину, исходной точкой обеих является раннехристианская литература, от которой "восточная" линия тянется через византийскую и древнерусскую литературу ко времени Достоевского и далее, тогда как собственно "западная" линия начинается со средневековых фарсов (шванок), а затем ведет — через Рабле и Сервантеса — к Джонатану Свифту, Вольтеру и Э. Т. А. Гофману. При этом менипову сатиру следует понимать не как жанр в строгом, чисто литературоведческом смысле, не как тип повествования, который можно было бы четко охарактеризовать, а скорее как свободную традицию или как совокупность некоторых литературных приемов, которые могут использоваться по-разному. Буквально латинское слово satura (сатира) означает "смесь" (или "миска для салата") и сопоставимо по смыслу с нашими понятиями "попурри", "фарс". В менипповой сатире допустимо многое, если не все. Потому что она не связана с каким-либо определенным стилем и не подчиняется никакому конкретному закону построения. Если и позволительно считать ее жанром, то только на основании цели, которую она преследует: цель эта состоит в просвещении публики и развенчании ее иллюзий посредством всех мыслимых форм мистификации. Когда-то перенесенная с философской почвы на литературную, менипповa сатира — циническая провокация — доныне остается одним из наиболее удивительных феноменов европейской литературы.

Сатира — жанр, допускающий наибольшие вольности (как подозревал Ницше, любые небылицы), ее уместно назвать незаконнорожденным чадом литературы, литературным монстром, гибридом. Она смешивает разные стили и формы, цитирует и изобретает, обожает анекдоты и поговорки, легко перескакивает с прозы на стихи; она жонглирует мифами и нравоучительными примерами, обращается то к истории, то к самым актуальным событиям; она подвергает осмеянию классическую мудрость и всякие банальности — ей не вредят ни фарс, ни шутки. Атмосфера, которую она создает, постоянно меняется: сатира способна и смеяться, и плакать. Проще всего представить ее себе как набор кубиков (то бишь различных приемов) либо как арсенал, где хранится оружие, способное возбудить и разъярить толпу. Бахтин характеризует сатиру как

1. Безразличное (особенно в нравственном отношении) (*древнегреч.*).
2. Friedrich Nitzsche. Schriften der letzten Leipziger und ersten Basler Zeit. 1868–1869. — München, 1994. S. 118.
3. Речь идет о книге М. Бахтина "Проблемы поэтики Достоевского" (М., 1972. С. 190); далее в статье приводятся цитаты по этому изданию.

"необыкновенно гибкий и изменчивый жанр", обладающий свойствами Протея: она проникает в другие жанры и принимает их облик. О менипповой сатире можно сказать, что это изменчивый уродец или хамелеон, жанр, который на протяжении своей истории выглядел то так то этак, выступал то как анекдот, то как диалог, то как сентенция, то как диатриба. <...> Ее можно сравнить с контрабандным товаром, для которого не существует границ, ибо его протаскивают из одной культурной и языковой среды в другую, сквозь все эпохальные исторические переломы, через все жанры, от одного циника к другому — от Диогена и Лукиана через Грасиана[1] и Свифта к Селину и Сорокину. Несмотря на предпринимавшиеся попытки анализа, эволюция менипповой сатиры еще недостаточно изучена; ее истоки теряются во тьме, ее разветвленная история полна нерешенных вопросов. Скорее всего эту историю следует писать как генеалогию литературного цинизма.

Размышляя о менипповой сатире, Бахтин опирался на Ницше[2], но вместе с тем поправлял его, считая, что ее следует рассматривать не как продукт разложения сократического диалога, а как значительно более раннюю форму. По Бахтину, ни в коей мере не будучи упадочным явлением, менипповa сатира остается вечно юной, полной жизненных сил. Ее корни "непосредственно уходят в карнавальный фольклор, определяющее влияние которого здесь еще более значительно, чем в 'сократическом диалоге'". Оставим пока в стороне вопрос об истоках сатиры. Мы вернемся к нему — и к связанной с ним бахтинской концепции карнавала, смеха вообще — немного позже.

1. Бальтасар Грасиан-и-Моралес (1601–1658) — испанский писатель, автор трактатов "Герой", "Разумный", философски-символического романа "Критикон" и других произведений.

2. Прежде всего на "Рождение трагедии": платоновский диалог нарушил "строгий старинный закон, требовавший единства языковой формы"; "писатели-*киники* пошли по этому пути еще дальше, и с максимальной путаной пестротой стиля, беспорядочно колеблясь между прозаическими и метрическими формами, они добились создания литературного образца "безумствующего Сократа" — точно такого, какого обыкновенно изображали они сами в жизни" (Фридрих Ницше. Рождение трагедии / Перев. А. В. Михайлова. — М., 2001. С. 142–143;). Ницше признает эту форму предшественницей романа, но из полемических соображений возводит ее к Эзоповой басне. (Там же. С. 141.) (*Прим. автора.*)

IV

> Литература со всем справляется, ко всему приспосабливается, копается в отбросах, зализывает раны несчастий.
>
> Уэльбек

> Dificile est saturam non scribere[1].
>
> Ювенал

> И если бы даже род человеческий исчез, об этом стоило бы скорбеть не более, чем если бы прекратилось размножение мух и ос.
>
> Диоген

Большего интереса, нежели предложенное Бахтиным описание происхождения менипповой сатиры, заслуживает им же составленный список ее отличительных признаков. В списке четырнадцать элементов, или параметров, которые характерны для этого жанра. Все они прослеживаются также в прозе Уэльбека. Как в случае "Сатирикона" Петрония или "Критикона" Грасиана, так и в "Элементарных частицах" сатира разрастается до размеров настоящего романа; книга Уэльбека стоит в одном ряду с "Криминальным чтивом" Квентина Тарантино и "Голубым салом" Владимира Сорокина, современными произведениями упомянутого жанра, и в ней, как и в этих двух романах, сатира предстает перед нами в поздне- или постмодернистском обличье. Будучи не столько романом в

1. Трудно не писать сатиру (*лат.*).

принятом смысле слова, сколько концептуалистским или сатирическим литературным текстом, этот утопический по своей сути, но написанный в форме двойной биографии роман вновь обнажает пропасть между царством идей и реальностью. Как у любой менипповой сатиры, его цель — столкнуть, противопоставить "возвышенное" и "тривиальное". Если "Элементарные частицы" и могут что-то доказать, то только то, что мир — такой, каков он есть, — смеется над любой попыткой его осмыслить. Между тем, что́ происходит в головах людей, и тем, что́ в действительности определяет их поступки, разверзаются щели, ямы и пропасти. "Это странная идея, — походя замечает один из двух главных героев Уэльбека, Мишель. — Странная идея — воспроизводить себя для жизни, которую не любишь"[1]. Но особенно примечательно в "Элементарных частицах", помимо философско-апоретического содержания, наличие именно той особенности, которую Ницше считал определяющей для менипповой сатиры, — "пестрого", свободно перемешивающего стихи и прозу, постоянно меняющего тональность стиля. К тому же очевидно, что этот роман, как и менипова сатира вообще, настроен на ту своеобразную смесь серьезного и шутки, которая называлась у греков spoudogeloion и пользовалась в античности такой популярностью, что Диоген Лаэртский без колебаний выделяет ее как отдельный жанр или как особый тип поведения[2].

В отличие от сократического диалога, на котором основывается сатира по Ницше и Бахтину, "в мениппее в общем увеличивается удельный вес смехового элемента". Так пишет Бахтин. Вместе с тем он допускает, что этот элемент колеблется в широких пределах: он может быть ярко выраженным, как у Варрона, либо почти исчезать — точнее, присутствовать в крайне редуцированной форме, как в "Утешении" Боэция. Поэтому в сатире допустимы все мыслимые оттенки смехового начала, от нечеловеческого хохота до мягчайшей улыбки. "Элементарные частицы" Уэльбека лавируют между этими крайностями, но, хотя в романе имеются большие фрагменты, где в достаточно сдержанной форме присутствует комическое, в целом преобладает атмосфера грусти и подавленности.

Как и сам жанр сатиры, spoudogeloion может существовать в весьма широких пределах. Лучше всего понятие серьезно-комического (spoudaios = серьезный, морально правильный, а gelaios = комический, развлекательный, шуточный) передается выражением "черный юмор", если под ним понимается такая форма комического, которая не похожа ни на простое зубоскальство и клоунаду, которую мы видим в цирке, на ярмарочной площади или в наши дни в средствах массовой информации, ни на политически корректные сатиры Луцилия[1] или Горация. <...> Говорят, Гораций преднамеренно избегал язвительных острот, чтобы не повредить нравственно-воспитательному воздействию сатирической поэзии, ее социально-интегративной функции. О циниках и об Уэльбеке этого сказать нельзя. Уэльбек изображает кокетничающих своей моложавостью старых хиппи и представителей поколения 1968 года настолько гротескно, даже карикатурно, что не оставляет камня на камне от их установок и убеждений. Он их буквально изничтожает, втаптывает в грязь. В "Элементарных частицах" не прослежи-

1. Впервые роман М. Уэльбека опубликован в "ИЛ" (2002, № 10). Здесь и далее роман М. Уэльбека цитируется по изд.: Элементарные частицы / Перев. И. Васюченко, Г. Зингера. — М.: Иностранка, 2001.
2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга IX, 17 / Перев. М. Л. Гаспарова. — М., 1998.

1. Гай Луцилий (ок. 180–102 до н. э.) — римский поэт, представитель жанра "серьезно-смешного", противник "высоких" жанров в литературе, автор тридцати сатир, из которых сохранилось около тысячи фрагментов.

вается наличие какого-то дидактического намерения или политической позиции – впечатление такое, будто нам предлагают всерьез принять заявленную в романе идею, согласно которой человечество может спастись только путем генетического самоуничтожения. Но так ли это? Ведь истолковать роман подобным образом – значит проигнорировать пронизывающий его черный юмор, отбросить его контекст – циническую традицию.

Андре Бретон сознавал, как сложно дать определение черному юмору: "Мы прикасаемся к чему-то горячему, мы ступаем на раскаленную почву, ветры страстей начинают дуть нам то в спину, то в лицо, едва мы пожелаем приподнять скрывающую этот юмор завесу тайны"[1]. Он предпочел объяснить заинтересовавший его феномен с помощью примеров и создал антологию черного юмора, следуя в этом начинании по стопам Бодлера, однажды сказавшего: "Смешное есть эманация, взрыв, высвобождение комического". В *абсолютно* комическом, которое Бодлер отличал от *относительно* комического, комическое высвобождается, оно выворачивает серьезное наизнанку, причем здесь нет облегчения и примиряющего действия, как у Луцилия или Горация. Цитируя Пьобба, Бретон пишет: "Смех – это из самых великолепных роскошеств, которые вплоть до проявлений поистине оргиастических все еще может позволить себе человек, – стоит на краю небытия, но выступает залогом уже самой бесконечности". Таким образом, в *серьезно-комическом* подразумевается, что ирония и ее остроты смертельны. Смех буквально застревает в горле, воздействуя двояко: он порождает горечь и разрушает иллюзии – примерно так же воздействуют на зрителя некоторые гравюры Гойи и Хогарта. Юмор принимает шокирующую форму: он – "черный", обезумевший. И потому вызывает у читателя не чувство собственного превосходства, а отвращение, "утробную боязнь стать человеком, стать посмешищем", которую Сиоран считал сутью цинизма.

В "Элементарных частицах" Уэльбека это отвращение находит разрядку в проникнутом иронией признании в любви к последнему человеку. Заключительная фраза романа проста: "Эта книга посвящается человеку". Следует признать, что такое завершение несколько сбивает с толку. Что это – апокалипсис или фарс? Непонятно. Невозможно решить, сказано ли это всерьез или в шутку, следует ли понимать это как откровенность или как сарказм. Но после того как прочитываешь эту фразу – понимая ли ее буквально или в ироническом, переносном смысле, – ты начинаешь по-другому воспринимать только что прочитанный роман. Так что "Элементарные частицы" являются и тем и другим одновременно: тривиально-романтическим произведением и актом сурового просветительства, фарсом и апокалипсисом, короче – менипповой сатирой. С первой до последней строчки роман настроен на ту переливчатую тональность, которую греки называли spoudogeloion. Подобно Биону[1] или Мениппу Гадарскому, Уэльбек является шутом, скрывающим в себе философа, и философом, разыгрывающим из себя шута. Отсюда – потрясающая сила книги, но отсюда же – и те особые сложности, которые возникают при попытке ее критического разбора.

Как и другие формы комического, как сатира вообще, черный юмор тесно связан с конкретной жизненной ситуацией, зависит от контекста. Согласно Бахтину, мениппова сатира в значительной степени требует актуальности, носит "публицистический характер": "Это своего рода "журналистский" жанр древности, остро откликающийся на идеологическую злобу дня". В случае Уэльбе-

1. Андре Бретон. Антология черного юмора. – М., 1999.

1. Бион – киник III в. до н. э., создатель жанра диатрибы, автор большого числа поэтических произведений.

ка мы имеем ту же ситуацию. Нет ни одной фельетонной темы, которой он не затронул бы, ни одной открытой дискуссии последних лет, о которой бы не упомянул: от сексуальной свободы, обесценивания семейных ценностей и гибели личности до обсуждения преимуществ и недостатков генетики. "Элементарные частицы" вышли точно в тридцатую годовщину событий 1968 года. Это можно понимать как объявление войны. Роман Уэльбека – брошенная в лицо противнику перчатка. Идеологически он направлен против того, во что превратились идеи 1968 года, в первую очередь – против "социализма под эгидой капитализма" в том виде, в каком он утвердился во Франции, да и в Германии тоже, против постистории; в эстетическом же плане роман говорит "нет" по-прежнему существующей в искусстве и литературе парадигме авангарда. "Элементарные частицы" отвергают "непосредственность восприятия", отказываются от "возвышенного" и, что тоже немаловажно, отходят от той манеры письма, которая прижилась в "новом" французском романе, вдохновляющемся идеями Натали Саррот и Алена Роб-Грийе.

V

Энди Уорхол однажды сказал: "Художник должен быть в состоянии изменить собственный стиль, не мучаясь по этому поводу". Уэльбек – художник как раз такого типа. В "Элементарных частицах" он не стесняется переходить от одной манеры письма к другой. Сатира предоставляет ему в этом полную свободу, ибо она есть жанр, позволяющий автору значительные вольности не только тематического, но и стилистического плана. Согласно Бахтину, "для мениппеи характерно широкое использование вставных жанров: новелл, писем, ораторских речей, симпосионов и др., характерно смешение прозаической и стихотворной речи. Вставные жанры даются на разных дистанциях от последней авторской позиции, то есть с разной степенью пародийности и объектности. Стихотворные партии почти всегда даются с какой-то степенью пародийности". Сомнительно, чтобы последнее утверждение можно было отнести к лирическим вкраплениям в "Элементарных частицах" Уэльбека, однако не вызывает никаких сомнений, что в этом романе мы имеем дело со смешением жанров, с пересечениями самых разных стилей. Отсутствие стиля становится здесь стилистическим принципом. В романе есть нарративные фрагменты, но есть и эссеистические, научно-популярные, затрагивающие проблемы социологии, медицины, этологии, генетики, физиологии; в ткань романа, кроме того, включены стихи, драматические сцены и многое другое. Поскольку Уэльбек намеренно смешивает жанры, он нередко прибегает и к раздражающему некоторых критиков резкому "переключению" стилей и тональностей.

<...> Бахтин пишет: "Наличие вставных жанров усиливает многостильность и многотонность мениппеи; здесь складывается новое отношение к слову как материалу литературы, характерное для всей диалогической линии развития художественной прозы". Сатира по своему формальному строению требует саморефлективности литературного слова, полифоничности. Кроме того, она "свободна от предания и не скована никакими требованиями внешнего жизненного правдоподобия. Мениппея характеризуется *исключительной свободой сюжетного и философского вымысла*". Именно это мы видим у Уэльбека. Идея, что человечество способно уничтожить себя, открыв генетический метод, позволяющий клонировать новую породу людей, которые будут размножаться в отсутствии половой дифференциации, несмотря на пародийные оттенки ее звучания, весьма рискованна. <...> Уэльбек может позволить себе вольности такого рода, потому что его повествователь находится в *эксцентрической* позиции. Рассказ (или

сообщение) ведется из будущего: "Какие-то особи прежней расы еще существуют, главным образом в регионах, долгое время подвергавшихся влиянию традиционных религиозных доктрин. Однако процент их размножения год от года уменьшается, и в настоящее время их вымирание представляется неотвратимым". При этом элементы научной фантастики служат Уэльбеку не для того, чтобы нарисовать картину будущего, а чтобы бросить ретроспективный взгляд на наше – сегодняшнее – настоящее. Это настоящее в его изображении становится периодом упадка и эпохального перелома, метафизическим порогом, временем, сравнимым с эпохой, когда в Римской империи возникло христианство, или с эпохой Возрождения, когда средневековой ментальности впервые противопоставило себя характерное для Нового времени стремление опираться на практический опыт. Уже в выборе такой необычной точки зрения Уэльбек проявляет себя как сатирик, ведь после Лукиана одним из важнейших приемов сатиры стало "эксцентричное" изображение человечества и его судьбы.

Отчуждение как метод – to get out in order to look in ("выйти наружу, чтобы заглянуть внутрь")[1] – с тех пор становится путеводной нитью литературного познания. Вернер фон Коппенфельз подчеркивал, что "разрушение реальности во имя познания" – характерная черта менипповой сатиры. Бахтин говорит об особом типе "экспериментирующей фантастики, совершенно чуждой античному эпосу и трагедии: наблюдение с какой-нибудь необычной точки зрения". Возможность выбора такой (фиктивной) точки для наблюдения в эпоху античности обеспечивалась общераспространенным представлением о том, что мир делится на три части: нижнюю, верхнюю и среднюю. Лукиан особенно удачно использовал – с чисто литературными целями – эту возможность. Так, в "Икароменippe" взгляд рассказчика, поднимающегося на Олимп, направлен на Землю сверху, от Луны, то есть в достаточно эксцентрической перспективе. При этом человечество и его города воспринимаются как подобие муравейника, в котором копошится кучка работящих существ, не понимающих смысла целого[1]. Согласно Бахтину, сатира часто переносит "действие в диалогические синкрезы... с Земли на Олимп и в преисподнюю", предпочитает "диалоги на пороге". Уэльбек и в этом следует менипповой традиции, однако с тем отличием, что встречи и диалоги у него "сдвигаются" не по пространственной, а по (воображаемой) временно́й оси. Если в античности космос сатиры очерчивался такими пространственными координатами, как преисподняя, Земля и Олимп, то в "Элементарных частицах" важны координаты прошлого, настоящего и будущего. Наша современность выражает и осознает себя прежде всего в плане времени. Уэльбек учитывает это – потому и бросает ретроспективный взгляд из будущего в настоящее, что позволяет ему и нам увидеть настоящее как порог, резко разделяющий старое и новое. Взгляд из 2080 года – именно под таким углом зрения читатель наблюдает (в конце книги) процесс самоуничтожения человечества, замещения людей более совершенными существами.

Эксцентрика и авантюрная фантастика в менипповой сатире узаконены характерной для этого жанра концептуалистской стратегией. Говоря словами Бахтина, они оправдываются "чисто идейно-философской целью – создавать *исключительные ситуации* для провоцирования и испытания философской идеи – слова *правды*, воплощенной в образе мудреца, искателя

1. Douglas Duncan. Ben Johnson and the Lucianic Tradition. – Cambridge, 1979. P. 16.

1. Лукиан из Самосаты. Икароменипп, или Заоблачный полет. См.: Лукиан. Избранная проза. – М., 1991. С. 480–484.

этой правды". В случае "Элементарных частиц" Уэльбека мы имеем дело не столько с "романом идей" в принятом смысле слова, сколько с романом, который подвергает идеи испытанию. Можно было бы также сказать, что отдельные идеи представлены здесь на фоне тривиального или профанного – это делается для того, чтобы высветить их скрытую суть. Например, идея сексуальной свободы: она не просто исследуется вплоть до ее политэкономических корней (в идеологокритических фрагментах романа); не удовлетворяясь этим, Уэльбек осмеивает ее обманчиво привлекательные внешние проявления: практику применения противозачаточных средств и фактическую легализацию адюльтера "на фоне неудержимого победоносного шествия индивидуализма". <...> Вместо того чтобы привести к первобытному коммунизму, к состоянию "ничем не ограниченных половых отношений", которое сулил Фридрих Энгельс[1] (и к которому стремилась молодежь 1968 года), сексуальная эмансипация, как показал Уэльбек, привела лишь к "расширенной системе соблазна". Свое наиболее полное воплощение она находит в свинг-клубах. "Групповуха" оказывается ultima ratio[2] личности, освободившейся от всех оков традиции и насмехающейся над элементарным чувством стыда[3].

Бахтин пишет: "Очень важной особенностью мениппеи является органическое сочетание в ней свободной фантастики, символики и – иногда – мистико-религиозного элемента с крайним и грубым (с нашей точки зрения) *трущобным натурализмом.* <...> Идея здесь не боится никаких трущоб и никакой жизненной грязи. Человек идеи – мудрец – сталкивается с предельным выражением мирового зла, разврата, низости и пошлости". Мир сатиры – это мир тривиального, вульгарного, безвкусного, даже гнусного. Тем, чем для Лукиана и Петрония были "большие дороги", "рыночные площади", "бордели, воровские притоны и таверны", "тюрьмы" или "эротические оргии тайных культов" и т. п., для Уэльбека становятся деловые, торговые и развлекательные кварталы Парижа, его супермаркеты, жилые районы, исследовательские институты, кафе и ночные клубы, а также центры коллективного отдыха, кемпинги "New Age" и нудистов, дома престарелых и провинциальные психиатрические клиники. Бахтин усматривает в подобных местах действия места искушений и испытаний. То же самое мы наблюдаем и в случае Уэльбека. Описанные подробно, вплоть до самых отвратительных деталей, эти места действия в романе нужны для того, чтобы подвергнуть идею испытанию и тем самым обнажить фатальную "несостыковку" человеческого духа и природы, перепутанность правды и лжи, добра и зла, прекрасного и безобразного. Оказавшись погруженным в кислотную ванну тривиальных жизненных обстоятельств, то, что прежде казалось утонченным и возвышенным, становится невероятно пошлым, пробуждающим ощущение грусти и (часто) смехотворным.

Отметим сразу один момент, чтобы избежать возможного недопонимания. Смысл сатиры Уэльбека отнюдь не исчерпывается разоблачением господствующих ныне идей или идеологий. Это было бы слишком узкой задачей и к тому же подразумевало бы приверженность автора какой-то определенной идее или идеологии, с позиции которой

1. Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1974. С. 8.

2. Последний довод (*лат.*).

3. В романе "Расширение пространства борьбы" (М., 2003, первое французское издание – 1994 г.) Уэльбек пишет: "В нашем обществе секс – это вторая иерархия, нисколько не зависящая от иерархии денег, но не менее – если не более – безжалостная. По своим последствиям обе иерархии равнозначны. Как и ничем не сдерживаемая свобода в экономике (и по тем же причинам), сексуальная свобода приводит порой к *абсолютной пауперизации*". (*Прим. автора.*)

осуществлялась бы критика. Однако об этом в данном случае вряд ли может идти речь. Если "Элементарные частицы" и выполняют какую-то критико-идеологическую функцию, то только циническую. Книга ввергает читателя в некое исключительное состояние духа, она провоцирует это состояние — описаниями парадоксальных ситуаций, таким соотношением временны́х координат и формы повествования, что под его воздействием все мыслимые убеждения, принципы и целеполагания (включая и мысли самого Уэльбека) становятся сомнительными. Бахтин подчеркивает, что "содержание менипповой сатиры — это приключения идеи или правды в мире", то есть погружение идеи в реальность. В противоположность назидательным, ангажированным или дидактическим формам сатиры, в мениппее этот конфликт не разрешается, а остается в пределах нерешенного. Как уже говорилось, мениппова сатира носит концептуалистский характер, представляя собой разновидность добровольного безумия. Не случайно этот жанр достиг наивысшего расцвета в культуре испанского барокко, у Сервантеса, Кеведо[1] и Грасиана, которым мы обязаны, пожалуй, наиболее изощренными образцами литературного концептуализма. Луман правильно описывал воздействие concepto[2] (и соответственно сатиры), когда, имея в виду Грасиана, утверждал: "Искусство заставляет человека наблюдать за самим собой как за наблюдателем; при этом человек наталкивается на непостижимое"[1]. То же самое происходит и при чтении уэльбековского романа.

VI

Столкновение читателя с самим собой (и с непостижимым) обеспечивается склонностью Уэльбека к крайностям, можно даже сказать, к безумствованию. Эта склонность заявляет о себе в определенных способах изображения отдельных персонажей и сцен. Если придерживаться точки зрения Бахтина, в менипповой сатире "впервые появляется то, что можно назвать морально-психологическим экспериментированием: изображение необычных, ненормальных морально-психических состояний человека — безумий всякого рода ("маниакальная тематика"), раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием, самоубийств и т. п. Все эти явления имеют в мениппее не узкотематический, а формально-жанровый характер. Сновидения, мечты, безумие

1. Франсиско Кеведо-и-Вильегас (1580—1645) — испанский писатель, автор плутовского романа "История жизни пройдохи по имени дон Паблос" и сборника сатир "Сновидения".

2. Concepto — по определению Б. Грасиана, "акт понимания, который выявляет связи, существующие между объектами". Грасиан был теоретиком особого направления в искусстве барокко, известного под названием "консептизм" и предполагавшего, что именно раскрытие упомянутых связей является задачей искусства.

1. Niklas Luhmann. Die Kunst der Gesellschaft. — Frankfurt am Main, 1999. S. 428 (und 433). То, что Уэльбек — в эстетическом плане — абсолютно не склонен к наивности, а вполне осознает концептуалистский характер своих произведений, видно, например, из следующего его высказывания о литературе: "Литература по сути своей — искусство концептуальное; строго говоря, это единственный вид искусства, который действительно можно назвать концептуальным. Слова — это концепты, штампы — это тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению или осмеянию что бы то ни было без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературного процесса, который может самоопровергаться, саморазрушаться, объявлять себя бесперспективным, не переставая при этом быть самим собой; который выдержит любое погружение в бездну, любое разъятие на части, любое наслоение интерпретаций, сколь угодно тонких; который, упав, отряхнется и снова встанет на лапы, точно собака, вылезающая из пруда" (Мишель Уэльбек. На пороге растерянности. См.: Мир как супермаркет / Перев. Н. Кулиш. — М., 2003. С. 77. Эссе публиковалось в "ИЛ", 2003, № 3). (*Прим. автора.*)

разрушают эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности нового человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой".

Независимо от того, на что направлены содержащиеся в них полемические выпады, "Элементарные частицы" образуют не закрытую, а открытую картину мира. Роман достигает большего, нежели простое превращение обиходного оптимизма или идеализма в их противоположность. Вместо того чтобы воздвигать нигилистическую баррикаду и, подобно Сэмюэлю Беккету, петь на ней гимны негативизму, Уэльбек поднимается над мрачной извращенностью настоящего. Он оставляет своим читателям надежду, и ее ростки пробиваются сквозь безысходность, царящую в современной литературе. По его мнению, "смысл борьбы" существует — или, во всяком случае, может существовать. А если его и нет, то человеку все же остается простое "стремление к счастью"[1].

Тоска Уэльбека встречается с собственной противоположностью в снах главного героя. Например, в том, который Мишель видит "в ночь на 15 сентября":

> С ним рядом была маленькая девочка, она носилась по лесу, окруженная бабочками и цветами (проснувшись, он догадался, что этот образ, снова возникший три десятилетия спустя, вел свое происхождение от "Принца Сапфира", сериала, который он смотрел по воскресеньям после полудня в доме своей бабушки и который так безошибочно находил путь к его сердцу). Через мгновение он шагал один по огромному холмистому лугу, среди высокой травы. Он не различал горизонта, казалось, этим травянистым холмам под бледно-серым, красиво светящимся небом конца нет. Тем не менее он двигался вперед без колебания и спешки; он знал, что на глубине нескольких метров у него под ногами течет подземная река и что безошибочный инстинкт ведет его вдоль ее русла. Вокруг волновались под ветром высокие травы.

Если обычно в менипповой сатире сны служат для того, чтобы перечеркнуть веру в благоприятствующую человеку судьбу или послать предупреждение о ветреной природе удачи, то у Уэльбека все получается наоборот. Поскольку нынешние литература и философия возвели слепой случай в ранг основополагающего принципа как в жизни отдельного человека, так и в истории и в природе, сегодняшняя картина мира значительно отличается от той, что преобладала в Европе со времен греко-римской античности и до недавнего времени. Предпосылкой этой новой картины мира является отрицание того, что Бахтин называл "эпическим и трагическим единством" человека с его судьбой. Описывая сон Мишеля, Уэльбек, так сказать, ведет подкоп под общепринятую ныне веру в господство случая, вновь намекает на возможность существования некоей высшей необходимости, или высшего закона, как бы авантюрно (если не сказать — в духе китча) это ни выглядело. <...>

Еще чаще, чем к описаниям снов, Уэльбек в "Элементарных частицах" прибегает к другому приему, обычному для сатиры с ее "морально-психологическими опытами", — к скандализированию читателя. "Сцены скандалов" так же характерны для романа Уэльбека, как и для циничной менипповой традиции. Сатира предпочитает изображать "эксцентрическое поведение, неуместные речи и выступления", ибо скандалы (как и

1. С наибольшей силой вера в истину, красоту и добро выражена у Уэльбека в стихах, в сборниках "Смысл борьбы" ("Le sens du combat", 1996), "Погоня за счастьем" ("La poursuite du bonheur", 1997) и "Возрождение" ("Renaissance", 1999). Короткий комментарий по этому поводу: "На фоне красивых сказок, которыми пичкают нас средства массовой информации, очень легко проявить литературный талант, демонстрируя иронию, мрачный взгляд на вещи, цинизм. Самое трудное начинается потом, когда хочешь преодолеть этот цинизм" (М. Уэльбек. Беседа с Сабиной Одрери. См.: Мир как супермаркет. С. 115). (*Прим. автора.*)

сны) подразумевают "всяческие нарушения общепринятого и обычного хода событий, установленных норм поведения и этикета, в том числе речевого"[1]. У Уэльбека это начинается уже с эпизодов детства Мишеля и Брюно, например, в сцене, когда отец Мишеля обнаруживает своего сына-младенца, оставленного матерью в одиночестве, ползающим по собственным экскрементам, или во фрагменте, где читатель становится свидетелем издевательств, которым маленький, еще слабый Брюно подвергался в интернате. Подруга юности Брюно Аник совершает самоубийство, выбросившись из окна своей комнаты, а Аннабель, возлюбленная Мишеля, кончает с собой, наглотавшись снотворных таблеток. Скандальна также сцена в лагере отдыха "Край перемен", когда у одного из эпизодических персонажей романа, хилого учителя математики Пьера-Луи, после безуспешных попыток завязать с кем-нибудь разговор случается приступ буйного помешательства. <...> Все это — не эпические события или трагические катастрофы, а гротескные истории, от которых смех застревает в горле.

"Мениппея наполнена резкими контрастами и оксюморными сочетаниями: добродетельная гетера, истинная свобода мудреца и его рабское положение, император, становящийся рабом, моральные падения и очищения, роскошь и нищета, благородный разбойник и т. п. Мениппея любит играть резкими переходами и сменами, верхом и низом, подъемами и падениями, неожиданными сближениями далекого и разъединенного, мезальянсами всякого рода". Эту подчеркнутую Бахтиным особенность тоже можно проиллюстрировать рядом примеров из романа Уэльбека: так, наделенная чарующей красотой Аннабель влюбляется в неприметного, не приспособленного к жизни Мишеля и хочет родить от него ребенка; Брюно же у смертного одра своей матери не додумывается ни до чего лучшего, как напевать идиотские песенки... Но, пожалуй, ярче всего приверженность Уэльбека к "резким контрастам и оксюморным сочетаниям" проявляется в разительном несходстве характеров двух главных героев, сводных братьев Брюно и Мишеля. В то время как Мишель равнодушен к эротике и ведет аскетический образ жизни ученого-биофизика, в жизни его брата все происходит наоборот: Брюно — либертин, скорее даже эротоман, который, хотя и интересуется литературой и философией, не упускает ни одной возможности удовлетворить свои плотские желания. Его охота за чувственными удовольствиями заканчивается, разумеется, полной фрустрацией. <...>

Еще раз процитируем Бахтина: "Смелость вымысла и фантастики сочетается в мениппее с исключительным философским универсализмом и предельной миросозерцательностью. Мениппея — это жанр "последних вопросов". В ней испытываются последние философские позиции. Мениппея стремится давать как бы последние, решающие слова и поступки человека, в каждом из которых — весь человек и вся его жизнь в целом". Излишне специально подчеркивать наличие в "Элементарных частицах" философско-этического содержания. Об этом мы уже говорили. Похоже, Уэльбек воспринимает понятие "постистория" буквально: он пытается показать, что ждет нас "по ту сторону" истории, делает литературно-наглядным, как может воплотиться в реальность идея "смерти субъекта" (высказанная академически-наивно Фукиямой, более, так сказать, приземленно — Мишелем Фуко). В то же время он рисует ужасную картину "конца человечества": fines hominis, как это сформулировано в известном сочинении Жака Деррида[1]. При этом значительно изменяется

1. Бахтин, op. cit.

1. Jacques Derrida. Marges de la philosophie. — Paris, 1972. Ср. с замечаниями о Деррида, Фуко и др. в "Элементарных частицах". С. 408. (*Прим. автора.*)

характер постановки философской проблемы. То, что Бахтин говорил о сатире, относится также и к Уэльбеку: у него мы не найдем сложных и развернутых формулировок "академических" (гносеологических и эстетических) проблем; остаются, по сути, лишь "последние вопросы" в этически-практическом освещении. Согласно Бахтину, синкреза (то есть сопоставление) именно таких обнаженных "последних позиций в мире" характерна для менипповой сатиры, в которой "повсюду обнаженные pro и contra в последних вопросах жизни"; между прочим, это свидетельствует в пользу происхождения менипповой сатиры от цинизма (не признающего никаких незыблемых принципов, никаких жестких правил, никакой другой цели, кроме свободы речи). Уже сам центральный конфликт рассматриваемого нами романа — столкновение двух противоположно направленных этических систем, представленное в параллельных жизнеописаниях Брюно и Мишеля, — показывает, сколь сильно связан с этой традицией Уэльбек (или, по крайней мере, его "Элементарные частицы").

С философской точки зрения, роман сводится к апории: из нетерпимой ситуации убогого существования современного "эмансипированного" индивида никакого выхода нет, стало быть, этому индивиду остается только уничтожить самого себя. Но может ли он это сделать? И хочет ли? Уэльбек развертывает перед глазами читателей драматическую картину постистории: в ней нет ни победы либерального разума, ни приносящего облегчение смеха, ни освобождения. Концом истории становится такое состояние общества, которое исключает возможность человеческого существования в привычной нам форме. Роман как будто бы пытается убедить в этом читателя, но одновременно — косвенным образом — провоцирует его на ниспровержение подобных мрачных утопий. "Элементарные частицы" структурированы в соответствии с теоремой квантовой механики, постулирующей неопределенность или дополнительность. В зависимости от того, как прочитывается этот роман, понимается ли он буквально или в ироническом смысле, мы приходим к совершенно различным выводам. Можно оценивать происходящее в книге патетически-сентиментально, а можно — с научно-исследовательской, "клинической" точки зрения, то есть с романтической грустью, тоской по иным возможностям, или — с мрачным юмором трезвого реалиста. В полной же мере роман поймет только тот читатель, который, подобно Уэльбеку, сочетает в себе и то и другое, романтическую мечту и научно-исследовательский, "клинический" подход, то есть читатель, которого можно назвать сентиментально настроенным циником[1].

VII

По мнению Бахтина, отчасти противоречащие друг другу (если не сказать несовместимые) аспекты менипповой сатиры объединяются одним — ее карнавальным характером. Бахтин говорил: "...скрепляющим началом, связавшим все эти разнородные элементы в органическое целое жанра, — началом исключительной силы и цепкости был карнавал и карнавальное мироощущение". Несмотря на категоричный тон этого бахтинского тезиса, он явно нуждается в уточнении. Если даже — вопреки всем контраргументам критиков Бахтина — мы согласимся рассматривать карнавальность как вечную спутницу сатиры, как одно из необходимых условий появления и восприятия последней, этой концепции окажется недостаточно для объяснения разнообра-

1. То, что и самому Уэльбеку свойственна такая "биполярность", подтверждается его советом вести "двойную бухгалтерию" (беседа с Жан-Ивом Жуаннэ. См.: Мир как супермаркет. С. 44—45). (*Прим. автора.*)

зия форм менипповой сатиры, истории ее развития. Вопрос, который задавал еще Ницше[1], возникает и в наше время, при изменившихся обстоятельствах и в отношении новых книг: чем Уэльбекова сатира отличается от Лукиановой, как соотносится "Сатирикон" Петрония с "Критиконом" Грасиана, что объединяет Джонатана Свифта и Квентина Тарантино? Трудно представить себе, чтобы художественная форма литературного произведения формировалась независимо от воли (и творческой индивидуальности) его создателя. Не объяснять же обращение Уэльбека к жанру менипповой сатиры тем, что ему вдруг понадобилось написать сценарий для карнавального действа или чего-то подобного?.. В случае Уэльбека мы даже не можем ни сослаться на его интерес к античной литературе, ни ждать от него обширных познаний в данной области, ведь в свое время он изучал аграрную экономику, а отнюдь не классическую филологию. Менипова фактура "Элементарных частиц" скорее объясняется тем, что этот роман был задуман как своего рода римейк книги Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Эту тему следовало бы осветить подробнее, но в данной статье мы перед собой такую задачу не ставим[2].

Бахтин в своей литературной теории преуменьшает значение автора, чтобы тем ярче осветить роль коллективного сознания. Это можно расценивать либо как его дань коммунистическим идеям (как одобрительное отношение убежденного коммуниста к революционно-карнавальным традициям народа, противостоящим сталинскому террору с его смертельной серьезностью), либо как своеобразное предвосхищение постмодернизма — но мы в любом случае не получим ответа на вопрос, каким образом устная народная смеховая культура превращается в литературу. На самом деле обращение авторов к различным инструментам, хранящимся, так сказать, в рабочем ящике менипповой сатиры, выбор и распределение этих инструментов каждый раз происходят по-новому — не в последнюю очередь потому, что граница между миром идей и миром реальности всегда остается зыбкой, а соотношение между "необыкновенным" и "тривиальным" с течением времени изменяется. Ни одна провокация не может быть осуществлена без предварительной оценки актуального положения вещей. Уэльбек учитывает это. В контексте современной художественной литературы "Элементарные частицы" занимают особое место — не потому, что они воплощают "новый реализм", или, как это называют во Франции, "депримизм"[1], а потому, что сигнализируют о возрождении в наши дни давно известного феномена, который мы здесь обозначили как литературный цинизм. Вместо того чтобы в соответствии с идеями классического модерна превращать нечто обыкновенное в "сосуд откровения", как это делают Петер Хандке и — в несколько более изощренной, эмоционально-насыщенной форме — Ундина Грюнтер[2], Уэльбек порывает с данной литературной традицией, продолжающей линию флоберовского sublime d'en bas[3] и джойсовской эпифании. Он делает нечто противоположное: придает значимость тривиальному именно в его — зачастую отвратительной — тривиальности, утверждая это тривиаль-

1. Nitzsche. Schriften... 1868–1869. S. 118.
2. Отправной точкой для такого исследования могла бы послужить десятая глава второй части "Элементарных частиц", посвященная Олдосу Хаксли и его брату Джулиану. (*Прим. автора.*)

1. Этому литературному течению посвящен один из номеров "Фигаро литтерер" (15.–10.–1998), вышедший под заглавием: "Депримизм, новое литературное поколение" ("Le déprimisme, une nouvelle génération littéraire"). (*Прим. автора.*)
2. Ундина Грюнтер (1952–2002) — немецкая писательница, бóльшую часть жизни прожила в Париже. Автор нескольких сборников рассказов, романов "Образ беспокойства" (1986), "Изгнание из лабиринта" (1992), "Закрытый сад" (опубликован посмертно, в 2004 г.) и др., книги дневниковых записей "Автор как суфлер" (1995).
3. Возвышенное в низком (*франц.*).

ное как factum brutum, то есть как грубый (подчас неудобоваримый) факт, о который разбивается всякая утонченность, который самим своим существованием посрамляет все "возвышенное" и "значительное", все, что на данный момент считается ценным. Уэльбека нельзя отнести и к тому течению, которое Райнальд Гетц и другие называют поплитературой: его проза — не "mix, cuts & scratches", не "смешение, обрезки & обрывки" случайных разрозненных звуков, знаков и анекдотов, которые передаются на хранение в архив культурно-незыблемого, не "просветление обыденного", как это называет Данто[1], а скорее исследование наощупь тех пропастей, которые вновь и вновь разверзаются между дискурсами и фактами, между воображаемым и реальным; горькое и остроумное сталкивание одного с другим, следствие действительно неустранимых гротескных коллизий: жизнь как она есть сейчас, сегодня, но — под циническим углом зрения.

В "Элементарных частицах" Мишеля Уэльбека происходит нечто вроде короткого замыкания: обыкновенное сталкивается с необыкновенным. Они по очереди изничтожают друг друга, но при этом оказываются принципиально неистребимыми и продолжают существовать в своей полярности. Уэльбек ведет с читателем циническую игру. Хочет он того или нет, но в "Элементарных частицах" он берет на себя роль "безумствующего Сократа".

P. S.

В августе 2001 года вышел новый роман Мишеля Уэльбека "Платформа". О нем сразу заговорили. Потом наступило 11 сентября. Имя Уэльбека стояло в списке кандидатов на получение Гонкуровской премии. Какая нелепость, что он позволил себе некоторые высказывания, которые, хотя нечто похожее мы уже читали в "Элементарных частицах", в новой ситуации сработали наподобие детонатора, спровоцировав взрыв общественного негодования: что ислам — это религия, которая "значительно превосходит все остальные... по глупости, фальшивости и обскурантизму", — такого не говорят, тем более если война стоит у ворот[1]. Разразился небольшой скандал, в результате которого имя Уэльбека было вычеркнуто из списка претендентов на получение премии. Это не лучшим образом характеризует Европу, поскольку степень достигнутой ею свободы как раз и измеряется тем свободным пространством, которое она предоставляет своим хулителям — циникам — и их возмутительным речам.

2003 г.

1. Arthur C. Danto. Die Verklärung des Gewöhnlichen. Eine Philosophie der Kunst. — Frankfurt am Main, 1991. Из работ Райнальда Гетца я хочу сослаться на один, программный текст: Westham Mix, Cuts & Scratches mit Rainald Goetz. — Berlin, 1997. (*Прим. автора.*)

1. Согласно сообщению "Либерасьон" (от 9.11.2001), Уэльбек в одном своем опубликованном интервью признался в неприязни к исламу: "Самая дурацкая религия". А также: "Чтение Корана подавляет". Эти заявления стоили ему судебного разбирательства, в результате которого он был оправдан. (*Прим. автора.*)

Наталья Мавлевич
Памяти Юлианы Яхниной

Трудно представить себе, что на традиционной встрече переводчиков в редакции "Иностранки" (вот уже много лет все собираются там под Старый Новый год) на этот раз и никогда больше не будет Юлианы Яковлевны Яхниной. Никто, кроме нее, не умел так рассказывать невыдуманные истории о том, что было пять, десять, пятьдесят, двести лет назад... Одинаково живо о писателе и бюрократе, художнике и дворнике, об императоре и няньке.

Где они, эти саги, новеллы и анекдоты, записаны ли? Сохранилась ли многолетняя коллекция перлов, вычитанных в книгах, газетах, переводах, подслушанных на улице, в автобусе, по радио? И почему я сама не бросалась сразу записывать все, что услышала от Юлианы Яковлевны? Да ясно почему — из лени, конечно, но и нет у меня такой памяти, такого чувства юмора, такого таланта, какие были у нее.

Были... Когда уходит близкий человек, страшно трудно заставить себя говорить о нем в прошедшем времени, безобидная грамматическая форма становится вдруг ненавистной, оскорбляет душу. Но когда немножко свыкнешься (презирая себя за то, что так быстро), начинаешь по крупицам, по часам и минутам собирать уже другое, не грамматическое, а реально осязаемое, еще не успевшее остыть прошедшее время.

Время как понятие и как загадочная, хрупкая и неистребимая субстанция всегда занимало Юлиану Яхнину, возможно, потому, что в ней самой сфокусировалось столько судеб, традиций, реальных и вымышленных историй. Умение жонглировать временами составляло часть искусства, которым она в совершенстве владела. Недаром среди любимейших ее переводов "Мемуары" азартного политика XVI века кардинала де Реца, проза и публицистика великой путешественницы по времени и пространству Маргерит Юрсенар и роман играющего в античность Эйвинда Юнсона. Если продолжить список ее работ, то нужно назвать еще Сартра, Гамсуна, Боргена, Саган, Турнье, Стриндберга, Бликсен, Соллерса, Унсет... Всех не перечислишь. Каждое имя в этом длинном перечне означает месяцы и годы, прожитые бок о бок, душа в ду-

© Наталья Мавлевич, 2005

шу с другим человеком. В идеале — полное слияние с автором. Может быть, профессиональное мастерство Яхниной прямо связано с ее необыкновенной способностью расслышать и понять другого человека. Переводчик должен быть невидимкой, чем меньше он будет торчать из оригинального текста, чем больше будет в нем растворяться, тем лучше. Самоотверженность — необходимейшее для этой профессии качество. В ту пору, когда издание каждой книги крупного западного автора было событием, когда все дружно читали "Иностранную литературу" и были "одной крови", переводчик еще мог рассчитывать на внимание публики — примерно так же, как муж кинозвезды или жена министра. Юлиана Яковлевна рассказывала, как в 70-е годы ей был обеспечен успех в любой компании, стоило только произнести "Здравствуй, грусть!" или упомянуть тоненькую книжечку со скромным названием "Слова". Рассказывала со смехом и ничуть не жалела, что гипервнимание интеллигентного общества сменилось равнодушием свободного брожения. Потому что дышать она любила полной грудью, а тщеславием не страдала. Мало кто из посторонних, зайдя в ее дом, мог бы заподозрить в скромной хозяйке кавалера шведского королевского ордена Полярной звезды, лауреата нескольких премий за лучшие переводы (в том числе премии "ИЛ" и премии им. Ваксмахера, которую присуждает посольство Франции). Когда же снова стало подступать удушье, соединяясь с равнодушием, в ясном голосе Юлианы зазвучала тоска. "Радуюсь вашей радости, — написала она, прочитав про шумный детский день рождения, — все остальное не радует. Хочется верить и надеяться". (Под "остальным" подразумевалось и похолодание общественного климата в стране, и неуклонное ухудшение здоровья.)

Это последняя из записочек, которыми мы с Юлианой Яковлевной обменивались, с тех пор как она освоила электронную почту. Почти каждый вечер года два подряд. Эпистолярная неспешность этого способа общения сочетается с моментальной доставкой. Никакого сравнения с телефоном: откуда знать, кстати ли звонишь, не отнимаешь ли у собеседника время, скажешь что-то, тебе что-то ответят, и все испарилось. Теперь, перебирая письма в компьютере, я снова слышу живые интонации, чувствую пульс дней.

После того мейла, полученного в середине мая 2004 года, отправитель "Юлиана Яхнина" во "Входящих" больше не встречается, а спустя две недели появляются незнакомые логины со словами "кровь" или "донор" в графе "Тема".

Болезнь и смерть — последняя тема в человеческой жизни. И то, как она разыгрывается, во многом зависит от качества личности. Связь тут не очевидная, причины и следствия лежат в разных плоскостях, но угадывается некий моральный закон превращения энергии.

О *донорстве*

Донор — возможно, самое точное определение характера Юлианы Яковлевны. Это и привлекало к ней самых разных людей. При мне както раз ей принесли на дом лекарство из фирмы "36,6". Пришла деловитая девушка, замкнутая, холодно вежливая, погруженная в свои заботы, а ушла только через полчаса, оттаявшая, обласканная, с милой улыбкой и совсем своя. Она оказалась начинающим художником и уже почти договорилась занести посмотреть свои рисунки, а заодно поучиться французскому. Это было, так сказать, единичное вливание сочувствия, бодрости, жизненной энергии, но было и многолетнее, профессиональное и одновременно добровольное донорство. Семинар молодых переводчиков, который вела Юлиана Яковлевна, несколько лет подряд регулярно собирался в Шведском посольстве... Семинар в посольстве — само по себе удивительное явление. Чтобы он появился, нужно было встретиться двум та-

ким неуемным и нечиновным людям, как Юлиана Яхнина и тогдашний советник по культуре Юхан Эберг. Маленький этюд, чтобы читатель немножко почувствовал атмосферу этого места. В большом холле Юхан дает интервью о чем-то очень серьезном. Зима, на улице мороз, до здания посольства по Мосфильмовской идти и идти. В дверях появляется миниатюрная фигурка Юлианы Яковлевны. "Юлиана, это ты? – говорит сидящий спиной к двери советник. – Кофе хочешь?" – "Еще как!" – "Пойди свари быстренько, там уже все приготовлено!" – Юхан показывает на какой-то уютный закуток. Официальностью тут и не пахло. Пахло дружелюбием и свежим кофе. (Когда Юлиана Яковлевна лежала в больнице, Юхан с женой специально прилетали из Швеции навестить ее и помочь.)

О чем только ни говорилось на семинарах: придирчиво, но всегда доброжелательно разбирали свои и чужие переводы, обсуждали неизбежные вопросы – о лексике, о словарях, о стилизации, о точности и вольности, делились новостями, взглядами, шутили и грустили. Юлиана Яковлевна относилась к ученицам (не знаю точно, были ли среди студентов юноши) совершенно как к родным детям. Гордилась их успехами, помогала, и помогла практически, каждой вырасти в зрелого переводчика, рекомендовала издателям, но кроме того оделяла каждую ни с чем не сравнимым теплом, звала домой, потчевала чаем и своими знаменитыми рассказами. "Девочки", как она их называла, платили доверием, заботой, знакомили со своими новыми друзьями, хвалились успехами, плакались в жилетку. К каждому семинару Юлиана Яковлевна готовилась очень тщательно, собиралась с силами, которых к концу жизни оставалось немного. Ей было очень важно всегда оставаться в форме, внешне и внутренне, не раскисать, не жаловаться, не докучать людям нытьем. Это составляло часть воспитания, было элементом нравственной чистоплотности. Поэтому даже знавшие о ее неизлечимым недуге забывали о нем и не могли представить себе ее немощной, больной, не осознавали близость конца. Если она и упоминала о недомоганиях, то всегда в ироническом тоне.

В последнее время, если в среду вечером от нее не было письма, я понимала: она вернулась с семинара уставшей до предела. Как будто в самом деле отдавала изрядную порцию крови. Но однажды Юлиана Яковлевна сказала: "Знаешь, семинары – это и донорство, и вампирство. Мне кажется, я сама наполняюсь молодостью, оживаю рядом с девочками".

Разумеется, ученицы помогали ей до самого конца: дежурили в больнице, старались порадовать, приносили лакомства, цветы, мужественно улыбались и прятали слезы.

Но когда понадобилась кровь для постоянных переливаний, возможности родных и близких, включая семинаристов, быстро истощились. Летом в городе вообще трудно кого-то найти, покупать же такое количество крови, вдобавок к прочим расходам, было немыслимо. С отчаяния и почти без всякой надежды близкие стали просить о помощи мир. И наш черствый, прагматичный, привычный к трагедиям мир отозвался. Доноры шли тремя потоками (не считая просто друзей): это были прихожане церкви Космы и Дамиана в Шубине, слушатели радиостанции "Эхо Москвы" и посетители сайта livejournal.com. Такие неожиданные адреса и явки. Вот тогда-то я и стала получать короткие письма.

"Какая группа крови нужна? У меня вторая. Если подойдет, пишите по этому адресу. Елена". (Нет, Елена, поначалу годилась только первая, это уже потом стали брать любую, на обмен. Но все равно спасибо!) "Нужна ли еще кровь для Ю. Я. Яхниной? Думаю, что могу помочь. Оксана". Оксану не забуду никогда. Красавица лет двадцати с небольшим, рыжая, улыбчивая, уверенная. Технический переводчик с французского, поступает еще на экономический. (Но пришла не потому,

что знает Яхнину — она ее не знает, а просто...) Первая группа резус отрицательный — находка для гематологов. Еле всучили ей обязательную сотню, она вспыхнула и попросила купить на эти деньги фруктов для Юлианы Яковлевны. Были еще Виктор, Дмитрий, Таня, было много других, с кем я уже не переписывалась и не встречалась (вскоре дело поставили так, что доноры шли без посредников). Пусть этот журнал попадется на глаза им всем.

Дорогие хорошие люди! Юлиана Яковлевна скончалась 4 августа. Но вы не только продлили ей жизнь на два месяца, вы сделали ее счастливой перед смертью. Она слушала все то, что я сейчас рассказываю, и шептала: "Совсем незнакомые люди! Я такого не заслужила!" Ваши абрикосы, Оксана, сияли чистым золотом, и кровь у нашей больной обновлялась от одного взгляда на них. Вы с ней теперь кровные родственники, хотя по-прежнему незнакомы. Юлиана Яковлевна просила записать все ваши адреса и всем послать ее книги. Я не смогла этого сделать, но попробую немножко познакомить с ней вас и всех, кто знает ее только по переводам.

Хоромы

Мало кто в наше бурное время прожил всю жизнь в одном доме, как Юлиана Яхнина. Хоромный тупик — смешное название. "Мои хоромы", — говорила Юлиана Яковлевна. Небольшая квартира, старинное зеркало, портреты родителей на стене глубокого синего цвета. И книги — на полках с пола до потолка, на столике, на кресле.

Прошлой зимой с согласия Юлианы Яковлевны я записала на диктофон несколько ее рассказов о детстве. Они опубликованы в журнале "Семья и школа", здесь же привожу лишь краткий отрывок, чтобы знакомство было непосредственным.

"Мое детство проходило в том самом доме, где я живу сейчас. Он был построен для работников Наркоминдела и Наркомвнешторга. Квартиру тут получил папин брат, инженер Внешторга. Здесь жил сам министр Литвинов, будущий посол Советского Союза в Америке Уманский. Хотя для моих родителей эта среда была совершенно чуждой, но встречались и милые, симпатичные люди, с которыми складывались добрые соседские отношения, я же, естественно, дружила с их детьми.

Только потом, много позже, я поняла, что это был совсем другой мир, тогда же родители меня оберегали, у меня еще не было ни настороженности, ни отторжения.

Когда начались массовые аресты, в 37-м и даже раньше, на дверях квартир стали появляться эти страшные печати. Обычно приходили ночью, уводили отца семейства, а часто и его жену, двери опечатывали, детей — этих балованных детей крупных чиновников — отправляли в детдом. <...>

В нашем доме был дворник Павел Сиротин. Порядочный человек. Ему в 37-м почти каждую ночь приходилось в качестве понятого присутствовать при арестах наших жильцов — а дом небольшой, 100 квартир, все друг друга знали. Он говорил отцу: "Не могу я! Днем говорю с ним как с известным, уважаемым человеком, а ночью иду с обыском и присутствую при аресте". Павел запил, а в конце концов сам попал в тюрьму.

Настал день, когда арестовали мою тетю, мамину сестру. Это произошло на моих глазах, мы втроем — тетя, ее внук и я — были на даче, здесь ее и забрали. Тогда мама все мне рассказала... ну, насколько это было возможно объяснить девятилетней девочке. Потом она говорила: 'Я решила тогда: пусть лучше моя дочь усомнится в справедливости того, что происходит вокруг и что ей рассказывают в школе, чем будет думать, что кругом одни шпионы, и считать своих близких врагами народа'.

Конечно, я о чем-то догадывалась и раньше. Теперь же понемногу узнала многое такое, что было очень

тяжким грузом для маленькой девочки. Ведь родители поделились со мной знанием, которое надо было тщательно скрывать от других и которое зачеркивало многое из того, чему меня учили в школе. Зато это доверие еще больше сблизило меня с мамой и папой. Конечно, для них это было непростое решение. Я знаю семьи, в которых родители, трезво оценивавшие весь ужас и всю нелепость повальных репрессий, боялись травмировать или поставить под удар детей. Выросшие и прозревшие дети не могли им этого простить. А многие отрекались от родных: кто из страха, а кто и искренне верил, что отец, мать, брат, дядя оказались замаскированными врагами. В свое время я узнала от мамы всю правду и о ее брате Юлии Осиповиче Мартове, которого она очень любила и в честь которого назвала меня Юлианой. Он умер в Берлине от чахотки в 1922 году. Долгие годы я должна была скрывать свое родство с этим незаурядным человеком как опасную тайну".

На поминках одна из подруг молодости Юлианы сказала: "Я всегда чувствовала, что у нее была какая-то тайна". Пришло время, когда тайну стало возможно открыть. Тогда многие были ошеломлены. Ну а теперь... Милая Оксана, когда я пыталась рассказать ей что-нибудь особенно интересное про ту, для кого она сдавала кровь, спросила: "Мартов? А кто это?" Впрочем, теперь можно узнать о Мартове, личности в самом деле незаурядной, из книги, написанной о нем Ильей Уриловым, историком, издателем, предпринимателем. Юлиана Яковлевна, с ее феноменальной памятью, оказалась для него сокровищем. Больше того, он полюбил ее восхищенной, трепетной любовью и опекал до последних дней. Если бы не его бескорыстная щедрость, если бы не помощь еще нескольких писателей и издателей, было бы трудно обеспечить достойные условия для тяжело больной Юлианы Яковлевны.

Рец, Макин, Бабетта и драгоценный Жорж

Слабея от недугов, Юлиана Яковлевна непрерывно работала. И как работала! Она всю жизнь славилась необыкновенной добросовестностью, каждое слово в ее переводах взвешено, каждое имя, каждая цитата проверены. А двадцатилетняя работа над переводом "Мемуаров" кардинала де Реца стала легендой. Картотека, собранная за эти годы, занимает несколько ящиков, на карточки расписаны не только сотни имен и географических названий, но и фрагменты русских текстов эпохи, язык которой был выбран за образец (от Карамзина до Пушкина). Яхнина не только выискивала лексику, но и наблюдала такие тонкие вещи, как управление глаголов, порядок слов, грамматические обороты. Каторжный труд! А она называла его счастьем. Не представляю, кто бы справился с таким переводом сегодня. Конечно, талант дается от Бога, а небеса щедры; конечно, приемам ремесла можно научиться, но подготовка такого мастера, каким была Яхнина, начинается с детства и продолжается всю жизнь. Чтобы Рец или Юрсенар так естественно зазвучали на чужом языке, надо, чтобы переводчик в семь лет знал наизусть целые страницы Пушкина, в десять читал Диккенса, а в двадцать держал в памяти чуть не всю русскую поэзию. Юлиана Яковлевна ориентировалась в стилистике разных эпох и писателей блестяще. Вот что она ответила, когда я попросила ее совета, каких бы не самых знаменитых, но затейливых русских авторов почитать, чтобы настроиться на перевод Макса Жакоба: "Наверно, такие голоса звучат в романах писателей второго ряда — Боборыкина, Шеллер-Михайлова и, может, не столько у Островского, сколько у Сухово-Кобылина. У Островского очень уж российский колорит. Кстати сказать, люблю его очень. А может, заглянешь в 'Меткое московское сло-

во'? Очень разговорен Горбунов. Это то, что мне с налета приходит в голову". Боюсь, в мою собственную голову такое не придет даже после долгих размышлений.

Мало простой начитанности, мало самого богатого словарного запаса, нужна еще вторая, ассоциативная нервная система, которая срабатывает мгновенно и неожиданно. Например, вот так: "Хотела было в графе 'Тема' написать merci, но передо мной тотчас встали любимые строки Саши Черного: 'И в ответ прошептала: «Мерси!» Суламифь, молодая шалунья'. Но так как шалунья не молода, то говорит она тебе русское 'Спасибо!' ". (Чем я заслужила благодарность, уже не помню, скоре всего заглянула для нее в какой-нибудь словарь.)

Юлиана Яковлевна не могла, не умела переводить приблизительно, не докопавшись до полной ясности написанного. Даже если оригинал был не слишком хорош. Роман Андрея Макина "Французское завещание" переведен бесспорно лучше, чем написан. В одном эпизоде описывается меню обеда, устроенного в Париже в честь прибытия русского царя. Чтобы перевести меню, Юлиане Яковлевне нужно было точно знать рецепт каждого упомянутого блюда, и она обратилась к главному специалисту по еде всех времен и народов Вильяму Похлебкину, который перевыполнил задание: не только сказал, что как называется и что из чего сделано, но еще и выявил некомпетентность автора — некоторые из блюд на царский стол попасть не могли, если только устроитель обеда не хотел таким образом унизить августейших гостей.

Освоив электронную почту, Юлиана Яковлевна так и не добралась до Интернета с его поисковыми системами, поэтому часто просила заглянуть в Сеть и выловить для нее ответ на какой-нибудь вопрос для очередного перевода. Труда ни малейшего, а какое удовольствие вот так, с цирковой легкостью достать кролика из цилиндра перед восторженной публикой. Но иной раз невод приходил пустым. Не помогали и словари. В таких случаях я прибегаю к помощи уникальной живой энциклопедии — своей старинной подруги и коллеги, ныне живущей за границей, Арины Истратовой. Она согласилась поработать волшебной палочкой и для Юлианы Яковлевны, которая поначалу стеснялась, а потом, после уверений Арины, что она только рада помочь, выстрелила целым залпом вопросов, прибавив мольеровское: "Tu l'as voulu, Georges Dandin!" Арина быстро на все ответила и подписалась: "Ваш верный Жорж". "Драгоценный Жорж!" — начала следующее письмо Юлиана Яковлевна. Так возникла игра. Вдвоем они расшифровывали эпиграф к одной из книг Юрсенар — Жорж опознал в нем девиз художника ван Эйка "Als ich kan", изображенный в перевернутом виде. Когда это блестящее опознание было завершено, оказалось, что в книге был типографский брак.

Вот еще одна консультация: "Юрсенар называет Антиноя 'присяжным eromen' Адриана. Слово это выделено курсивом. По-гречески оно означает 'любовник, возлюбленный'. Это ясно и из контекста. Но меня удивило, что Юрсенар, прекрасно знавшая греческий, написала это слово латиницей. В моем маленьком Робере этого слова нет. Но чтобы сделать сноску, я должна знать, не вошло ли оно во французский. Встречалось ли оно Вам? Где его искать? Ваше мнение, мой высокочтимый Жорж?"

Особенно придирчиво Юлиана Яковлевна относилась к переводу небольшого шедевра — книги Карен Бликсен "Пир Бабетты". Тут снова пришлось искать кулинарную лексику, но кроме того она старалась не упустить ни одной скрытой цитаты, вникнуть в созвучия слов и мыслей героев (в центре повести — кружок пламенных протестантов).

"Я продолжаю Вас эксплуатировать, — пишет Яхнина Жоржу. — Как бы Вы перевели эти строки? Судя по всему, Вы и датский отлично знаете. Так вот, в датском тексте в псалме

это 'Miskundhed og Sandhed moedes, kaere broedre. Retfaerd og Fryd skulle kysse hinanden'. Причем цитируется это как прозаические слова, не как псалом (хотя в тексте есть псалмы. Но это не важно. Важно другое. В речи генерала милосердие будет звучать как Naade).

Спасибо, милый, уникальный, щедрый Жорж. Мне совестно Вас эксплуатировать — но все же я поддаюсь сладкому соблазну!"

В русском тексте пастор произносит стихи 85-го псалма: "Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются".

И последняя цитата, из письма по какому-то личному поводу. Привожу ее с разрешения Арины-Жоржа:

"Конечно, надо жить и хранить память об ушедших. Эту мудрость мне уже давно пришлось постичь, и с каждой новой потерей укрепляется сознание, что в нее надо верить".

Вручение премии "Инолит" за 2000 год Юлиане Яхниной

Юлиана Яхнина

О *некоторых вопросах стилизации в связи с переводом романа* Э. Юнсона "Прибой и берега"

Начну с банальности. Хотя сравнение переводчика с актером, с пианистом, вообще с интерпретатором произведений, созданных другим творцом, стало уже почти общим местом, мне хочется процитировать еще одно сравнение такого ряда. Оно, по-моему, нигде и никем не приводилось, а принадлежит оно великому Ван Гогу. В Арле, когда болезнь лишила художника возможности работать на пленэре, он стал писать живописные холсты с гравюр Милле и Делакруа. "Мне кажется, — объяснял он в письме к брату Тео, — что писать живописные полотна с рисунков Милле означает не копировать их, а переводить на другой язык"[1]. Великий художник, говоривший о переводе языка графики на язык живописи, как мне кажется, особенно точно определил самую суть переводческого творчества, которое есть перевод сотворенного в одном материале в другой материал. В области словесности этим другим материалом оказывается другой язык, отличающийся от языка оригинала не только своей структурой, своими законами, своей историей, но и своим — я назвала бы это — художественным пространством, в которое переводимое произведение должно вписаться.

Все проблемы, возникающие перед переводчиком, — это всегда проблемы соотношения исходного материала и материала рабочего. Свой специфический аспект они приобретают тогда, когда речь идет о стилизации. Тема эта неисчерпаема. Разумеется, я не могу касаться всех ее граней. Я выберу из них только те, которые так или иначе соотносятся с романом Эйвинда Юнсона "Прибой и берега". Для упрощения я определяю этот роман как роман исторический, в условном значении этого термина, то есть лишь в том смысле, что роман принадлежит к тем произведениям, в работе над переводом которых огромную важность приобретает вопрос о дистанции времени, выраженной в слове.

Вопрос о дистанции времени в переводе тоже достаточно многогранен. Переводчик может иметь дело с текстом, написанным, скажем, в минувшем столетии на современном этому столетию материале. И переводчики спорят, надо ли пытаться создать у читателя перевода то ощущение, которое возникало у читателя — современника произведения, или совсем иное, то, с которым воспринимают этот текст наши современники, читающие произведение в подлиннике. Переводчик может иметь дело с текстом XVIII или XIX веков, посвященным античности или Средним векам, — и тут речь заходит о двойной стилизации, о напластовании двух эпох. (Задача может оказаться особенно трудной, когда под одной обложкой соседствуют произведения, написанные в одно время, но описывающие разные эпохи.) Есть, наконец, сегодняшняя проза, обращенная в прошлое. Иногда автор добивается максимального слияния с языком эпохи, иногда лишь несколькими мазками передает в языке ощущение времени.

Само собой, каждый раз творческая задача, стоящая перед переводчи-

© Юлиана Яхнина, наследники, 2005

1. Vincent van Gogh. Brievcn. III, 1886–1889, письмо 613, с. 389. — Amsterdam, 1924. (*Здесь и далее – прим. автора.*)

ком, решается конкретно, определяясь не только взаимоотношением двух индивидуальностей, автора и переводчика, но и взаимоотношением двух культур, двух художественных пространств языка. Например, по традиции французскую прозу XVII века мы не переводим русским языком XVII века. Мы ищем ей условное соответствие в языке пушкинской эпохи.

Замечательную формулу, объемлющую, как мне кажется, все случаи временной стилизации в переводе, дал известный ученый-филолог Михаил Гаспаров. Перевод, сказал он, должен вписываться "в стилистическую перспективу родной словесности".

Как же применять эту формулу к переводу романа Юнсона "Прибой и берега"? Материал романа — сказание о герое античности, но автор снабдил свое произведение подзаголовком "Роман о нынешних днях", пригласив читателя и тем более переводчика принять участие в игре, правила которой обозначены им сразу и в основе которых — переплетение "вечного времени" богов и героев со злобой сегодняшнего дня.

Тема "игры", "исполнения роли" постоянно возникает на страницах романа Юнсона, присутствует в авторских рассуждениях, занимая существенное место в авторском замысле. Поэтому естественно сопоставить это отношение Юнсона к создаваемому им тексту с мыслью другого современного мастера литературной игры, одного из исследователей карнавальной культуры, Умберто Эко, написавшего интересные заметки о том, как он создавал свой стилизованный роман "Имя розы". "...Во всех книгах, — замечает Эко, — говорится о других книгах... всякая история пересказывает историю, уже рассказанную...[1] По окончании любой работы, — пишет далее Эко, — завязывается диалог между произведением и публикой... А пока работа еще не окончена, ведутся два других диалога. Во-первых, между создаваемым текстом и остальными, ранее созданными текстами (каждая книга говорит только о других книгах и состоит только из других книг). И во-вторых, диалог автора с идеальным читателем"[1].

Сказанное, на мой взгляд, непосредственно относится к роману Юнсона и к вопросу о том, как его переводить на русский язык. Роман Юнсона ведет диалог с "Одиссеей" Гомера. Но для русскоязычного читателя, а стало быть, и для переводчика романа на русский язык упомянутый разговор должен быть непременно разговором троих. Третий собеседник — это русская "Одиссея" в переводе Жуковского.

Юнсон в работе над своим романом пользовался многими источниками, в том числе многими переводами "Одиссеи". Хотя он прежде всего опирался на шведский перевод Лагерлёфа, он называл его "плохим", "неровным" и "скучным", корректируя его переводами М. Валленберга, Бергстеда-Рисберга, датским переводом Герца, переработанным Вильстером, переводом Арне Гарборга на лансмол[2], немецким переводом Фосса и даже французским прозаическим переводом Леконта де Лилля. То есть Юнсон был свободен по отношению к переводу Лагерлёфа, который, кстати сказать, при переизданиях подвергался модернизации и редактуре. Для русского читателя, несмотря на наличие других переводов (в основном это отрывки или прозаические переводы-пересказы), живой жизнью живет единственный перевод — Василия Андреевича Жуковского. Этот текст тоже был в разное время мишенью критических стрел[3]. Его упрекали в русификации, романтизации, сентиментальности и т. д. Его критиковал Лев Толстой. И, однако, перевод вышел победителем из этих битв, он стал и остался фактом русской по-

1. Вспомним ахматовское: "Но может быть, поэзия сама / Одна великолепная цитата" (из цикла "Тайны ремесла". А. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1976).

1. У. Эко. Заметки на полях "Имени розы" / Иностранная литература, № 10. 1988. С. 92 и 97.

2. Лансмол — литературная форма норвежского языка, сконструированная И. Осеном на базе норвежских диалектов в середине XIX века.

3. См.: А. Н. Егунов. Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. — М.-Л.: Наука, 1964.

эзии, русской словесности. "Одиссея" на русском языке одна.

В работе над текстом перевода, обращаясь мысленно к идеальному читателю, о котором говорит Эко, я не могла не апеллировать к тому образу "Одиссеи", который существует в его сознании и сдвигом по отношению к которому и должен был стать шведский роман "о нынешних днях". Мне следовало найти какой-то прием, который, не противореча стилю Юнсона, соотнес бы в сознании читателя роман со знакомым ему текстом "Одиссеи". Обдумывая, а вернее, мысленно озвучивая текст Юнсона на русский язык, я выбрала одну доминанту — лексическую и отчасти ритмическую. Речь идет о многосоставных, чаще всего двусоставных эпитетах, столь характерных для перевода Жуковского. Я сказала бы, что на фоне гекзаметров именно они звучат в памяти читателя русской "Одиссеи". Вот примеры: *благороднорожденная, волнистокипучий, глубокотекущие* (воды), *многодарная* (земля), *долгопечальная* (разлука), *многоиспытанный* (странник), *пышноустроенный* (град), *сочномедвяная* (трава), *пустынно-соленый, шумноширокий, звонкопространные* (сени).

Интересно в этом плане сравнить русскую и шведскую "Одиссеи" (я беру текст Лагерлёфа, который был все-таки, повторяю, основным из переводов, которыми пользовался Юнсон):

det klippiga Itaka — горносуровая Итака,

lockiga Eos — светлозарнокудрявая Эос,

honung — сладкотающий мед,

ett par spjut — два медноострых копья,

sköldarna fyra — меднолитные латы,

drotter med konungastav — скиптродержавных владык,

sköld med fyra lag oxhud — четверокожный щит,

den obarmhärtige — людоед зверонравный (о Полифеме),

på del grönskande betet — сладкоцветущей травой,

den mörke Poseidon — лазурнокудрявый,

Taygetos — многовершинный Тайгет,

så kraftig han är — грозномогучий (Одиссей).

Это соотношение определило для меня существенный элемент текста романа — двусоставность эпитетов. Я позволила себе значительно усилить этот элемент по сравнению с текстом Юнсона, впрочем, опираясь и на его текст.

Так, у Юнсона Гермес *Den Lätte* — у меня "легконогий" (но у Юнсона он и *Den Snabbf otade* — "быстроногий"), *Den Ärbara* (о Пенелопе) я перевожу — "высокодостойная", "высокородная". Но у Юнсона есть *den Högst Ärbara. Den Erf arna* — "многоопытная". Об Одиссее — *den Ärade* — "многославный". О Зевсе *den Höge* — "высокодержавный", то же о семье богов — "высокодержавное семейство". Поэтому же Зевс у меня "Тучегонитель" (*den Dundrande*). Одиссей *Den finurlige, Den knepige* — "хитроумный", "велемудрый". А дочь Долиона *med det mörka namnet* — у меня "темноименная дочь Долиона".

Иногда я просто использую эпитеты Жуковского: Одиссей у меня "постоянный в бедах", у Юнсона — *som har haft sån otur*, Дулихий, *veteön*, — остров, "обильный пшеницей", дом у Кирки *vithus* — "белостенный", Нестор, *Hästtämjaren* — "Обуздатель (а не Укротитель) коней", а Менелай (*den Ljuse*) — "златовласый". Людей я иногда называю "земнородные", а богов — "вечносущие" и "вечнорожденные". У Юнсона есть выражение *Den Höges tidläshet* — это дало мне право на "вечносущие". Поэтому, например, фраза романа "*Söker du inte gudaglädje, gudaliv, gud af rid?*" (слова Одиссея, обращенные к Калипсо) звучит в переводе ритмически и по смыслу так: "Разве ты не ищешь счастья вечнорожденных богов, их жизни, их покоя?" В рассказе о посещении Эола у Лагерлёфа и у Юнсона Эол дарит Одиссею мешок, в который заключены ветры: "*Alla vindar i en säck av oxhud*" (Юнсон). У меня, как и у Жуковского, "все буреносные ветры". Считаю это оправданным, ибо у Юнсона дальше речь идет о *stormar*.

Этот прием особенно важен для меня в эпитетах-характеристиках, которые сопровождают на протяжении всего романа Одиссея и Пенелопу. *Den bortreste* и *Den väntande* у меня "Долгоотсутствующий" и "Долгоожидающая". Этот элемент необычности, остраненности дал мне право повысить в эпитетах строчные буквы до заглавных, что вообще не очень характерно для русской традиции (как правило, мы пишем с заглавной буквы прозвища) и всегда нуждается в художественном оправдании.

Двусоставные эпитеты способствуют той игре с категорией времени, которая является одним из важных компонентов стилистики романа. Архаичность лексики вообще и эпитетов в частности создает патетико-ироническую интонацию в романе. Есть, однако, в романе фрагмент, в котором игра с категорией времени приобретает как бы новый обертон — она обогащена разностью времени действия в самом романе. Речь идет о письме отца Пенелопы — Икария. В оригинале его старомодность подчеркнута и авторской характеристикой, и старой орфографией. Мне не хотелось прибегать к ятям и твердым знакам, хотя правила игры это позволяли. Я просто сгустила архаичную лексику: "не мешкай", "поспешай", "не промедли", "пребывай в добром здравии", "сколь отрадно", "убеляя сединами" и пр.

Кстати, проблема использования архаизмов в русском литературном языке сегодня приобретает неожиданную грань. Лексическая инфляция, вызванная трескучей фразеологией времен застоя, заставляет средства массовой информации в попытках усилить эмоциональное воздействие на читателей прибегать к архаической лексике. И некоторые слова, еще недавно звучавшие возвышенно-поэтически, потому что употребление их было как бы уникально, сегодня стерты употреблением всуе. Так еще несколько лет назад "высоким стилем" веяло от слова "наставник". Оно ассоциировалось с такими, например, строками, как пушкинские: "Наставникам, хранившим юность нашу, всем честию, и мертвым и живым, к устам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим"[1]. Сегодня "наставник" едва ли не официальный титул преподавателей в профтехучилищах. Когда я выбрала для характеристики Эвриклеи слова "судьбоносная старуха" (кстати, перевод почти буквальный — *ödesgumman*), оно звучало свежо и смело. Сегодня это слово стерлось и поблекло — оно непрерывно мелькает на страницах газет. Такие слова, как "супруга" вместо "жена", "трудиться" вместо "работать" или претенциозное в обыденной речи местоимение "что", употребляемое или вместо "который", или даже в тех случаях, когда разговорная речь его вообще опускает, сделались приметой дешевой "красивости" слога. (Комический пример. В одном из издательств дирекция опубликовала приказ, в котором сторожу, сидевшему в проходной и обязанному проверять пропуска, объявлялся выговор за то, что он "в рабочие часы распивал спиртное в будке, что у ворот". Смешение канцелярского стиля с поэтическим!)

Это влияние сиюминутного состояния лексики на работу переводчика очень существенно для другого лексического пласта романа Э. Юнсона — современной лексики. Ведь патетико-ироническая интонация в романе создается не просто архаизацией лексики, а ее столкновением с лексикой современной. (Кстати, иногда они сталкиваются в одной фразе. Поэтому у меня в переводе: "сверхштатный певец и вестоносец Медонт" (*extrasängaren och postbudet*).

Критики (Альберт Вифстранд и Улле Хольмберг), как известно, упрекали Юнсона за чрезмерное пристрастие к современным разговорным словечкам. Вифстранд в 1947 году писал, что в романе так много просторечной фразеологии 40-х годов, что понемногу он перестанет быть романом "о нынешних днях" и станет романом о прошедшем, а именно о прошедших 40-х годах.

Юнсон отстаивал оправданность избранного им приема, подчеркивая, что не воссоздавал гомеровскую "Одиссею", а писал о человеке по име-

1. А. С. Пушкин. 19 октября.

ни Одиссей, что роман в известном смысле можно отнести к жанру оффенбахиады, а предсказать наперед, будут ли существовать через тридцать лет и как будут звучать в языке такие "сегодняшние" для 40-х годов слова, как *baksmälla*, не может никто.

Как должен подойти к передаче этого лексического пласта переводчик? Думаю, тут сомнений нет.

Замечу попутно: переводя роман, написанный в 40-х годах нашего века, переводчик, который хочет воссоздать в слове аромат того времени, встречается с неожиданными трудностями. Оказывается, передать дистанцию времени относительно близкого иногда бывает сложнее, чем тогда, когда удаленность во времени велика, очевидна и временной колорит отчасти условен. Я много лет работаю над переводом написанных в XVII веке мемуаров кардинала Реца. Как я уже говорила, я ориентируюсь на язык пушкинской эпохи. Но я могу себе позволить привнести в перевод лексику 40-х и даже 60-х годов прошлого столетия, если только используемые мною слова не привязаны к позднейшим реалиям. Никто, кроме филологически подготовленного читателя, не ощутит сегодня, что слово "талантливый" в эпоху Карамзина звучало непривычно и дерзко (его нет даже в словаре языка Пушкина – там есть только слово "талант"), а глагол "заявить" в значении "сказать" не фиксируется даже первым изданием Даля – тогда говорили "объявить". И если я придерживаюсь определенной словарной диеты, сознательно создавая для себя дополнительные трудности, которые интересно преодолевать, то все же я иногда отказываюсь от слишком строгих временны́х границ в пользу живости текста. Тем более что лексика, созданная позднее, как и возникшие позднее синтаксические ритмы, влияет на воспроизводимый сегодня текст и на его восприятие современным читателем. Поэтому просто имитировать старый текст при переводе невозможно – это его тяжелит и умертвляет. (Характерно, что мысли на тему о современных ритмах в трактовке классики я встретила и у великого актера Михаила Чехова, и у композитора Георгия Свиридова. Но это отдельная тема, которая может стать предметом специальной дискуссии.)

Совсем иное дело – передача дистанции времени в тридцать или сорок лет. Язык за эти годы, буквально затопившие мир потоком газетной и телевизионной информации, существенно изменился. Но читательская масса в каждый данный миг состоит по меньшей мере из трех поколений, и у каждого своя точка отсчета в смысле ощущения возраста слова. Приведу пример. Для читателей моего поколения уже мало ощутима относительная новизна значения слова "запросто" как "легко", "без труда" ("я это сделаю запросто"). Тем более не ощущают ее те, кому 30 лет – ибо этому значению тоже лет 30. А вот поколение старших знало только значение слова "запросто" – "без церемоний". Или: "передай привет" – "передавай привет". Сравним в знаменитой песне "Катюша": "От Катюши передай привет". А в стихах К. Симонова послевоенных лет уже: "...Может, завтра среди дня зайду к вам. Или нет, Вам хорошо и без меня. Передавай привет". Мне вкрапления таких слов и оборотов в тексты, описывающие эпоху 20–30-х годов, мешают – я им не верю. Между тем они вторгаются не только в переводы, но и в оригинальные произведения. Помню, что в романе "Дети Арбата" ссыльная эсерка говорит совершенно не свойственным людям той эпохи языком. "Вы не подскажете, как пройти?", "вроде нет", "где-то на днях", "с ходу" говорят в некоторых современных книгах люди начала века. Когда озвучивали по-русски многосерийный английский телефильм "Сага о Форсайтах", совершенно стерлась разница в языке поколений семьи Форсайт, между тем она очень заметна в литературном переводе романа на русский язык.

Но возвращаюсь к Юнсону. Здесь у переводчика задача, конечно, иная. Переводчику нет нужды стремиться сохранить аромат лексики именно 40-х годов. Он должен ее максимально актуализировать, стремясь достичь того эффекта, которого добивался в свое время Э. Юнсон, ибо эта актуализация существенна для формальной и содержательной стороны романа.

Я хочу остановиться на той части лексики, которая связана прежде всего с политической терминологией, имеющей пародийный характер. Я с грустью думаю о том, что переводи я эту книгу не в 1986–1987 годах (перевод вышел в 1988-м), а два года спустя, я получила бы огромный дополнительный источник материала, дополнительные краски для этого лексического слоя – их принесло с собой изменение политической обстановки в нашей стране. Насыщенная политическая жизнь, новый парламент, заседания которого стали театром для поистине многомиллионной аудитории, создали уже свои языковые клише, комплекс своих характерных неправильностей, узнаваемых, обыгрываемых ныне в нашей речи ("обменяемся" – без дополнения, "определимся", "амбициозный", пристрастие к предлогу "о" – обращаю внимание лингвистов на его продуктивность в современных неправильных конструкциях: "это показывает о том", "подчеркивается о том" и т. д. Характерный пример наборов клише в "Литературной газете" от 1/1, 1991 г. – хотя список мог бы быть остроумнее)[1].

Конечно, я использовала газетную лексику, и политическую терминологию, и клише, и *folkkrafter* у меня "народные массы", а turné – "вояж", ибо этим словом в отличие от слова "поездка" обозначают теперь в газетах дипломатические "передвижения" неугодных лиц, так сказать, отрицательных персонажей. Resetillstånd – естественно, "разрешение на выезд", а там, где в оригинале просто *vi förstår*, у меня газетный штамп "мы относимся с пониманием"; *vägrade ätt ata* у меня "объявили голодовку" (хотя у автора нет *hungerstrejk*), и есть у меня слово "прораб" (оно очень популяризировано выражением "прорабы перестройки"), и *rapportbärerskan* – "осведомительница".

Но все-таки в основном я опиралась на эмоционально стертый для нас тогда политический словарь, составленный из, так сказать, общеевропейской лексики (спикер, оратор, дебаты), а теперь вдруг слова "прения", "выступающий", "в порядке ведения" (даже без дополнения – "собрания") приобрели невиданную прежде смысловую наполненность и актуальность. И если раньше я писала "муниципальным властям", теперь я написала бы "местному совету", "выдающийся политик местного значения" – *den framstående kommunalpolitikern* стал бы у меня "членом местного совета"; "посеять смуту" я превратила бы в "усилить напряженность", а прорицателя, может быть, однажды назвала бы даже "экстрасенсом" и была бы убеждена, что остаюсь в русле авторского замысла, работаю на художественную задачу, поставленную Юнсоном. Тем более что роман "Прибой и берега" остается актуальным и по сей день. (Скажу в скобках еще о судьбе слова. Как ни странно, слова "советский". Работая над переводом мемуаров, о которых я упоминала, я перечитала множество русских мемуаристов прошлого столетия. Прочла я, в частности, и интереснейшие "Записки" Державина. Так вот, Державин пишет: "Сегодня советский день", – то есть день, когда ему надлежит присутствовать в Совете. Значит, слово существовало во времена

1. См.: С. Шинкарук Краткий политический словарь (Пособие агитатора). Краткая аннотация:
"Данный словарь призван стать настольной книгой уличных и газетных агитаторов. Он будет надежным помощником в ведении пропагандистской работы. С помощью словаря за 5 минут можно показать обывателю всю мерзость ваших политических оппонентов. *Прим.* Не перепутайте колонки [абзацы]! А то попадете в неудобную ситуацию.
Для правых против левых: беспорядки, бесчинства, боевики, вандализм, вседозволенность, демагоги, деструктивные силы, жалкая кучка, злобный, молодчики, надругательство, подстрекатели, политические амбиции, прикрываясь, провоцируют разгул, разъяренная толпа, рвутся к власти, сепаратисты, так называемый, шабаш, экстремисты, эмиссары, якобы.
Для левых против правых: агенты КГБ, большевизм, большевистская тирания, большевистские догмы, идеологический дурман, имперское мышление, красные фашисты, коммунистическая реакция, монополия на власть, Москва, номенклатура, оккупанты, партаппарат, партийная верхушка, партийная мафия, партийные боссы, партократия, преступная организация, провокаторы, репрессивный аппарат, сталинисты, стукачи, тоталитарный режим, центр, шовинисты".

Державина. Но попробуйте сейчас, стилизуя прозу под XVIII век, употребить это слово, приобретшее неотъемлемый от него ныне иной смысл!)

Я хотела бы затронуть еще один вопрос, который не связан впрямую со стилизацией, но касается общих проблем перевода на русский язык. Когда я в 1988 году была в Швеции, этот вопрос поднимался на встрече в Стокгольмском университете. Его поставил, кажется, профессор Миттельман. Речь шла о том, что переводчики на русский язык смягчают текст, когда в оригинале встречаются ругательства, вообще грубые слова, делают пропуски, связанные с эротическими сценами, и т. д. Здесь следует различать две стороны вопроса — цензурную и художественную. Что я могу сказать по этому поводу в связи с переводом Юнсона?

Юнсона, как известно, упрекали в грубости, в натурализме, в том, что он пропустил античность через времена викингов. Жуковского, между прочим, упрекали в том, что он смотрит на античность сквозь русский патриархальный уклад. (Может быть, любопытно будет взглянуть на две древнерусские миниатюры, где герои Троянской войны предстают в традиционно русских одеждах. Вот еще один пример вписывания, может быть, наивного, в стилистическую перспективу родной культуры.)

Я нигде не смягчала описания попоек, обжорства, перебранок, побоищ (пример — описание происходящего в пещере Полифема). Я вообще щедро отдавала дань разговорной, снижающей лексике (обрюхатить, бабник, чокнутая, копыта откинули, слабак, заделался, слухач, занудный, вырубиться, отключиться, хватит трепаться, глазеть, изгаляться, накачаться, блевать и т. д.).

Иная ситуация с тем, что мы условно зовем "сексуальной темой".

Дело в том, что в этой области и в нашей жизни, и в литературе также произошли резкие перемены. Снятие цензуры привело к тому, что в искусство и в литературу хлынул поток эротической, да и порнографической продукции. Так что запреты как бы сняты. Однако и сегодня все эти произведения еще не стали фактами искусства. Более того, эта область в основном отдана на откуп ремесленникам и невеждам. Пример — попытки издать перевод маркиза де Сада. Это беспомощные образчики бульварного стиля, не имеющие ничего общего с языком и культурой, пусть и де-садовскими, XVIII века.

В русской литературе существовала определенная традиция. Несмотря на скабрезного Баркова, на озорного Пушкина, на гусарские стихи Лермонтова, русская классика была целомудренной. Два потока было и в фольклоре: существовало даже разделение на целомудренную женскую и не скованную соображениями пристойности мужскую частушку. В конце 70-х годов в Москве была интересная переводческая дискуссия об эвфемизмах, о том, как переводить зарубежную литературу, в которой все чаще появляются откровенные эротические сцены и "похабные" с точки зрения наших литературных норм слова. К согласию, как бывает всегда в подобных дискуссиях, так и не пришли. Некоторые считали, что надо постепенно вводить "все" слова и наступит "привыкание", другие предлагали иной путь — расширять спектр "ситуаций", сохраняемых в тексте, а потом уже в ход пойдут и слова. (Не удивляйтесь разговору о сохранении ситуаций, ибо цензура, редакторская, издательская и выше, просто выбрасывала эти сцены, а когда сделать это было невозможно или купюры могли вызвать осложнения в отношениях с авторами, от перевода произведений решительно отказывались.) Многие же говорили о том, что употребление лексики из области секса, особенно той, что связана с названием частей тела (русская брань, кстати, привязана прежде всего к существительным), создаст совершенно искаженный эффект, далекий от художественного и не адекватный тому, который задумывался автором. Мы и в самом деле не раз отступали, когда возникал вопрос о переводе такого, например, романа, как "Мандарины" Симоны де Бовуар, и других произведений современной

французской литературы. Беда в том, что лексика, имеющая отношение к полу, к сексуальной сфере, у нас не разработана: между лексикой забор-ной и лексикой медицины и юриспруденции существует огромный провал, который только-только начинает заполняться (правда, боюсь, что пока, подчеркиваю — пока, ибо это тоже явление времени), он заполняется весьма дилетантски, чтобы не сказать резче. Вспомните об отсутствии подобного лексического слоя в наших словарях, и не только нормативных, но и фиксирующих поток новых слов, или в словаре синонимов[1].

Как преломились для меня эти вопросы в переводе Юнсона? Собственно говоря, я могла бы их здесь не касаться. По западным меркам роман Юнсона вообще целомудрен, и даже по нашим перевод романа "Прибой и берега" не ставит этих вопросов в такой острой форме, как, например, перевод Апдайка. И все же мне хочется привлечь внимание к названной проблеме, пусть даже не на самом характерном материале.

Так, например, — и это симптоматично — перевод сцены жертвоприношения Нестора, пронизанной эротикой, не вызвал у меня никаких затруднений. Эта сцена, кстати, не могла вызвать и цензурных возражений: вся эротика в глубинном подтексте, в ассоциациях, словесное же выражение вполне невинно: "фаллос", "фаллический" имеют здесь ритуальный смысл и звучат вполне "благолепно". (Между прочим, проблема ситуационности и словесного выражения напомнила мне забавную историю, случившуюся на одном из московских кинофестивалей. Само собой, в доперестроечные годы все зарубежные фильмы проходили предварительную цензуру — все нежелательные кадры, в частности эротические, из них беспощадно вырезались. Особенно усердствовал один из высоких чиновников: там, где мелькали обнаженное женское тело и, уж не дай бог, грудь, по его приказу работали ножницы. Но, невинная душа, он сохранил в неприкосновенности сцену, где происходила любовь втроем — она была показана не в лоб, и он ее просто не понял, хотя, разумеется, само упоминание о том, что такое бывает, в то время было просто невозможно.)

Возвращаюсь к Юнсону. Сложнее мне было с назойливым повторением у автора *det manliga instrumentet* или столь же частой угрозы *att skära av tasken.* Не ханжество заставило меня искать синонимов, уходя от лобового перевода. Прямой перевод не только вел бы к ненужному буквализму. Выпирая из текста, натуралистическая лексика создавала бы в русском тексте акценты, которых нет в оригинале, фокусировала бы внимание читателя на том, что не должно быть главным. Кстати, любопытно сравнить в переводах Жуковского и Лагерлёфа сцену расправы над Меланфием:

Лагерлёф:
skuro hans näsa och öron av med
den mordiska kopparn,
sleto från livet hans biygd och för
hundarna slängde den sedan.

Жуковский:
Медью нещадною вырвали
ноздри, обрезали уши,
Руки и ноги отсéкли ему; и потом
изрубивши
В крохи, его на съедение бросили
жадным собакам[1].

Как видим, Жуковский не столь подробен в своем описании, как Лагерлёф, хотя по-русски есть "срамные

1. Кстати, забавный пример "деликатного" подхода к подобной лексике мы находим в словаре жаргона преступников "Блатная музыка", изданного НКВД в 1927 г. с пометой "Не подлежит оглашению" (т. е. для внутреннего пользования) и переизданного репринтным способом в 1991 г. Одна из словарных статей выглядит так: "Ежа- (в соединении с неприличным глаголом) — добиваться неосуществимого, например, невыполнимого дела". Как видим, неприличный глагол не попадает даже в словарь, предназначенный для чекистов, он остается, так сказать, "в уме".

1. "Одиссея", XXII, 475.

части" и они даже укладываются в дактиль "части срамные".

Вот какими синонимами пользовалась я в переводе пресловутого *det manliga instrumentet*: "мужская оснастка", "мужское естество", "мужская снасть", "прикрывая наготу", "орудие продолжения рода" (*släktets instrument*); поэтому *med lemmens resning och själens vindränkta lojhet* у меня – "с возбуженным телом и вялой с похмелья душой"; *tog männen från kvinnorna, tog lemmen från dess slida* – "отнимает мужчин у женщин, разъединяет слившиеся тела"; *skar av hans instrument* – "оскопили и фаллос бросили собакам"; *jag skär tasken av dig* – "я сделаю из тебя мерина", а текст о Меланфии, который унижен выгнавшей его Пенелопой и с ненавистью думает о ней, звучит по-шведски так: "*Du kom inte mellan hennes lår, nej, de är förstås för heliga och för fina för dina länder! Du luktar kanske vitlök för mycket för henne, din köttsliga lusts lans får inte tränga in i hennes skötes snår...*" – и по-русски: "Нет, тебе не лежать в ее постели, ее постель слишком священна и благородна для твоих чресел! От тебя слишком разит чесноком, копье твоего вожделения не проникнет в кущи ее лона..." И только в одном месте я вынуждена была сделать уступку конъюнктуре. Сейчас я безусловно оставила бы свой вариант перевода в его первозданном виде. Об изменении просил меня редактор, считавший, что этот вариант звучит слишком грубо. Речь идет о сцене, где Одиссей, пытающийся заглушить в себе нарастающее чувство тревоги и страха перед надвигающейся бурей, вспоминает о своих победах над женщинами, обращаясь к своему пенису. Редактор умолил меня превратить эту краткую беседу в разговор Одиссея с самим собой[1]. Конечно, это всего лишь одна фраза. И это хороший редактор (кстати, сказавший мне: "Еще два года назад я бы не могла пропустить сравнение Эвриклеи с народным комиссаром, мне пришлось бы показать эту фразу начальству"). Повторяю, это очень хороший, интеллигентный редактор. Но о работе и о роли редактора, о его правах и бедах будет особый доклад. Скажу только, что за два года до выхода Юнсона мне пришлось потерять в переводе романа Маргерит Юрсенар *L'Œuvre au noir* ("Философский камень") две фразы, в которых говорилось (очень целомудренно) об однополой любви. (В готовящемся переиздании я их восстановила.) А моему коллеге, переводившему "Мемуары Адриана" той же Юрсенар, пришлось потерять шесть страниц, где речь шла о любви Адриана к Антиною, хотя, как известно, это факт исторический и скрыть его довольно трудно.

Я коснулась только некоторых вопросов, которые возникли у меня в связи с переводом романа Юнсона. Должна сказать, что этих вопросов было гораздо больше, и я очень признательна всем, кто помогал мне их

1. Интересно, что буквально на днях (23 января 1991 года) "Литературная газета" опубликовала стихотворение "Русская притча" П. Тряпкина, где подобного рода беседа никак не закамуфлирована – правда, она скорее напоминает традиции Алексея Константиновича Толстого, только с более откровенной лексикой. Написано стихотворение в 1979 г. Тогда его напечатать было бы невозможно.

Русская притча

Задержался однажды
Илья-богатырь
У ворот, где был сложен
дубовый горбыль.
И внезапный вопрос
озадачил Илью:
"Расшибет ли мой хрен
горбылину сию?"
Осенился крестом,
и решил испытать,
И хотел уже было
снаряд доставать,
Да внезапно опешил
и к месту прирос,
Ибо встречный возник
у героя вопрос:
"Коль и выдержим мы
испытанье сие,
Не испортим ли, брат,
мы орудье свое?
При дерзанье таком,
при отваге такой
Мудрено ли остаться
навек сиротой?
Мудрено ли утратить и вид свой
и стать?
А ведь нам предстоит
кое-где побывать.
После стольких походов
и стольких побед
Как же будем держать
мы достойный ответ?"

разрешить, и в первую очередь Силле Юнсон, подробно отвечавшей на все мои недоумения и очень поддержавшей меня своими письмами; доктору Мерете Мазарелла, чья интересная книга *Myt och verklighet* была для меня незаменимым источником сведений о романе; Бену Хельману, мне эту книгу приславшему; Маше Николаевой, подарившей мне шведский перевод гомеровской "Одиссеи", который нельзя было достать в Москве.

О том, насколько мне удалось воплотить на русском языке замысел Эйвинда Юнсона, судить не мне. Я уже говорила о том, что сегодня кое-что сделала бы по-иному, жизнь подсказывает некоторые лексические коррективы. Или, например, вопрос о переводе названия романа. Я долго искала эквивалент. Мне хотелось передать аллитерацию, звучащую в словах Ströndernas svall, – об этой аллитерации писали критики, в частности Мерете Мазарелла. Вот почему я сделала упор на рокочущем звуке "р", который передает рокот прибоя. При этом мне было необходимо сохранить в названии само лейтмотивное слово "прибой". Но Ларс Клеберг справедливо заметил мне, что в названии слышится начальный дактиль гекзаметра. К сожалению, замечание Ларса Клеберга сделано постфактум. Не знаю, удастся ли мне, если книгу когда-нибудь переиздадут, придумать название, которое, сохранив аллитерацию, отвечало бы и этому требованию. Но вообще мне, пожалуй, грустно было бы расстаться с моим вариантом. Можно, конечно, "Рокот прибоя", но тогда теряются "берега", а это жаль.

Что касается читательских отзывов на роман, то до меня дошли только отзывы читательской элиты, для которой этот роман открыл неизвестную ей прежде громадную фигуру в литературе XX века. Впрочем, есть один драгоценный отзыв так называемого рядового читателя. Как известно, первыми читателями гоголевских "Вечеров на хуторе близь Диканьки" были наборщики. Они же были первыми рецензентами книги: они прыскали, завидев Гоголя. Это была лучшая оценка книги. Не соизмеряя и не сравнивая Гоголя и Юнсона, я просто хочу сказать, что первым читателем романа "Прибой и берега" на русском языке была печатавшая его машинистка. Эта самая машинистка, печатая мой перевод "Тошноты" Сартра, все время приговаривала: "Господи! Да кто же это будет читать? Ничего понять не могу! Такая скука!" Но, печатая роман Юнсона, она сказала: "Я взяла "Одиссею" Гомера, положила рядом два текста, не могу оторваться!"

Книга удостоилась отклика в печати. У нас, к сожалению, это бывает не часто. Известный критик Алексей Зверев в своем обзоре наиболее интересных зарубежных новинок за год[1] высоко оценил роман, заметив при этом, что при нынешнем состоянии умов у книги Юнсона может оказаться не так много читателей. Но в утешение он привел строки Цветаевой, которая говорила о своих стихах:

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

С такими "драгоценными винами" Зверев сравнил и роман Юнсона. Я согласна с тем, что проза Юнсона – "драгоценное вино". Но в одном критик ошибся. Тираж книги Юнсона 100 тысяч экземпляров раскуплен. Стало быть, книгу читают.

1993 г.

1. А. Зверев. Хвостовой вагон. Зарубежная проза 1989 г. / Литературное обозрение, 1990, № 1.

Леонид Гиршович

Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке

Этим летом в Ганновере, где я обретаюсь уже — страшно вымолвить — полжизни, побывала московская съемочная группа. Снимали фильм о русских уличных музыкантах. Мне предложили выступить в роли чичероне. Я о чем-то рассказывал перед камерой, попутно вступая в разговоры с разными баянистами и прочими бременскими музыкантами, которые, обыкновенно, представлялись студентами консерватории, собирающими деньги на новый инструмент. Я не мастер разговорного жанра и незаметно подглядывал в шпаргалку, а чтоб не выходило слишком гладко, уснащал свою речь фиоритурами косноязычия: междометиями, вводными. Шпаргалка эта сохранилась. Быть может, она заинтересует читателя.

Полагаю, что отношение среднеарифметического интеллигента к классической музыке сродни моему отношению к классическим языкам. А именно: О!.. И все же можно считать себя культурным человеком и без знания латыни — это не стыдно, ее никто не знает. Но с "гемольной" симфонией Моцарта быть в таких же отношениях, как с какой-нибудь эклогой (кто их там писал, Овидий или Вергилий?), — это уже позор.

Касательно моцартовской симфонии, подскажу: симфония Моцарта g-moll или соль-минор, это сороковая — в России чаще различают музыкальные опусы по номерам, а не по тональностям.

Итак, позор на всю Европу тому, кто не знает соль-минорной симфонии Моцарта, а сам при этом щелкает как орешки интеллектуальные романы Павича, к пятнадцати годам прочитал всего Бальзака и клянется именем Пастернака. А как стыдно при слове "Элизе" лихорадочно теряться в догадках: а что это?.. Если угодно, это "Полонез Огинского" для немцев. Только написал его не Огинский, а Бетховен.

Во искупление своего музыкального невежества интеллигентные родители начинают учить своих детей музыке. То есть учить играть на фортепиано — или, как еще говорят, "на пианино", поскольку так называется купленный ими инструмент. Некоторые начинают учить ребенка на скрипке, вероятно, потому, что купить пианино им не по карману, да и занимает много места. Но тогда уж лучше на виолончели, это куда культурней — а места занимает чуть больше скрипки. Учить ребенка на флейте — это, конечно, самый большой изыск. Сказать: "Мой Никита играет на флейте" — то же самое, что заявить: "Он припал к истокам мировой культуры... флейта Пана..."

Между прочим, когда я учился, флейтистов у нас в консерватории называли "мозгодуями". Вообще существовали стереотипные характе-

© Леонид Гиршович, 2005

ристики музыкантов по инструментальному признаку. Они носили шуточный характер, но, знаете, в каждом апельсине есть долька правды. Например, совершенной притчей во языцех являлся альтист. О нем говорили: "скрипач с темным прошлым", поскольку на альт, обычно, переводят скрипачей с диагнозом "профнепригоден". Про альтистов сложено множество анекдотов, понемецки издан даже целый сборник. Например: "Оркестр на гастролях в Израиле, все довольны, только альтист одиноко сидит на берегу Генисаретского озера: 'Господи, сделай так, чтобы надо мной перестали смеяться, чтобы я свершил что-то необыкновенное...' И о чудо! Он пошел по водам. А все смотрят и говорят: 'Вон альтист, даже плавать не умеет'".

Но в первую очередь учиться музыке все же значит учиться на пианино. Когда-то Антон Рубинштейн сказал, что играть на рояле просто: в нужное время следует нажимать нужные клавиши. Собственно, этому детей и учат, когда говорят, что их учат музыке. Большинство бросает это запредельно-скучное занятие в период полового созревания. Пользы от него — как от военного дела или уроков рисования, разве что воспоминания останутся куда более тягостные.

Тем не менее какое-то количество детей, которых волевые родители возьмут в оборот по-крупному, с дальним прицелом, смогут преодолеть барьер лени, скуки, отвращения. Им передастся амбициозность взрослых, они будут охвачены азартом соревнования, тем что греки называли словом "агон" и что, по мнению многих, является движущей силой всякой деятельности. Они — потенциальные конкурсанты. У них перед глазами пример тех, кто преуспел, кто, стоя на эстраде, грудью встречает шквал оваций, кто удостоился международного признания. Они уже профессионалы. Сперва будущие, но будущее имеет обыкновение превращаться в настоящее. И вот они незаметно для себя никакие к черту не "будущие" — они просто профессионалы.

Наступает момент истины. Их профессия, исполнение на музыкальных инструментах классической музыки, на что они положили уйму сил, детство и юность, вывихнув соответствующим образом себе мозги, — их профессия не пользуется спросом. Вернее, пользуется спросом отнюдь не в тех количествах, в каких себя предлагает. Эти молодые люди — флейтисты, скрипачи, пианисты, кларнетисты, виолончелисты, — все эти "альтисты даниловы", которых ежегодно сотнями выплескивают на биржу труда музыкальные ВУЗы, — все они оказались жертвой иллюзии, внушенной им старшим поколением. Иллюзии того, что культурные ценности *не*преходящи.

Еще царь Соломон носил кольцо с надписью "А коль овер" — "Все проходит". Это относится и к культурным ценностям: одни сменяются другими, какие-то видоизменяются до немыслимого — до глумления над собою. Практически, сороковую соль-минорную симфонию Моцарта сегодня знает каждый подросток, потому что на ее мотив звонит треть всех мобильных телефонов. И не важно, хорошо это или плохо, это — нормально. Жаль, что в современном концертном зале нельзя провести спиритический сеанс: чтобы не стилизованный под барокко оркестр исполнял кантату Баха, а оркестрик, который играл ее на хорах церкви Святого Фомы в пору, когда Бах служил там регентом. Мы бы такое услышали... Равно как свой скрипичный концерт в исполнении Спивакова Моцарт вряд ли признал бы своим: эффект был бы таким же, как если б Элвис Пресли исполнил романс Чайковского — Чайковскому.

Музыка, которую мы называем классической, явление довольно новое и ограничено эстетикой романтизма. Хронологически романтизм наложился на XIX век, значительно расширив его с обеих сторон. Музыкальный XIX век длился дольше ста лет. Бетховен, связывающийся в на-

шем представлении именно с этим веком, большую часть жизни прожил в XVIII. Так же и музыка XX века есть не что иное, как путь в несколько десятилетий, который, под скрежет тормозов, когда пассажиры валятся друг на друга, проделала романтическая музыка, прежде чем окончательно остановиться. Ее полная и окончательная остановка совпала с остановкой сердца Дмитрия Шостаковича.

Чтобы это не выглядело совсем голословным, предлагаю поставить эксперимент. Мысленно переносимся на сто лет назад. Рубеж веков. И просим какого-нибудь завсегдатая концертов Русского музыкального общества перечислить имена известных современных композиторов. Этих имен будет очень много, большинство памятно нам и сегодня, из них несколько по праву считаются величайшими. При этом наш меломан, человек консервативных вкусов, найдет их музыку несколько вычурной, сложной, Рихарду Штраусу поставит в пример Пуччини или Чайковского. Дебюсси и вовсе отругает. А вот кого назовет меломан наших дней? Загадка природы.

Будучи профессионалом, я назову, конечно, нескольких старцев, входящих в современную композиторскую номенклатуру. Они никому неведомы, кроме своих собратьев по ремеслу, которое уже давным давно является вещью в себе. Живая музыка, одушевляющая миллионы, сотни миллионов, орущая на каждом углу, не требует исполнителей в консерваторском понимании этого слова. Она и есть современная музыка, другой современной музыки нет. А то, что мне со всякими группами, хитами, хеви-металом и прочим отбиванием ритма решительно нечего делать, это, как говорится, моя проблема. Однако машина, штампующая кадры для воспроизведения несуществующей более музыки, продолжает работать на полную катушку, тиражируя подобных мне исполнителей музыки двухсотлетней давности. При этом машина совершенствует свои изделия: сегодня играют лучше, чем вчера. Со всей ответственностью могу сказать: за последние двадцать лет профессиональный уровень молодых скрипачей в Германии неизмеримо вырос. Они вполне могут составить конкуренцию своим русским сверстникам, о чем недавно еще и помыслить было трудно.

Характерно, что Баха откопал XIX век – как за несколько столетий до этого откапывали шедевры античного искусства. Разница заключалась лишь в том, что, в отличие от Фидия или Праксителя, Бах и у современников великой славой не пользовался. Ценился как органист, импровизатор. Так что не будем удивляться, если новый академик Фоменко заявит, что никакого Баха не было, а все это выдумка Шумана с Мендельсоном, якобы открывших его. Тот Бах, которого мы знаем, действительно до известной степени продукт романтической эпохи. Романтизм, окружив музыку ореолом святости, уверовал в бессмертие созданной им музыкальной формы. Прежде, в век барокко, музыка писалась "по случаю". Этим случаем могло быть любое событие: рождение, смерть, свадьба, званый обед, предстоящие Рождество или Пасха. Исполненное самим же композитором или под его управлением, музыкальное произведение переставало быть актуальным. По нынешним меркам его ожидала участь прочитанной газеты. Когда еще Леонардо да Винчи назвал музыку "жалкой", оттого что "она умирает при своем рождении".

Романтизм вознес музыку на такой пьедестал, когда сама мысль, что творенье гения может устареть, казалась кощунственной. Именно тогда в европейской музыке возникает что-то вроде разделения труда, роль исполнителя приобретает все бóльшую самостоятельность. Первоначально он, подобно Паганини, играет по преимуществу собственные сочинения, в которых, как на спортивной арене, проявляется его феноменальная виртуозность. Но вскоре виртуоз превращается в интерпретатора не им созданных про-

изведений и настолько утверждается в этом новом для себя качестве, что интерпретация музыкального произведения, то есть его истолкование исполнителем, делается важнейшей составной частью европейской музыкальной культуры. Отныне гениальная музыка как бы не существует вне гениальной интерпретации, она нуждается в великом исполнителе едва ли не больше, чем он в ней.

В начале XX века культ исполнителя, которому рукоплещет поверженное к его ногам человечество, достигает своего апогея. Но именно тогда же, в 1913 году, который Ахматова считала последним годом XIX века, живущий в Вене Арнольд Шёнберг разрабатывает новую теорию музыки, отменяющую, если так можно выразиться, музыкальную гравитацию. Музыка освобождается от тяготеющего над ней гнета тональностей, господству до-мажора или соль-минора положен конец. "Сегодня я предопределил приоритет немецкой музыки на следующие сто лет!" — воскликнул Шёнберг. В этот день он подписал акт о полной и безоговорочной капитуляции не только немецкой, но и вообще европейской музыки.

Музыка XX века знает немало звездных имен — имен тех, кто уже опускал занавес. Особенно ярко среди них горят русские имена: Стравинский, Шостакович, Прокофьев. Да, по сути говоря, и Рахманинов. Россия поздно вступила в клуб великих музыкальных наций — их на самом деле наперечет: Италия, Франция, Германия, — но зато последней покинула капитанский мостик. Какое-то время прибежищем классической музыки оставалось кино, где она тихо мутировала в попсу.

Но школа классического исполнительства этого словно не замечает, ее бесчисленные питомцы продолжают тешить себя несбыточными мечтами. В чем сегодня смысл их существования? Новых произведений для них не пишется. Временна́я пропасть между исполняемым ими и современностью растет. Еще одна интерпретация, еще одно истолкование — того, что давно уже обрело свое второе рождение в телевизионной рекламе пиццы или в звонке мобильного телефона. Нет такого сочинения, мало-мальски значительного, которое не было бы записано — каждое! — десятки, а то и сотни раз. И эти звукозаписи, не отличимые одна от другой, продолжают наполнять рынок. Они стоят сущие копейки и прокормить тех, кто на них записан, никак не могут. Сколько уличных музыкантов предлагают вам помимо своей игры так же и свои диски. А все же обаяние великой культуры XIX века не позволяет нам открыто признать, что изжит один из ее любимых мифов — миф о гениальном исполнителе. Язык не поворачивается.

Профессионалы — в Германии, в частности, — об этом говорят, но знаменитый совет Козьмы Пруткова: "зри в корень!" — по вполне понятным причинам игнорируется: зачем же рубить сук, на котором сидишь. "Да, нелегкие времена для нашей профессии... да, введение евро... да, экономика переживает кризис... да, это бьет в первую очередь по культуре: урезают бюджеты оперных театров, распускают оркестры... а еще Восточная Европа рвется к нам в гости... ах, что вы говорите — Восточная Европа... Юго-Восточная Азия, где проживает половина всего человечества, прослышала о триумфах юных дарований на Западе и теперь охвачена пианистической лихорадкой. Пятимиллионная армия китайских пианистов, один другого лучше, угрожает нам своим вторжением... и это когда своих-то не знаешь, как трудоустроить". Такие разговоры ведутся, перемежаясь со вздохами.

За четверть века, что я работаю в Ганноверской опере, две вещи в ней переменились кардинально: на девяносто процентов сократилось число курильщиков среди оркестрантов и на сто процентов сократилось число тех, кто профессионально обучает своих детей музыке.

Павел Лемберский

Зимние заметки об осеннем марафоне

— Почему русские так любят "Нью-Йоркер"? — спросила меня сотрудница самого престижного журнала страны теплым сентябрьским днем прошлого года за чашкой капуччино в одном из вездесущих манхэттенских "Старбаксов"[1].

— Ностальгия по букве "ё"? — предположил я, намекая на типографский изыск журнала — правило ставить точки над "е" после префикса "ре-" (диарезис) было упразднено в сороковые годы и соблюдается только "Нью-Йоркером".

И не дожидаясь ее улыбки, ринулся, что твой Ахав, за литературной рыбой покрупнее. Ассортимент был велик: Доктороу, Рушди, Эмис, Памук. Билетами, правда, не пахло. А между тем, пятый ежегодный фестиваль "Нью-Йоркера" приближался.

В моей шутке истины было еще меньше, чем юмора, однако вопрос журналистки был вполне легитимным: многие знакомые русские действительно читают "Нью-Йоркер". И разумеется, не только они. "Нью-Йоркер", по крайней мере в Нью-Йорке, читают все. Читают в метро и кафе, в школе и дома. Я, например, читаю в лифте — начинаю с карикатур (ветеран журнала С. Гросс даже преподавал мне это хитрое ремесло лет двадцать пять назад, без особого, правда, успеха); добравшись до дивана, просматриваю кино- и литературные рецензии; если не отпугнут первые три абзаца — читаю рассказ. На политику, социальные проблемы и прочее времени, как правило, не остается. Зато остается надежда: отдельные номера журнала я храню и за позапрошлый год.

Присутствие еженедельника в литературной жизни Америки переоценить трудно. Публикация в отделе прозы сулит счастливому новичку не только щедрый гонорар, но рано или поздно — контракт с одним из издательств. В антологии лучших канадских и американских рассказов 2004 года, составленной хорошей писательницей Лорри Мур (и тоже автором журнала), восемь рассказов из двадцати взяты из "Нью-Йоркера". "Не мешало бы больше разнообразия", — комментирует "Паблишерз уикли", но тут же добавляет, что уровень текстов говорит сам за себя.

В этом смысле от авторов журнала так просто не укрыться. На полках новинок, фикшн и нон-, в книжных гигантах "Барнс-энд-Нобл" непременно увидишь имена, знакомые по "Нью-Йоркеру". Та же картина и в других магазинах страны.

И все же суета вокруг фестиваля "Нью-Йоркера" меня озадачила. Билеты на большинство дискуссий и чтений улетели за неделю до открытия. Откуда такой интерес? Долгожданная встреча с любимым автором? Посмотреть, как выглядит известный критик Адам Гопник (неплохо)? Или определить, лицо какого пола скрывается под звучным именем Саши Фрер-Джонса, пишущего о поп-музыке (мужского)? Все это так, но, полагаю, что читательскими массами двигали и другие соображения.

© Павел Лемберский, 2005

1. "Starbucks" — популярная в Америке сеть кофеен.

Литературными чтениями Манхэттен не удивишь. Читают почти ежедневно и в клубах, и в тех же "Барнс-энд-Нобл". Филиал магазина подбирается сообразно с репутацией автора, жужжанием вокруг книги или местом обитания потенциального читателя. Понятно, что Умберто Эко или культовый Дэвид Фостер Уоллес, автор романа "Бесконечное остроумие", соберут бóльшую толпу и соответственно будут читать в просторном зале "Барнс-энд-Нобл", что на Юнион-сквер. А молодая англичанка Зейди Смит во время блиц-турне с дебютным романом "Белые зубы" читала в переполненном филиале магазина на Астор-Плейс, где места немного, но много студентов — рядом Нью-Йоркский университет. Там же полтора года назад читал лауреат Букера 2003-го англо-австралиец Д. Б. С. Пьер, правда, в зале почему-то было всего человек пятнадцать. Может быть, потому что книгу разгромила великая и ужасная Мичико Какутани из "Нью-Йорк таймс"?

Думаю, что причины внимания к фестивалю "Нью-Йоркера" — прежде всего в повышенной концентрации звездных имен его участников. А если к списку литераторов добавить приглашенных в прошлом году музыкантов (Крист Новоселик из бывшей "Нирваны"), актеров (Эдвард Нортон, Фрэнсис Макдермант), кинорежиссеров (Вес Андерсон), политических обозревателей и телеведущих (новостная троица: Питер Дженнингс, Дэн Разер и Том Брокау), то становятся понятными и читательский и просто человеческий интерес к этому осеннему марафону.

Трехдневный фестиваль проходил в следующем порядке. День первый: чтения плюс интервью главного редактора Дэвида Ремника с Сеймуром М. Хершем, автором книг "Темная сторона Камелота", "Цена власти: Киссинджер в Белом доме Никсона" и вышедшей в сентябре книги о войне в Ираке, отрывки из которой публиковались в "Нью-Йоркере". День второй: дискуссии и панели, а также вечер памяти Иосифа Бродского при участии Марка Стрэнда, Татьяны Толстой и Дерека Уолкотта. И наконец, день третий: массовые гуляния, раздача автографов, бублики в гостях у хореографа Марка Морриса, увеселительная прогулка на Кони-Айленде и прочий дивертисмент.

В первый день авторы читали попарно, в две смены, в двенадцати точках Манхэттена, то есть всего читало сорок восемь писателей. И это только фикшн. Причем многих имен, знакомых по публикациям в журнале, я не досчитался. Вот вам, переборчивые читатели и обиженные авторы, и ответ на претензии по поводу засилья обоймы "Нью-Йоркера", думал я (возможно несколько прекраснодушно). Что же это за засилье такое и что это за обойма, если авторов минимум 50, а с отсутствующими, наверное, все 100? Это уже не обойма, это какой-то склад боеприпасов.

Посетить больше двух чтений в один вечер, разумеется, не представлялось возможным. Я, собственно, и не пытался. Шел, куда рассчитывал попасть, пренебрегая теми, кого уже слушал. Как например, Джеффа Юджинайдиса, или в российской инкарнации, вернувшей писателя к его греческим корням, Евгенидиса. Между когда-то сразившими меня наповал "Девственницами-самоубийцами" и пулицеровским "Средним полом" прошло лет девять, и все это время автор, проживающий сейчас в Берлине, регулярно читал отрывки из своего эпического романа, и я его неоднократно и с удовольствием слушал. Нет. На сей раз хотелось иного: чуда чудного, дива дивного, Белого Кита, наконец.

Принцип, по которому участников разбили по парам, проследить было нелегко. Список имен опрокидывал любые, даже самые осторожные предположения. Страна происхождения независимо от проживания (Татьяна Толстая и жительница Стейтен-Айленда Лара Вапняр)? Но почему Зейди Смит читала с бруклинцем Дональдом Антримом? И как дебютант Джонатан Фоер, автор изобретательного и бойкого ро-

мана "Все освещено", оказался в одной упряжке с маститым британцем Мартином Эмисом? Возможно, популярность... Но популярность Джонатана Франзена, автора нашумевшего романа "Поправки", несопоставима с популярностью читавшего с ним юмориста Джорджа Саундерса.

На чтении Э. Л. Доктороу и Джампы Лахири, проходившем в бывшей церкви, я грешным (читай: неполиткорректным) делом решил, что этих двух авторов объединили по принципу "Писатели, которым уступают место в общественном транспорте". Уж очень первый был немолод, а вторая беременна. Вечер вел бывший редактор отдела прозы "Нью-Йоркера" Билл Бьюфорд, некогда "открывший" Стивена Кинга, а недавно — ту же Зейди Смит, и между этими звездными пиками своей карьеры сделавшийся мишенью критики за пособничество в разжигании так называемых "войн ставок" — борьбе издателей за "горячего" автора, во время которой воюющие стороны увеличивают гонорары, стараясь переманить его на свою сторону. "Поджигатель" оказался оживленным и насмешливым господином с лицом пикассовского Волларда из Пушкинки, правда, не таким кубистическим. Бьюфорд представил лауреата Пулицеровской премии 2000 года Джампу Лахири как писательницу, счастливо разнящуюся с авторами десятков текстов, написанных от первого лица и повествующих о наркотиках, клубных тусовках и прочем подростковом мраке, а через год бесследно исчезающих с литературного горизонта. Читая первую страницу рассказа Лахири, продолжал Бьюфорд, думаешь: "гм", читая вторую: "неплохо", третью: "совсем неплохо", потом "здорово!" — и так до конца. Если первая часть речи Бьюфорда возражений у меня не вызвала, то со второй я согласиться не мог. Наоборот, траектория моей реакции на рассказ Лахири в тот вечер началась с "неплохо", а закончилась "гм" или чем-то еще менее вербальным. Жанр: невеселая комедия манер, тема: эмигрантский опыт, герои: бенгальцы в Бостоне, хотя в наш мультикультурный, но удручающе предсказуемый век легко могли оказаться и украинцами во Флориде. Роман Лахири "Тезка" я все же решил прочесть. И не из-за восторгов критики и даже не потому, что героя книги зовут Гоголь, но потому что негоже судить о романе по ранним рассказам автора. В противном случае, кто бы стал дожидаться "Над пропастью во ржи", глядя на первые рассказы Сэлинджера в "Нью-Йоркере"?

Эдгар Л. Доктороу был представлен Бьюфордом как небожитель, непонятно что делающий с нами под одной крышей, и тут редактор был прав во всех отношениях. Мэтр, похоже, и впрямь не вполне сознавал, что он делает на этом торжественном мероприятии. И все же, несмотря на почтенный возраст, Доктороу оказался в отличной литературной форме, и рассказ его был написан весело и энергично, и я даже пожалел, что читаю каждый третий его роман, а не все подряд. Как выяснилось, рассказы Доктороу пишет редко, считая, что романы писать легче. На вопрос: "Как же их все-таки писать, рассказы?" — Доктороу объяснил, что начинаешь с фактов, часто автобиографических, но в конце заботишься о форме. А главное, в рассказе должна быть какая-то история. Коротко и ясно. Вопрос: "Были ли у него учителя-наставники?" — Доктороу пропустил мимо ушей, а вместо ответа спросил сотню-другую собравшихся, а не пора ли нам пойти тяпнуть по стаканчику. На этой ноте чтение и завершилось. Очевидно, с возрастом вопрос влияния теряет свою актуальность.

На вечер Салмана Рушди и Николь Краусс, проходивший в другом конце города, я несколько опоздал. Зал, вмещавший 320 человек, был полон, Краусс, читавшая первой, мила и в меру талантлива. Затем неожиданно моложавый Рушди, без бороды и охраны, читал отрывок из неопубликованного, восьмого по счету, романа, который писал четыре года.

Рушди предупредил слушателей, что без рецензий, обложки с хвалебными отзывами и прочего пиара сейчас состоится его публичная потеря девственности. Что прозвучало как легкое кокетство: так ли нужны обложка и пиар автору с именем Рушди? Процесс оказался болезненным, по крайней мере для вашего корреспондента. Пришлось пожалеть, что бар уже закрыт и мне не достался бокал "Pinot Grigio", который входил в стоимость билета. Кто знает, возможно потеря невинности именитым прозаиком прошла бы легче, будь я в состоянии легкой интоксикации. Мифопоэтичный отрывок из романа Рушди, на мой слух, был неповоротлив и вял. С другой стороны, выступление Рушди было для меня четвертым по счету, и, может быть, вял был вовсе я, а не Рушди.

Вечер, безусловно, спасло чтение Николь Краусс, чей рассказ "Последние слова на Земле" из того же "Нью-Йоркера" меня когда-то тронул. Интересно было взглянуть на автора текста о старом, одиноком эмигранте, вспоминающем первую любовь далеких военных лет. Краусс оказалась тридцатилетней жительницей Нью-Йорка, автором романа "Заходит мужчина в комнату", который я купил в тот же уикенд. (Вот он, ответ на вопрос: зачем и кому нужны фестивали. Не в последнюю очередь издателям и книготорговцам.) Герой романа Краусс — молодой ученый, страдающий амнезией. Метафоричный текст изобилует деталями и описаниями, благо болезнь протагониста — вынужденного эмигранта в своей собственной жизни — дает повод для подобного остраненного мироощущения. Второй роман Николь Краусс скоро должен увидеть свет.

Вопросов, особенно к Рушди, было много, и в основном от начинающих авторов. "Как писать?" Ответ: "Если такой вопрос возникает, лучше не писать вообще". "Что читать?" Ответ: "Сто лет одиночества", лучший, по мнению Рушди, современный роман, у которого должно быть столько же читателей, сколько у Библии. Я было испугался: а вдруг за эти нечаянные слова на многострадального Салмана опять что-нибудь наложат, но уже не фетву, а эпитимью, и не исламские, а христианские фундаменталисты, но тут вечер подошел к концу, а вопрос слушателя, на майке которого значилось: "Голосуй за Керри. Улучшай карму" — был прерван на полуслове.

На следующее утро ради дела я решил слегка наступить на горло собственной песне и пропустить панель с ангажированными рокерами при участии Керри Браунстайн, девушки из симпатичной женской ретропанк-команды "Sleater-Kinney", выпускавшейся некогда на лейбле "Мочи рок-звезд". А вместо этого, памятуя, что сверхзадача моя все же литературная, направил стопы на дискуссию "Литература и политика" с участием Орхана Памука, чей новый роман "Снег" вышел здесь в августе, а также с участием звезд меньшей величины: нью-йоркской романистки и публицистки Синтии Озик, автора таких книг, как "Шаль", "Стокгольмский мессия" и недавней "Наследник мерцающего мира", молодой и плодовитой американки гаитянского происхождения Эдвидж Дантикет и Дейва Эггерса, автора культового романа "Душераздирающий труд ошеломляющей гениальности" (перевод не мой). Модератором панели была новый редактор отдела прозы журнала Дебора Трейсман.

Темы оживленной дискуссии включали: возможен ли политический роман вообще? (Памук: "Редко. Удачным исключением являются "Бесы" Достоевского". Озик: "А как же "Путешествия Гулливера"?); зачем нужен политический роман, если существуют памфлеты, эссе, проповеди? (Памук: "Нужен, поскольку роман популярнее этих жанров, а облекать правду в занимательную форму тоже уметь надо". Турецкий романист добавил, что у себя на родине он не считается сугубо политическим автором, несмотря на злободневный "Снег", и лично его больше интересует не столько та или иная политическая позиция,

сколько зоны неопределенности и возможность эти зоны драматизировать в романной форме.)

Синтия Озик, пишущая о Катастрофе и Израиле, сравнила положение в сегодняшней Европе с ситуацией 1933 года и подчеркнула, что, когда речь заходит об антисемитизме, возможна одна и только одна позиция. Между ней и Памуком возникло некоторое напряжение, и оно не уменьшилось, когда романист заявил, что если одна сторона будет достаточно долго демонизировать другую, не разделяющую политических и религиозных убеждений первой, то вторая сторона может рано или поздно больно ударить по первой, также не считаясь с ее человеческой сущностью. Тут Озик поставила вопрос ребром и спросила Памука, как он относится к террористам-смертникам, на что тот ответил: "Плохо". Как они завтра бок о бок будут подписывать книги? — подумал я (книги тоже подписывали попарно). Кто-то непременно должен их помирить. Опасения оказались напрасными: очевидцы сообщают, что книги оба автора, особенно Памук, подписывали довольно бойко. Забегая вперед, скажу, что рок-н-рольную по численности толпу охотников за автографами собрал, однако, Мартин Эмис: он подписывал книги вместе с Джоном Ли Андерсоном, автором вышедшего недавно "Падения Багдада". И какой безумец отважился бы соревноваться с этим тандемом?

Дейв Эггерс позабавил слушателей историей о том, как он недавно забыл наброски к новой книге на борту самолета, а кто-то их нашел и, увидев среди записей имя госсекретаря Колина Пауэлла, на всякий случай решил сдать тетрадку в Государственный департамент, после чего сотрудник отделения стал настаивать на личной встрече с писателем. Да, нелегка жизнь модного автора в условиях усилившейся в стране бдительности. Хорошо хоть, что до репрессий пока далеко. Талантливая Дантикет, помимо трех романов и сборника рассказов выпустившая антологию "Голоса гаитянской диаспоры в США", держалась с достоинством и в дискуссии почти не участвовала. Обязательные в конце панели вопросы в основном были обращены к Памуку. И когда один из слушателей, отступив от протокола, задал вопрос не о политике, а о нарративных стратегиях его нового романа, Памук оживился и пустился в пространные объяснения с отсылками к Конраду и Фолкнеру, а в конце поблагодарил за вопрос.

Последняя дискуссия "Искусство и политика" была своего рода интеллектуальной кульминацией моего пусть неполного, но интенсивного фестивального опыта. На сцене под проекцией слайда "Герники", послужившей отправной точкой для дискуссии, собрались теоретические сливки журнала: искусствовед и критик Адам Гопник, обозреватель и поэт Клайв Джеймс, профессор Колумбийского университета, искусствовед Саймон Шама, драматург Анна Дивер Смит, а также знаменитый французский философ Бернар-Анри Леви, прилетевший в Нью-Йорк за час до начала дискуссии. Эффектный фейерверк вопросов и ответов, а также полушутливых наездов был призван осветить следующую тему: "Что такое ангажированный художник и можно ли им не быть в наше политизированное время". Остроумные и эрудированные реплики изобиловали отсылками к политически активным фигурам, чье творчество было от политики далеким (Бретон); упоминались писатели талантливые, но политически близорукие (Сарамаго); вспоминались анекдоты из жизни коммуниста-миллионера Пикассо, комплексовавшего перед однопартийцами по поводу своего благополучия, и приводились примеры трагических судеб российских авторов, репрессированных в 30-е годы (Бабель). Модератор Адам Гопник высказал красивую мысль о том, что секретная полиция всегда на стороне реальности — и та и другая в известный момент может постучаться в вашу башню из слоновой кости. Тут я подумал, что на панели не хватает кумира нью-йоркской продвинутой мо-

лодежи Славоя Жижека: он бы эту сентенцию и углубил, и доразвил и, призвав на помощь любимую философом троицу Гегель–Лакан–Хичкок, возможно даже сочинил небольшой трактат с иллюстрациями из фильма "Секретный агент". Но Жижека на панели не было, поскольку в журнале он не публикуется.

Бернар-Анри Леви заговорил о различиях между французскими интеллектуалами и их американскими собратьями. Если бы Франция переживала ту степень поляризации, какая сегодня наблюдается в США, авторы вовсю бы подписывали антиправительственные декларации и манифесты. А в Америке этого не происходит. Разъяснения, прозвучавшие со стороны остальных панелистов, сводились к тому, что подобная петиция либерально настроенных интеллектуалов была бы только на руку нынешней администрации. Кто-то заметил, что процесс занял бы слишком много времени: каждый подписант, верный духу американского индивидуализма, старался бы внести в текст поправки, а то и переписать воззвание набело.

Афористичный и едкий австралиец Клайв Джеймс, покоривший своими bons mots[1] слушателей прошлогодней эдинбургской книжной ярмарки ("единственная проблема войны с Ираком – в том, что ее начали на десять лет позже", "иногда стихотворение – единственно возможная реакция" и так далее), был в ударе и на сей раз. Исключение разве что составил следующий неловкий момент. В ответ на просьбу одного из слушателей коснуться политического искусства сегодняшнего дня – "Герника" полотно замечательное, но как насчет фильма "Фаренгейт 9/11", – Джеймс с увлечением заговорил о горящих книгах, а через несколько минут спохватился: оказалось, что он ошибочно решил, будто речь идет о романе Рея Брэдбери 1953 года, а не о недавно нашумевшем фильме Майкла Мура. Пришедший к Джеймсу на помощь Бернар-Анри Леви шутливо заметил, что лично ему вопрос показался както связанным с экранизацией книги Брэдбери покойным Франсуа Трюффо. Шутки шутками, но эта легкая водевильная путаница в конце панели навела меня тоже на красивые, правда невеселые мысли. Например о том, что реальности иной раз нелегко достучаться и до казалось бы ангажированных критиков. И еще, что искры от дружелюбных сшибок интеллектуальных светил чем-то напоминают холодный бенгальский огонь, с которым разрешают забавляться детям, пока взрослые заняты совсем другими играми.

Выводы? Разве что самые предварительные. Книги пишутся, книги покупаются, авторов привечают, критиков уважают – процесс идет. Фестивали, подобные осеннему марафону "Нью-Йоркера", интерес к процессу подогревают. И это хорошо.

Лет десять назад Салман Рушди задал риторический вопрос: сколько из 5000 книг, выходящих ежегодно в США, заслуживают внимания? 200? Сколько из них стоит прочесть? 50? А сколько из них возможно прочесть за год физически? Предложение, как ему и положено при капитализме, превышает спрос. Авторов стало больше, выживают сильнейшие. Слухи французов о смерти автора оказались сильно преувеличенными. Наоборот: сегодня можно говорить о его небывалом финансовом здоровье. То бишь, если он издается. Других авторов как бы и не существует.

1. Остроты (*франц.*).

Великобритания

Эдинбург — литературная столица мира

По решению ЮНЕСКО Эдинбург стал первым городом в мире, официально удостоенным почетного титула "литературный".

Инициатива исходила от группы местных издателей и была поддержана как политиками, так и популярными авторами, в том числе создательницей Гарри Поттера Дж. Роулинг и старейшей английской писательницей и уроженкой Эдинбурга М. Спарк. Роулинг, к слову, уже внесла собственную лепту в культурную историю Эдинбурга — кафе, где безработная учительница писала свою первую книгу о мальчике-волшебнике, пока ее малыш спал на улице в коляске, вот уже несколько лет числится городской достопримечательностью.

Для подкрепления обоснованности своих притязаний шотландская делегация передала в ООН двухтомное досье, в котором были собраны сведения о литературной жизни Эдинбурга — от XVIII века до наших дней. Члены делегации напомнили, что в их городе жили и творили Роберт Бернс, Вальтер Скотт, Роберт Луис Стивенсон и Артур Конан Дойл. Уже во времена Бернса Северные Афины по количеству издательств и литературных обществ не уступали Лондону и Парижу. С именем шотландской столицы связана также история появления на свет энциклопедии "Британника" — именно здесь в 1768 году было создано "Общество шотландских джентльменов", которое подготовило первое издание.

Эдинбург славен не только своим культурным прошлым. В настоящее время здесь действует 80 издательств, наиболее известным из которых является "Канонгейт". В первую же очередь, город знаменит крупнейшим в мире фестивалем искусств, с 1983 года одновременно с ним также проводится книжный фестиваль.

Ценой потери

Трехтомная биография "Жизнь Грэма Грина" Нормана Шерри (издательство "Джонатан Кейп"), заключительный том которой вышел к столетию со дня рождения знаменитого английского писателя (1904—1991), вызвала разноречивые отклики. Пресса негодовала по поводу "дурно скроенной книжки", написанной невнятным языком, восторгалась биографом, отдавшим "титаническому труду" без малого тридцать лет, и выражала сожаление, что в погоне за "тенью Грина" тот подорвал свое здоровье.

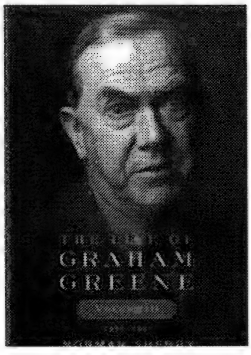
Официальным биографом Грина Норман Шерри стал в 1974 году. В ту пору он возглавлял кафедру английского языка в университета Ланчестера и уже имел опыт подобной работы, выпустив жизнеописание Джозефа Конрада. Первое свидание с Грином, состоявшееся в одном из лондонских клубов, однако, прошло не лучшим образом, и стороны даже подумывали о том, чтобы расстаться навсегда, но вмешался случай. Видимо, пресытившись беседой, Грин предложил Шерри прогуляться к тому месту, где он обычно встречался с Кимом Филби. Под моросящим дождем мужчины свернули на темную улицу, и вдруг писатель бросился через дорогу и едва не очутился под колесами резко затормозившего такси. "Вы чуть не потеряли объект своих профессиональных исследований, профессор Шерри", — сказал Грин. "Это не так страшно, как потерять биографа, мистер Грин", — парировал тот. Романист рассмеялся и дружески пожал ему руку. Таким образом Шерри, по его собственным словам, превратился в литературного детектива.

Грин прислал своему новоиспеченному биографу карту мира, на которой красным крестиком были помечены страны, где ему довелось побывать, назвал имена женщин, у которых ни в коем случае не следовало брать интервью, а взамен дал слово никогда не лгать, хотя предупредил, что станет отвечать не на все вопросы. Шерри надеялся завершить книгу за три года. Грин сразу же увеличил срок в семь раз, и его прогноз оказался гораздо вернее. Только на сбор материалов исследователю потребовалось семь лет. Первым делом Грин посоветовал Шерри отправиться в Техас, где хранились его любовные письма к первой жене Вивиан. И Шерри неожиданно оставил кафедру и перебрался на

американский Юг, устроившись преподавателем в университет города Сан-Антонио. Но это было лишь прологом к тем испытаниям, которые выпали на его долю в процессе "странствий по следам Грэма Грина".

В Панаме у Шерри началась гангрена. В Гаити его задержали в аэропорту и едва не заключили в тюрьму за попытку провести запрещенных "Комедиантов", которых бдительные таможенники нашли у него в багаже. В Либерии исследователь чуть не скончался от тропического диабета и выжил только стараниями врача из Корпуса мира, который отпаивал больного сладкой газировкой до тех пор, пока уровень сахара в его крови не достиг нормы. А некоторое время спустя Шерри попал в автомобильную аварию и на полгода потерял зрение. Всерьез обеспокоенный Грэм Грин настоял на том, чтобы биограф ни при каких обстоятельствах не попал в Конго, где располагалась колония прокаженных, фигурирующая в романе "Ценой потери".

В первом томе биографии Шерри подробно описал детство и юность писателя: пробы пера, попытки самоубийства, путешествия по Африке и Мексике, женитьбу и



Обложка заключительного тома биографии Г. Грина

принятие католичества. Книга имела успех, а в 1990 году даже удостоилась премии Эдгара По. Второй том, охватывающий 1939—1955 годы — наиболее сложный и вместе с тем плодотворный период в жизни романиста, — появился уже после смерти Грина и, возможно, по этой причине остался почти незамеченным критикой. Зато выход окончания биографии, названной, как и роман Грина "Ценой потери", произвел эффект разорвавшейся бомбы. Родственники покойного сочли, что книга искажает облик Грина, упрекнув биографа в тенденциозности и чрезмерном выпячивании интимных деталей.

Колумбия

"Любовь во время чумы" на экране

Голливудская кинокомпания "Стоун вилледж пикчерз" торжествует победу: после двухлетних переговоров Габриэль Гарсиа Маркес согласился уступить ей права на экранизацию романа "Любовь во время чумы". До недавнего времени нобелевский лауреат на подобные предложения, как правило, отвечал отказом, объясняя свое нежелание иметь дело с коммерческим кинематографом политическими мотивами. Едва ли не единственным исключением стала лента известного итальянского режиссера Франческо Рози, снятая в 1987 году по мотивам повести "Хроника объявленной смерти".

Почему Маркес вдруг отступил от своих принципов? На этот счет пока можно лишь строить догадки. Во всяком случае, "Стоун вилледж пикчерз" чувствует себя в полном праве приписывать успех своим дипломатическим талантам. В интервью колумбийской газете "Эспектадор" продюсер компании Скотт Стейндорф сказал, что, ведя переговоры, он вдохновлялся примером главного героя романа "Любовь во время чумы", который, как многие помнят, проявил завидное терпение, добиваясь расположения своей возлюбленной 51 год, 9 месяцев и 4 дня. Стейндорф также надеется, что ему удастся уговорить Маркеса написать сценарий.

США

В ожидании Китти

В конце минувшего года в чикагском театре "Гудмэн" состоялась премьера спектакля "Заканчивая картину", поставленного по новой пьесе знаменитого американского драматурга Артура Миллера.

В ее основе реальный эпизод из жизни автора, облеченный в форму притчи. Несмотря на измененные имена и отсутствие портретного сходства, главные персонажи драмы легко узнаваемы. Надломленная черноволосая женщина, которая точно тень бредет по сцене в начале первого акта, — это, безусловно, легендарная звезда и бывшая жена драматурга Мэрилин Монро.

С Монро Миллер познакомился в 1950 году в Голливуде, шесть лет спустя влюбленные поженились, но брак их оказался недолговечным. Незадолго до окончательного разрыва в качестве прощального да-

Артур Миллер и Мэрилин Монро

ра Миллер написал для Монро сценарий, по которому в 1961-м был снят фильм "Неприкаянные". О том, как протекали съемки картины, которой суждено было стать последней завершенной работой актрисы, и рассказывает спектакль.

Главная героиня, названная драматургом Китти, почти не участвует в действии: одурманенная наркотиками, она лежит в постели, меж тем как на съемочной площадке суетятся члены киногруппы, изобретая способы, которыми можно повлиять на звезду. В ход идут уговоры, мольбы, лесть, призывы к чувству профессионального долга. Все тщетно. Воскресить в актрисе жизнь и веру в себя не в силах ни импозантный муж-сценарист, которого один из критиков сравнивает с второразрядным Гамлетом, ни обаятельный романтик-продюсер — вторая ипостась Миллера.

В спектакле звучат вопросы, на которые нет ответов. Кто виноват в том, что случилось? Жестокий мир кинобизнеса, превращающий людей в гуттаперчевых кукол? Ненасытная публика, постоянно требующая зрелищ? Или все-таки муж, не нашедший при всей своей талантливости тех единственных нужных слов, которые могли бы уберечь любимую женщину от гибели? Художественный руководитель театра и режиссер-постановщик Роберт Фоллс считает, что "Заканчивая картину" — это прежде всего притча о недостатке любви, о том, что люди, влюбленные в собственные чувства, не способны на сострадание.

Франция

"Мещанин во дворянстве" с балетом и музыкой

Французские любители театра получили возможность увидеть пьесу Мольера в том виде, в каком ее играли в 1670 году — с музыкой Жан-Батиста Люлли и танцевальными интермедиями.

Сочинить забавный балет-комедию, в котором непременно должны быть выведены турки, — такой приказ Мольер и придворный композитор Люлли получили от самого Людовика XIV. Дело в том, что в 1669 году король принял турецкое посольство во главе с неким Солиманом-ага, который своим высокомерием глубочайшим образом уязвил самолюбие монарха. А в итоге на свет появился "Мещанин во дворянстве".

Впервые спектакль был представлен 14 октября 1670 года в Шамборе перед королевским двором. Затем комедию стали играть в "Пале-Ройяль", где она пользовалась большим успехом, а после основания "Комеди франсез" "Мещанин во дворянстве" прочно вошел в ее репертуар. Что же до балетной части, то, не выдержав испытания временем, она была предана забвению.

Замысел воскресить оригинальную постановку "Мещанина во дворянстве" принадлежал трем молодым энтузиастам: музыканту Винсену Дюместру, режиссеру Бенжамену Лазару и хореографу Сесиль Русса. "Наша задача была значительно шире, чем просто воссоздать мольеровский спектакль, мы старались уловить чудесный дух эпохи барокко, когда существовала истинная гармония между драматическим действием, танцем и музыкой", — говорит Дюместр. Старинные инструменты, костюмы, грим, жесты, балетные па, в которых красота сочетается с экспрессией, стилизованные декорации, свечное освещение — все эти элементы, соединенные вместе, великолепно передают атмосферу французского золотого века.

Старинная гравюра. Сцена из спектакля "Мещанин во дворянстве"

Постановка, осуществленная при содействии фонда "Руайомон", с успехом прошла в нескольких французских городах, включая Париж.

По материалам информационного агентства "Ассошиэйтед пресс", газет "Гардиан" и "Индепендент" [Великобритания], "Нью-Йорк таймс" [США], "Монд" [Франция].

Флёр Эдкок
Fleur Adcock
Новозеландский поэт, переводчик. Награждена Национальной книжной премией [1984], кавалер ордена Британского содружества *За служение литературе* [1996].

Автор поэтических сборников *Сад в цвету* [*High Tide in the Garden*, 1971], *Живописные места* [*Scenic Route*, 1974], *Стихотворения 1960–2000* [*Poems 1960–2000*, 2001] и др. В ее переводе издавалась средневековая латинская поэзия.
Публикуемые стихотворения взяты из разных сборников.

Дорота Масловская
Dorota Masłowska
Польская писательница. Студентка Варшавского университета.

Польско-русская война под бело-красным флагом – ее дебют. Роман публикуется по изданию *Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną* [Sękowa: Wydawnictwo Czarne, 2002].

Наталия Гинзбург
Natalia Ginzburg
[1916–1991]. Итальянская писательница, прозаик, эссеист, драматург, переводчик, публицист. Лауреат нескольких национальных литературных премий.

Автор романов *Все наши вчера* [*Tutti i nostri ieri*, 1952], *Семейные беседы* [*Lessico famigliare*, 1963; рус. перев. 1989], *Дорогой Микеле!* [*Caro Michele*, 1973; рус. перев. 1989], повестей *Валентино* [*Valentino*, 1957; рус. перев. 1989], *Вечерние голоса* [*Le voci della sera*, 1962], пьесы *Я на тебе женился смеха ради* [*Ti ho sposato per allegria*, 1965], сборников очерков и статей *Никогда меня не спрашивай* [*Mai devi domandarmi*, 1970], *Воображаемая жизнь* [*La vita immaginaria*, 1974] и др.
Публикуемый перевод печатается по изданию *La strada che va in città* [Torino: Einaudi, 1964].

Татьяна Александровна Бек
Поэт, критик, эссеист. Лауреат поэтических премий журналов *Звезда* и *Знамя*, а также всероссийской премии Союза журналистов *Золотой гонг*.

Автор семи стихотворных книг, последняя из которых *Сага с помарками* [2004], а также сборника мемуаров, эссе и бесед *До свидания, алфавит* [2003].

Вольфганг Ланге
Wolfgang Lange
[р. 1955]. Доцент университета города Мюнстер [Северная Вестфалия].

Автор многочисленных статей и рецензий по проблемам эстетики, теории литературы, философии, а также следующих книг: *Der kalkulierte Wahnsinn* [*Просчитанное безумие*, 1992], *Innenansichten ästhetischer Moderne* [*Интерьеры эстетического модерна*, 1992], *Petersburger Träume* [*Петербургские сны*, 1992], *Deutsche Italomanie* [*Немецкая италомания*, 2000], *Temporalität und Form* [*Темпоральность и форма*, 2004], *Nuance. Kunstgriff und Denkfigur* [*Нюанс. Фигура искусства и фигура мышления*, 2005].
Статья взята из специального выпуска ежегодника Фонда веймарской классики *Das Schöne und das Triviale. Trivialität als künstlerische Strategie betrachtet* [*Прекрасное и тривиальное. Анализ тривиальности как художественной стратегии.* – München, 2003].

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолитт* [1999] и пре-

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы *Перелом* А. Сарра-

мии имени Мориса Ваксмахера [2002].

Юлиана Яковлевна Яхнина [1928–2004]. Переводчик с французского и скандинавских языков. Лауреат премии *ИЛ* [1989], премии имени Мориса Ваксмахера [1997], премии Шведской академии [1999], премии *Инолит* [2000], кавалер шведского ордена Полярной звезды [2004].

зен [1993, № 10, 11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса *Гость* Э.-Э. Шмитта [2004, № 6], *Антихриста* А. Нотомб [2004, № 10] и др.
В ее переводе издавались произведения Ж.-П. Сартра Ф. Саган, М. Юрсенар, Ю. Боргена, К. Гамсуна, Э. Юнсона, Я. Сёдерберга, Я. Бергмана и др. Ее переводы многократно публиковались в *ИЛ*.
Публикуемая статья взята из *Русско-шведского сборника* [Турку, 1993].

Леонид Гиршович [р. 1948]. Прозаик, скрипач. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обмененные головы* [1995], *Бременские музыканты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др.

Павел Лемберский [р. 1956]. Писатель, сценарист. Лауреат ряда российских конкурсов сетевой словесности. С 1977 г. живет в США.

В нью-йоркском издательстве *Слово / Word* вышла его книга *Река № 7* [2000]; рассказы публиковались в журналах *Соло*, *Новый журнал* и др. В России известен по *Антологии современного рассказа* [2000] и авторскому сборнику *Город убывающих пространств* [2002]. Переводился на немецкий, английский, финский, иврит и др. языки. Его рассказы опубликованы в Интернете.

Переводчики

Максим Валерьевич Калинин [р. 1972]. Поэт, переводчик с английского. Лауреат премии журнала *Москва* за поэзию [2002].

В его переводах изданы стихотворения Дилана Томаса [2001]. В *ИЛ* в его переводе публиковались произведения Д. Китса, У. Блейка, В. Набокова, Э. Моушена, М. Пика.

Ирина Лаппо Филолог-славист, преподаватель польского языка и литературы, переводчик с польского.

Автор статей о театре, теории и практике перевода и этнолингвистике. В *ИЛ* публикуется впервые.

Арина Львовна Маркина Переводчик с итальянского.

Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. В *ИЛ* публикуется впервые.

Элина Михайловна Драйтова Литературовед. Переводчик с английского, немецкого и французского языков.

В ее переводе вышли исторические и историко-биографические сочинения Э. Поньона *Повседневная жизнь Европы в 1000 году*, Ж. Бенуа-Мешен *Юлиан Отступник*, Р. Этьена *Юлий Цезарь*, Ж.-К. Птифиса *Истинный Д' Артаньян* и др. В *ИЛ* печатались ее статьи и рецензии.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины польского художника Веслава Скибинского [р. 1961]. *Летящие ангелы* [1995].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

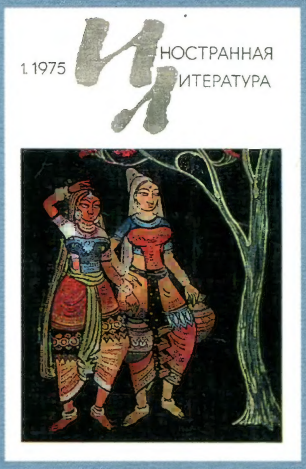
Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 3572.
Тираж 8100 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[3] 2005

РОМАН ЙОЗЕФА ШКВОРЕЦКОГО “ДВА УБИЙСТВА В МОЕЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНИ” / СТИХИ МИШЕЛЯ УЭЛЬБЕКА / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “ЧЕХИЯ: МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА В ЦЕНТРЕ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ” / НАШИ ГОСТИ: АЛЬФРЕД КОЛЛЕРИЧ / ПОЛ ОСТЕР В РУБРИКЕ “НАШИ ИНТЕРВЬЮ”

Нам 50 лет!



Журнал «Иностранная литература»

1955—2005

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545. "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2005, №2, 1-288